

Наг

ЮРИЙ НАГГИВИН

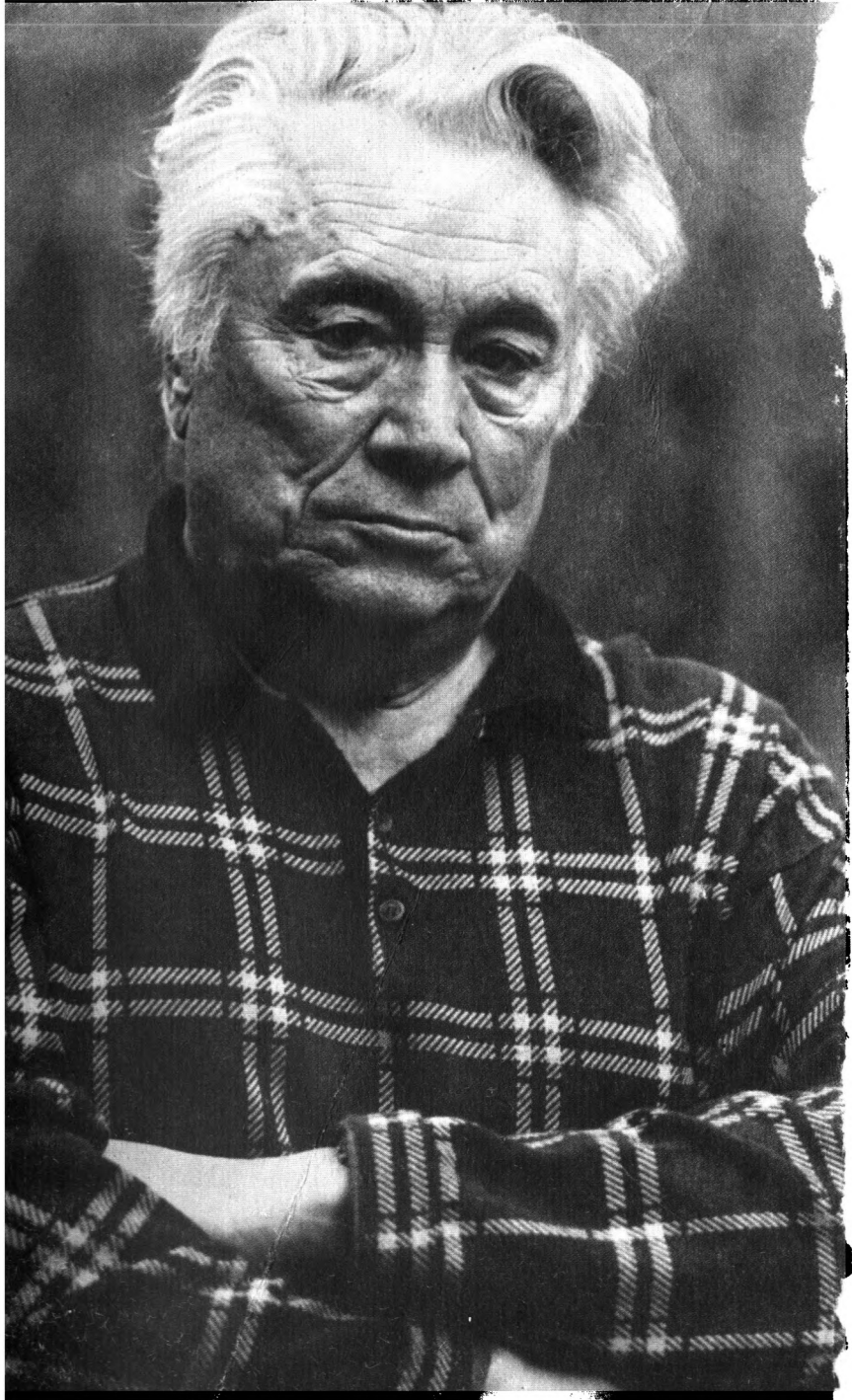
# Юрий НАГГИВИН

БУНТАШНЫЙ  
ОСТРОВ



*Юрий Наггин*

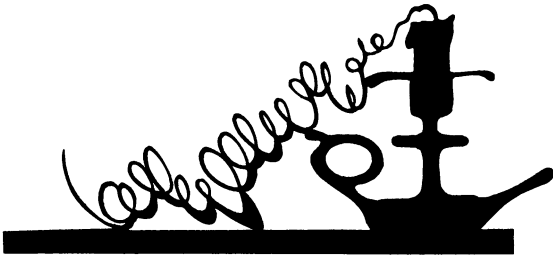




ЮРИЙ НАГИБИН

БУНТАШНЫЙ  
ОСТРОВ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



*Kyran Hassan Egan*

**ЮРИЙ  
НАГИВИН  
БУНТАШНЫЙ  
ОСТРОВ**

**ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ**



**МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ**

**1994**

ББК 84Р7—4  
Н16

Художник Владимир МЕДВЕДЕВ

בחיפה  
3304  
190 1561/1

Нагибин Ю.М.

Н16 Бунташный остров: Повести и рассказы.— М.:  
Моск. рабочий, 1994.— 463 с.

Любовь, смерть, продолжение жизни — эта вечная нерасторжимая связка, многогранно отраженная в исковерканных судьбах обитателей «инвалидного» острова, стала темой трилогии «Богояр», составившей вместе с новыми рассказами и повестями («Московское зазеркалье», «Безлюбый» и др.) книгу одного из крупнейших современных писателей Юрия Нагибина, проникнутую лиризмом, иронией, подчас переходящей в сарказм, и философскими обобщениями.

Н  $\frac{4702010200-96}{M172(03)-94}$

Без объявл.

ББК84Р7—4

ISBN 5-239-01685-2

© Ю.М.Нагибин, 1994.

**БОГОЯР**







# ТЕРПЕНИЕ

Скворцовы давно собирались на остров Богояр; пути туда из Ленинграда комфортабельным трехпалубным туристским теплоходом вечер и ночь. На осмотр острова со всеми его пейзажными красотами и скромными достопримечательностями уходит от силы полдня, потом отдых, всевозможные развлечения, глубокий сон, как в детской колыбели, под легкую качку озерной волны, и ты — дома. Даже странно, что, живя всю жизнь в Ленинграде, они не удосужились раньше предпринять столь приятное маленькое путешествие. Это много ближе, чем манящие Кижы, куда они собирались каждый год, так и не выбравшись, но значительно дальше Орешка-Шлиссельбурга, где они тоже не бывали, в чем признавались с наигранным стыдом.

В семье никто не отличался охотой к перемене мест, влечением к старине, отечественной истории и церковному зодчеству. Жизнь семьи была «вся в настоящем разлита». Дети учились в инязе на английском отделении, мать занималась наукой — микробиологией, отец весьма убедительно изображал директора института по мирному использованию атомной энергии.

Брат с сестрой, внешне несхожие, он — высокий, тонкий, пепельноволосый, она — маленькая, крепко сбитая брюнетка, полностью совпадали и в своих счастливых свойствах, и в молодых пороках. Оба числились отличными студентами, английский давался

им без труда, что обеспечивалось редкой механической памятью и необремененностью сознания — они стряхивали с себя обузу практически ненужных знаний, как собаки — воду после купания; душевная и умственная лень подкреплялась в них страстью к развлечениям и холодной иронией ко всем проявлениям человеческого энтузиазма, пафоса и просто серьезности.

Брат с сестрой все делали с улыбкой, родители улыбались редко: с серьезным видом уходили на работу, с серьезным видом возвращались, серьезно, хотя и нечасто, встречались с друзьями, серьезно отдыхали всегда в одной и той же Пицунде — дальние заплывы, подводная охота, теннис, шашлыки на костре, кино, долгий, за полночь преферанс. Считалось, что все это они любят, так же, как и своих детей, и друг друга (у дочери, правда, было особое мнение на этот счет). Брат с сестрой не любили никого, кроме самих себя, но настолько чувствовали и понимали друг друга через собственный эгоизм, приверженность к удовольствиям и потребительское презрение к окружающим, что это создавало между ними доверительную близость. К родителям они относились настороженно, поскольку нуждались в них, но корыстное чувство к отцу смягчалось снисходительностью, мать они почти уважали за стойкую отчужденность, объяснить которую не умели да и не пытались — мать им не мешала.

Скворцова трогало и умиляло, что в лицах и молодых, упругих телах детей соединялись, хотя и по-разному, материнское и отцовское начала. Удлиненное сухое сильное тело, которое он передал сыну, обрело у того мягкую материнскую пластику, а на тонких отцовских губах вдруг всплывала невесть к чему относящаяся далекая потерянная материнская улыбка; дочь, будь она повыше и поплотнее, являла бы точную копию матери в ее восемнадцать, но острый пытливый взгляд из-под очень длинных тонких ресниц был отцов, и это единственное сходство оказалось доминантой ее внешности. Скворцов видел: дети — хищники, что обеспечивало им жизнестойкость, и это его радовало не меньше, чем «документально» утвержденная в них несомненность четвертьвекового союза — время не остудило страстной любви Скворцова к жене.

Скворцову стоило немалого труда устроить эту семейную поездку, о которой он давно мечтал, — ему не хватало слишком рано эмансипировавшихся детей. И

брату и сестре было безразлично, куда ехать: на север, юг, восток или запад; не волновало их и конечное место назначения: море, горы, озеро, остров, город, дачный поселок, но требовалась подходящая, настроенная на их волну компания, хорошие диски или записи, много вина, понимание с первого взгляда и возможность это понимание реализовать. Они ни за что не согласились бы на семейный компот, если б им не было обещано по отдельной каюте, если б теплоходный бар с джазом уже не получил одобрения знатоков, если б родители не предоставили им полную свободу, в том числе от экскурсии по острову, где смотреть, как и повсюду, совершенно нечего. Взрослые люди просто отстаивают свой обветшалый мир — обычная борьба за существование — перед теми, кто стонит их с арены, и потому усиленно притворяются, будто до сих пор ценят скудные радости своей аскетической молодости.

Паша и Таня Скворцовы справедливо считали, что им повезло с предками — могло быть куда хуже; каждое покушение на их время щедро оплачивалось деньгами и подарками, незамедлительным исполнением самых сложных просьб. Паша являлся собственником однокомнатной кооперативной квартиры с лоджией и «Жигулей», Таня знала, что в недалеком будущем ее ждут те же блага, но, полагаясь на собственные силы, рассчитывала достичь большего посредством раннего, тщательно продуманного брака. Она нравилась и сверстникам, и зрелым мужчинам, и старикам, что озадачивало ее брата, вовсе не ощущавшего ее притягательности, — обычная смазливая девчонка, каких тринадцать на дюжину. «Неужели ты сам не понимаешь, почему ко мне все липнут?» — однажды спросила Таня, раздраженная слепотой самого близкого человека. «Честно говоря, нет!» — «А во мне есть мамин-но», — произнесла она, таинственно понизив голос. «Ну и что с того?» — искренне удивился брат. В тугом, энергичном, очень современном лице сестры промелькнуло сходство с уже поплывшими чертами матери, но сходство это было зыбким, непрочным, к тому же он не чувствовал очарования матери, синего чулка, зануды, безразличной к блеску сына, а этого Паша не выносил. «В матери есть не что, — важно, свысока сказала Таня. — Поэтому отец так помешан на ней. И во мне есть не что, и не видит этого только последний дурак». Паша возмутился и дал сестре подзатыльник. Они подрались — с боль-

шим ожесточением, причем обе стороны понесли чувствительные потери. Паша не отличался великодушием и расквасил сестре нос. Помирились они перед самой поездкой на Богояр.

Уже на пароходе Паша вспомнил о недавнем разговоре, оказывается, кое-что его заинтересовало. Не слишком... Слишком не надо ничем интересоваться, а то набьешь мозоли на мозги. Но теплоход плыл мимо низких и скучных невских берегов, бар был еще закрыт, а сестра все равно торчала у него в каюте, и Паша вернулся к прерванному побоищем разговору:

— Ты считаешь мать красивой?

— Если хочешь знать, в молодости она была даже красивей меня,— заявила Таня, и у брата опять зачесались руки.— Она зачем-то уничтожила все свои довоенные карточки, но у отца в бумажнике есть крошечное фото, вырезанное из группового снимка. Какое у нее лицо!.. Нет, я, конечно, пас перед матерью,— охваченная внезапным смирением, сказала Таня.— Зато у меня есть характер!..— Смирение отступило перед новым напором самодовольства.— А маман этим не блещет.

— Во зазналась! — восхитился брат.— Ты начинаешь мне нравиться.

— А ты мне — нет. Терпеть не могу желторотых.

Паша заводился с пол-оборота, но в поклонении сестры был уверен. К тому же сейчас его занимало другое.

— По-твоему, мать бесхарактерная?

— Конечно! Она не любит отца, а живет с ним и даже не изменяет.

— А ты почему знаешь?

— Мы как-никак соседки...

— Ну, ты сильна!.. А ее заграничные поездки? Думаешь, за красивые глаза?

— Болван!.. Мать — крупный ученый. Другие нахватили должностей и премий, но, если требуется наука, посылают мать. А когда придуманные командировочки... за костюмчиками для внуков...— Она не договорила.— Не знаю... Возможно, у матери есть характер... или был когда-то, но она от него отказалась. Ей так проще. Во всяком случае, дома. А на работе...— Таня пожалала плечами.— Она заставила себя уважать.

— А я не верю, что мать настоящий ученый. Погасшие люди бесплодны.

— Видать, ты сильно мучаешься, что мать на тебя плевать хотела!

— Касса-то ведь у отца,— рассудительно заметил Паша,— остальное меня мало волнует, тем более что отец насюсюкался надо мной за двоих. Но ты тоже зря разыгрываешь из себя маменькину дочку.

— А я и не разыгрываю... Но тебя мать просто не видит, а меня...— Она заколебалась и вдруг сказала искренне: — То ли жалеет, то ли хочет полюбить...

— Да не может! Все это маразм. Эскимосы оставляют престарелых родителей в чумах без харчей и огня — вот правильная постановка вопроса.

— Чего ты злишься?.. Наши никому не мешают. У тебя какой-то Эдипов комплекс навыворот.

— Ладно!..— теперь он всерьез завелся.— Ты мне надоела. И пора одеваться! — резким движением он спустил тренировочные брюки.

— А то я тебя не видела!..— презрительно уронила сестра, но все же вышла из каюты.

Они помирились в баре, возле стойки, где, по обыкновению, изобразили нежную парочку, чтобы спокойно, без помех отыскать себе что-нибудь подходящее.

Слухи о теплоходе в целом и о баре в частности не были преувеличены. Первоклассная посудина, оборудованная по последнему слову техники, со вкусом отделанная деревом; скрытый свет, мягко разливающийся по стенам и потолкам, превосходная мебель, особенно хороши глубокие кресла и диваны, обитые красной кожей; полуовальная стойка бара обставлена высокими тяжелыми устойчивыми табуретами, сиденья тоже обиты красной кожей; пышногрудая, чернокудрая, испанского вида барменша со смуглыми полными руками ловко сбивала коктейли, хорошо одетая публика; правда, джаз с электрогитарами и прочей электромзыкальной техникой был шумноват, но это неизбежно, таково повсеместное требование отечественного вкуса — игра под сурдинку считается халтурой,— словом, все соответствовало высшим современным требованиям.

— Только не нажирайся сразу,— попросила сестра.— Мне здесь нравится и охота продержаться до конца.

— Кого-нибудь подцепишь и продержишься. А меня оставь в покое! — резко сказал Паша, наметанным взглядом обводя быстро заполнявшееся помещение.

...Меж тем их родители, поужинав в ресторане, вернулись в каюту-люкс и сейчас пытались решить, что делать дальше. По местному радио была объявлена обширная программа развлечений: в кинозале — новый фильм, в концертном — литературная викторина, в нижнем салоне — телепередача из Останкина, в верхнем — шахматный турнир. Все, кроме шахмат, представлялось соблазнительным, и Алексей Петрович Скворцов прикидывал вслух сравнительные достоинства каждого мероприятия, ероша свои мягкие, но упругие волосы, которые, растрепанные и перепутанные его худыми пальцами, как-то сами разбирались между собой и аккуратно ложились седыми волнами по сторонам прямого пробора на маленькой аристократической голове, когда заметил, что Анна выпала из общения, забыла о его существовании, вступив в тайный и бессмысленный сговор с ночью и темной маслянистой водой за оконцем, с которого сдвинула занавеску. Над Невой повис плотный туман, растворявший в себе редкие береговые огни и свет, исходяемый теплоходом, да она и не пыталась что-либо увидеть в желтовато-неопрятной мути. Это лишь казалось, будто взгляд ее устремлен на что-то внешнее, нет, она всматривалась в себя, в свое прошлое, несбывшееся, обладавшее над ней магической властью. Если б Скворцов знал, что это останется у нее навсегда, он бы... все равно женился на ней, сознательно приняв ту муку, которую нес вот уже четверть века. Страшнее и безысходнее корежило его в юности, когда она любила его друга, единственного друга, почти брата, друга, не вернувшегося с войны и тем открывшего ему путь если не к сердцу, то к плоти любимой женщины. Нет, не просто открывшего, а сделавшего куда больше: он получил Анну, потому что от него пахло Пашкой; они и на войне были неразлучны до той последней минуты, когда приходится делать выбор, поставив жизнь на карту, ему повезло, а Пашка погиб. Была в Пашке при всех его достоинствах какая-то слабость, обреченность. Скворцов рано угадал это в Пашке, казавшемся всем другим победителем, прирожденным лидером, юным вождем Оцеолой. Наверное, потому Скворцов не отступился от Анны при всей очевидности своего поражения, ибо чувствовал Пашкину незащищенность. Пашка был уверен, что друг зачехлил оружие, как поступил бы он сам в подобных обстоятельствах, ибо это диктовалось его оскорбительной для

живых, нормальных, грешных и притом неплохих людей старомодной этикой. Свою неоправданную, сумасшедшую, фанатичную надежду, что верх останется все-таки за ним, Скворцов даже в наихудшие минуты не думал подкрепить хоть малым предательством друга; нечистота (в свете допотопной Пашкиной морали) была в том, что он ожидал его оступа, сбоя, чем непременно воспользовался бы. А Пашка должен был рано или поздно споткнуться: ветряные мельницы нередко представлялись ему великанами, а носители действительной, хотя и тайной силы — карликами. Скворцов ждал и надеялся. Даже когда началась война и между Пашкой и Анной произошло все, — потом оказалось, что ничего не произошло, хотя она с бессмысленным упорством убеждала мужа в злые минуты, что вовсе не он, а Пашка сделал ее женщиной, — когда они уходили добровольцами на эту войну и Анна не могла найти для него даже порошинки участия, все, все отдав Пашке, Скворцов не отказался от надежды. Они могли оба погибнуть, это было более чем вероятно, но если одному суждено вернуться, то им окажется Скворцов, такие, как Пашка, с войны не приходят. А Скворцов пришел-таки, вернее, притащился, хотя был в полном здравии, но плен, проверочный лагерь и прочие мытарства надолго отсрочили его возвращение — весьма непарадное — в Ленинград. К этому времени Анна уже поняла, что Пашки нет в живых, хотя похоронки не приходило и он числился пропавшим без вести. Анна искала его на фронтах — пошла сандружинницей, позже по госпиталям, инвалидным домам, давала объявления в газетах и по радио — тщетно. Пашкины родители и сестра погибли в блокаду, другой родни не было, немногие уцелевшие приятели безнадежно разводили руками. Да Анна и сама все знала... Когда же неожиданно-негаданно вернулся Скворцов, Анна так ему обрадовалась, что он, истосковавшись, измучившись, изболев сердцем, принял эту тоску по всему, чем была для нее юность, освещенная синью Пашкиных глаз, чуть ли не за любовь. Он признавал условность, искусственность этого чувства — и все-таки обманывал себя. Анна с напором, какого он в ней не подозревал, стала втягивать его в жизнь. Сама она уже много успела: защитила кандидатскую диссертацию, которую издала книгой, готовила докторскую. Скворцов долго находился в положении догоняющего, что никак не ущемляло его самолюбия — он слишком любил



Анну, чтобы вести с ней какие-то счеты. Анна сразу согласилась стать его женой, и, пока он не кончил институт, они жили на ее зарплату. Вскоре родился сын, названный в честь погибшего друга Павлом, Пашкой. Когда же Скворцов сравнялся с женой в научных степенях, а по заработку обошел, то ощутил вместо законного удовлетворения легкую утрату: для него было что-то щемяще-трогательное и волнующее в ее домашнем приоритете.

Скворцов считал себя счастливейшим человеком на свете: его пыл к жене с годами не остывал, он любил своих детей, неуклонно шел вверх по служебной лестнице. Сколько выпало ему на долю горького, мучительного, страшного, унижительного, а верх остался за ним. В юности, когда в человеке все так нежно и ранимо, он находился в Пашкиной тени, хотя не уступал тому ни умом, ни характером, ни внутренней наполненностью, ни даже физической силой. Когда они шутливо и ожесточенно боролись, Пашка дожимал сухощавого, юркого противника только за счет большего веса. Скворцов был остроумней, находчивей Пашки, но, где бы они ни появлялись, рассчитывать на первый — второй было лишним, люди сразу узнавали ведущего. Хорош был Пашка до омерзения, особенно на коктебельском пляже: бронзовый, синеглазый, темноволосяй, с мускулатурой микеланджеловского Давида и спокойно-легким дыханием доброго и бесстрашного человека. Пашка царил в любой компании, что не мешало многим считать его недалеким. А был Пашка умен и пронизателен, но последним качеством редко пользовался, щадя, жалея несовершенство окружающих. Скворцов понимал это с легкой завистью, ибо такого не мог себе позволить; Анна же понимала с ликующим восторгом. Она была не просто влюблена в Пашку, он был ее богом. И она не могла забыть его, помнила беспощадно цепким женским чувством, хотя они не знали физической близости.

А что такое эта пресловутая близость? Они прощались в Коктебеле, где их застало известие о войне. В тот вечер Пашка и Анна ушли вдвоем в Сердоликовую бухту, откуда вернулись под утро. Скворцов знал, как беззаветно любила Анна его друга, и не сомневался в том, какой дар получил Пашка перед расставанием. Но, к великому своему изумлению и торжеству, в первую брачную ночь он обнаружил, что Анна девственна. Не-

ужели красавец, силач, супермен, как сказали бы сейчас, оказался пустоцветом? А ведь так бывает. Спортивные, сплошь мускулы и сухожилия, молодцы — порой никудышные любовники. Доверительных мужских разговоров они с другом никогда не вели, но в «доаннинский» период Скворцов слышал совсем другое о любовных подвигах Пашки. И он ревновал погибшего друга к своей жене, от которой имел двух детей, но которую так и не сумел разбудить. Однажды, в злой час, она сказала, что Пашка, а не он сделал ее женщиной. Он услышал в ее словах лишь наивную попытку унижить его, причинить боль. И когда эта бессмыслица вновь всплывала, он не придавал ей никакого значения, замороженный бедной реальностью физиологии. И лишь недавно ему стукнуло, что Анна не изощрялась в злых выдумках, а говорила о чем-то действительно постигшем ее в ночной Сердоликовой бухте. Пашка проник ей в кровь, отравив ее собой, сделав нечувствительной к другим мужчинам. Скворцов знал, как поэтично и отвлеченно помнят люди о своей первой чистой любви. Анна помнила иначе — омертвлением женского естества, совершенно здорового, щедро способного к деторождению: помимо двух детей было еще несколько аборт, сделанных ею вопреки его чуть не слезным уговорам, — ему до безумия хотелось, чтобы она рожала от него. Лишь раз, очень давно, осмелился он заговорить о ее холодности. «Много ты понимаешь!» — обрезала она. Это прозвучало презрительно и с такой грубой злостью, какой он в ней не подозревал.

И тогда Скворцов понял, что не успокоится, пока не причинит ей ответной боли. Он был терпелив и долго ждал своего часа, но в конце концов подвел ее к тому вопросу, которого она почему-то ни разу не задала: как погиб Павел? Скворцов отвечал осторожно, взвешивая каждое слово. Их оставили вдвоем в покинутом немецком дзоте на развилке дорог. Приказ был: продержаться до подхода наших. Они и держались, хорошо держались... А потом настала тишина, о них словно забыли: и свои и чужие... Деятельная натура Пашки не выдержала. Он пошел искать наших, Скворцов остался. Видимо, Пашка нарвался на тех немцев, которые после забросали дзот гранатами и взяли в плен контуженого Скворцова. «Зря он не остался», — только и сказала Анна. «Он хотел, как лучше, — мягко произнес Скворцов. — А может, просто не хватило терпения». — «Стран-

но! Мне казалось, это его главное качество». — «Ты не была с ним на войне». — «Но я была с ним в Сердоликовой бухте». Таинственная бухта, где Пашкино терпение сделало из нее женщину. Чуть ли не какая-то!.. Она продолжала с сухим смешком: «Конечно, куда ему до тебя! Ты, мой терпеливый герой, пересидел Пашку во всех смыслах». Скворцов пожалел, что затеял этот разговор, силы были неравны, любовь бессильна перед равнодушием. Он спасся в обиду. Старый, безошибочный ход: Анна умела причинять боль близким, но тут же начинала жалеть обиженного, каяться, и в эти минуты из нее можно было веревки вить. Пашкина черта — тот горяча мог ляпнуть черт-те что, а потом ластился котенком. Горячие люди отходчивы. Скворцов не горячился. У него была железная выдержка, умение дожидаться своего часа, и тогда он шел до конца. И еще — он безошибочно отличал необходимость от мнимых возможностей, которыми так часто обольщаются слишком самолюбивые и обидчивые люди. Конечно, у него в жилах текла кровь, не водица, и он совершал промахи, но не упорствовал в них. В свое время он сделал несколько добросовестных и несуетливых попыток проверить, насколько может освободиться от Анны, хотя бы ослабить путы, но оказалось, что с другими женщинами он испытывает вначале скуку, потом отвращение, и смирился со своим пленом. Но коли так, надо получать от нее максимум радости, не претендуя на то, чтобы ей так же радостно было с ним. В конце концов, это ее личное дело. Скворцов приспособился и к этому ее состоянию. Не терпел он лишь тех ее угрюмых выпадов из действительности, которые в последнее время случались все чаще: похоже, что этим отмечено и начало их путешествия, обещавшего быть столь приятным. Надо принимать срочные меры, иначе все пойдет прахом. Лучший способ — озадачить ее, заставить изворачиваться, лгать или оправдываться.

— Ты думаешь о Пашке? — спросил он с нарочитой прямоотой.

— Я думала о том, — сказала она, ничуть не удивленная диковатым вопросом, — что, явись сейчас Пашка, нам не о чем было бы говорить. «Ты замужем за Алешкой?.. Дети есть?.. Кем ты работаешь?.. А Скворцов?..» Ну, еще что-нибудь о квартире, зарплате. Те же вопросы задала бы ему я. А дальше что?..

Скворцов промолчал. Он не ждал такого ответа, полагая, что она сама не может определить образ смутного томления, насылаемого придвинувшейся старостью. Грубая конкретность ее мыслей сбила его с толку. Они впервые отправились в маленькое путешествие всей семьей, у них прекрасная каюта-люкс, издали доносится музыка, их не настигнет здесь ни телефонный звонок, ни внезапный наскок доброго знакомого, наконец-то можно расслабиться, перевести дух после трудной недели, сплотиться против холодного и всегда опасного мира, а у нее в мозгу — этот давно истлевший мертвец.

— Любопытно,— продолжала Анна с той же неумной доверительностью,— когда расстанутся, даже на короткий срок, люди, все время общающиеся друг с другом, они переполнены новостями и соображениями. Когда проходят годы, а десятилетия и подалее, даже самым близким нечего сказать друг другу. Мы сцеплены чепухой, повседневностью, бытовыми мелочишками, сдуло эту пену, и все — пустыня...

— Наверное, ты права...— протянул Скворцов и вдруг переиграл всю игру: — Но я имел в виду другого Пашку — нашего сына.

— А-а!..— Не было и тени замешательства, хотя она принадлежала к людям, остро ощущающим собственные промахи, и Скворцова кольнуло: уж не разгадала ли она его уловку? — А чего о нем думать? С ним все в порядке.

— Ты так считаешь?

— Дитя своего времени. Перебесится, будет, как ты.

— Что общего? Разве я бесился?

— Нет?.. А при чем тут ты? — в голосе прозвучало раздражение.

— Мы так совсем запутаемся. Речь шла о нашем сыне. Ты его не любишь.

— Я смертельно боялась за него, пока он был маленький. Потом все меньше и меньше. А сейчас успокоилась. Он меня не интересуется.

— Это жестоко!

— Твое любимое выражение. Неужели ты так нежен и уязвим? Мне кажется, что и ты, и твой безумствующий сынок сделаны из весьма прочного материала.

— Я никогда не выдавал себя за рохлю. Но жизнь обошлась со мной не лучшим образом. Тебе это отлично известно. И мне хочется защитить нашего мальчика...

— Пойди и заведи его из бара. Чего ты от меня хочешь? Мне не справиться со здоровенным оболтусом. И вообще, он творение твоих рук.

— А дочь?

— Что дочь? — Анна хотела вывести его из себя, но он не поддавался.

— Чьих рук творение?

— Ты думаешь, моих?.. Я ее совсем не знаю, эту девочку.

— Полезно менять обстановку, — заметил Скворцов. — Выясняется много нового.

— А что мы выяснили? — произнесла она устало. — Что я плохая мать нашим детям? Для этого вовсе не нужно ехать на Богояр. Я могу умереть за них, если понадобится, но я не могу жить для них. Они мне чужие. Это твои дети, а не мои. Вообще, у нас все — твое. Твои дети, твоя семья, твоя квартира, твои гости, а я — твоя жена.

— А я не твой муж?

Она промолчала. Скворцов не повторил вопроса. Что-то у него сегодня не срабатывало. Было несколько тем, действующих на Анну укрощающе: его военные злоключения, его здоровье, вообще-то крепкое, но он был мнительным человеком, а муки мнительного человека не уступают мукам больного, и Анна это знала; наконец, дети. Скворцов презирал обман, если в нем не было хоть крупинки правды: самочувствие у него сегодня было отменное, к тому же жалобы на здоровье могли сорвать завтрашнюю экскурсию, военная тема уже затрагивалась, но не пошла на пользу, оставались дети, которые его и впрямь тревожили. Он знал, что они сидят в баре, пьют, заводят сомнительные знакомства, особенно волновался он за дочь и даже ревновал ее к паршивым, испорченным мальчишкам, а еще больше — к тем немолодым потаскунам, которые не стесняются замешиваться в юные компании с целями отнюдь не культуртрегерскими.

— Наверное, река на меня так действует, — тихо сказала Анна, и Скворцов понял, что это начало капитуляции — самые сладостные минуты в его отношениях с женой. Их семейной жизни не хватало тепла, доверия, при том что Анна действительно отдаст за детей и мужа всю кровь до капли. Но она скупится на простой жест доброты, участия, бездумной нежности, да просто улыбку. Она выполняет долг — безукоризненно,

не придерешься (а жаль, тогда стало бы чуть легче!), но не живет общей жизнью с семьей, а служит ей. И дети рано начали понимать это и потянулись к отцу, который не отличался столь безукоризненным вниманием к их нуждам и запросам, а просто любил их, баловал (позже выяснилось, что и ключ от кассы у него). Такой была Анна с друзьями, нет, с гостями, ибо ни одного из посещавших их людей — сослуживцев и покровителей Скворцова — она не возвела в чин дружбы. Возможно, она дружила с кем-то из своих коллег, но в дом не приглашала, и Скворцов их не знал. Сын, которому нельзя было отказать в остром уме, первым разгадал домашнее самочувствие матери: «Бедная мама — тяжело ей на двух работах».

Очевидно, река действовала как-то странно и на Скворцова — впервые он не поспешил навстречу жене. Его обступило прошлое, будто вклубившееся в герметически закрытую каюту из законной желтовато-нездоровой мути. И в этом прошлом стареющая, спокойно-грустная, а порой угрюмая, запертая на все замки женщина бесилась от счастья. О, это ошалелое от любви и счастья лицо!.. Конечно же они с Пашей были обречены. Слишком большая радость смертных раздражает богов. Ничего не дается даром, за все надо платить, и к счастью продираются, оставляя на колючках не ключья шерсти, а шмотья кровавого мяса. Вот так продирался он, Скворцов... Пашка был не из реальной жизни — витязь, былинный богатырь, дон Сезар де Базан, ему предназначалось жить в сказке, легенде или хотя бы в чьей-либо памяти. Последнюю форму жизни он и обрел. А в повседневности при его открытости, вере в людей и всех устарелых добродетелях ему нечего было делать. Если бы не гибель на войне (а он должен был погибнуть, его доконали бы менее романтическим способом.

Когда Скворцов вернулся, большинство людей, знавших о довоенной дружбе и соперничестве Скворцова с Пашкой, считало, что ему лучше не показываться Анне на глаза. Ей будет неприятен самый его вид — притащился из плена и унижения, нелюбимый и ненужный, тусклая тень, дрянная копия того, кто не вернулся. Скворцова не смутила слепая дурь окружающих: Анна была его спасением, но и он был спасением Анны, потому что лишь на нем одном лежал Пашкин отблеск. Но как бы ни был он вынослив и терпелив,

порой казалось, что ему не выдержать. Анне необходимо было без конца ворошить прошлое, и он, зажав сердце в кулаке, помогал ей в этом. Даже в пору самого острого соперничества он по-своему любил Пашку. Анна же заставила его возненавидеть мертвеца. Он поражался человеческому эгоизму: молодая, добрая, тонкая женщина, к тому же прошедшая войну со всеми ее страданиями, знающая по себе, что такое боль, и тоска, и невозможность соединиться с любимым, раздирала ему душу — Пашка... Пашка... Пашка... Она могла без усталости и передыху жгутом крутить выжатую до капли тряпку юношеских воспоминаний о Коктебеле с его каменными вершинами, скудной растительностью, сухими запахами, разноцветными камешками на заплеске, бухтами, поэтическими традициями, смешными и грустными песнями, походами в Отузы, Козы и Старый Крым, с дальними заплывами и оголтелыми теннисными баталиями, где Пашка всегда побеждал, как и во всех спортивных играх, с шашлыками на Кара-Даге и теплым плодоягодным вином, и нескончаемый ностальгический бред золотил ей синие радужки больших несчастных глаз. Скворцов вытерпел это, как и все остальное, что извело лучшие годы его жизни: несчастную любовь, войну, плен, немецкий лагерь, проверку, ссылку, унижительное возвращение домой. Он получил Анну. Но разве кончились его муки? Пашка по-прежнему торчал между ними, порой едва зримо, а порой так, что застил божий свет. Он невыносимо и грозно вырос, когда родился их первенец и Анна сухими, искусанными губами — рожала она долго и трудно — просипела, что имя сыну будет Павел. Кажется, тогда Скворцов до конца понял, что ненавидит Пашку. Проклятое имя долго мешало ему полюбить сына, о котором он так мечтал. Но еще в ранние годы мальчик без малейших усилий отмел предубеждение отца. Кроме имени, у него ничего не было от Пашки, несмотря на все скрытые и явные потуги матери вырастить его похожим на своего идола. Он был умен, хитер, уклончив, скрытен и полон странного в молодом существе презрения к людям. В нем было обаяние, гниловатое обаяние ранней испорченности, но что тут общего с размашистой и доверчивой манерой доброго богатыря, готового всех принять в свои непомерные объятия? Сын был шакалом, и это нравилось Скворцову. Он рассчитывал, что быстро созревающий и жадно

напитывающийся отрицательным опытом паренек возместит хотя бы частично тот долг, который числил за обществом его отец. В свою очередь, и сын ощущал в нем родственную душу, он рано уловил охлаждение матери и укрылся под отцову руку. Теперь имя Павел стало звучать иронически, поскольку им называли циничного, пьющего, курящего, очень себе на уме, скороспелого молодчика. У Скворцова было и другое опасение. Пашка и Анна принадлежали к одному физическому типу рослых, статных, смуглокожих, синеглазых брюнетов. Сын унаследовал узкое тело отца, его бледную кожу, светлые тонкие волосы, а мягкость движений и редкая, будто заблудившаяся улыбка — это то, что различало Анну с Пашкой. И тут Скворцову повезло. Так какого черта портит он себе путешествие, вновь буксуя мыслью в вязкой психологической грязи? Ведь нет проблем?.. Есть...

Ему надоело постоянное незримое присутствие Пашки. Убитому на войне молодому человеку, который — дико подумать — был в возрасте его молокососа сына, нечего делать в серьезной жизни стареющих, отягощенных опытом людей. Но он упорно лезет к ним: щенок, пляжный кумир, студент-недоучка, донкихотишко, солдатик, на котором не успело обмяться обмундирование. Сиди в своем солдатском раю, коли такой существует, и не суйся к взрослым, усталым людям, прошедшим огонь, воду и медные трубы. Скворцову не раз казалось, что между ними происходит любовь втроем, что Пашка получает часть положенного ему наслаждения... Бред, пакость!.. Беда в том, что, старея, он теряет упругость характера, каждая дурная мелочь, неудача, перепад Анниного настроения, ничтожная обида уже не отскакивают от него, а налипают мокрыми осенними листьями. Это недостойно его. Разве жизнь кончилась? Нет, она лишь склоняется к закату, и надо не жадно, не торопливо, а с мудрой сосредоточенностью опытного дегустатора втягивать каждую каплю бытия, но его подталкивают под руку, и вино проливается мимо рта.

Что же случилось, почему с годами, сглаживающими шероховатости, обтачивающими острые углы, ему стало не легче, а труднее с Анной, почему сильнее, болезненней задевает то, мимо чего он спокойно проходил прежде? Всю жизнь он бессознательно ждал от нее маленького, совсем маленького предательства прошлого,



предательства Пашки. Хоть бы на мгновение свела бы она его с пьедестала или разрешила бы это сделать другому. Четверть века у подножия Пашкиного памятника — да этого не выдержат и стальные нервы, а он человек сильно битый. Неужели не могла она хоть из сострадания, из брезгливой жалости — он и на такое согласен — кинуть ему ничтожную подачку? И ведь она догадывалась, что ему это нужно, а не поддалась, ну хоть бы от усталости — нельзя же всю жизнь держать оборону против человека, с которым вместе засыпаешь и просыпаешься. Какой твердый, душный и неженственный характер!.. А в Пашкиных руках она плавилась воском, но тот был слишком зелен, чтобы придать форму податливому материалу. Впрочем, она сама формировала себя для него...

Было томительно от старых мыслей и материальной близости душевно отсутствующего человека. Наверное, это усугублялось малым, замкнутым пространством корабельной каюты.

Что такое пространство и время не в философском, а в бытовом значении? Расстояния, версты, мили, пролегающие между людьми, зачастую сближают их силой тоски и страсти к соединению; время почти никогда не работает на людей. Он врал, уверяя себя только что в обратном. Сближение, взаимопроникновение угадавших друг друга людей происходит всегда вначале, затем рано или поздно начинается неуклонное разъединение, отстранение необратимое — отчуждение. Подавляющее большинство людей отвергнет эту мысль как не просто ложную, но даже кощунственную. Но вдовцы быстро женятся под предлогом, что им некому будет воды подать, а вдовы, не износив башмаков, в которых шли за гробом, или выскакивают замуж, или обзаводятся сожителем, обычно моложе себя. Освобождение от близкого человека, с которым ты прожил долгие годы, при всей несомненности горестных переживаний поначалу — немалое благо. Человеку нужна свобода, а он всегда утрачивает ее целиком или частично в многолетнем сосуществовании с другим человеком. Бывают, конечно, исключения... Впрочем, у Ани, если я окочурюсь первым, жизненной активности не прибавится, она будет делать все то же и так же, как делала раньше, с великой добросовестностью, не растрачивая на это ни крупинки личности; постель ее не интересуется, она не заметила, как перешагнула физиологический барьер,

положенный каждой женщине. Обо мне она грустить не станет и уже без всяких помех окунется в тину своих золотых воспоминаний. Когда-то я помог ей в этом и был нужен, но потом она заметила, что тихо, но упорно противлюсь окончательному превращению в рака, способного лишь к попятному движению. Ее это явно не устраивает, чему прямое свидетельство наше так весело начавшееся путешествие. И недовольство мной будет все возрастать и одновременно прятаться как можно глубже. Это изнурительно... А если она умрет раньше меня? Он не услышал в себе ответа. Подождал, но все в нем обезмолвилось. Он решил подойти к вопросу исподволь. Предположим, она меня бросит (что исключено), я сойду с ума, повешусь, ну, если не повешусь — ради детей, то совершу самые губительные поступки? Какие? Запью и закурю. Мой организм не принимает ни алкоголя, ни никотина. Брошусь в объятия продажных женщин. А где они, собственно, продаются? У нас нет профессиональной любви. Но кто-то этим все же занимается. Те же сотрудницы, что окружают меня в институте, так сказать, по совместительству. Скучноватый омут греха. Забвение едва ли обретишь, разве что измажешься в иле. Ну а если Аня умрет?.. Много тяжкого отвалится от души. Так много, что с оставшимся не прожить. Ему стало страшно, невообразимо и отчаянно страшно, что Аня возьмет да и умрет раньше его, и он громко застал.

— Что с тобой? — испуганно спросила она, мгновенно почувствовав неподдельность переживания, родившего стон, и вырвалась из своей темной глубины не только сознанием, но подавшимся к нему телом.

— Черт его знает... — пробормотал Скворцов, сразу поняв, что бой выигран, но почему-то не испытывая победного ликования. — Кольнуло что-то... Как спицей, — добавил он, морщась и потирая ладонью бок.

— Это не сердце? — Она уже рылась в сумочке, доставая оттуда нарядные заграничные лекарства, которыми сама не пользовалась, равно как и отечественными, но в чью чудодейственную силу для близких людей свято верила. Она никогда не предлагала болящему одну пилюлю, один порошок, всегда приготавливала целый набор взаимонейтрализующих и потому безвредных снадобий. Мнительный Скворцов это понимал и преспокойно отправлял в рот жменью веселых разноцветных лепешечек и шариков, запивая водой.

Сейчас привычный ритуал доставил ему особенное удовольствие, ибо, пользуясь озабоченностью Анны, он извлекал из своего положения выгоду благодарных прикосновений, умиленно-робких поцелуев в шею, мочку, плечо, висок. Требовалась двойная осторожность: не перебарщивать в энергии нежности, чтобы она не заподозрила обмана, и не распускать слюни старческой благодарности, что неаппетитно. Он хотел до конца воспользоваться плодами своей победы, это так восхитительно под озерную качку. Только следи, друг Скворцов, чтобы она не слишком боялась за твое здоровье, иначе все рухнет. Обмануть ее бесхитрость ничего не стоило, но обостренное чувство долга делало ее бдительной. Скворцов благополучно лавировал меж Сциллой и Харибдой. С каждой минутой она становилась все более ручной. Теперь нужно немного безумия, чтобы вынудить ее к другим уступкам, не столь губительным для его изношенного сердца, как намерение спуститься в бар и отобрать по коктейлю у их детей-пьяниц. Ничто не казалось Анне столь опасным для сердечника (у Скворцова было сердце водолаза), чем алкоголь. Она молила мужа пощадить себя. Что угодно, только не этот страшный яд. «Вот так-то, моя строптивца!» — нежно думал Скворцов, водя губами по душистым, густым, черным в синеву волосам.

У него была счастливая ночь, впрочем, как и всегда...

...Детишкам повезло куда меньше. Сын Паша пить не умел. На мужественном сленге современной молодежи это называлось так: «Принимает по делу, но не держит выпивку». Он отдавал себе отчет в своей позорной слабости, но всякий раз надеялся, что пронесет. И на этот раз, в пароходном баре, Паше казалось, что все будет о'кей. Из предосторожности он решил не мешать, держаться одного, самого слабенького пойла. К тому же девочка ему попалась высшего класса, и не было никакой нужды надираться, чтобы глупая, хотя и с претензиями, парикмахерша показала Афину Палладой.

Несмотря на весь свой жизненный опыт, Паша Скворцов никак не мог определить ее социальное и жизненное положение. Он подумал было, что она тоже путешествует с родителями, — студенточка, избалованное дитя, добившееся, вроде него с Танькой, полной самостоятельности. Новая знакомая решительно отвела этот вариант: вся прелесть подобных поездок побыть

одной среди чужих, совершенно незнакомых людей, освежить душу, иначе незачем ехать. Внезапно Паша обнаружил, что она куда старше, нежели ему показалось вначале. От напитков, жары, духоты, папиросного дыма будто осыпалась пыльца юности, лишив ее лицо расплывчатой прелести, черты определились и чуть погрубели. Кто же она? Некоторая загадочность навела на мысль об «Интуристе». Танцевала она лучше и современнее всех, пила с отменной легкостью, пепел стряхивала куда угодно, кроме пепельницы, за словом в карман не лезла; его волновал чуть хриловатый, словно ворчащий голос, каким она парировала, легко и остроумно, его выпады, нравился медленный, толчками, из глубины смехок, но больше всего нравилась та простота, с какой она пошла в его каюту, когда джазисты принялись гасить свет, чтобы повытрясти монету из оголтелых танцоров.

В каюте Пашу тут же стошнило. Новая знакомая вела себя спокойно и дружелюбно: давала воды, поддерживала ему голову прохладной ладонью за лоб, вытирала лицо мокрым полотенцем, чувствовалось, что все это ей не в новинку. Морали не читала, но все-таки уколола: «Эх, ты!.. А держался, как настоящий!» Ему было стыдно, до слез стыдно и досадно, он люто ненавидел себя, но все же сделал попытку вывернуться:

— Сроду такого не бывало. Пойло на меня не действует. Отравился сардельками за ужином. Ты помнишь эту гадость? — его передернуло от омерзения.

— Брось трепаться, сардельки были свежие... Ну, ладно, ты меня пригласил сюда как сестру милосердия, неотложную помощь?

— А куда торопиться? — он хотел потянуть время, чтобы прийти в себя. — Вся ночь впереди. Останешься у меня...

— Еще чего? Чтоб засыпаться? Давай не дури, или...

— Или что? — перебил он злобно, поняв, на кого нарвался.

— Или плати за испорченное платье.

— Пятерку на химчистку, так и быть... Покажи только, где испачкано.

— Дешевка! — сказала она. — Сопля на заборе. Клади пятьдесят, не то тебя так оформят, что папочке с мамочкой нечего будет на кладбище взять.

Паша был начитанный молодой человек, ему сразу вспомнился сэлинджеровский «Ловец во ржи» и щелчок

официанта, превративший юного героя в кучку дерьма. Ему этого вовсе не хотелось. Ну, влип!.. Потом будет интересно вспомнить, ребята ахнут... Но сейчас надо выходить из положения.

— Ладно,— сказал он покладисто.— Люблю таких баб. Не в деньгах счастье. Но сперва покажи работу. Я ведь тоже не фрайер.

Что-то похожее на уважение мелькнуло в ее холодных глазах...

Тане повезло еще меньше. Молоденьким девушкам часто нравятся мужчины много старше их, но у Тани тяга к «старью», как называл Паша избранников сестры, имела особый смысл. Она слышала смутно о любовной истории, пережитой матерью в ранней молодости. Человек тот погиб на войне, в памяти отложились мазки: высокий, смуглый, синеглазый... Остальное дорисовала фантазия с помощью киноэкрана. И юный весельчак Пашка оказался пожилым романтическим героем, молчаливым и загадочным, с роковой печатью на челе. Таня бессознательно поправляла портрет бывшего маминго возлюбленного под нынешний образ матери. Прекрасная меланхолическая пара владела ее воображением. В баре оказался человек того самого типа: высокий, загорелый, голубоглазый, с проседью, с твердым мрачным ртом — он с усилием разжал сухие губы, чтобы пригласить ее танцевать. Площадка была пуста, это смутило Таню, и все-таки она пошла. И не пожалела об этом, он танцевал, как Фред Астор, которого часто показывают по телевизору в отрывках из старых американских фильмов. Исходящая от него сила подавляла, и отнюдь не робкая Таня была благодарна ему за молчание, боясь показаться глупой. А он был умен каждым жестом, каждым взглядом и тем, как курил, как вел ее в танце, как молчал, особенно впечатляющим было его насыщенное молчание. И не нужны были никакие слова, чтобы он очутился у нее в каюте, где они сразу упали друг другу в объятия. А затем, как всегда, Таня захотела оборвать все на полдороге, ну, немного дальше, чем на полдороге, другие, поборовшись, смирились с этим, но не так повел себя ее загадочный избранник. Выражение значительного и неподвижного лица не изменилось, но он отверз молчащие уста, и стало страшно.

— Ты брось динаму крутить,— сказал Фред Астор.— Со мной такие номера не проходят. Напилась, нажралась — и деру!..

Это было так неожиданно, так не похоже на все его прежнее поведение и на все, что Таня слышала и видела в своей жизни, что она растерялась до потери памяти. Разве они были в ресторане?.. Разве они ужинали?.. А в баре вообще не подавали еды... Она тянула весь вечер один-единственный коктейль, второго он ей даже не предложил. Зачем он лжет?..

— Чего вы хотите? — спросила она шатким не от страха — от омерзения голосом.

— Возмещения расходов, — произнес он и, немного подумав, ударил ее по щеке.

Было не больно, а невыносимо обидно и стыдно. Глотая слезы, она открыла сумочку и протянула ему смятую четвертную.

— Это все? — спросил он угрожающе.

Она быстро закивала. Он взял у нее из рук сумочку, порылся там, нашел брошку с камешком и сломанным замком, опустил в карман. Бросив сумочку на столик, погрозил Тани кулаком и спокойно, чуть сутулясь, вышел.

Он пришел в свою каюту, разделся, принял душ и, волосатый, смуглый, мускулистый, прилег в плавках и майке на кровать. Вскоре вернулась его спутница — вероломная подруга Пашки.

— Порядок? — спросил он.

— Нормально. А у тебя?

— Фальшак. Соплячка и без денег. Взял вот это. Стоит чего-нибудь? — он кинул ей брошку. — Я в цацках не разбираюсь.

— Камешек настоящий. Ты дуся!

Кабюта погрузилась в темноту, а оконце высветилось бледным светом редеющей ночи...

Ранним утром, туманным, прохладным, но обещающим хорошо и быстро разгуляться — солнце поблескивало сквозь наволочь — теплоход причалил к богоярской пристани. Большой, белый, чистый и нарядный, он замер у подножия холмистого, каменистого, поросшего лесом острова с полуразрушенным монастырем по другую сторону, старинными церковками и часовенками по опушкам и в чаще, деревянными мостиками через ручьи и овраги, с туристскими тропами и звериными тропками, с широким большаком, ведущим к маленькому поселку возле монастыря, замер, погасив могучие моторы, на грани двух прохлад — резкой озерной и мягкой лесной, — со всей своей начинкой: хорошими и

плохими людьми, перепившими юнцами и грешными девчонками, жадными до впечатлений экскурсантами, растроганными любителями природы, уставшими от города труженниками, с подонками и мошенниками, с дисциплинированной, ловкой командой и хапугами джазистами, с весельем и печалью, поэзией, грязью, робкими признаниями, развратом, любовью, ошибками, воспоминаниями, надеждами, со всем, что составляет человеческую жизнь, современный Ноев ковчег, собравший на борту, как и в правек, каждой твари по паре — чистых и нечистых, — но и в скверне людской невоздержанности оставшийся безвинным. Уйдут на прогулку пассажиры, и вышколенная команда все приберет, выметет, отпылесосит, начистит, надраит, освежит, и он станет равно безупречен и внутри и снаружи, чтобы в следующую ночь опять превратиться в рай и ад, оставаясь при этом равным своей главной сути прекрасного судна, мощно и ровно рассекающего воды озер и рек.

Теплоход пришел точно по расписанию, причалил минута в минуту, и все, кто должен его был встретить, находились на своих местах: пристанские служащие, грузчики, почтари, медицинские работники, милиционеры, киоскеры, торгующие открытками, сувенирами и какими-то неправдоподобными изданиями по редким и специальным разделам знаний, попавшими невзгодой на пустынный остров; за пристанскими строениями, клумбой с розами и гвоздиками, подстриженным кустарником и громадным валуном ледникового периода уже дежурили над корявыми корешками, разложенными на газетных листах, самые несчастные минувшей войны, притащившиеся из монастыря, некогда крупнейшего инвалидного убежища. Сейчас монастырь почти опустел, и последние доживающие там его обитатели подлежали переводу на новое и лучшее место. Корешки, гордо именуемые богоярским женьшенем, не обладали никакими целительными и омолаживающими свойствами, но, подобно дальневосточному чуду природы, напоминали по форме уродливых таинственных человечков и пользовались спросом у туристов.

Давно уже объявил побудку бодрый и требовательный голос судового диктора, и сейчас из репродукторов, которые нельзя выключить, лилась бодрая духовая музыка, но пассажиры раскачивались медленно. Почти никто не закрыл окошек на ночь, доверяя июльской

ночи, и каюты настали к утру, не хотелось выползать из-под шерстяных одеял. Но пришлось, поскольку старинные вальсы все чаще прерывались строгим голо-сом диктора, предупреждавшего, что экскурсии ждать не будут. Горячий душ возвращал телу жар и бодрость, музыка уже не раздражала, а звала вперед, хорошо думалось о завтраке и ароматном спелом воздухе соснового Богояра.

Быстро раздевшись с завтраком, Анна сказала мужу, что подождет его на берегу, где экскурсантов должны разделить на группы — походы были разной трудности и продолжительности.

Она прошла мимо кают своих детей, даже не подумав постучаться и не замедлив шага, выбралась на палубу и по крутым сходням сошла на пристань, а оттуда — на прочную, недвижимую, надежную землю. В почти неощутимой зыбкости судового пространства и даже в строе-ниях, омываемых водой, она чувствовала странное и неприятное напряжение, а сейчас ее отпустило.

На берегу было довольно пустынно: первая смена еще не кончила завтракать, а вторая поджидала своей очереди. Какие-то пассажиры, не желавшие связывать себя официальной экскурсией, выпрашивали у мест-ных жителей, как пройти к монастырю и далеко ли до него.

— Дорога тут одна, — сказал мужичонка с корзиной, наполненной сосновыми шишками, и кивнул на боль-шак. — А идти недалече — километров десять.

— Ошалел? — возмутилась худенькая женщина в брезентовых рукавицах, толкавшая тачку с кирпи-чами. — И восьми нету.

— Может, и нету, — покладисто согласился любитель самовара.

— Да не слушайте вы их! — вмешался подрезавший кусты борцовой стати садовник. — Тут ровно семь километров.

— Шесть тысяч восемьсот сорок метров, — с угрюмой усмешкой отчеканил показавшийся знакомым Анне го-лос.

Пассажиры подались к валуну. Анна машинально последовала за ними и увидела калек, торговавших корявыми грязными корешками. Тут только вспомнила она о грустной участи Богояра — служить последним приютом тех искалеченных войной, кто не захотел вер-нуться домой или кого отказались принять.



— Точно высчитал!.. — заметил один из туристов.

— Не высчитал, а выходил, — подхватил другой. — Сколько раз промахал своими утюжками это расстояние? — спросил он безногого в серой, с распахнутым воротом рубахе, очень прямо торчащего над газетой с корешками.

О калеке нельзя было сказать, что он «стоял» или «сидел», он именно торчал пеньком, а по бокам его обрубленного широкогрудого тела, подшитого по низу толстой темной кожей, стояли самодельные деревянные толкачи, похожие на старые угольные утюги. Его сосед, такой же обрубок, но постарше и не столь крепко скроенный, пристроился на тележке с колесиками. Ему не по силам было отмахивать бросками тела почти семь километров от монастыря до пристани и столько же обратно.

За нарочитостью «свойского» тона туриста скрывалось желание благородной прямоотой, подразумевающей уважение к ратному подвигу и жестокой потере, установить добрую мужскую кроткость с половинкой человека. Ничто не дрогнуло на загорелом со сцепленными челюстями лице калеки, давшего справку. Он будто и не слышал обращенных к нему слов. Жесткий взгляд серых холодных глаз был устремлен вдаль сквозь пустые, прозрачные тела окружающих. Туристы почувствовали опасную неуютность этого человека и неловко, толкаясь, двинулись своим путем.

Анна пожалела, что не услышала больше его голоса, резкого, надменного, неприятного, во обладавшего таинственным сходством с добрым, теплым голосом Паши. Она подошла ближе к нему, но, чтобы тот не догадался о ее любопытстве, занялась приведением в порядок своей внешности: закрепила заколками разлетевшиеся от ветра волосы, укоротила тонкий ремешок наплечной сумочки, озабоченно осмотрела расшатавшийся каблук, затем, как путник, желающий сориентироваться в пространстве, обозрела местность: опушку сосново-елового бора с убегающими в манящую чащу тропинками, лужайку перед лесом, усеянную валунами, поросшую можжевельником и низенькими серыми березами-кривулинами; в лужайку мысом вдавался ярко-зеленый выпот, над которым кружил, будто спотыкаясь о воздух, черно-белый чибис, за большаком, ведшим, как она теперь знала, к монастырю — инвалидному убежищу, земля холмилась, на срезах взгорков

обнажалась каменная порода, а по другую сторону синело озеро, волны облизывали плоский берег, оставляя на песке и камнях клочья пены. Затем Анна будто вобрала взгляд в себя, отсекала все лишнее, ненужное и сбоку, чуть сзади сфокусировала его на инвалиде в серой грубой рубаке.

Она не сознавала, что нежно и благодарно улыбается ему за напоминание о Паше. Она думала: если похожи голоса, то должно быть сходное устройство гортани, связок, ротовой полости, грудной клетки, всего аппарата, создающего звучащую речь. Мысль отделилась от действительности, стала грезой, в дурманной полуяви калека почти соединился с Пашей. Если б Паша жил и наращивал возраст, у него так же окрепли бы и огрубели кости лица: скулы, челюсти, выпуклый лоб, полускрытый блинообразной кепочкой; так же отвердел бы красивый большой рот, так же налился бы широкогрудой мощью по-юношески изящный торс. Когда-то она любовалась Фидиевыми уломками в Британском музее, похищенными англичанами с фронтона Парфенона, и ее обожгла мысль: как ужасны оказались бы мраморные обрубки, стань они человеческой плотью. Этот калека был похищен Богояром из Британского музея, но обрубленное тело было прекрасно, и Анне — пусть это звучит кощунством — не мешало, что его лишь половина. Легко было представить, что и другая половина была столь же совершенна.

Чем дольше смотрела она на калеку, тем отчетливей становилось его сходство с Пашей. Конечно, они были разные; юноша и почти старик. Нет, стариком его не назовешь, не шло это слово к его литому, смуглому, гладкому, жестко-красивому лицу, к стальным, неморгающим глазам. Ему не дашь и пятидесяти. Но тогда он не участник Отечественной войны. Возможно, здесь находятся и люди, пострадавшие и в мирной жизни? Нет, он фронтовик. У него военная выправка, пуговицы на его рубашке спороты с гимнастерки, в морщинах возле глаз и на шее, куда не проник загар, кожа уже не кажется молодой, конечно, ему за пятьдесят. И вдруг его сходство с Пашей будто истаяло. Если б Паша остался в живых, он старел бы иначе. Его открытое, мужественное лицо наверняка смягчилось бы с годами, ведь по-настоящему добрые люди с возрастом становятся все добрее, их юная неосознанная снисходительность к окружающим превращается в сознательное всеохватное

чувство приятия жизни. И никакое несчастье, даже злейшая беда, постигшая этого солдата, не могли бы так ожесточить Пашину светлую душу и омертвить его взгляд. Ее неумемное воображение, смещение теней да почудившаяся знакомой интонация наделили обманным сходством жутковатый памятник войны с юношей, состоявшим из сплошного сердца. И тут калека медленно повернул голову, звериным инстинктом почуяв слезку, солнечный свет ударил ему в глаза и вынес со дна свинцовых колодцев яркую, пронзительную синь.

— Паша!.. — закричала Анна, кинулась к нему и рухнула на землю. — Паша!.. Паша!.. Паша!..

Она поползла, обдирая колени о влажно-крупитчатый песок, продолжая выкрикивать его имя, чего сама не слышала. Она не могла стать на ноги, не пыталась этого сделать и не удивлялась, не пугалась того, что обезножела. Если Паша лишился ног, то и у нее их не должно быть. Вся сила ушла из рук и плеч, она едва продвигалась вперед, голова тряслась, сбрасывая со щек слезы.

Калека не шелохнулся, он глядел холодно, спокойно и отстраненно, словно все это ничуть его не касалось.

Она обхватила руками крепкое, жесткое и вроде бы незнакомое тело, уткнулась лицом в незнакомый запах стираной-перестираной рубашки, но сквозь все это чужое, враждебное, нанесенное временем, дорогами, посторонними людьми, посторонним миром, на нее хлынула неповторимая, неизъяснимая родность, которая не могла обмануть...

Она знала, что он уйдет на фронт сразу, как только они вернутся из Коктебеля, где их застала война, но до этого они должны стать мужем и женой — не по штемпелям в паспорте, а плотью единой. Это она повела его вечером в Сердоликовую бухту. Но Пашка оказался фанатиком порядочности, ханжа проклятый!.. «Ты маленькая, я не имею права...» — «Я твоя жена!» — твердила она и царапала его от злости. Они были одни в ночной пустынности бухты, отрезанной от населенной земли каменистым мысом, который надо оплывать, чтобы попасть на сердоликовый берег. Анна сорвала с себя одежду, связала Пашку своим телом и повалила на сырой песок. Они целовались так, что у нее надолго омертвели губы, она не чувствовала ни горячего, ни холодного, ни произносимых слов. Она испытала острое, невыносимое наслаждение, заставившее ее кричать и

плакать, и при этом она знала, что Паша не взял ее. И ей казалось, что Паша испытал тот же ожог, хотя он, конечно, не плакал и не кричал. «Почему ты не научил меня этому раньше?» — приставала она. «Я думал, у нас впереди вечность», — она видела в темноте его большую улыбку. У них не было ничего впереди, и рай, открывшийся ей в Сердоликовой бухте, сразу стал потерянным раем. Она слышала, конечно, что существуют физиологически обобранные женщины, которые живут при этом нормальной женской жизнью, рожают детей, любят своих и чужих мужей и вовсе не томятся чувством неполноценности. Но она была не из их числа. Девушкой, не приняв в свое лоно любимого, лишь соприкоснувшись с ним, она испытала опалившее все нутро наслаждение. Она и за Скворцова пошла в надежде, что с ним, на ком Пашкин свет, ей удастся обмануть свою плоть и вызвать хоть слабое подобие чуда Сердоликовой бухты, но чуда не произошло.

Она узнала, что потеря ее невозполнима. Если не вышло с Алексеем, так не выйдет ни с кем другим. Ее костер мог зажечь только Пашка. А он предал, изменил ей со смертью, и все женское умерло в ней. Но оказалось, что его измена в тысячу раз подлее и злее, не смерть его забрала, а самолюбивая дурь, нищий мужской горор и, что еще глупей и ничтожней, неверие в ее любовь. Какой идиот, непроходимый, тупой, злой идиот!.. Загубил две судьбы. Человек — частица общей жизни мира, он не смеет бездумно распоряжаться даже самим собой, тем паче решать за двоих. Он обобрал ее до нитки, оставил без мужа, уложив ей в постель бледнокожую ящерицу, убил настоящих детей, подсунув вместо них каких-то убудков. За что он так ее обнесчастил? Неужели мстил за свои потерянные ноги? Господи, он так ничего и не понял в ней... Она старая баба, забывшая о своей сути, но вот она вдыхает его запах, трогает грубую ткань изношенной рубахи, и в ней ожило все то давнее, ночное, сердоликовое, и она так же безумно любит этого бесстыжего вора, укравшего у нее столько ночей и дней, укравшего всю жизнь, а за что он так?.. Душа ее скрючивается от боли, становясь под стать темным корешкам на газете, идиотскому символу его смирения. Она кричит, захлебываясь слезами:

— Какая же ты сволочь!.. Вор!.. Подлец!..

— Тише, — говорит он удивленно и беззлобно. — Что с тобой?

— Еще спрашивает?.. Где моя жизнь?

Она бьет его кулаками по любимому и ненавистному лицу, по твердой и гулкой, как панцирь, груди. Он обхватывает ее узкие запястья своей большой рукой, лапицей, рукой-ногой, ведь он ходит тоже ею, и зажимает, как тисками. Конечно, ей не вырваться, и тогда она плюет ему в лицо.

Он почувствовал теплую влагу ее гнева на своей щеке, подбородке, правом веке, и ему стало до отвращения нежно, так бы и не стирать ее слюну, пусть впитывается в кожу, плоть и будет ее частицей.

— Павел Сергеевич, разреши я вмажу дамочке,— предложил другой безногий коммерсант.

— Не волнуйся, Васильич,— сказал Паша.— Все в порядке!..— И вдруг заорал так, что жилы натянулись канатами.— Назад, Корсар!.. На место!.. Лежать!..

Анна услышала клацающий звук, ее толкнуло воздухом в спину, затем, источая горьковато-душный, не собачий, а дикий, лесной запах, мимо нее, рыча и поскуливая, прополз громадный овчар, нет, не овчар, а полуволок, с булыжной мордой и грязной изжелта-серой шерстью.

— Лежать! — повторил Пашка.— Спокойно.

Корсар зевнул с подвывом, похожим на стон. Он проглядел нападение на своего хозяина, его бесшумный, стремительный прыжок запоздал, стал не нужен, и стыдом сочилось лютое сердце.

— Ты хорошо защитился, подонок!

Корсар поднял морду и зарычал, обнажая желтые клыки.

Пашка ударил рукой по земле, и пес завыл, будто удар пришелся по нему.

— Ты не очень-то,— сказал Пашка.— Он полуволок. Я могу не успеть.

— Плевать я хотела,— сказала Анна.— Пусть разорвет.

У нее заломило голову в висках. Раз или два в жизни испытывала она эту страшную, будто последнюю боль; перед глазами все плыло: пространство, валун, инвалиды, чудовищный пес, корешки; из текучего, потерявшего глубину и контуры мира недвижно-четко и объемно выступало лишь смуглое юношеское лицо. Она сообразила, что Пашка снял свою ужасную кепку-блин, его по-прежнему темные, без седины, густые волосы удлиннили лицо, приблизив Пашку к прежнему образу, и еще

она заметила, что мир стал очень населенным: в нем появилось множество глаз, и все сориентированы на них. Очевидно, с ними что-то не в порядке или не в порядке с этими очеловеченными рыбами-телескопами, плавающими в текучем мироздании, как в аквариуме без стенок. Плевать ей на них. А вот руки у нее получили свободу и можно опять ударить Пашку, но пропало желание.

Окружающее перестало струиться, все вокруг обрело твердый абрис, освободил голову железный обруч,— как ясен мир в зрачках! И этим вновь ясным, чистым зрением она обнаружила в глубине пейзажа, на заднем плане валящей из теплохода толпы белое, будто судорогой сведенное лицо Скворцова, ее мужа, отца ее детей, отсыпавшихся в каютах на белом теплоходе, доставившем ее через вечность и тысячи верст к Пашке, у которого не оказалось ног, но есть огромная свирепая собака и темные корявые корешки.

Скворцов опрометью кинулся назад к сходням и пропал. Чего он так испугался? Да какая разница?

— Перенеси меня вон к тому лесу,— попросила она Пашу.— Как раньше, помнишь?

Он недобро усмехнулся.

— А ты — ножками. Мне — нечем.

— Ну почему же? — сказала она разумно и тупо.— Я хочу к тебе на руки.

Он поднял с земли два деревянных утюжка и показал, как передвигается, отталкиваясь ими от земли.

— Поняла?.. Знал бы, что пожалуешь, запрыг бы Корсара в тележку.

— А ты разве не ждал меня? — спросила она удивленно.

Он метнул на нее тревожный взгляд.

— Шесть тысяч восемьсот сорок метров,— сказала она.— Вон как ты точно высчитал!.. Значит, ходил к каждому пароходу. Не корешками же торговать?

— А чем — жемчугом?

— Не ври. Ты никогда не был вруном. Ты единственный до конца правдивый человек, какого я знала. Ты ведь не стал пьяницей? — спросила она с испугом.

— И это было,— ответил он равнодушно.— Но завязал. Уже давно.

— Вот видишь... Ты меня ждал, потому и ходил сюда.

Он никогда не задумывался, для чего ковыляет на пристань. Так уж повелось: встречать туристские пароходы. И все, кто был способен хоть к какому-то передвижению, принимали в этом участие. Тащились на костылях, на протезах, на тележках, с помощью «утюжков», ползком, а одного — «самовара» Лешу — старуха мать на спине таскала, привязывая к себе веревками, обхватить ее сыну было нечем. Иные торговали корешками, изредка грибами, но, положив руку на сердце, неужели ради этого одолевали они семь километров лишь в один конец? На Богояр большинство попало по собственному выбору, а не по безвыходности; сами не захотели возвращаться в семьи, к женам и детям, — из гордости, боязни быть в тягость, из неверия в душевную выносливость близких, притворились покойниками и похоронили себя здесь. А все равно тянуло к живым из большого мира, и, наверное, кое в ком теплилась сумасшедшая надежда, что среди сошедших на берег с белого теплохода окажется родная душа, и кончится искуса, и уедет он отсюда в ту жизнь, от которой добровольно отказался. Но даже те, кого не приняли дома, тянулись сюда за чудом, которого не ждали, за чудом раскаяния. Это все правда, но не главная правда, которая проще. Хотелось увидеть людей от туда, из той божественной жизни, которая заказана им, обитателям Богояра. Но ведь ОНА есть, есть, и ею живут иные из тех, что были рядом на фронте и тоже пролили кровь, но им больше повезло, им не нужно было уползать в чащу. Не так уж важно, почему человек оказался здесь: по свободному выбору или по необходимости, тем более что это не всегда установишь — иной вроде бы сам все решил, да что-то толкнуло его к такому решению, какое-то подсознательное знание. Но тянуло к белому теплоходу то немудреное, всем понятное чувство, что заставляет арестанта прикинуть к зарешеченному окошку: хочется глотнуть воздуха с воли, воздуха, каким были овечьяны веселые люди, шумно сходявшие на горькую землю Богояра...

Павел попал на остров не сразу, не из госпиталя, а пройдя долгий и страшный путь калеки-отщепенца. И, спасаясь от полной деградации, утраты личности, приполз сюда. Он ни на что не надеялся и не хотел никакого чуда, но одно затаенное желание у него все же было: ленинградцы рано или поздно совершают паломничество на Богояр, это так же неизбежно, как посе-

щение Шлиссельбурга или Кижей, и ему хотелось увидеть, какой стала Аня. Он был уверен, что она не узнает его, просто не заметит, а он из укромья своей неузнанности спокойно разглядит ее. «Спокойно», — он именно так говорил себе, кретин несчастный! А сейчас какой-то дым застил ему зрение, он не видел ее толком, лишь в первые минуты, когда она появилась и еще не узнала его, он поразился ее сходством с той, что осталась в его памяти. Потом он понял мучающимся чувством, что она не совсем такая, вовсе не такая, эта большая, грузная, стареющая, хотя все еще привлекательная женщина. Но схожесть была, она сохранилась в чем-то второстепенном: взмахе ресниц, блеске темных волос, родинке над левой бровью, и эти мелочи перетягивали то куда более очевидное, чем отяготили ее годы, и все-таки он не мог сфокусировать зрения, четко охватить ее облик.

— Идем, — сказала Анна, — идем туда.

И поползла в сторону леса.

— Перестань дурачиться! — крикнул он, и, почувствовав злость в его голосе, Корсар оцетинил загревок, глухо зарычал.

Павел замахнулся на него колодкой, пес заскулил, припал к земле.

— Встань, Аня! Иди нормально.

— А что?.. — похоже, она не поняла, чего он от нее хочет.

— Ты здорова?..

— Да... конечно! — Наконец-то она осознала странность своего поведения. — Ты не бойся, Паша!.. Я совсем нормальная и даже очень ученая женщина, доктор наук.

— Смотри ж ты! — усмехнулся безногий. — Какое у меня знакомство!.. А ну, доктор наук, вставай, хватит дураков тешить.

Анна послушалась, хотя далось ей это нелегко. Она словно отвыкла стоять на двух ногах, и как далеко земля от глаз!.. Паша взмахнул своими «утюгами»...

Они пересекли большак и по травяному полю, усеянному валунами, двинулись к опушке бора. Корсар плелся за ними, свесив на сторону длинный розовый грязный язык.

Опушка пустила вперед кустарниковую поросль: можжевельник, бузину, волчью ягоду.

«Зачем нас понесло сюда? — думал Павел. — Зачем мы вообще длим эту бессмысленную встречу? Ну,



увиделись... Это моя вина, не надо было караулить ее на пристани. Конечно, она права, я таскался сюда, чтобы увидеть ее, но зачем было соваться на глаза?.. Да я и не совался, она сама узнала меня. Что за нищенские мысли?.. Как будто я выпросил или выманил обманом эту встречу... Я не попрошайничал ни у людей, ни у судьбы... Это моя единственная награда, и сколько лет полз я к ней на подбитой кожей заднице! Пусть все это бессмысленно, а что не бессмысленно в моей сволочной жизни?.. Как поманила в молодости и с чем оставила?..»

Они не ушли далеко, но пристань со всем населением скрылась за пологим, неприметным взгорком, а им достался уединенный мир, вмещавший лишь природу и две их жизни. Анна подошла к нему — вплотную, надвинулась каланчой, он привык, что люди смотрят на него сверху вниз, а его взгляд упирается им в пуп, но сейчас это злило, тем более что она стала гладить его голову, шею, плечи, ласкать, будто милого мальчугана.

— Прекрати! — прикрикнул он. — Я щекотлив.

— Не ври, Паша. Ты не боялся щекотки. Я противна тебе? Неужели ты меня совсем разлюбил?

— О чем ты говоришь?.. Ты же взрослая женщина!.. Старая женщина, — добавил безжалостно.

— Я старая, но не очень взрослая, Паша, — сказала она добрым голосом. — Я только раз и была женщиной, с тобой, в Сердоликовой бухте, когда началась война.

— У нас же ничего не было.

— У нас было все. А больше у меня ничего не было.

— Ты что же — осталась старой девой?

— Нет, конечно. У меня муж, дети. Сын кончает институт... Боже мой! — воскликнула она, словно вспомнив о чем-то забавном. — Ты не представляешь, кто мой муж. Алешка Скворцов! Он стал такой важный, директор института...

— погоди! — перебил Пашка. — Твой муж — Скворцов. Разве он жив?

— Жив, жив!.. Ах, Паша, он мне все рассказал. Что бы тебе остаться с ним.. Ну зачем ты ушел?..

Они поменялись ролями: теперь калека долго и тупо смотрел на женщину, переставшую нести свой расслабленный бред, вернувшуюся к разумности, рассудительности, но почему-то утратившую всякую наблюдательность: ей невдомек было, какое впечатление произвели ее слова. Вся их встреча была цепью несовпадений.

Когда Анна, как ей представлялось, сумела шагнуть в тот прохладный мир реальности, куда приглашал ее всей своей твердой повадкой Паша, тому почудилось, что его засасывает в трясины ее бреда.

— Послушай,— сказал он осторожно.— О чем ты сейчас?.. Я не успеваю за твоими мыслями, все-таки не доктор наук. Снизойди к жалкому недоучке. О чем ты говоришь? Кто ушел, кто остался, где и когда все это было?

— Стоит ли, Паша?.. Я говорю о фронте... о вашем последнем дне с Алешкой. Ты не думай, он тебя не осуждает. Ты хотел, как лучше... Алешке, конечно, досталось: плен и... сам знаешь...

— погоди! — опять перебил Павел.— Что там все-таки произошло?

Ну чего он привязался? Какое это имеет значение? На что тратят они время!.. Черт дернул ее заговорить... Она ведь не знает ничего толком. Ей почудилось что-то обидное для Пашки в недомолвках Скворцова, и она прекратила разговор. Ушел, не ушел... Вообще-то остаться полагалось бы Пашке, это было более по-солдатски. Для Скворцова приказ — не фетиш. Но остался он. Значит, что-то другое сработало в Пашке — мысль о ней. Ему захотелось выжить, выжить во что бы то ни стало. Отсюда его нетерпение. Скворцова никто не ждал. Теперь по-новому осветилось многое. Пашка считал себя виноватым в гибели друга, оставшегося на посту, вот почему он приговорил себя к Богояру..

— Слушай, а ты правда жена Алешки Скворцова или это розыгрыш?

Она чуть не заплакала.

— Паша, милый, очнись!..

— Ты жена Скворцова!.. Это грандиозно!.. Жена терпеливого русского солдата, который остался на посту и получил христов гостинец. По-нынешнему гран-при!.. Нет, это грандиозно!..

Его лицо разжалось, как разжимается сведенный для удара кулак, и он стал удивительно похож на прежнего Пашку, когда тот в избытке хорошего настроения, ослепительной теннисной победы начинал дурачиться на коктейбельском пляже. Она едва не обрадовалась перемене, но инстинктивно почуяла, что сейчас он менее всего похож на себя прежнего. Даже когда он стоял у валуна, над грязными корешками, вперив неподвижный взгляд в пустоту, он не был так

далек от милого ей образа, как сейчас, когда обнажился в смехе его белоснежный оскал, лучились морщинки у синих глаз, взлетали, трепеща, большие кисти рук и весь он словно пробудился от медвежьего, на всю зиму сна. Но пробудился он не в себя прежнего, не в доброго витязя, готового заключить в объятия весь мир, а в больной надрыв, издевательскую — над кем и над чем? — ярость.

Она не понимала его внезапного срыва. Что это — лермонтовское: «Ты мертвецу святыней слова обручена»? Да ведь это не жизненно, так не бывает и не должно быть, живой думает по-живому. Она не собиралась оправдываться перед Пашей. Она пошла на фронт сандружинницей вовсе не в надежде его найти, такое бывает лишь в плохих фильмах, а потому, что хотела быть, где убивают. Ее не убили, даже не ранили, она вернулась в свой город, чтобы жить и ждать. Она и ждала, пока не пришел Скворцов и не отнял последнюю надежду. Была работа, был любящий пострадавший человек, Пашин друг, свидетель их короткого счастья, она не могла его полюбить, но уважала его чувство, его стойкость, и еще ей казалось: у нее может быть сын, похожий на Пашу. У многих людей для того, чтобы жить, еще меньше оснований. Но что случилось с Пашей? Отчего он взорвался? Когда она сказала, что Скворцов ее муж. Странно... Скворцов был его другом с раннего детства, они десять лет просидели за одной партией, поступили в один институт, полюбили одну девушку. Скворцов полюбил раньше, но ему на роду было написано во всем уступать Пашке. Со стороны это казалось естественным: Скворцов был интересным молодым человеком, а Пашка — явлением, праздником, божьим подарком. Так его все и воспринимали. Поначалу ее отпугнула победительность курортного баловня. Бывают такие люди — для летнего отдыха. Во все играют, плавают «за горизонт», всегда в отличном настроении и загорают быстро, дочерна, без волдырей, и все дается их рукам: костер, шампуры с жирными кусками баранины, трухлявые пробки бутылок, гитарные струны. А в городе эти люди большей частью линяют, гаснут: пляжный Аполлон оказывается непреспевающим служащим, студентом-тупицей, просто лоботрясом. Вместо прекрасного наряда смуглой наготы — жалкий ленторговский костюмишко, а куда девалась вся отвага, ловкость, покоряющая свобода слов

и жестов? И все же она влюбилась в Пашку уже там, на берегу моря, когда он и внимания на нее не обращал, упоенный своими первыми взрослыми романами. А в Ленинграде она была согласна и на тупицу, и лоботряса, на последнюю шпану — любила без памяти. Но Пашка и в городе остался богом. Она вполне допускала, что Скворцов не слишком страдал, может, и вообще не страдал, находясь в тени, далеко не все люди стремятся в лидеры. И Пашка не стремился, но становился им неизбежно в любой компании, в любом обществе, в институте, на стадионе, и смирился со своим избранничеством, с тем, что ему всегда оказывают предпочтение. Быть может, он заплатил за это известной эмоциональной слепотой. Так он был ошарашен, узнав от Ани, что оказался счастливым соперником своего друга. Скрытность Скворцова привела его в ярость. «Домолчался, идиот несчастный!» — «А если б ты знал?» — «Обходил бы тебя, как Кара-Даг», — честно сказал Пашка. «За чем же дело стало?» — хотела она обидеться. «Поздно. Люблю». Проиграв, Скворцов остался на высоте. О Паше этого не скажешь. Что-то есть роковое в его характере: срываться в последнюю минуту. Так случилось на фронте, так случилось сейчас, перечеркнув его образ взрывом низкой, истерической злобы. Она и представить себе не могла, что такое скрывается в Паше. Ну и пусть, что Господь ни делает, все к лучшему. Кончилось наваждение, она обрела свободу от этого человека, хоть к старости, хоть на исходе плохо и горестно прожитой жизни. Свободна... Пуста, легка и свободна. Черта с два! Плевать ей на его «низкую злобу», на зависть и ревность к Скворцову, на то, что он откуда-то там ушел, да пропади все пропадом, ей никого и ничего не надо, кроме него самого. Любимого. Единственного. Но, может, ему надо от чего-то освободиться, выплюнуть из души какую-то дрянь?

— Паша, — сказала она тихо, — что там было?..

Он мгновенно понял, о чем она спрашивает. Его будто ледяной водой окатило — перестал дергаться, размахивать руками и твердить свое: «Грандиозно!.. Грандиозно!» Только дышал тяжело, и ей нравилось, как мощно ходит его грудь под серой застиранной рубашкой. И опять она подумала: какое ей до всего этого дело?..

— Ты же сама знаешь, — как будто из страшной дали донесся до нее голос. — Все знаешь от Скворцова. Мне нечего добавить.

Ну и ладно... Надо сесть на землю, чтобы видеть его лицо. Когда солнце бьет ему в глаза, радужки становятся такими же синими, как раньше, от нагретой кожи тянет тем же «смуглым» запахом, той же здоровой, чистой жизнью. Она так быстро и бесшумно опустилась на траву возле него, что он не заметил ее движения и не смог ему помешать.

— Паша... — позвала она, дыша им, его кожей, потом, рубахой.

Он потупил голову, изгнав синеву из глаз, лицо стало окаменелым, холодным, всему посторонним, как тогда у валуна. Но ее нельзя было сбить с толку, в лесу полно набродов: пересекающихся, сплетающихся, уводящих в сторону, но хороший охотничий пес держит след.

— Паша... О чем мы говорим?.. Кому это нужно?.. После стольких лет... После твоего воскрешения...

— А я и не умирал, — прервал он с подавленной яростью, он овладел собой, но внутри все клокотало. — Я умер лишь для тебя... и Скворцова.

— Бог с ним, со Скворцовым, — устало сказала Анна. — Но что я могла сделать?.. Ты же исчез. Я посылала запросы всюду. Ответ один: пропал без вести.

— Пропал — не убит.

— Но все знали, что за таким ответом. Могло мне в голову прийти, что ты скрываешься? Это чудовищно, Паша, какое право ты имел так мне не верить? Господи, я бы примчалась за тобой на край света.

— На тот край света ты бы не примчалась, — сказал он почти спокойно.

— Почему?

— Потому что это действительно край света. Не географически, конечно. Я попытался жить среди нормальных людей. После госпиталя. Когда меня наконец дорезали. В Ленинград я не поехал. Все равно ни родителей, ни сестры уже не было... Конечно, я думал о тебе, — произнес он с усилием, — зачем врать?.. Но и разжевывать нечего, так все понятно. Я решил начать сначала, доказать свое право быть среди двуногих. На равных, хоть я им по пояс. Не вышло... Помнишь, как было после войны? На всех углах поддавшие калеки торговали рассыпными папиросами. Коммерция нищих. Я этим не промышлял, учился на гранильщика. Но стоило зазеваться на улице, мне тут же кидали мелочь или рублевки. Никто не хотел обидеть, напротив,

жалели, от собственной худобы отрывали. Особенно бабы, я ведь красивый был, помнишь? Но это меня доконало. Казалось, мне указывают настоящее место. Глупо?..

Она никак не отозвалась. Анна слышала каждое слово, но не пыталась вникнуть в суть, ей важно было лишь то, что скрывалось за словами. Похоже, он давно заготовил эту исповедь, проговаривал про себя, может, обращаясь к ней, но какое отношение имели эти старые обиды к чуду их встречи? Он хотел что-то объяснить, в чем-то оправдаться — все это лишнее. Пропавших лет не вернуть. Так зачем терять и настоящее?.. А может, он возводит какое-то обвинение против нее? И это лишнее. Все лишнее. Но ему зачем-то нужно выговориться прямо сейчас, словно для этого не будет другого времени. Паша, хотелось ей сказать, опомнись. Это же я, Аня, девочка с коктебельского пляжа, женщина — пусть ненастоящая — из Сердоликовой бухты. Но Паша не слышал ее молчаливой мольбы — с подавленной яростью продолжал бубнить о своем падении.

Он тоже торговал вроссыпь отсыревшими «Казбеком» и «Беломором», а выручку пропивал с алкашами в пивных, забегаловках, подъездах, на каких-то темных квартирах-хазах, с дрянными, а бывало, и просто несчастными, обездоленными бабами, с ворами, которые приспособливали инвалидов к своему ремеслу, «выяснял отношения», скандалил, дрался, научился пускать в дело нож. И преуспел в поножовщине так, что его стали бояться. Убогих он не трогал, а здоровых пластал без пощады. Ему доставляло наслаждение всаживать нож или заточенный напильник в распаленного противника и чувствовать, что он, огрызок, полчеловека, сильнее любой, все сохранившей сволочи. Он думал, что в конце концов его зарежут соединенными силами, и не возражал против такого финала. Но обошлось без крови — жалким, гадким, смехотворным позором. Раз к концу дня, по обыкновению на большом взводе, он сцепился с девкой из магазина, поставлявшей им краденые папиросы. Девка его надула, чего-то недодала, но не денег было жалко, взбесила ее наглость. Он преследовал ее на своей тележке по Гоголевскому бульвару от метро до схода к Сивцеву Вражку. Девка была здоровенная, все время вырывалась, да еще со смехом. А ударить бабу по-настоящему он даже тогда не мог. Так дотащились они до спуска на улицу, здесь он

опять ухватил ее за карман пыльника. Она дернулась, карман остался у него в руке, а он сорвался с тележки и кубарем полетел по ступенькам. При всем честном народе. На тележке же штаны необязательны, их все равно не видно за широким твердым кожаным ободом. И тогда он сказал себе: все, это край. И подался на Богояр.

— Хорошая история? — спросил он злорадно.

Она не ответила. Обняла его, навлекла на себя, поймала сомкнутые губы и откинулась назад.

В слившихся воедино людях звучала разная музыка. Ее восторг был любовью, его — любовью и ненавистью, сплетенными, как хороший ременный кнут. Под искалеченным и мощным мужским телом билась не только любимая плоть, но вся загубленная жизнь.

Она была почти без сознания, когда он ее отпустил. Но, отпустив, он вдруг увидел ее смятое, милое, навек родное лицо, услышал слабый шорох волн, набегающих на плоский берег бухты, чтобы оставить на нем розоватые прозрачные камешки, — все мстительное, темное, злое оставило его, любовь и желание затопили душу. Он сказал ее измученным глазам:

— Лежи спокойно. Усни. Я сам.

...Обхватив голову руками и чувствуя под ладонями вздувшиеся рогатые вены на висках, Скворцов силился понять, что теперь будет и как ему выйти из новой и самой страшной ловушки, которую когда-либо расставляла перед ним жизнь. А ведь их и так было немало, иные захлопывались, но он, как лиса, отгрызал прищемленную лапу и уходил. А лапа потом отрастала. Но сейчас ловушка захлопнулась наглухо, тут не отделаешься частицей тела, не уползешь в берлогу, кропя землю густой горячей черной кровью. Но безвыходные положения бывают лишь с согласия человека, а он этого согласия не давал. Если он смог уйти от самого грозного и безжалостного, что есть на свете, — от государства, то справится с любым противником. Иначе грош ему цена. Пашке его не опрокинуть — где доказательства?.. Оговорить можно кого хочешь. На его, Скворцова, стороне десятилетия устоявшейся совместной жизни, дети, дом, прочный быт с кругом обязанностей, привычек, отношений. Она повязана, опутана, привязана бесчисленными нитями, которые удержат стареющую женщину от юных авантюр. Не уйдет же она к безногому обитателю инвалидного дома. Но этот безногий был Пашкой, и Скворцов допускал рассудку вопреки, что

тут возможно все. Даже самое дикое, нежизненное и непостижимое трезвым дневным сознанием. Она бросит все, наплюет на дом, детей и работу, не говоря уже о нем. За ее утомленностью — громадная энергия... разрушения. Она способна на любой поступок, Скворцов ощущал это тем тонким и чутким местом под ложечкой, где помещается инстинкт защиты; оттуда шли панические сигналы, и лучше довериться им, чем логическим построениям, бессильным перед стихией.

Надо же случиться такому на последней прямой, когда, казалось, все страшное уже миновало и неоткуда ждать удара. Сам виноват — позволил расслабиться чувству самосохранения. Ведь он прекрасно знал, что на Богояре спокон веку находится инвалидное убежище. Правда, говорили, что его куда-то перевели. Следовало проверить это, прежде чем отправляться в сентиментальное путешествие. И почему он был так уверен в Пашкиной гибели? Он исходил из характера Пашки: такие не приходят с войны. Вот он и не пришел — в главном ошибки не было. Следовало учесть, что не прийти назад может и живой. Знать бы, где будешь падать, соломки бы подложил... А так и надо жить, только так: заранее подкладывать соломку. Этим и отличается умный от дурака, ответственный человек от жалкого разгильдяя. На кой черт понадобилась ему эта бессмысленная поездка? В дружную семью поиграть захотелось? Неужели на свете мало вполне безопасных мест? Можно было махнуть машиной в Таллинн. Заказать номера в «Виру», там прекрасный ресторан, гриль-бар, даже ночная программа. И никаких искалеченных войной. А если они и есть, то тихо сидят дома, а не путаются под ногами у приезжих. Ладно, мечтатель!.. Думай лучше о том, какую избрать линию поведения. Все зависит от того, что ей там Пашка н а в р е т. Ну, это заранее известно. Доказать ничего нельзя. Все дело в том, кому захочет она поверить. Конечно, она поверит Пашке, если... если захочет поверить. Лучше не тешиться пустой надеждой, а смотреть правде в глаза.. Скворцов вдруг заметил, что грызет ногти. Обратительная привычка детства, от которой он поздно и с трудом отучился, вернулась к нему. Он обкусывал ногти, отдирая зубами заусеницы до крови, выгрызал мягкую кожу под ногтями и с упоением поедал обкуски собственной плоти, будто и впрямь примерялся к лисьему способу освобождения из капкана.



...Младший Скворцов наконец очнулся от долгого, по-юношески глубокого и полного сна, не омраченного ни выпитым накануне, ни унижительным приключением, о котором вспомнил сразу, едва продрал глаза. Но странно, сейчас о вчерашней истории думалось не только без огорчения и злобы, а с некоторым удовольствием. Он заставил эту дрянь повертеться. Он так и скажет ребятам, когда вернется в Ленинград. А что, если перехватить у давшего ему жизнь денег и продолжить игру? Нет, хорошенького понемножку. Сегодня он удовлетворится чем-нибудь попроще. Даже такому рисковому мужику, как он, требуется передышка. Он прошел в ванную комнату, раскрутил кран с горячей водой, пустил белесый от пара душ и с наслаждением ошпарился кипятком — у него была «обалденно» нечувствительная кожа, чем он очень гордился. Затем пустил ледяную воду, прямо под душем почистил зубы и вышел из ванной бодрый, свежий, в отличном настроении, готовый для новых подвигов...

Его сестра не так легко расправилась с вчерашними впечатлениями. Она даже поплакала, вспомнив об украденной, да нет, нагло взятой у нее на глазах, словно конфискованной, брошке. Это была дорогая вещь — подарок отца на совершеннолетие, — хотя она не удосужилась спросить, сколько стоит. Отцу хотелось, чтобы она спросила о цене, но зачем потакать слабостям взрослых. Она же не собиралась продавать эту брошку. Видимо, уже тогда подсознательно решила подарить ее пароходному гангстеру. Обидно, противно, унижительно. Таня улыбнулась. Может, когда она станет такой же старой и потухшей, как мама, она вспомнит о вчерашнем как о смешной, простительной, даже милой ошибке бесшабашной молодости. Надо скопить побольше впечатлений на черные дни старости. Интересно, осмелится ли этот страшный человек прийти вечером в бар? «Осмелится»!.. Просто и спокойно придет, как на службу, чтобы объегорить очередную дуру. А может, надо заявить о нем капитану? Хорошо она будет выглядеть! Надо будет обеспечить себя на вечер кавалером понадежнее, чтобы этот прохвост опять не пристал. Да нет, он же видел, с нее нечего больше взять. Кроме молодости и красоты, усмехнулась Таня, но это его меньше всего интересуется.

...Экскурсанты, разбитые на группы и ведомые ошалевшими от скуки гидами, ныряли в глубокие

балки, карабкались навздым, делая вид друг перед другом и перед самим собой, что очарованы однообразной флорой острова и останками деревянных церквушек и часовен, поставленных отшельниками, божьими, но крайне неуживчивыми людьми, которым оказалось тесно в пустынности российских пространств. Туристы то и дело поглядывали на часы, словно могли ускорить движение почти остановившегося времени и вернуться на теплоход, где уютные каюты, музыка, телевизоры и водка.

...Двое на опушке вернулись из поднебесья, впрочем, женщина, похоже, этого не сознавала, она даже не потрудилась одернуть платье, это сделал мужчина. Анну удивил его жест. Пусть увидят ее нагой. Она безмерно гордилась своим телом, всю жизнь таким ненужным, тяжелым, обременительным, но сохранившим способность к чуду и сейчас принесшим ей столько счастья. Она повернулась на бок, в его сторону.

— Надо сделать так, чтоб мы уехали вместе, — сказала Анна.

— Не понимаю.

— На нашем теплоходе.

— Куда?

— Ко мне, разумеется.

— Что за дичь?

— А ты как думал? Я тебя не отпущу. Ты пропадешь слишком надолго. Еще тридцать лет мне не выдержать, — в шутливости ее тона дрожала тревога.

Опустошенность, неизбежная после взрыва страсти, начала заполняться в нем чем-то горьким и недобрим. А ведь только что казалось, что внутри рассосалась старая, с колючими углами затверделость. Нет, она осталась, лишь повернулась, сдвинулась с места и легла хуже, неудобнее, больнее. Раньше он мог лишь догадываться, чего лишился, теперь — знал.

— А как же твоя семья? — спросил с усмешкой.

— Ты моя семья.

— Вон что!.. А жить мы будем со Скворцовым?

— Нам есть где жить, Паша. Ни о чем не беспокойся.

Это моя забота.

— Видишь ли, — произнес он тягуче, — заботы не только у тебя. Тут есть парнишка, правда, парнишке этому уже за пятьдесят, но он так и не стал взрослым человеком. Почему — я тебе расскажу... оставь мою руку в покое!.. Его взяли в армию перед самым концом

войны, прямо из школы, одолжили на месячишко и отпустили без рук, без ног. Он был из таежной деревни с подходящим названием Медвежье. Домой не поехал, сразу — на Богояр. В деревне у него оставалась старуха мать. Отец и два брата давно умерли от туберкулеза. А он, хоть и поскребыш, вырос на редкость здоровым, крепким, гладким, кровь с молоком, и не хотел, чтобы мать увидела его обрубком. Но старая полуграмотная крестьянка не поверила в гибель сына и отправилась разыскивать его по всей России. Как она жила, где, чем питалась, непонятно, но через три с лишним года появилась здесь. И осталась, ехать им было некуда.

— Ты хочешь сказать, что мне...

— Нет! — отрубил он. — Лучше дослушай. Она устроилась тут сторожихой. Каждое воскресенье привязывала сына к спине и несла на пристань. Сажала на скамейку, вставляла ему в зубы зажженную сигарету, он дымил, смотрел на людей и улыбался. Близость матери помогла ему остаться пацаном с детской улыбкой, детским взглядом, детской чистотой и незлобливостью. Когда мать умерла, я стал таскать его на пристань. Сейчас он угасает, без болезни, без видимой причины. Я не могу его бросить.

— Все поняла. Я останусь тут.

— Ты?.. Здесь не нужны ученые дамы.

— Я была санитаркой на фронте. Пусть он живет как можно дольше — твой дружок. А когда его не станет, мы уедем в Ленинград.

— Как все просто!.. По первому знаку бросить землю, на которой прожил четверть века... Не перебивай! Я отдаю должное твоему великодушию. Ты готова составить мне компанию... Помолчи, говорю!.. Видишь ли, здесь тоже идет жизнь, какая ни на есть, но человеческая жизнь со своими заботами, обязательствами, отношениями. Тебе даже в голову не пришло, что у меня может быть женщина.

— Еще бы!.. Я не сомневалась... Смотри, как ты богат, Паша, по сравнению со мной. Я могу бросить все, меня ничего не держит. А у тебя и друзья, и обязанности, и любимая женщина.

— Я не называл ее любимой — ни тебе, ни ей. Но она терпела меня почти десять лет. И сама понимаешь, не за богатство и положение.

— А я терпела без тебя — тридцать. И нечего ею восторгаться. Любая баба предпочтет тебя кому угодно.

— Да, лакомый кусок! — сказал он, не поддаваясь ее интонации. — Первый парень на Богояре. Так что видишь, нас голой рукой не возьмешь. Мы тут гордые. А ты, Аня, возвращайся домой, в свою жизнь.

— Ты больше не любишь меня? — она зашлась громким плачем, и на мгновение ему почудилось, что она актерствует, притворяется.

Он тут же устыдился своей низкой подозрительности. Будь добрым, в этом больше достоинства и силы.

— Я люблю тебя и всегда любил, ты сама знаешь. Нам крепко не повезло. Что поделаешь, Леше из Медвежьего не повезло еще больше, но даже и он не самый несчастный. Все-таки мы увиделись. Я дождался тебя. Круг завершен. Сегодняшнее не принадлежит действительности. Так не бывает. А тут случилось и останется в нас...

— Скоро кончится эта проповедь? — Она только сейчас поняла, что за его словами не жестокий каприз калеки, а принятое решение. — Зачем ты прячешься за словами? Ты просто боишься оторваться от этого берега, боишься перемен, большой жизни, от которой отвык.

— «Боишься» — это чтоб оскорбить? Ни черта я не боюсь. Скажи: «Не хочешь», и ты права. Не хочу я вашей жизни, вы к ней привыкли, вработались, а я нет. Думаешь, там на пристани я ничего не слышал, не видел?.. Зажравшиеся и вечно ноющие мещане — вот вы кто!.. Где морда, где задница — не поймешь, а все ноете, что с продуктами плохо. И запчастей не достать. И гаражи далеко от дома. С души воротит. Нет, не хочу я твоей «большой» жизни, мне в ней тесно будет.

— Жизнь разная, Паша.

— Под этим подписываюсь. Мы свое сделали, другие продолжают работу. Но за ними мне не угнаться, а с иными — не хочу. Твое окружение наверняка из тоскующих по запчастям, шиферу, загранкам и прочей тухлой муре. Да ну вас всех к дьяволу! Мы вас не трогаем, оставьте нас в покое. — Плотину прорвало, и, махнув рукой на все благие намерения, он заорал: — Не хотим!.. К чертовой матери!.. Зачем ты сюда притащилась, кто тебя звал?..

— Ты, Паша, — сказала она беззлобно. — Ты, родной.

— Ну, ладно... — он перевел дыхание. — Меня занесло. И все-таки это не такая чушь, как тебе кажется. Когда-нибудь поймешь.

— А я уже поняла. Ты не хочешь в Ленинград. Хочешь здесь остаться. И я с тобой.

— Да, много ты поняла!..— Он смотрел на ее любящее покорное лицо, на загорелые округлые, но уже немолодые руки, на поцарапанные травой ноги, смятую юбку, и его раздражало решительно все в ней: и моложавость, и пятна возраста, и доверчивая неприбранность, и золотая цепочка на шее, и покорность глаз, готовность повиноваться каждому его слову, только чтоб он не требовал разрыва. Он раздавил, как окурок в пепельнице, вновь нахлынувшее раздражение, голос его прозвучал сердечно:

— Прощай, Аня. Спасибо тебе за подарок. Я этого никогда не забуду.— И, отвернувшись, взмахнул «утюгами» и послал вперед свое тело.

Анна не пошевелилась. Она не верила, что он может уйти. И Корсар не верил, он тоже остался на месте, лишь приподнял голову и наострил одно ухо, другое, перебитое или перекушенное, висело бессильно. А Паша все кидал и кидал свои «утюги», мощно бросая себя вверх и вперед — каждый бросок был куда больше человеческого шага. Анне представилось, что он вознесся над землей, к которой его так низко прибило, и летит по воздуху прочь от нее, ее рук и губ, ее любви и преданности, удирает, не поняв осеившего их чуда. Неужели так непроглядна тьма в его душе?.. Корсар первый прозрел правду, он шумно выдохнул воздух и помчался за хозяином.

Анна тоже вскочила и побежала. Но ее завернуло сперва на болото, а когда выбралась из кисло-смордной топи — на вырубку, и тут она сломала каблук о толстый корень. Она сбросила туфли, побежала босиком, но укололась, оступилась, зашибла пальцы, захромала и поняла, что ей не угнаться за Пашей, который далеко-далеко впереди летел над белесой дорогой темным, все уменьшающимся шариком.

И Павлу казалось, что он летит. Толкнись чуть сильнее, собери потуже тело, и ты вознесешься под облака, увидишь весь остров с пристанью и белым теплоходом, который в последний раз приплыл сюда для тебя.

Он был доволен собой. Получилась великолепная мужская игра: он взял женщину, которую когда-то любил, получил от Скворцова по старому долгу. И не дал себя захомутать. Он пожалел ее детей, пусть живут, не зная, что отец их трус и подлец. Он снова остался на

посту, как много лет назад, верный долгу и приказу, отданному на этот раз не белобрысым мальчишкой-лейтенантом, игравшим со смертью в орлянку на чужие жизни, а своей собственной совестью.

А ребята, конечно, заметили, как он удалился в лесок с приезжей, думал Паша, летя над Богояром. Небось ждут не дождутся молодецкого рассказа. Здесь не знали зависти, любая удача одного становилась удачей всех, подтверждая общую жизнеспособность. Но когда он пришел в палату и на него накинута с жадно-насмешливыми вопросами, он сказал серьезно и укоризненно:

— Бросьте, ребята!.. Это сеструха.

Все сразу замолчали. Не потому, что поверили, но Паша был командиром, атаманом, паханом, и его слово — закон...

...Анна с силой распахнула незапертую дверь каюты. Скворцову показалось, что она пьяна: почему-то босиком, кофточка выскочила из жеваной юбки, подол замаран землей, волосы растрепаны, лицо бледное, мятое и сырое, как после слез.

— Что с тобой?.. В каком ты виде?..

— Я была с Пашей, — объяснила она свой вид.

Скворцов принял откровенность за цинизм, это придало ему смелости.

— Я видел его и не хотел мешать. Я не допускал, что моя жена может настолько потерять себя.

— А пошел ты!.. — устало произнесла Анна и тяжело опустилась на койку.

— Что он тебе сказал? — Скворцов понял, что случилось самое худшее, и голос его сорвался в петушинный крик.

— Какое твое собачье дело? И не ори сиплой фистулой. Не ори на мать своих детей, так, кажется, я называюсь в патетические минуты?

— Что он тебе сказал обо мне? Какую грязную ложь?

Она поглядела на него искоса, в мгlistом взгляде он прочел свой приговор.

— Я знаю... Клевета ходит торными дорожками. Он врал тебе, подонок, что это я ушел, а он остался? В точку?

Она повернулась к нему, лицо ее стало здешним, присутствующим.

— Он мне ни слова не сказал...

— Как не сказал? — во рту пересохло. Скворцов облизал небо, десны, губы.

— А почему, собственно?.. Господи, теперь я понимаю!.. И как могла я, дура окаянная, поверить, что Паша!.. Конечно, это ты ушел, трус, предатель. Бросил товарища, чтобы спасти свою шкуру. И Пашка стал калекой, а я несчастной на всю жизнь.

— Ты бредишь? — пробормотал Скворцов.

— Ловко придумал!.. Ничего не утверждал, а тень навел. И все ускользал от прямых слов... щадил память товарища. Я попалась и замолчала. И почему-то поверила в Пашкину смерть... Ох, ты знаешь людей, по-подлому, но знаешь. А вот столкнулся с благородством и — сам себя в дерьмо усадил. Как же я тебя ненавижу!..

Скворцов молчал. Возражать бессмысленно. Он попался, как последний идиот. Нет хуже иметь дело с такими, как Пашка, никогда не знаешь, что они выкинут. Могло прийти в голову, что калека будет молчать? Ведь это его единственный реванш. Преподнести женщине, что она живет с предателем, шкурой, трусом. А он вовсе не был ни трусом, ни предателем. Просто не захотел обреченно, как бык на бойне, ждать смерти. Пашка из породы рабов. Ему приказали, и все — собственная воля и мозг отключены. А в нем нет этого рабьего, он понял, что о них или забыли, или белобрысый лейтенант сыграл в ящик. Сколько могли держаться два человека? У них оставалось по одному диску, на что тут рассчитывать?.. В нем была воля к жизни, а в Пашке не было. Ему не повезло, он наткнулся на немцев, не успел содрать автомат с шеи, но ведь он мог выйти к своим и спасти Пашку. Глядишь, стал бы шафером с бантом на Пашкиной свадьбе. Чудесная картина! Всю жизнь мечтал стать благодетелем. А по ночам кусал бы пальцы. Спасибо!.. «Кто падет, тому ни славы, ни почета больше нет... Доля павших — хуже доли не сыскать». Это знали даже в самую героическую эпоху липовой истории человечества. Но Пашка не пал — вот в чем загвоздка. Явился с того света, чтобы изгадить ему жизнь. Нечего на Пашку валить. Тот промолчал, скрыл правду, непонятно почему, но скрыл. Сам проболтался, истерик. Не выдержали нервишки. Как дальше будут развиваться события?.. Она на борту — это главное. Теплоход уже отчаливает. Запомнится тебе Богояр, на всю жизнь запомнится, хотя

ты даже на берег не сошел. Не познакомился ни с растительным, ни с животным миром острова, ни с его историческими достопримечательностями — невосполнимая потеря... Ты немного приободрился, дружок? Имей в виду, в ближайшее время от тебя потребуются много выдержки и много изобретательности, иначе развалится здание, которое ты с таким трудом возвел.

Анна, слепо глядевшая за окно, обнаружила какое-то движение. Они покидали Богояр. Но остров не отдалялся, они шли вдоль берега. Над верхушками сосен возник деревянный, цветом в белую ночь купол с крестом — какая-то церковь. Очевидно, они оплывают остров, чтобы дать туристам более полное представление о Богояре. Она поднялась и вышла из каюты. Скворцов удержался от совета накинуть плащ.

Анну сейчас лучше не трогать. Но как ему распорядиться собой? Торчать в каюте скучно, тягостно и вредно — даром изведешь себя кружащимися вокруг одной точки мыслями. Надо скинуть наваждение. В трудную, быть может, в самую трудную минуту жизни он должен быть со своими детьми. Никто не знает, что выкинет эта женщина, она может внести страшный хаос в их жизнь, изобразить разрыв, уход, навести великий срам на семью, они должны сплотиться — не против нее, боже упаси, а против тех разрушительных сил, что в ней пробудились. Конечно, он ничего не скажет детям, просто надо быть вместе. Самое страшное все-таки не случилось — она уехала с ними. Победило элементарное благоразумие. Это давало надежду, и весьма серьезную. Обвинения, оскорбления, унижения, угрозы — сорный смерч, взвевный с обиженной и слабой души, — не пугали. Скворцов знал: люди охотно считают тебя тем, за кого ты себя выдаешь, при одном условии — чтобы ты сам в это верил. Даже испытывая серьезные подозрения в надувательстве, они с умиленной покорностью продолжают играть в тебя такого, каким ты себя подаешь. И это распространяется даже на самых близких. Видимо, человек бессознательно экономит душевную энергию, которой у него не так уж много, — идти наперекор в чем бы то ни было изнурительно, сложно, такой расход сил оправдан лишь важной целью. Скворцов уже ощущал себя благородным страдальцем, чья единственная вина — беззаветная любовь (тут была крупница истины); он не оставил бы Пашку, если б не Анна. Там, на последнем краю, ему мелькнуло, что он



должен разыграть собственную карту. Инстинкт самосохранения тут ни при чем. Он шел к Анне!.. Женщина простит любое преступление, если оно совершается во имя нее. А тут и преступления нету. Он мог погибнуть, а Пашка уцелеть. Они уцелели оба, каждый со своими потерями. Но он притащился к Анне, а Пашка не поверил ей. Конечно, надо все додумать, чтобы сошлись концы с концами, но важнейшее найдено: он знает, какого себя должен навязать Анне. Сам он уже вошел в образ и чувствовал себя достаточно уверенно. А сейчас белая рубашка, галстук, твидовый пиджак — и к детям...

Моторы работали бесшумно, ход большого белого теплохода был так тих и плавен, что казалось — он стоит на месте, а медленно поворачивается остров, давая обозреть себя со всех сторон. Была в этой малой земле посреди огромной бледной воды печальная тайна, которую она привыкла укрывать от чужих глаз. Когда-то тут были скиты отшельников, пробиравшихся сюда с великими тяготами из необжитой России в поисках последнего могильного одиночества, они зарывались в чащу и тишину, стараясь не знать о существовании друг друга, но недолг был их покой — едва начавшему осознавать себя молодому государству понадобился этот остров как оплот против северных врагов (почему-то народы не могут быть просто соседями), и оно прислало сюда крепких мужиков: монахов и трудников, поставивших монастырь-крепость. Минули века, опустел монастырь и, как всякое оставленное вниманием человека становище, стал быстро разрушаться; заросли жесткими перепутавшимися травами двор и подъезды, треснули стены, ослепли окна; березы, таволга и крапива пробилась сквозь кирпичное тело, и тут его призвали для новой службы: стать убежищем отшельников середины нынешнего века, отдавших последней опустошительной войне больше чем жизнь.

Анна думала о монастыре, но почему-то не ждала, что увидит его, да еще так близко. Ей казалось, что монастырь находится в глубине острова, в лесном окружении, а он стоял на самом берегу, на другой от пристани стороне. Его кремль спускался к воде, лижущей подножие крепостной стены, а собор, службы и жилые постройки расположились на взлобке. Анна видела колокольню с темными немymi дырами там, где прежде благовестили колокола, храм с порушенным

возглавию, длинное здание под новой железной крышей и живыми окнами, еще какие-то постройки, то ли восстановленные, но ли заново возведенные, потом открылся край двора с развешанным для просушки бельем, почему-то не снятым на ночь, с гаражом и сараями, перевернутой вверх колесами тачкой, ржавым воротом и поверженным опорным столбом. Она жадно вбирала в себя скудные, томящие знаки непрочитаваемой жизни и вдруг всей заолодевшей кожей ощутила, что это Пашин мир, что Паша, живой, горячий, с бьющимся сердцем, синими глазами, сухой смуглой кожей, — рядом, совсем рядом. Их разделяла лента бледной воды шириной не более двухсот метров, совсем узенькая полоска суши, ворота, которые откроются на стук, двор... Она прекрасно плавает. Паша сам ее научил. Он затаскивал ее на глубину и там бросал, преграждая путь к берегу. Приходилось шлепать по воде руками и ногами — плыть. Она оказалась способной ученицей. Какие заплывы они совершали! Чуть не до турецких берегов. Боже мой, как легко все может решиться: он не выгонит ее, если она, мокрая, замерзшая, постучится в его дверь. А все остальное как-то образуется. И Пашкиной женщине придется смириться. Анна была первой, та поймет это, наверное, она хорошая женщина.

Анна сбежала на нижнюю палубу. Только бы ей не помешали. Но кругом — ни души. Пейзаж всем осточертел, а теплоход был набит удовольствиями, как мешок Деда Мороза — подарками, и хотелось до конца использовать часы безмятежного досуга. Она тяжело перелезла через барьер и, сильно оттолкнувшись, прыгнула в воду. Ее оглушило, ожгло холодом, но она вынырнула, глотнула воздуха и, налегая плечом на воду, поплыла к берегу, к Паше. Теплоход отдалялся медленно, он был грозно огромен, на берег же, как учил Паша, смотреть не надо — он не приближается. Руки и ноги были как чужие, плохо слушались, озеро совсем не прогрелось солнцем. Да ведь тут близко!.. Холод проник внутрь, стиснул сердце. Она хлебнула воды и хотела позвать на помощь, но остатками сознания поняла, что этого делать нельзя, потому что тогда ее не пустят к Паше. Она не знала, что на теплоходе прозвучал сигнал «Человек за бортом» и уже спускали шлюпку, куда прыгнули вслед за матросами капитан и судовой врач. Она не почувствует, как ее выхватят из воды, как хлынет изо

рта вода, когда сильные руки врача начнут делать искусственное дыхание.

...В баре, где Скворцов сидел со своими детьми, ничего не знали о тревоге. Видимо, ребята «сильно поиздержались в дороге», поскольку вторжение отца в их тщательно оберегаемый мир было принято весьма милостиво. Скворцов терпеть не мог все это: приторные и довольно крепкие напитки, оглушительную жесткую музыку, корчащихся в пляске святого Витта потных, с глупыми, остервенелыми лицами молодых людей, — но источал благосклонность. А потом он обнаружил на танцевальном круге гибкую брюнетку, за которой приятно было следить. Его сын, танцевавший с художавшей девицей в белых обтяжных джинсах и полосатой маечке — Париж, Рим, Копенгаген! — с усмешкой подмигнул брюнетке. Та не отозвалась, вскинула голову, но Скворцов мог бы поклясться, что Паша знает ее, и даже весьма близко. Он позавидовал простоте отношений нынешних... Удивлял избранник дочери: громадный простоватый детина с модно длинными волосами и лапшицами молотобойца. К Скворцову он испытывал большое почтение и, прежде чем опрокинуть в себя очередную бурду, непременно с ним чокался. Скворцов объявил, что сегодня угощает он, это задело самолюбие «молотобойца», но спорить с пожилым человеком он не посмел, а, отлучившись к стойке, принес четыре плитки шоколада «Золотой ярлык» и куль с апельсинами. Сам он шоколада не употреблял — чесался от него до крови, — а от «цитрусовых», как он называл апельсины, покрывался сыпью. «У вас аллергия, — утешил его Скворцов. — Сейчас это модно...»

...Судовой врач прижал пальцами веки Анны и держал некоторое время, чтобы глаза закрылись. Она не захлебнулась — остановилось изношенное сердце. Конечно, это не было самоубийством, женщина видела спасательную шлюпку, но упрямо плыла прочь от них, к берегу. Зачем?..

Капитан думал: почему именно в его рейс должно было произойти ЧП. Ведь за все годы, что существует маршрут Ленинград — Богояр, лишь однажды пьяный свалился за борт, но был благополучно вытасчен. А это случай с летальным, как выражаются медики, исходом. И что ее дернуло?.. Приличная женщина, доктор наук, солидный муж, дети... За нее крепко спросится. Конечно, он тут ни при чем. Но ведь должен кто-то отвечать.

И главное, в пароходстве начнут талдычить: «Почему именно с тобой это случилось?» А правда, почему именно с ним?.. Не потому ведь, что в молодости он дважды из лихости, из подражания легендарному черноморцу Маку, в которого были влюблены все молодые капитаны, дважды «поцеловал» причал?.. Конечно, его накажут. Но этим не ограничится. Запретят продажу спиртного в буфете, хотя погибшая туда и не заглядывала, а из тех, кто заглядывал, никто не прыгнул за борт; на час раньше будут закрывать бар и почему-то запретят танцевать шейк, пришлют в читальню еще несколько связок брошюр, которых и так никто не раскрывает, — и все это под знаком «усиления культурно-воспитательной работы среди пассажиров». Потом все войдет в привычную колею, жизнь куда сильнее маленьких очковтирателей, делающих вид друг перед другом, а главное, перед более крупными очковтирателями, будто можно помешать естественному ходу вещей, напору инстинктов, воли к наслаждению и забвению. Водку будут приносить с собой и пить из-под столиков, шейк — все так же отплясывать, оркестранты за тройки и пятерки — наяривать сколько влезет, а в читальне — по-прежнему брать «Огонек», «Смену» и «Работницу», если уцелели выкройки. Все вернется на круги своя, и он снова будет в порядке, не вернется лишь эта женщина, которой врач наконец-то сумел закрыть синие удивленные глаза.

...Павел проснулся, как всегда, первым. Привычно спертый воздух — инвалиды ненавидели открытые окна, берегли тепло. Тяжелое дыхание, храп, стоны, вскрики смертной боли. Этим озвучен сон искаленных, самый крепкий и сладкий утренний сон. Они в бесчисленный раз переживали в сновидениях, в точных или затуманенных, искаженных образах миг, на котором обломилась жизнь. В черепных коробках рвались бомбы, снаряды, мины, скрежетали стальные гусеницы, обдавала жаром раскаленная броня, оплавлялась в огне человечья плоть. Им снились госпиталя, послеоперационное опаматование в кошмар: тебя прежнего нет, от тебя осталось... Днем они вели себя, как все люди: улыбались, шутили, вспоминали, радовались, тосковали, ругались, спорили, курили, ели, пили, отдавали переработанную пищу — кто сам, кто с чужой помощью — к последнему невозможно было привыкнуть, — читали, слушали радио, смотрели телевизор и

болели за футболистов и хоккеистов, писали жалобы в разные инстанции, собирали корешки, грибы, кто рыбачил, кто старался по хозяйству, другие работали в небольшой артели, — ночью их души погружались в ад.

Павел привычным, отработанным движением скинул тело с койки и угодил прямо на свою кожаную подушку. Он заспался, шел уже седьмой час, надо быстро помыться, побриться, натянуть штаны, подвернуть брючины, хорошенько привязаться к подбою из толстой кожи — и в путь. Поест он на пристани, у него от вчерашнего дня остались два куска хлеба с баклажанной икрой.

Сквозь вонючую духоту до него долетел тонкий аромат, напомнивший о ночных фиалках, которые здесь не росли. Откуда такое? Запах усилился, окутал Павла со всех сторон, заключил в себя, как в кокон. Его собственная кожа источала этот запах — память о вчерашних событиях. Значит, Анна уже была!.. И ожил весь вчерашний день. Он ее прогнал. Теперь все. Незачем тащиться на пристань. Он свободен от многолетней вахты. Это почему же? А если она вернется? Она пришла через тридцать с лишним лет, вовсе не зная, что он находится на Богояре, так разве может не прийти теперь, когда знает его убежище? Рано или поздно, но она обязательно придет. Он должен быть на своем посту, чтобы не пропустить ее. Только сегодня это ни к чему. Сегодня она уж никак не вернется. Ее теплоход только подходит к Ленинграду, а другой теплоход отплыл на Богояр вчера вечером. Но кто знает, кто знает!.. Раз поленишься — и все потеряешь. Ходить надо так же, как ходил все эти годы, к каждому теплоходу, пока длится навигация.

Через четверть часа он уже мерил своими «утюжками» дорогу, а сзади бежал Корсар. В положенный час он был на пристани, на обычном месте, у валуна. Прямой, застывший, с неподвижным лицом и серо-стальными глазами, устремленными в далекую пустоту. Он ждал.

Ждет до сих пор.



# БУНТАШНЫЙ ОСТРОВ

Далеко ли от острова Богояра, что посреди Ладожского озера, до Монпарнаса, что посреди Парижа? По карте вроде порядочно, но при нынешней системе связи — рукой подать. Во всяком случае, мысль, родившаяся в Париже, на бульваре Монпарнас, между «Селектом» и «Куполом», в голове одного прохожего и в тот же день ставшая словом, широко разнесенным эфиром, с труднодостижимой быстротой взорвала тихую жизнь немногочисленных обитателей Богояра.

Этот прохожий, любивший называть себя и устно и письменно слонялой, городским бродягой, был по национальности русским, по случайности своего рождения парижанином, по социальной сущности — совком, ибо лишь первые шесть лет жизни резвился на парижской мостовой, а затем всю долгую жизнь — вплоть до изгнания — провел на своей исторической родине, ставшей за годы его безмятежного детства советской.

Оказавшись невольным виновником тех скорбных событий, о которых речь пойдет ниже, этот человек во всем остальном не имеет отношения к нашему рассказу, но о нем стоит поговорить, ибо поучительно знать, к чему может привести оплошность хорошей, нацеленной только на доброе души (я в этом не сомневаюсь), когда от заласканности и всеобщей нежности утрачивается самоконтроль. В наше взрывоопасное время людям,

обладающим моральным авторитетом, даже просто известным и потому слышимым, нельзя рассупониваться. Это плохо не столько для них — прочная репутация, бывшие — несомненные — заслуги все спишут, — сколько для окружающих, ничем не защищенных. И Слоняле все списалось, да что там списалось, никто и внимания не обратил — все разом оглохли, ослепли и онемели — на его страшный грех перед беспомощнейшими мира, которых он онесчастливил своей безответственной болтовней.

Но я не был ни слеп, ни глух — да и не мог быть, слишком близко это меня касалось, и не обязан налагать на себя обязательство немоты, пусть дело и касается всеобщего любимца. Тем более что причинить вред я ему не могу, он давно ушел в мир иной и сейчас, несомненно, сидит на облаке, свесив ноги, и перебирает струны лютни. Жестокая, но случайная оплошность этого профессионально хорошего человека, конечно, и здесь списалась, к таким людям равно благосклонны и земля и небо.

Почему он накинулся на рассказ о самых несчастных последней войны, людях, отдавших войне больше, чем жизнь, обитателях скорбного острова Богояра? И не просто напал, а посвятил ему целую передачу по «Голосу», где имел постоянный приработок к нещедрому редакторскому жалованью в одном из русских журналов. И ведь не то чтобы рассказ возмутил его своей бездарностью, антихудожественностью, дурным языком, скудоумием, всем тем, чем так раздражала оставленная дома литература. Он сам признался, что рассказ произвел на него сильнейшее впечатление, сперва огорошил, потом озадачил, смутил и наконец страшно разозлил. Говоря о нем по радио, он так и начал со всемерного восхваления рассказа, вернее, с добрых слов в адрес автора, назвав его другом (настоящей дружбы между ними не было, они и виделись всего три или четыре раза, правда, с интересом и симпатией друг к другу), а затем стал расхваливать «прекрасную литературу». Он старательно (это был ловко найденный прием) перечислил все мыслимые достоинства произведения: и такое оно, мол, и сякое, и распрекрасное, и расчудесное, а под конец, сделав многозначительную паузу, сказал устало рухнувшим голосом:

— Как видите, в рассказе есть все, что только можно пожелать для настоящей прозы, в нем нет лишь одного, главного... правды...

И после новой долгой мхатовской паузы (Слоняла в молодости был актером и штудировал систему Станиславского) он повторил:

— Да, правды... А без этого в искусстве все ничего не стоит.

И он объяснил, почему нет правды: в Советском Союзе убежища для калек засекречены тщательнее, чем сталинские лагеря уничтожения. И никакие белые пароходы не отплывают из Ленинградского порта с веселыми туристами на ладожский остров, где у причала торчат пеньками «самовары» и спуют безногие на своих тележках или перебрасывая торс, подбитый кожей, с помощью деревянных «утюжков». Все это чепуха, ложь. Они схоронены в лесах, чащах, в тайных закутах вроде старообрядческих скитов (о них ведают лишь секретные органы), и там они медленно вымирают, лишённые всякой связи с миром.

Эту страшную весть прослушало множество людей в Советской стране, ибо в умении ловить запрещенные, глушимые передачи находчивые и сметливые граждане едва ли не превзошли собственное виртуозное умение гнать самогон из чего попало. Слышали и тысячи ленинградцев и жителей других городов, совершивших поездку на остров увечных, слышал и один калека-островитянин, бывший стрелок-радист, оставивший обе ноги в горящем самолете. Но руки у него были золотые, и он так наладил трофейный радиоприемник с бомбардировщика «Юнкерс» (американский военный металлический ящик был возведен в ранг трофейного романтического воображением бывшего стрелка-радиста), что свободно ловил любые волны. Прослушав долгую, окрашенную сильным чувством передачу Слонялы, он сказал старосте калечной артели, безногому Павлу:

— О нас «голоса» заговорили.

— С чего бы это?

Бывший стрелок-радист объяснил.

— Худо,— решил староста, чуть наморщив кожу гладкого и почему-то всегда загорелого лба. Он умудрялся набирать загар даже в самое дождливое лето.

— А чего худого? — удивился стрелок-радист.

— Он подал мысль,— сказал Павел.— Турнут нас отсюда.

— Ты что — офонарел?.. Как могут нас турнуть? Мы здесь всю жизнь прожили.



— Жизнь!.. — повторил Павел с таким выражением, что у стрелка-радиста что-то хрустнуло в груди, а горло запер комок.

— Да, жизнь! — слова, продираясь сквозь этот комок, причиняли боль. — Херовая, сраная, вонючая, каинова, но жизнь! Моя жизнь, твоя и всех нас. Другой не было и не будет. Вся, как есть, тут. Под этим проклятым небом, у этой проклятой воды. А все равно жизнь. Я тут каждый куст знаю, каждую колдобину. Все отняли, а это не отнимут, не дам, суки, падлы!..

— Хватит блатной истерики, — спокойно сказал Павел. — Раздрочился, как Матросов.

Стрелок-радист посмотрел обалдело и вдруг хохотнул: — Как Матросов?.. Ну, ты даешь!..

Павел «давал» по делу: уже через неделю после передачи, пойманной безногим радистом, им запретили ходить на пристань. А после того как Павел и еще двое безногих нарушили предписание и приволоклись туда в ближайшую субботу (пароходы приходили по субботам и воскресеньям), ворота монастыря, где находилось убежище, оказались на запоре.

Этому предшествовал один разговор в Сером доме на Старой площади, который известен в мире ничуть не меньше, чем Белый дом, поэтому адрес можно не уточнять.

В служебном буфете завтракали два одинаковых человека. Какую-то весьма незначительную разницу между ними можно было усмотреть: один чуть выше ростом и чуть уже в плечах, но это не бросалось в глаза, где прочно отпечатывалось их тождество: русые, будто выгоревшие волосы, маленькие голубые глаза, культияпые носы, серые костюмы, белые рубашки, темные галстуки; оба безулыбчивые, сосредоточенные, смотрят будто не на собеседника, а в себя. Если же подвергнуть их вскрытию, сходство еще усилится: слегка расширенная печень, крепкие желудки и кишечники, прокуренные легкие, вялое сердце. Злоупотребление алко-голем и куревом, сидячая жизнь, частые стрессы в общении с начальством и хорошая, доброкачественная еда сформировали их внутренние органы. А содержимым черепных коробок они могли бы безболезненно обменяться, если б лапутяне завершили разработку своего смелого метода пересадки мозгов. Случись это, никто бы не заметил перемены в их мышлении и способах выражать свои мысли. Эти люди отштампо-

ваны эпохой и теми жизненными обстоятельствами, в которые их поставили, тут невозможны отклонения даже в цвете галстука. Лишь очень немногим, особо избранным, прощался высокий рост — все остальные умещались между 167—172 см, — а также худоба (сытость — непрменный признак победившего социализма); положенный стандарт предписывал вышесреднюю упитанность, отчетливое брюшко, исключались спортивность, мускулы, загар. Тело должно быть квелым, брюзгловатым, кожа бледной, о цвете волос уже говорилось, можно по пальцам пересчитать случаи, когда брюнеты или рыжие проходили строжайший отбор, ибо первый закон Серого дома: не бросаться в глаза, не выделяться, индивидуальность неблагонадежна.

И ели эти люди одинаково: выражая полнейшее безразличие к процессу поглощения пищи; они заправлялись ею, как машина горючим, без всяких эмоций и удовольствия. А между тем вкушали они пищу райскую, которую соотечественники старшего возраста помнили лишь по названиям, но не признали бы в вещественном образе. У каждого на подносе располагались миноги в горчичном соусе, кусок истекающего янтарным жиром угря, бутерброды с зернистой икрой, розово-опаловая лососина, а на очереди была яичница с ветчиной, горячие расстегаи и кофе со сливками.

Негласные, но очень строгие правила регулировали эти трапезы. Дом на Старой площади не был монастырем, обитатели которого не ведают, что творится за глухими стенами. Переходя из кабинетов в машину, а оттуда в опрятные подъезды своих домов, они, конечно, мало соприкасались с окружающей средой (отпуска проводили в восстановительных учреждениях закрытого типа), но от своих домочадцев получали довольно ориентирующих сведений. Так, они знали, что их завтрак, стоивший пятнадцать копеек, для других граждан, появивсь такие продукты в открытой продаже — мысль абсурдная! — стоил бы четверть зарплаты. Но полагалось делать вид, будто это обычный, ничем не примечательный завтрак рядового советского служащего по общепитовским ценам, и не корчить из себя гурмана. Есть надо как бы между делом, на бегу, не замечая, что ты жуешь в своей озабоченности идеологической, государственной, хозяйственной пользой страны, за которую ты в ответе. Хотя единственно

реальным делом, каким занимались люди в огромном и все растущем Доме, было переваривание проглоченной в буфете пищи с последующим выведением отходов. При этом категорически возбранялось брать мало еды, чтобы не подчеркивать жадности, чревоугодия других. В старину считалось: если работник спор и опрятен за столом, таким же будет в поле, за прилавком, в мастерской. Так и тут. Если тебе еда не идет, то лечись или меняй место работы, нечего смущать, сбивать с толку здоровых людей, которым надо хорошо питать энергичную плоть и разогретый созидательной мыслью мозг.

Все посетители буфета в совершенстве освоили правила поведения. Но они оставались живыми людьми, хотя бы физиологически, и желудок их отзывался на вкуснейшую жратву довольным урчанием, унять которое не могла даже тренированная воля аппаратчиков. Странен был этот утробный концерт — сродни лягушачьему, осуществляемый персенфансом<sup>1</sup> из очень серьезных, отвлеченных от материальной скверны идеологических монахов; порой он становился так звучен, что кареглазая буфетчица включала глушащую музыку. Она насмешливо думала, что желудочно-кишечные музыканты могли бы питаться еще лучше, если бы их не обкрадывали, как самых рядовых граждан в какой-нибудь смрадной пельменной или переполненной столовке самообслуживания. В яичницу, пирожки и расстегаи регулярно недокладывалось масло, каждый бутерброд облагался данью в десять граммов — икры, балыка, ветчины, колбасы, ростбифа; омары, лангусты, эскарго и авока поступают лишь в кабинеты начальства да в авоськи служащих буфета, равно как и настоящий «Мокко» и какао «Ван Гуттен». Им невдомек, что в обители, где все должно быть чисто, свято, существует отлаженная система воровства; и, хотя отсюда нельзя якобы вынести булавку, буфетные кормильцы ежевечерне выносят на глазах подкупленной охраны тяжеленные кошелки с отборной провизией. Но они ничего такого не знали, и сладкий хлеб их не был отравлен мыслью, что им недодают, а обслуживающий персонал, эта персть земная, питается лучше их, небожителей, и к тому же не нуждается в искупающем и маскирующем незаконные привилегии притворстве.

---

<sup>1</sup> Оркестр без дирижера.

— Ты слушал вчера? — спросил тот, кто ел бутерброд с зернистой икрой, того, кто дожевывал сочного копченого угря.

— Предположим, — осторожно ответил угреед. — Что ты имеешь в виду?

— Слонялю. Он разорялся за Богояре.

Угреед ублажил горло последним кусочком угриной плоти и запил глотком кофе. Он выигрывал время, потому что не догадывался, куда клонит икроед. Передачу он, конечно, слушал, Слоняля долбал какой-то рассказ про безногих, говорил, что это вранье. Наверное, вранье, как и все остальное, что публикует «Новый свет», так и не наладившийся после солженицынских клевет. Но почему коллега заговорил об этом? Пустобрешество «голосов» сейчас мало кого волнует. Глушилки работают исправно, и, кроме аппаратчиков, сотрудников госбезопасности и прочей элитарной публики, которую не собьешь с толку, никто вражеской болтовни не слушает.

— Слоняля — мудак. Он думает, что эти убежища засекречены и автор там не мог быть. Мог сколько угодно. Кто хочешь может. Из Ленинграда туда каждую неделю толпами валит народ. Уже и другарей-братушек стали пускать. Я поинтересовался: чехи были, венгры, болгары. Глядишь, настоящих иностранцев повезут.

Любитель угря сделал отвлеченное лицо и потянулся за куском золотистой миноги, но отдернул руку. В него вошел страх: он не знал, как надо реагировать на услышанное. Он не бывал на Богояре, даже толком не слышал о нем и не читал рассказа, из-за которого разгорелся сыр-бор. Ясно было пока одно: Слоняля опростоволосился, вон сколько тому свидетелей — и наших, и народных демократов. Но интонация собеседника не была радостной, торжествующей: попался, мол, который кусался! — а озабоченной, недовольной. «Не секу, не секу! — тревожно застучало в мозгу. — Обскакал меня коллега, недаром же говорят, будто он идет на повышение. Надо держать ухо востро, не дай Бог опростоволоситься». Дурное предчувствие стремительно обретало образ вполне конкретного погара. Он решил быстрее очистить тарелку и взять добавок, неизвестно, сколько ему еще пользоваться этой благодатью. Он тугодум, а позволительна лишь сознательная, на пользу дела, тупость. Жена никогда не верила, что он надолго задержится здесь. Ведь только кажется, будто это легко: ничего не делать, кроме вида, что ты что-то делаешь.

Мало ловить начальственные слово и взгляд, кивать и хмурить лоб, умно помалкивать, зримо напрягаясь в боевой готовности. Настает миг, когда ты должен высказаться, а где гарантия, что ты не попадешь впросак?

— Задумался? — по-своему истолковал его молчание идущий на повышение. У него был другой мешающий карьере недостаток. Будучи человеком смекалистым, он переоценивал умственные возможности окружающих. — Вот и я задумался. Безногая и безрукая бражка мотается по пристани, торгует какими-то корешками, поганками и ягодой, клянчит на водку. Безобразное зрелище. Удивляюсь, как это до сих пор с рук сходило. Ведь тут бесценный материал для клеветы! Ты представляешь, какой можно поднять шум?

Наконец-то и его тяжелодумный собеседник понял, чем опасно выступление Слонялы. Он привлек внимание к Богояру. Не хватает, чтобы туда проникли шустрые ребята из разных «таймсов» и «постов». Хорошую картинку они там увидят!

— Страшное дело! — сказал он, вздохнул, покачал головой и будто невзначай отправил в рот пряную миножку и заел расстегаем.

— Очень даже страшное! Можно сказать, золотая россыпь для очернительства. Заслать туда фотокорреспондента, он такую «галдерею» выдаст — не отмоешься. О чем мы все думали?.. Спасибо Слоняле — открыл, можно сказать, глаза.

Результатом этого разговора явилась докладная записка, а следствием ее — то, о чем речь пойдет дальше...

Конечно, Слоняла не чаял, не гадал, что его выступление, исполненное самых благородных чувств, — ибо что может быть благороднее отстаивания истины, правды, разоблачения искусно притворившейся лжи, — будет иметь роковые последствия для несчастных насельников Богояра. Беда этого хорошего человека, а не вина в том, что благородство из естественного свойства души стало для него чем-то вроде профессии, утратив безошибочность инстинкта. Он был единственным, на ком сходились люди разных воззрений, настроений, страстей и темпераментов. Даже те, кто вынудил его к отъезду, в глубине души относились к нему с симпатией. Бессребреник, добрый пьяница, чистая, бесхитростная душа, к тому же талантливый и умный прямой, не обидным для окружающих умом, он

становился моральным авторитетом в любой среде, куда бы ни забрасывала его жизнь. И в наше злое время, когда кумиров оплевывают с еще большим удовольствием, чем негодяев, только на Слонялу ни у кого не поднималась рука. В конце концов он уверился в своей нравственной непогрешимости, точности оценок людей, событий, книг и вытекающем отсюда праве на суд. Он не злоупотреблял этим правом, понимая, жалея людей и снисходительно прощая им разные житейские слабости. Но в том, что не охватывалось широким кругом его снисходительности, он становился непреклонен. На это наткнулся сосланный в Париж Голямин, случайно подвернувшийся ему возле «Селекта». Если быть точным, Голямина сослали не в Париж, а в Израиль. Ему было предложено на выбор: или сесть, или разделить судьбу еврейской эмиграции. И русский с головы до пят, кроткий антисемит, происходивший из старого провинциального дворянского рода, убыл в маленький городок под Хайфой, откуда при первой возможности перебрался в эмигрантскую Мекку — Париж. Вся вина Голямина перед советской властью в том, что он хотел писать, как Кафка. Вернее сказать он мог писать только, как Кафка, причем еще в ту пору, когда он Кафку не читал. Хотя нельзя сказать с уверенностью, что он вообще читал Кафку, поскольку он вообще ничего не читал, кроме самого себя. Но ведь он был вылитый Кафка, стало быть, читая самого себя, он как бы читал автора «Процесса». И делал это с упоением. Когда ему говорили, что он пишет под Кафку, Голямин хладнокровно поправлял: «Не под, а как. Это большая разница». Кафку никто не знал при жизни, и, если бы не счастливый случай, он так бы и остался в неизвестности, и тогда бы Кафкой стал Голямин. Но опередил хитрый чешский еврей русского Ивана и уж совсем в насмешку запихал его в какое-то жалкое местечко под Хайфой. Наши власти, чтобы не выглядеть дикарями в глазах всего света, скрепя сердце разрешили издать один сборник Кафки, но тем строже повели себя в отношении русского дублера великого сюрреалиста. Голямина вызвали на площадь Дзержинского и предложили ему на выбор: или писать, как Толстой, Тургенев, Чехов, Бондарев и Проханов, или покинуть страну. Честный писатель, Голямин выбрал изгнание...

Сейчас оба изгнанника столкнулись у кафе «Селект», и оба пришли сюда из кафе «Куполь». Слоняла

выпил там две кружки пива — свою утреннюю порцию — и хотел идти домой, как вдруг у дверей «Селекта» сильным вздрогом плоти обнаружил, что недобрал одной кружки.

Слоняла искренне считал, что он завязал. Он действительно, обретая некоторое равновесие в своем изгнании, покончил с водкой, коньяком, креплеными винами, вообще со всем спиртным. Он позволял себе изредка стакан столового вина за ужином и несколько кружек пива в течение дня. И оказалось, к его удивлению, что пивом можно достичь того же эффекта, что и водкой, разница лишь в количестве жидкости, потребной для того, чтобы забалдеть. Новый способ обладал одним преимуществом, Слоняла был не из тех, кто умеет растягивать удовольствие: начиная пить, он делал это не отрываясь в течение трех-четырех часов, после чего валялся на кровать. Но с пивом испытанный метод не годился. Его плоский живот не вмещал того количества пива зараз, чтобы обеспечить быстрое выпадение из сознания, поэтому приходилось брести к этому медленно, через весь долгий день.

Голямин заглянул в «Селект» в надежде обнаружить кого-то из своих и расколоть на рюмку-другую, но никого не оказалось. Слоняла буквально за минуту до этого поднялся из-за крайнего столика на открытой веранде. Совершив бесполезный обход, Голямин выкатился на улицу, растерянно шаря по карманам, где, по обыкновению, было пусто. Кафкианская литература не пользовалась спросом на вольном Западе, как и в отечественном загоне, единственно, что за нее не высылали. Если и удавалось иной раз тиснуть рассказик, то в русском издании, а за это не платили гонорара. Он жил общественным и частным доброхотством, одно время бацал чечетку в русской блинной «Чернец», присматривал за младенцами, выводил гулять собачек, но все-таки жил, не умирал.

Впрочем, сейчас он умирал от желания опохмелиться. Столкнувшись с ним, Слоняла сразу угадал знакомое состояние и, хотя между ними не было дружеских отношений, скорее взаимное глухое неприятие, по доброте душевной пригласил страдальца на кружку пива. Они вернулись в кафе, заняли место за столиком, вспомнили, как полагается, что здесь сживал папа Хем, стесняясь тривиальности этих непременно-

ных воспоминаний, а затем омочили усы в белой пышной пене.

Они поговорили о том о сем. Вернее, говорил Слоняла, а Голямин лишь вскрикивал потрясенно, с каким-то влажным всхлебом, и стучал кулаком по столешнице. Ему было все в диковинку, он ни о чем ничего не знал. Не знал ни о глобальных, ни о местных событиях, не знал эмигрантских сплетен и скандалов, не знал, что идет в кино и в театре, не знал, что умер Нильс Бор (двадцать лет назад), что покончила с собой Мэрилин Монро (в том же году), не знал, кто президент Франции и премьер-министр Англии, не слышал о последнем романе Клода Симона, о только что открывшейся выставке Мура и о том, что в Венсенском лесу демонстрирует свои телеса самая толстая женщина столетия. Но, не зная столь многого и важного, он не стремился расширить свой кругозор и ни о чем не спрашивал сам, лишь захлебывал с восторгом информацию, которую выдавал Слоняла. А тот не умел пить молча, тогда лучше возглавить общество трезвости. Но он чувствовал, что Голямин — вопреки бурной, хотя и несколько автоматической реакции — отнюдь не восхищен тем культурным бисером, который Слоняла так щедро мечет перед ним. Что восторженные всхлебы — это благодарность за холодное пиво, а не за духовные и умственные дары. Голямин-писатель жил в мире упырей, покойников, параноиков, наркоманов, половых извращенцев, насильников, алкашей, виев и басаврюков, считая их всех простыми советскими людьми или простыми французскими людьми — в зависимости от того, на каком материале работал. И еще Слоняла знал, что Голямин его не читал — ни строчки. Бог с ним, он мог не читать его изящные эссе, путевые дневники, исполненные тонкой наблюдательности и покоряющей любви к людям, мог не читать маленькую повесть, которую сам автор полусхотливо-полусерьезно называл шуткой гения, но главное его произведение — великий роман — он обязан был прочесть. Этот первый и на десятилетия единственно правдивый роман о войне вошел в плоть и кровь поколений, объединенных величайшей народной трагедией. Долгие годы роман оставался нравственным критерием, маяком истины посреди разливанного моря лжи и полуправды. Каждый человек, в первую очередь мужчина, должен был «пройти» этот роман, как армейскую службу. Но



сидящий перед ним с пивной кружкой квелый, бескостный человек, который не ходил, а словно переливался в своих неглаженных штанах и мятом пиджаке — таким вялым, жидким было его крупное тело, — сумел обойтись и без его романа, и без действительной военной службы. Однажды Слоняла пытался подковырнуть Голямина Хемингуэем, сказав о своем романе, что он так же обязателен для мужской души, как в пору довоенной юности «Фиеста» и «Прощай, оружие!». Но выяснилось, что Голямин не читал этих шедевров молодого Хемингуэя и вовсе не чувствовал себя обделенным.

Беседуя о том о сем, Слоняла незаметно наводил Голямина на тему своеобразия иных литературных судеб, когда человеку достаточно одного произведения, чтобы полностью выразить себя и свое отношение к жизни. Литература — все-таки тайна, которую никто не может разгадать.

— Ага, — согласился Голямин. — «Горе от ума».

— Ну, есть и другие примеры, — как-то тягуче произнес Слоняла.

— Ты имеешь в виду «Капитальный ремонт»? — удивился Голямин.

Слоняла этого не думал. Официант поставил на столик свежее пиво, и одутловатое лицо Голямина закисло выражением слезной собачьей преданности.

— Ты хоть полистал мое занудство? — небрежно спросил Слоняла. Он недавно подарил Голямину последнее издание романа с преувеличенно лестным автографом.

Голямин так радостно дернулся и клекнул по-орлиному, что отрицательный ответ своей неожиданностью пришиб Слонялу. Некоторое время он собирался с духом, потом вернулся к общим темам творчества:

— Скажи, ты постоянно чувствуешь потребность марать бумагу или это находит внезапно, без видимой причины?

Голямин принял к кружке, показывая левой рукой, что сейчас освободится и скажет. Он выхлебал ее до дна, поставил со стуком на столик, утерся бумажной салфеткой и сказал будто на публику, а не собеседнику:

— Марашь, марашь, а что толку?.. Ни хрена не платят. Так с голоду помереть можно.

— На чистую литературу, известно, не проживешь, — согласился Слоняла. — Но, мальчик, нельзя быть таким чистоплюем в наше суровое время. Почему ты обходишь «Голос»?

— Я его обхожу? Да кто меня туда пустит? Там все забито, как в метро в час пик. Да и не умею я...

— Реникса! Что там уметь? Возьми любую книгу и раздолбай. Я тебе это устрою.

Тут ему душевно отрыгнулось: подкупаю я его, что ли? На кой мне нужно его признание? Он мне не нравится ни как писатель, ни как личность, ни как собутыльник. Но про себя Слоняла знал, что уже не сможет остановиться, пока не очарует этого никчемного человека. Обаивать людей — как-то незаметно стало его специальностью. Он места себе не находил, ощущая чужое равнодушие, и не мытьем, так катаньем должен был привлечь к себе запертую душу.

— Придерживайся одного правила: бери лишь то, что тебя но-настоящему раздражает, злит, бесит. Сойдет любая мура, только не равнодушие, жвачка. Этого «голоса» не терпят. Вот сегодня я раздолбаю одну богоярскую липу.

— Круто! — вдруг сказал Голямин и залился дробным смехом. — Ох, круто заверчено!

— Да ты что? — растерялся Слоняла, удивленный, что этот пребывающий в нетях человек мгновенно догадался, о чем идет речь. Что это наехало на упыриного певца, он же читает лишь собственные письма?

— Чего ты там крутого нашел? — спросил он раздраженно. — Очередная советская брехня.

— Не-ет!.. — мотал кудлатой головой, чему-то радуясь, Голямин. — Круто!..

— Заладил! — все больше злился Слоняла. — Можешь ты по-человечески сказать, что ты там нашел?

— А как этот безногий бабу разложил?.. Нет, круто!.. — ликовал Голямин, будто обрел некое преимущество перед своим маститым собеседником, и, реализовав это странное преимущество, он уверенно призвал: — Поставь-ка, Люцианыч, еще по банке!

— Конечно, поставлю, о чем речь? — торопливо сказал Слоняла. — Но ты дал себя купить на слова, на мнимость горькой правды. А это советская пропаганда — тонкая, хитрая, великолепно замаскированная и оттого особенно противная. Я тоже чуть не поддался. Караул, думаю, если они так теперь пишут, надо по шпалам назад, примите с повинной головой. А потом понял: ничего похожего нет и быть не может. Заховали этих бедолаг в такие чащи и болота, что туда и птица не залетит, не то что белые пароходы плавают со светскими

ленинградскими красавицами. А скорей всего, они давно изведены втихую, эти калеки. Нет ничего ядовитее лжи со всеми атрибутами правды. Для чего это понадобилось автору? Я знал его как порядочного мало-го. Мы с ним гудели в «Европейской», на лыжах ходили в Малеевке. Ты его знаешь?

Голямин отрицательно мотнул головой. Ему хотелось еще пива да и надоел разговор о рассказе, который он случайно прочел и который ему пришелся. И то и другое случалось крайне редко, особенно второе. В ядреном калеке — герое рассказа — был дьявол, и это довлекло мистической душе Голямина.

Выслушав горячую речь Слонялы, он с ухмылкой сказал:

— Нет, круто!

Слоняла чуть не ударил его кружкой. Он ударил его, вернее сильно толкнул, несколько позже, когда они по надоевшей, пошлой традиции загулявших на Монпарнасе русских писателей притащились к памятнику маршалу Нею. Сколько раз клялся себе Слоняла покончить с этой хемингуевиной, но, видать, слишком глубоко проникла в него отравка папой Хемом, и всякий раз, отгуляв в «Куполе», «Ротонде», «Селекте», «Клозери де Лиля», он свой путь домой, на далекую Амстердамскую улицу, где в один день закрыли сто шесть бардаков, начинал от бронзового Нея в треуголке, на лихом коне, столь трогавшего суровое сердце его кумира. Здесь, опять же в духе папы Хема, он сказал с мужской простотой Голямину:

— Надоел ты мне, старик. Отвяжись! — и слегка толкнул плечом.

Голямин от слабого, но неожиданного толчка сковырнулся со своих ватных ног и упал к подножию памятника. Он неуклюже — с четверенек, — но довольно быстро поднялся и с бабьим воем кинулся на обидчика, скрючив пальцы рук — старый прием деревенских драк, которым разрывают у противника рот. Тут сработала какая-то автоматическая память, Голямин родился в семье московских потомственных интеллигентов, чьи предки сводили счета, лишь подставляя грудь под пулю обидчика. На счастье Слонялы, эта память подсказала Голямину лишь прием, но не способ исполнения. Слоняла легко отклонился и разбил Голямину нос. Последующий короткий бой прошел при полном его преимуществе. Потом он отвез на такси

обмякшего и безутешно плачущего желтыми пивными слезами сюрреалиста к какому-то его приятелю в Бобиньи, а сам отправился на студию.

Драка скинула с него весь хмель и очень подняла в собственных глазах. Как-никак он был на двадцать лет старше Голямина, а уложил его в духе Филиппа из «Пятой колонны» или Роберта Джордана — «По ком звонит колокол». Чуть смущал, но больше удивлял небольшой фингал под левым глазом, ведь Голямин так и не дотянулся до него. Не беда, он выступает по радио, а не по телевидению. Слоняла был собран, сосредоточен, как-то пронзительно зол — до ярости и разделал под орех изощренную советскую фигию. «Сегодня ты был хорош!» — восхитился редактор, считавший, что Слоняла выдохся.

Вот почему эта передача произвела такое сильное впечатление на сотрудников Серого дома. Если б это касалось вымышленного острова Богояр!.. Но прообразом его был остров Валаам, который населяли живые души, заключенные в обрубленные, искалеченные, беспомощные тела.. Впрочем, как оказалось, не столь уж беспомощные.

...Когда мне передали эту тетрадку — грязную, замызганную, с порванными страницами, исписанную какой-то клинописью, — я думал, что из нее ничего не извлечешь. Мне не удалось разобрать даже одного абзаца целиком, да и в прочитанных словах я не был уверен. Но потом мне порекомендовали одного пенсионного старичка, проживающего в Бескудникове, он, мол, разберется. Нет для меня в Москве тревожнее и неприятнее места, чем Бескудниково, а почему — не знаю. Быть может, моя тайная душа ведает причину странной неприязни с оттенком страха, которую вызывает у меня это место, ничем не отличающееся от других московских окраин. Иногда мне кажется, что в Бескудникове затаилась главная и последняя беда моей жизни. А что за беда? Смерть? Нет, я исповедую веру Гёте, что смерть — красивейший символ Творца. Ладно, чему быть, того не миновать. По странному психологическому выверту грозное бескудниковское клеймо на старичке специалисте мгновенно уверило меня, что осечки не будет.

Жил этот старичок в собственном крошечном домике под сиренями, чудом сохранившемся у подножия громадного новостроечного массива. Он оказался таким

же невсамделишным, как и его игрушечное жильё. Скрюченный костной болезнью, с головкой набок и косым взглядом снизу-вверх, он щеголял в оранжевой байковой рубашке и коричневых вельветовых брюках, державшихся на широких помочах жар-птичьей яркости. Он смотрел снизу, этот щеголь, но взгляд его был свысока, долгая жизнь приучила его к сознанию своего превосходства над окружающими. Едва глянув на рукопись, он ехидненько, с ужимочками, принялся объяснять мне, что я пришел не по адресу: он графолог, его интересует почерк — ключ к человеческому характеру, а мне нужен текст. Со всевозможным смирением я заверил его, что мне все известно о его великом искусстве, но я знаю также, что лишь он один способен прочесть любой невнятный почерк. А уж хуже почерка и представить себе нельзя.

— Это писал безрукий, — сказал старичок.

— ?!

— Он привязывал карандаш к культе или, скорее, вставлял его в клешню.

— ?!

— В расщеп лучевой кости. После войны таких калек было навалом. У рынков, церквей, на людных перекрестках. Неужели вы не видели?

— Видел. Наверное, вы правы. Тетрадка — из инвалидного убежища.

— Полагаю, это весьма любопытное сочинение! — захихикал старичок, являя завидную независимость душевного состояния от скорбных обстоятельств внешнего бытия...

Работу он выполнил точно в срок. Машинкой старичок не пользовался, да в том и не было нужды, рукопись калеки была переписана каллиграфическим, на редкость красивым почерком.

— Графологу тут нечего делать, — заметил он небрежно. — Характер автора записок ясен без расшифровки. К сожалению, тут много пропусков, текст местами начисто размыт или стерт. Все, что можно восстановить, я восстановил.

Я поблагодарил, расплатился и с легкой душой покинул Бескудниково, отложившее на будущее расправу со мной...

Вот эта рукопись с некоторыми сокращениями. Почему я не дал ее целиком? Автор порой превращается из летописца в беллетриста и злоупотребляет пейзажной

живописью, тяготящейся у классиков и вовсе невыносимой у дилетантов. Он интересен всюду, где говорит по делу. Жалко, что многое не сохранилось. Писавший — человек интеллигентный, хотя и не чужд того неперемогимого фольклора, которым отличается каждое мужское сообщество, будь то армия, закрытые учебные заведения, тюрьма, лагерь или инвалидные дома. Впрочем, ныне это стало хорошим тоном у отечественной интеллигенции. В нем причудливо сочетается взрослая пронзительность, порой тонкость с детскостью, каким-то наивным захлебом. А ведь писал это пожилой человек, участник Отечественной войны. Когда я был на острове калек, меня поразил их моложавый вид, а один «самовар» выглядел почти юношей, хотя ему было далеко за пятьдесят. Кстати, он отличался и некоторым психическим инфантилизмом. Быть может, тут играют роль изолированность, выключенность из социальной жизни, однообразие, необновляемость существования, некая психическая остановка, постигшая обитателей убежища. Впрочем, стоит ли вторгаться в эту серьезную большую сферу беллетристическим пустомыслием?..

Вот эти записи:

«... Прошел месяц с тех пор, как нас перестали пускать на пристань. Пашка оказался пророком. Когда этот парижский мудозвон объявил по «голосам», что нашего убежища не существует, Пашка сразу сказал: теперь начальство спохватится, и нас отсюда попрут. Пока еще не поперли, но первый шаг сделали — заперли нас в монастыре. В дни, когда приходят пароходы, по субботам и воскресеньям, ворота на запоре. А со вчерашнего дня и среда стала запретной: какой-то пароход заходит с Онеги. До чего же это подло! Неужто мы так страшны и отвратительны, что нормальным людям на нас и глядеть тошно? Ведь мы такие же, как они, только искалеченные. У нас почти все инвалиды войны, изуродованных на производстве раз-два и обчелся. В газетах орут: герои, защитники Родины! А героев держат, как арестантов, за ворота выйти нельзя. А ведь за все годы о нас не вспомнили ни разу. Хоть бы в День Победы помянули. Нет, с глаз долой — из сердца вон. Да, по правде говоря, нам это и не нужно. Никакой болтовней рук и ног нам не вернешь. И жизни, ахнувшей в никуда, не вернешь. И близких и друзей,

которых мы потеряли, тоже не вернешь. Почти все пришли сюда добровольно, мало от кого семьи отказались, да ведь добровольчество это вынужденное — неохота обременять, неохота быть укором тем, кто все сохранял. Правильно о нас сказано: мы отдали войне больше, чем жизнь. Если же в литературе вспоминали о таких, как мы, то лучше б этого не делали. Мутит от сладких соплей. Читал я в «Известиях» об одном безруком, как он ухожен и обихожен, как из рук жены ест и ссыт, каким уважением у окружающих пользуется. До чего же хорошо у нас безрукому, куда лучше, чем с руками. А еще лучше, если еще и без ног, тогда полный кайф. А я что-то особого счастья не замечаю, хотя и других богаче: у меня от всех конечностей клешня осталась, как у рака. И я ею много могу.

Хуже потери рук ничего нет. Без ног человек — человек, без рук — чурка. Даже если он на ногах. Я свою клешню за две ноги не отдам. Я сам и поссать, и посрать могу, и даже подтереться. Мне Пашка сделал такой крюк, чтоб подцепить газету, и я им как миленький обхожусь. Нормальные не знают, что из всех потерь безрукого человека самая отвратительная — невозможность самому справиться нужду. Тут всякий раз в тебе что-то умирает. Пусть наши санитарки старухи и страхолюдки, а все равно женщины. И что же чувствует живой мужик, а мы все нормальные мужики, когда баба лезет тебе в штаны, и ты из ее рук поливаешь, как младенец!.. А уж задницу тебе никто не подотрет, так и ходишь обосранный, вонючий до самого душа — раз в неделю. А бывает, месяцами душа нет: то трубы засорились, то горячая не идет. От грязи опускается человек. Если б не Пашка, мы давно бы погибли от грязи. Эти стервы его боятся. Он никогда не орет, вообще редко повышает голос, но они знают, что он может врезать. К тому же Пашка не растается с ножом. У Пашки боевое прошлое не только по фронту. Уже в мирные дни он оказался в очень серьезной компании. Подробностей я не знаю, но перо там считалось самым веским аргументом.

Любопытный человек этот Пашка. Он наш коновод. Он, можно сказать, официально признан старостой колонии, хотя такого звания нет. Персонал потому и считается с Пашкой, что он гарантия их покоя. Наша увечная команда при всей беспомощности опасновата. Если попадет вожжа под хвост, мы черепушками своими

будем громить стены. У нас и рукастых мужиков достаточно. Нервишки у большинства ни к черту, и страшно представить, что будет, если такая бражка сорвется с цепи. А Пашка всегда на стреме. Он не начальству служит, а нас оберегает. Он запретил нам называть друг друга по именам, тем более в пренебрежительной форме, а сам остался для всех Пашкой, именно Пашкой, а не Пашей. И в этом уважение, больше — обожание, каждый как бы утверждает свою близость с ним и вроде подчеркивает его ответственность перед обществом.

Общество!.. Надо видеть это общество по утрам, когда одурелые от тяжелой, беспокойной ночи (мы все плохо спим, нам снится один и тот же сон, как нас разрывает на куски) возвращаются в явь, в свое несчастье.....

.....  
...Пашка сделал мне кучу полезных вещей: ложку с длинным черенком, я ею и суп хлебаю, и кашу наворачиваю, крючок — задирает и опускать рубашку, порток на мне нет — я прямо с постели сигаю в кожаный футляр; сделал он мне кружечку удобную алюминиевую, я насаживаю ручку на один «палец» и пью чай, не обливаясь. Сделал множество мелочей, чтобы я мог сам причесываться, бриться, чесаться и мух отгонять. А главное, он соорудил мне тележку на подшипниках и костыль — от земли отпихиваться. До пристани я, правда, сам не доползал, только с чьей-нибудь помощью, но по двору таскаюсь и до леса добираюсь и к озеру. Ну, это близко, прямо за стенами монастыря.....

.....  
...Вчера разыгрался страшный скандал. Была суббота, и ворота закрыли на замок. Пашка замок сбил, с ним ушли трое, у этих были коммерческие соображения: бывший стрелок-радист Михаил Михайлович вытаскивает трубки и мундштуки, минер Алексей Иванович мастерит елочные игрушки из сосновых шишек, а танкист Леонид Борисович выносит на продажу дары леса: грибы, ягоды, лекарственные травы. На вырученные деньги покупают водку. Пашка раньше тоже подторговывал корешками, похожими на людей и животных, но потом бросил. Его тянет к пароходам другое. Это романтическая история. Он встретил на пристани любовь своих юношеских лет. О них рассказ



был напечатан. Я его не читал, но знаю от ребят. В рассказе этом женщина гибнет, она кинулась с парохода в озеро, чтобы доплыть до Пашки. Ребята говорят, что Пашка этому не верит. Там вообще много наврано и про смерть — тоже. Во всяком случае, Пашка ждет, что она придет опять, и ходит встречать ее к каждому пароходу. Болтают, что у Пашки с ней любовь произошла прямо на берегу, в леске, возле пристани. Но когда Пашку стали пытаться на этот счет, он заткнул любопытным хлебало.

Ясное дело, что для Пашки запрещение ходить на пристань — нож в сердце. Вот он и ушел, а ребята за ним. Конечно, администрация подняла шум. Пашка сказал, что как он ходил, так и будет ходить, и пусть они заткнутся.

В воскресенье к запертым воротам приставили старика с берданкой. Пашка ружье у него отобрал и ушел. За ним никто не увязался, чтобы не накалять атмосферу. Вечером Пашку вызвали к начальнику колонии, который считается главврачом, хотя никого не лечит. Разговора у них, видимо, не получилось. Берданку Пашка не вернул и еще показал главврачу хорошо заточенный нож.

Вечером, когда ложились спать, ребята спросили Пашку: неужто ты старика резать будешь? «Какого старика? — сказал Пашка. — Там будут мужички посерьезней...»

... Пашка не ошибся: прислали трех амбалов, похоже, из лагерной вохры, на возрасте, но здоровенных. И уже не с ружьями, а с «макаркой» в кобуре.

В субботу Пашка, как всегда, побрился, погладил гимнастерку, сменил подворотничок, засупонился, сунул под ремень нож и поковылял на своих «утюжках» к воротам. А за ним Василий Васильевич — на тележке. Одной рукой отталкивается, а другой берданку сжимает. Он снайпером был: всего двух фрицев ему до Героя не хватило. Василий Васильевич, подвыпив, шутит, что отдал бы своих фрицев и ГДР в придачу за одну ногу. Вся наша колония высыпала во двор, и «самоваров» вынесли.

Пашка добрался до ворот и велел охраннику отпереть. Тот даже не ответил. Пашка сказал Василию Васильевичу:

— Я его сейчас сниму. Если что пойдет не так, разнеси ему башку.

— Есть разнести башку! — весело отозвался снайпер и приложил берданку к плечу.

— Ты его приплюсуешь к счету, — сказал Пашка. — Он хоть из наших, но морда у него фашистская.

Пашка оперся об «утюжки» и подбросил себя вплотную к охраннику. Тот вынул пистолет. Пашка кинулся вперед, головой ударил охранника в живот и повалил. Пистолет выпал из руки. Пашка подобрал «макарку» и кинул Василию Васильевичу. Снайпер ткнул охраннику пистолет под мышку.

— Не бойся, — говорит, — убить не убью, только покалечу.

Вохровец налился кровью, но заводиться не стал и швырнул Пашке ключи от ворот. Он не струсил, просто признал свое поражение.

— Ну вас на хрен. Я с увечными не дерусь. Верните пистолет и валитесь хоть всей шарагой к ядерной фене.

— Отпусти его, — сказал Пашка. — Пистолет не отдавай. Если что — стреляй в ноги.

И заковылял на пристань...

(Тут в записях пропуск, но связь в изложении не теряется.)

... жуткий кавардак. В отсутствие Пашки приходил главврач и вся наша ведущая медицина. Интересно, что равенства нигде нет. Даже у нас существует расслоение, которое искусственно поддерживается начальством. Они хоть и врачи, а все равно начальство со всей административной жестокостью и глупостью. Аристократия у нас — это безногие, но с руками, с ними считаются, советуются, им дана наибольшая свобода. Средний слой — у кого сохранилась одна рука, а в самом низу — «самовары». Они совсем беспомощны, только и умеют — плакать или плевать. У меня положение крайне двусмысленное. Им очень хотелось бы числить меня в «самоварах». Но позвольте, господа, своим расщепом я владею виртуозно, да, виртуозно! Я сам ем, немного передвигаюсь, делаю вот эти записи, хожу в сортир без провожатого. Есть ли хоть малейшее основание зачислять меня в «самовары»? Я ничего против них не имею, боже избави, это самые, самые несчастные на земле люди, именно люди, а не «самовары», как их заглазно называют. Они должны иметь право голоса во всех делах. Но стоит ли говорить об этом, если даже меня стараются оттереть от общественной жизни. Я, конечно, умею качать права, и Пашка не дает меня в обиду, а его

слово — закон. Но сейчас Пашки не было, и меня не позвали на собеседование. Ладно начальство, на то оно и начальство, чтобы хамить, но наши-то хорошие!.. Черт с ними со всеми, важно остаться самим собой. Я веду дневник, а рукастые наши молодцы поди и писать разучились. У нас никто не пишет и не получает писем. Пусть мы добровольно ушли сюда, порвали с близкими, но ведь они где-то остались. Не пишут. Адреса не знают. Да если захочешь, неужели не узнаешь адрес? У нас был «самовар» Леша, так к нему мать-старуха из Сибири добралась, из самой глухомани. Неграмотная, темная крестьянка вышла искать сына и нашла его на этом острове. И осталась здесь до самой своей смерти. Таскала его на спине к пароходам, ставила на скамейку, вставляла ему сигарету в зубы, он дымил, улыбался, ловил кайф. После ее смерти Пашка стал таскать его на пристань. Леша тоже помер с месяц назад; и когда лежал в гробу, то выглядел подростком. Наверное, есть медицинская причина этой странной молоджавости обрубков, будто какая-то физиологическая остановка у них произошла. Вот это еще одно доказательство, что я не «самовар». Мне только очень скупой не даст моих пятидесяти восьми. Но если люди не хотят, им ничего не докажешь.

Я не стал навязываться и пошел на свое любимое место за сараями. Сейчас впервые обратил внимание на это «пошел». Да, так каждый из нас, кто может передвигаться, говорит и думает о себе: «я пошел», «надо сходить». Видел бы кто это «пошел», когда, отталкиваясь дрыном, отчего колеса моей тележки заносит то вправо, то влево, как нос у лодки, если гребешь одним веслом, я тащусь по неровностям почвы, через колдобины, ямы, заросли лопухов, репьев, крапивы, какого-то низкорослого цепкого кустарника к своему заветному месту. А сколько у нас таких, для кого и это недоступное счастье!

Добрался я туда и так обрадовался, как никогда в жизни. Монастырская стена дала тут здоровую трещину, и видно озеро далеко-далеко, и островки, и чаек, и рыбацкие лодки, а бывает, и парусники, и буксиры с баржами, а по выходным дням можно увидеть пароход, возвращающийся в Ленинград, и людей на палубе.

Есть такое заболевание: боязнь запертых помещений, всякой тесноты и темноты, вообще безвыходности. Оказывается, все монастырское подворье, если не мо-

жешь за него выйти, становится малó, тесно до задыха. А всего острова достаточно? Может, и недостаточно, потому и тащимся мы на пристань, где пароходы, а с ними весь огромный мир. Приятно на людей с воли глядеть и почему-то ничуть не завидно. А ведь должно быть завидно, до слез завидно. Но чего нет, того нет. Хорошо на них смотреть, и грустно, и весело — хорошо. Нет, нельзя было этого у нас отнимать, не по-людски с нами обошлись. И не верю я, что мы так непереносимо ужасны приедем, иначе б они сюда не ездили, а ведь валом валят.

За щелью в стене — простор. Сколько воды, сколько неба, воздуха!.. Жаль, вылезти наружу нельзя, тут отвесный обрыв прямо в воду. Прежде чем утонешь, насмерть разобьешься. Что ж, тоже выход. Но такая мысль сроду не приходила в голову. За все время у нас никто не покончил самоубийством. Здоровые, полноценные люди вешаются, стреляются, травятся, бросаются из окон, а наш брат так вцепился в эту пародию на жизнь, не оторвать. А как покончить с собой «самовару»? Я вот могу броситься в озеро, а что делать им, бедным? Только с чужой помощью, да ведь никто не станет помогать. Но они и не просят. Сроду не слышал, чтобы «самовар» о смерти заговорил. Может, в них пламя жизни приглашено? Живут в полусне, полусознании, как под наркозом.

Что-то не удалось мне настроиться на обычный лад. Я, когда прихожу сюда, редко о чем думаю, только смотрю на воду, на облака, на чаек, и что-то во мне происходит, чего словами не выразишь. Какие-то мечты о прошлом. И Таня является, и мама, и отец, и сестра, все то коротенькое, что было моей жизнью. Только все горячее, пронзительнее, чем на самом деле.

Таня пришла к нам в третий класс, и я сразу начал за ней «гоняться», так называлось у школьников ухаживание: задевал, бил по спине, дергал за косички. Как положено, это заметили и стали нас дразнить: «Таня + Коля = любовь» — обычные школьные глупости. Таня всегда соответствовала своему возрасту, как будто не жила по-настоящему, а играла — в десятилетнюю, в шестнадцатилетнюю, в восемнадцатилетнюю. И мне всегда отпускалось по возрасту: сперва тащиться за ней из школы до дома по другой стороне улицы, потом приглашать на каток, потом весьма целомудренно обжиматься в подъезде, потом поцелуи — только не в

губы; когда же я уходил в армию, она подарила мне свои груди. Это так и осталось пиком моей мужской жизни. У меня еще было несколько месяцев, чтобы стать мужчиной, но мне и в голову не пришло, я думал только о Тане, отложив все на после войны. Потом было минное поле и госпиталя два с лишним года, где меня все подкорачивали и подкорачивали. Оклемался я в ту жизнь, где ни Тани, ни другие женщины стали мне не нужны. Конечно, я думал о Тане, особенно вернувшись домой. И мысли о ней меня трогали, волновали, но не возбуждали. Может, это самозащита организма? Не хватало еще ко всем прочим удовольствиям мучиться из-за баб. Пока были живы родители и я оставался дома, Таня не только не пыталась увидеть меня, но хотя бы весточку послать, слово доброе передать. Или это действительно свыше человеческих сил — иметь хоть какой-то контакт с обрубок? Но ведь изнутри, для себя, я вовсе не обрубок, я такой же, как был. Душу-то мне не обрुбили, я цельный или это мне только кажется?

А кем я был для своих родителей? Мать меня чуть ли не облизывала, но, по-моему, у нее слегка пошла крыша. Я стал для нее бебешкой, младенцем, несмышленищем. Она все время умилялась: жрать захочу — умиляется, в уборную — умиляется, какую глупость ни ляпну — восторг со слезами. Уставал я от нее. Поведение отца мне больше нравилось. Он производил впечатление человека глубоко обиженного. Словно его обвели вокруг пальца, как последнего дурня. Еще бы: взяли сына, молодого, здорового, ладного, многообещающего, а вернули черт знает что, какую-то запятую. Он обиделся не на судьбу, государство, армию или Гитлера, а на меня. Зачем я позволил так себя изувечить. Это казалось ему легкомыслием, безответственностью, распущенностью. Он был строгих правил, страшно уважал себя, свою работу, высокое звание кандидата географических наук, трехкомнатную квартиру, которую ему каким-то чудом удалось получить, орден «Знак Почета», свою жену — мою мать — за дородность и умение вкусно готовить, уважал нас с сестрой — круглые отличники, уважал даже белого голубоглазого и, как положено, глухого кота; о глухоте он не догадывался, иначе отказал бы ему в уважении. Он почти не обращался ко мне, даже не смотрел в мою сторону. Иногда отрывисто напоминал, что мне следует похлопотать о какой-то награде. Ему серьезно казалось, что

бляха на груди частично компенсирует причиненный ущерб. А может, это говорило в нем законопослушание: раз тебе полагается, должен получить. Однажды я не выдержал и сказал: «Оставь меня в покое. Зачем мне это дерьмо?» Он весь затрясся: «Ты совершил подвиг, ты заслужил!» — «Какой, — говорю, — подвиг? Кретин-лейтенант завел нас на минное поле». Он сжал губы и вышел из комнаты. Кажется, заплакал. Похоже, у него тоже поехала крыша. А мать квохтала от восторга, как насадка, что я его срезал. Но вот уж у кого точно поехала крыша, так это у сестры. Она меня боялась. Особенно когда я обзавелся клешней. Ради сестры я отказался от совместных обедов и ужинов, сказав, что мне это трудно. И мне стали носить в комнату. Сестра даже подруг никогда не приглашала, боялась, что на меня наткнутся. Правда, она приносила мне книги из библиотеки. Я прочел всего Диккенса, Бальзака, Стендаля, Гюго, Дюма, всю русскую классику, времени у меня хватало. Когда родители умерли один за другим от каких-то нестрашных болезней, я сразу наладился в убежище. Бедная сестра даже из приличия не предложила мне остаться. Боялась, вдруг я приму это всерьез. Да если б она на коленях молила меня остаться, я все равно бы ушел. У меня от них всех тоже крыша поехала. Из всей семьи единственно нормальным остался кот Генрих, хотя и глухой и со странностями. Он весь день дрых, в восемь начинал душераздирающе орать и уходил на крышу. Возвращался ровно через двенадцать часов, минута в минуту, с теми же воплями. Что-то жрал и заваливался спать.

О Генрихе я жалею — теплая, пушистая, естественная скотина, о всех остальных — нет. Они не выдержали экзамена, каждый на свой лад. А матери вообще не должны отпускать сыновей на войну. Родила — так и отвечай за свою плоть и кровь. Ложись на рельсы, кидайся сиськами против танков, сжигай себя на площади. Если б все матери сговорились, а не разводили сырость, не стало бы войны. Пусть вожди, как в старину, решают свои распри в единоборстве. Гитлер в весе петуха против Сталина в весе крысы. Сразу бы поубавилось пыла. Чужой кровью, чужим мясом и костями легко геройствовать, а собственную залупу ой-ей-ей как жалко!

До чего же паршиво мне было дома, если, приехав сюда и привыкнув довольно быстро к грязи, вони,

плохой пище, хамству персонала, грубости отношений, не исключаящей душевности, даже тонкости, я очухался от своей омороченности и почувствовал движение жизни. Кстати, если кому-нибудь слишком воняет, могу дать совет: добавьте к общему букету свою струю, разом привыкнете...

Я стоял у разлома стены, смотрел на озеро и чувствовал, что не просто привязался к этому месту, а полюбил его. Эту воду, то белесую, то свинцовую, то изжелта-серую и редко голубую, это низкое тяжелое небо, крики крупных клювастых чаек, запах сосен, сырые темные кирпичи монастырской ограды.

Справа на крутом откосе берега росли голубые, желтые, розовые цветы, я не знал их названий, кроме колокольчиков. Меня это удивило: прожить тут четверть века и не знать имен тех, кто тебя окружает. Они всегда одни и те же, из года в год, только порой бывает больше колокольчиков, порой — розовых на длинной клейкой ножке; иногда все глушит желтое, иногда его забивает синь и фиолетовое. Я дал себе слово узнать их всех поименно. Откуда возникла такая срочная необходимость? Я не допускал, вопреки Пашкиным словам, что нас отсюда прогонят. Только подумал — и сразу вернулось то, от чего я, казалось, давно избавился: бабьи слезы, рыдания и — башкой о стену...

Пока я отсутствовал, произошли важные дела. Главврач сообщил, что заперли нас не по его инициативе, а по указанию сверху. Медицина установила, что каждый наш поход на пристань приводит к стрессу, разрушающему нервную систему. Вот как, а мы-то, дураки, не поняли, что все делается для нашей же пользы. Впрочем, чему тут удивляться: руководство всегда заботится о благе народа, а мы — самая драгоценная его частица, нас надо оберегать, холить и лелеять. Тут Василий Васильевич, бывший снайпер, сказал: «Коль мы и впрямь такая ценность, то нельзя ли сортиры почистить, иначе к стульчаку не пробраться». Главврач заверил, что будет сделано, и спросил, есть ли еще какие требования. К его глубокому удивлению, требования оказались. А он-то думал, что создал здесь земной рай. Дальше пошло, как на сходке, все орало, ругались, никто никого не слушал, и главврач тщетно призывал высокое собрание к порядку и гражданской сознательности. Спустили пары, подуспокоились, и главврач сказал, что ворота откроют, мы сможем, как

прежде, ходить, куда пожелаем, кроме субботы и воскресенья, ибо последнее нам вредно. Но кончится туристский сезон, и все ограничения сразу отменят. Под наше честное воинское слово он готов снять охрану, если, конечно, мы можем поручиться за тех товарищей, которые не обладают достаточной выдержкой. Тут все поняли, что он метит в Пашку, и Михаил Михайлович, стрелок-радист, заявил, что Пашка должен ходить на пристань по выходным дням. Главврач и вся его команда — на дыбы, с какой стати делать для него исключение? И тут же предложили взять на себя сбыт нашей ремесленной продукции, продажу грибов и ягод, а также доставку спиртного. «Хватит жлобства,— сказал Василий Васильевич.— Вы прекрасно знаете, зачем Пашка к пароходам ходит». Тут переговоры сильно заклинило, наши стали насмерть. В конце концов, персонал уступил: мы возвращаем пистолет и берданку, а Пашка будет ходить на пристань. Наши расценили это как великую победу, но потом вернулся Пашка и всех раздолбал.

Зря мы из-за него слабинку дали и разоружились зря. Это первый шаг к превращению инвалидного дома в тюрьму. Нам отвели Богояр как пристанище и убежище. Тут было пусто — чаща, гниль и развалины. Мы обжили эту землю, все уголки нами разведаны, все тропинки нашими задницами промяты, сам воздух нашим дыханием согрет. Тут все, чем мы владеем, это наши сосны, березы, лозняк, наши моховики и брусника. У нас нет ни дома, ни семьи, ни имущества, ни города, ни страны, ничего у нас нет, кроме этого клочка земли посреди пустынного озера. Но задумали и этого нас лишить. Если мы так страшны и ужасны для чужого глаза, какого хрена возить сюда туристов, есть много других прекрасных и доступных мест, не населенных такими вот изгоями, а нас оставьте в покое. Хоть это мы заслужили за свое увечье, за свою загубленную жизнь. Но зря они мутят воду: никто из приезжих от нас не шарахался, напротив, каждый старался выказать свое уважение и понимание. Это «голоса» надоумили боданую власть, что мы страшнее чумы и надо нас изолировать. Небось иностранцев ждут, мать их в печень, а мы погано выглядим на взыскательный заграничный взгляд. У них инвалиды в креслах-колясках разъезжают, фланелевые костюмы носят и разноцветные картузики для пущего веселья. А мы без порток,



гимнастерки старые испревшие донашиваем и елозим на задницах. Гнать таких к ядерной фене, чтоб не портили пейзаж!..

И когда Пашка это брякнул, тут такое началось!.. На него чуть с кулаками не полезли, словно он задумал выселение. Пашка дал всем отораться, потом снова заговорил:

— Вы горлопаните: не посмеют, не посмеют! Откуда такая уверенность? Вас что, никогда не обманывали? Святые люди, недаром в монастыре живете. Еще как посмеют-то, глазом не моргнут. Они на цельных людей плевать хотели, а тут какие-то обрубки, кочерыжки. Богояр для чистой публики, а не для таких, как мы.

— А что же делать-то? Что мы можем против них?

Это сказал жалким, беспомощным голосом Михаил Михайлович — один из наших заводил, сильный и громкий мужик.

— Ничего не можем, — подхватил Пашка, — и все можем. Будем молчать и ждать — нам кранты. Главврач — пешка, всполошились верхние начальники. О нас слышали за «бугром», и сразу у них в портках намокло. Ничего на свете не боятся, мудрят, изгаляются над людьми, как хотят, а душонки-то заячьи. Стало быть, есть мир вокруг и есть, мать его, человечество. И приходится с этим считаться, хотя, как положено у них, по-уродливому. Надо обратить на пользу, что нам на пагубу задумано. Пусть знают, что мы не бессловесная скотина, что у нас есть глотка. Мы можем гаркнуть на весь свет. Это единственное, чего они боятся. Но начинать надо, конечно, со своих.

Решили написать письмо нашей администрации, а копию послать в Москву, на самый верх. Пашка не должен отказываться от своей привилегии ходить на пристань по выходным, это облегчит связь с Большой землей. Лучше посылать письма с okazji, чем через нашу ненадежную почту. И, не откладывая дела в долгий ящик, мы сели писать «письмо турецкому султану», как выразился Василий Васильевич.

Тут обнаружилась одна неожиданная странность: Пашка, умница, говорун, прирожденный вожак, оказался беспомощен в письменной речи. Он смущенно оправдывался: «Я, братцы, технарь до мозга костей. На литературу сроду не косил да и писем не писал, тем паче по начальству». И другие наши лидеры застеснялись. Тут настал мой час. «Повезло вам, — говорю, — ребята,

есть среди вас словесник. Подкидывайте мысли, я все сформулирую». Все обрадовались, лишь Алексей Иванович, минер, ляпнул бестактность: «Диктуй, я буду записывать. Много ты своей куриной лапой наковыряешь, а у меня почерк писарский, я в минеры по ошибке попал». Конечно, я внимания не обратил на его хамство, подвинул лист бумаги и защебил шариковую ручку в пальцах. Пришлось Алексею Ивановичу поджидать, пока я «куриной лапой наковыряю», что нужно.

О своей обиде я вскоре забыл, до того у нас здорово пошло. И впрямь как у Репина: и хохот, и крепкое словцо, и остроты, будь здоров! Василий Васильевич снял гимнастерку и стал вовсе как тот полуголый казак, что слева на картине, ему другой казак кулак меж лопаток вlepил от восторга. Мы долго резвились и хулиганили, пока Пашка не призвал нас к порядку. Казалось бы, чего тут радоваться? Нас заперли, как зверей в зоопарке, впереди тоже не светит, а мы ржем, орем, выпендриваемся друг перед другом. Наверное, это потому, что мы занялись общим делом, начали что-то вместе отстаивать. Такого сроду не бывало. Каждый мучился сам по себе, каждый спасался сам по себе. Странно, у нас немало выпивающих, но никогда не бывало общего застолья, даже в День Победы. Этот день и вообще у нас тускло проходит. Не сияет нам золото победы, хотя в ней и наша доля. Но для нас у нее ничего нет. За праздничным столом нам не нашлось места. Ну и упивайтесь своей победой, разыскивайте старых фронтовых друзей, вешайте на веточках имена с номерами частей, наш день — двадцать второе июня, когда нам вынесли приговор. Мы всегда плохо спим, но что мы вытворяем в последнюю ночь перед войной, передать невозможно. Мы не кричим, а воем, не плачем, а истерически рыдаем, взываем к Богу, кроем в бога, в душу, в мать, по-детски лепечем, умоляем, лаем, мычим, блеем, не палата, а скотный двор. Просыпаемся от своего и чужого крика, но никогда об этом не говорим. Наоборот, напускаем на себя постный вид и степенно, фальшиво-истово вспоминаем минувшие битвы. Ох, уж эти битвы!.. Как красиво на них ранят и калечат!.. Я как-то раз сказал, что подорвался по-дурацки на своем же минном поле, так на меня наорали: «Заткнись! Нечего шута из себя корчить!..»

Любопытно: никто не получил награды за свой последний бой. Тут дело двоякого рода: далеко не все

превратились в калек так героично, как вспоминается сейчас, и другое — начальству не хотелось возиться с обрубками, тратить на них благородный металл наград. Сколько в этом цинизма и холода!.. Но вот еще о чем надо сказать: кроме большого дня начала войны, никто у нас не болтает о подвигах, тем паче о наградах. Разве что над Василием Васильевичем иной раз посмеиваются: не добрал двух фрицев для круглого геройского счета.

Ладно, что-то далеко занесло меня от «письма турецкому султану». Мы потратили на него куда больше времени, чем надобно, наслаждаясь своим единодушием, гражданской доблестью, остроумием и виртуозным матом. Это была жизнь, а не бесцельное прозябание, и мы как-то забыли о цели наших усилий. Вернул нас на землю, как уже сказано, Пашка. Он стал выкладывать тезисы письма и до того четко, что я усомнился, действительно ли он не мог написать это письмо без нашей — в частности моей — помощи. Наверное, Пашке хотелось всех нас втянуть в дело. Так или иначе, мне лишь раз-другой удалось расцветить его железные формулировки хорошим эпитетом или деепричастным оборотом. Пашка высоко оценил мои скромные труды, ребята одобрили текст, после чего мы пошли к «самоварам». Разбудили их, поставили на койках стоймя, Пашка объяснил ситуацию и зачитал письмо. «Самовары» единодушно приняли текст, а старший среди них — артиллерия — Егор Матвеевич предложил создать стачечный комитет и подписать письмо его именем. Предложение было принято. В комитет вошли: Пашка, Василий Васильевич, Михаил Михайлович, Николай Сергеевич, то есть я, Егор Матвеевич и Аркадий Петрович — тоже «самовар» — пехотинец.

У Пашки был многолетний роман с одной чистой женщиной из обслуживающего персонала, прачкой Дарьей Лукиничной, через нее письмо передали главврачу, а в Москву его отправит в следующую субботу Пашка...

...У нас происходят непонятные дела. От всех переживаний я плохо спал ночью: часто просыпался, потом задремывал в полглаза, потом впал в какое-то странное полубессознательное состояние: не то сон смотришь, не то явь прикидывается сном. В этом полубреду мне мерещилась бурная ночная деятельность. Пашка, Василий Васильевич, Михаил Михайлович, Алексей Иванович и еще трое-четверо «мобильных»

шушукались, колобродили, уходили, приходили, потом вовсе исчезли. Когда я снова проснулся, они были в палате, но не ложились, опять шебуршали сердитыми голосами. Я решил присоединиться к ним, как-никак я член стачечного комитета, но тут меня будто молотком по затылку ударили, и я враз отключился.

Утром я потребовал у Пашки отчета. Он все мне рассказал, но просил до времени об этом не распространяться и даже не записывать — он знает, что я веду хронику нашей жизни, надо быть крайне осторожными...

.....

Ответа на письмо мы не получили. Главврач даже отказался разговаривать с нами. Пашку, как и обещано было, выпустили за ворота, и он доверил наше послание одному из пассажиров, ленинградскому инженеру, показавшемуся ему человеком надежным. Сам он вернулся нагруженный, как поездной носильщик. В основном бутылками с водкой и консервами. А еще принес конфеты-липучки, печенье, сахар, много махорки. У нас же с понедельника, когда открыли ворота, началась заготовительная кампания: собираем и сушим грибы, консервируем ягоды. Каждую ночь совершаем набеги на огороды обслуживающего персонала, а женщины наших орлов доставляют нам тайком хлеб, крупы, картошку. Мы готовимся к осаде, похоже, что она не заставит себя ждать. Вохровцы, с которыми у нас была стычка, отмылили, зато прибыли какие-то очень внушительные пареньки, все на одно лицо: белоглазые, с квадратными челюстями и крепкими шеями. Они к нам не приближаются, но мы постоянно чувствуем их наблюдающий глаз. В остальном наша жизнь не изменилась, все остается по-прежнему: и кормят, и поят, и уколы делают, и лекарства дают, и в палатах убирают, и горшки подставляют. Врачи, правда, реже заглядывают и держатся строго официально. И остальной персонал замкнулся, даже санитары и уборщицы, с которыми у нас всегда были грубо-доверительные отношения. Или им строго-настроено запретили вступать в разговор, или они сами не хотят волновать нас непроверенными слухами. Но поведение их подозрительно...

... Теперь мне самому непонятно, зачем мы играли с собой в неизвестность. Ведь Пашка с самого начала сказал, что нас ждет. То ли это было слишком унижительно как полное и окончательное бесправие, то ли

слишком страшно, так что душа не принимала, но когда это случилось, будто столбняк на всех нашел. А ведь готовились к обороне!..

Собрали нас во дворе, и главврач сделал объявление: государство проявило о нас заботу. Чтобы улучшить наше содержание, убежище переводится в другое место, а Богоярский монастырь возвращают церкви, законной владелице святой обители. Вот так — ясно и просто. Все молчали. Никто даже не спросил, куда нас переводят. Потому что не было для нас иного места, где бы мы могли кончать нашу проклятую, жалкую, убогую, единственную и последнюю жизнь, кроме Богояра.

И вот мы стоим посреди двора и молчим. Вокруг знакомые кирпичные серые стены. По верху ограды, на почве, нанесенной ветром и птицами, растут чахлые березки. Свечами торчат из-за ограды сосны с высоко обнаженными прямыми стволами. Вчера я на них внимания не обращал, а сейчас знаю: жить без них не могу. И без этих стен, и без этих березок, и без гудящего шмеля, нигде не будет он так гудеть, как здесь. О нас думают: обобранные, — да мы и сами так о себе думаем, а мы, оказывается, богачи, вон сколько у нас всего — глазом не охватишь. Но завтра мы станем нищее нищих, пусть нам царские покои подарят, мы их не возьмем. Тут наш Храм на крови, и нет для нас другого.

Я как-то со стороны увидел наше сборище: какие же мы маленькие и какие он и большие. В прямом смысле слова. Самый рослый из нас, Пашка, на метр от земли возвышается, остальные вовсе воробьи. И сверху вниз взирают на карликов великаны. И карлики молчат в тряпочку, подавленные своей ничтожностью и бессилием.

Не поймешь, откуда прозвучал хриплый, будто зажатый в груди голос, похоже, Василия Васильевича:

— А мы не просили...

— Не слышу, — сказал главврач. Он действительно не расслышал и потому приветливо улыбался.

— Мы не просили нас переводить! — пискнул главный «самовар» Егор Матвеевич.

Главврач сказал ласково, как ребенку:

— Вы не просили, а государство о вас подумало.

И тут наконец раздался голос, которого мы все ждали, звучный, жесткий, резкий, как высверк ножа:

— Пошли вы на х... с вашим государством! Мы никуда не поедем.

Пашкин голос нас сразу расколдовал. И перестали мы быть карликами, заговорил в нас человеческий дух. Даже слишком заговорил. Теперь орали все, вразнобой, не слушая друг друга. Главврач выделил из буйного хора одно: кто-то крикнул, что мы будем жаловаться на самый верх.

— А вы думаете, там об этом не знают? Я, что ли, решил вас переселить? За кого вы меня держите? Дети малые! Там,— он поднял глаза к серому небу,— это решили. И хотите вы или нет, придется подчиниться.

— С какой стати? — снова послышался Пашкин голос, прорезав общий шум.— Мы не каторжники, не заключенные, мы свободные люди, и нам решать, где жить.

И тут заговорил один из челюстных молодцов, уставившись на Пашку белыми, как утренняя ладожская вода, глазами:

— Вы напрасно подзуживаете товарищей. Решение принято, и никто его не отменит. Все делается для вашей же пользы. Нечего затевать волынку, себе же сделаете хуже.

— А ты не грози! — высунулся Михаил Михайлович.— Что ты нам грозишь, курья вошь? Это тебе есть что терять, а нам терять нечего. Все уже потеряно. Сказали — не поедем, и точка. Нам переезда не выдержать и не прижиться на новом месте. Так какого хрена будем мучиться, лучше здесь подождем.

Пашка сказал уверенно и спокойно:

— Скажите все это тем, кто вас послал. И мы, в свою очередь, скажем кому нужно.

Белоглазый коротко усмехнулся:

— Ваше дело. А поехать придется.

— У нас, что же, никаких прав нету? — спросил Алексей Иванович.

— У вас есть право на отдых, лечение, заботу государства. И все это вам обеспечивается.

Он вовсе не издевался, но и не пытался быть убедительным, просто талдычил по своей инструкции, поскольку твердо знал, что решать будут не слова, а поступки.

— Значит, примените силу? — спросил Пашка.— А скандала не боитесь? Мы окажем сопротивление. Не усмехайтесь. Думаете, мы такие слабые? Да мы на весь мир о себе крикнем. На калек руку поднять — такое не

простят. По горло в дерьме закопаетесь, вовек не отмыться.

— Демагогия... — пробормотал белоглазый, но, похоже, его озадачили Пашкины слова.

... Мне думалось, мы взяли верх, но в жизни все не так просто. И по нашим рядам прошла трещина. Вот уж не думал, что дырку даст Михаил Михайлович, один из самых отчаянных.

— Гиблое наше дело! — сказал он, когда укладывались спать. — Бодался теленок с дубом. Кто мы, а кто они?

— Мы — люди, а они сволочи, — сказал Алексей Иванович.

— Это я и без тебя знаю. Только что мы можем против них?

— А то, что Пашка сказал, — вмешался Василий Васильевич. — Ты нешто не видел, как он скис, когда Пашка на мировой скандал намекнул? Сразу хвост поджал.

— Да кому до нас дело?..

— Это ты зря, — сказал Пашка. — Дело есть. У нас калеки хуже дерьма, а у них — забота всей нации. Я видел журналы. Первые люди. Общество не знает, как свою вину искупить. У нас нет общества, есть быдло, молчаливое и покорное, и номенклатурные вертухаи. Но вокруг нашего свиного загона пестрый, горячий, живой мир, и в нем наша поддержка.

— А как ты к тому миру прорвешься? — спросил Михаил Михайлович. — Кто тебя услышит?

— Мы хоть и на острове, но от мира не отрезаны. И пароходы ходят, и почта работает. Докричаться до людей можно. Нас хотят убрать тишком. И вот этого нужно не допустить. Если мы проявим стойкость, мы отобьемся. Они боятся скандала, в этом наш главный шанс. Только действовать надо всем, как один, иначе ничего не выйдет. Если кто не согласен, пусть сразу уходит. Так что определись, Михал Михалыч.

— Да я что?.. Я — как все... Просто спросил...

... Теперь, когда мы оказались на осадном положении, многое стало ясно. Оказывается, Пашка, Василий Васильевич, Алексей Иванович и некоторые другие, предвидя, как сложится дело, приняли некоторые меры. В ту ночь, когда мне не спалось, они совершили весьма отважную операцию: утащили бочку бензина со склада и бочонок с керосином. Как они справились, не знаю,

возможно, им помогли их женщины. Набегу, как оказалось, подверглось не только хранилище горючего, но и аптечный склад. Вот тогда уже началась подготовка к блокаде. О других заготовительных работах я писал, хотя, честно признаюсь, относился к этому, как к детским играм взрослых людей. Думаю, что многие разделяли мое отношение. Но Пашка-то действовал всерьез, и мы оказались неплохо обеспечены не только едой, куревом, горючим, но и медикаментами. Конечно, надолго этого не хватит, но мы рассчитываем, что рано или поздно отзовется Большая земля. Мы написали много писем в самые разные организации и отправили их еще до того, как нам пришлось запереться в нашей крепости. Но и сейчас, когда мосты разведены, мы не находимся в полной изоляции. Пашкина Дарья находит возможность держать нас в курсе вражеских намерений. Если б не это, они взяли бы нас голыми руками. Да, в какой-то момент — от растерянности, что ли, или от привычки к насилию — они решили осуществить принудительную эвакуацию. Но мы были предупреждены и заперлись в нашем бастионе, бывшей монастырской трапезной. Двери тут будь здоров, обиты жестью, с железными засовами. Окна на первом этаже с дубовыми ставнями, запирающимися изнутри, к тому же на всех окнах — железные решетки. Конечно, нет таких крепостей, которых не взяли бы большевики, а именно к этой категории принадлежали белоглазые челюстные оперативники, но без большого шума тут было не обойтись. Тем паче что у нас опять оказалась берданка с набором патронов на волка и откуда-то старый, несамовзводный, но вполне надежный наган. Несколько предупредительных выстрелов оказалось достаточно, противник отступил на заранее подготовленные позиции. Штурмовать наш бастион они не решились. Все-таки Богояр — обитаемый остров, и такую операцию не утаишь, даже если наши письма не достигнут адресатов. Пашка снова оказался прав: им надо действовать втихаря, в чем и состоит их слабость.

Снайперу Василию Васильевичу ужасно хотелось округлить счет, но Пашка не позволил. Тогда он прострелил из нагана рупор у самых губ главного обормота, призывавшего нас к добровольной сдаче в плен.

Пашка считает, что верховное командование осаждающих (мы перешли на военную терминологию,



вначале в шутку, а сейчас всерьез) не ожидало серьезного сопротивления и потому не дало соответствующих инструкций исполнителям, что привело тех в растерянность. Возможно, это сделано сознательно: неохота брать на себя ответственность. С калеками славы не наживешь. Белоглазые тоже боятся попасть впросак, отлично понимая, что в случае огласки начальство подставит их. Выходит, с нами надо считаться, вот какая мы сила. Ребята это чувствуют и, конечно, гордятся. Совсем иным духом повеяло. Руки-ноги не отросли, а вот крылышки — точно. Взять хотя бы такой случай.

Перед тем как мы заперлись в крепости, Пашка дал мне поручение: объяснить «самоварам» обстановку и предложить им эвакуироваться. Мне это поручение не понравилось.

— Почему именно я?

— Не заводись. Сам подумай почему.

Я это знал, потому и злился.

— Ты мужик умный, обходительный. Они тебя скорее послушают, чем любого из нас... Они не выносят никакого давления, принуждения. С ними надо только на равных.

Вот он и проговорился: на равных! Своего, мол, они послушают... Это он говорит летописцу Богояра (сам же так меня называет), человеку, который самостоятельно передвигается, сам себя обслуживает. Но я не стал заводиться. Черт с ним, раз надо, так надо. Конечно, меня там и слушать не стали, едва поняли, куда я клоню. Заорали, заплевались, обложили матом, а пехотинец Аркадий Петрович вдруг затянул высоким дребезжащим тенорком:

Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой  
С фашистской силой темною,  
С проклятою ордой.

И все подхватили:

Пусть ярость благородная  
Вскипает, как волна.  
Идет война народная,  
Священная война.

Пусть это смешно звучит, но мы ощущаем наш бедный бунт как продолжение войны, которая кончи-

лась для нас до срока, без победы и возвращения, хотя мы остались живы. Вернее сказать, наоборот: война для нас так и не кончилась, она всегда продолжалась в наших изуродованных, не перестающих страдать телах, в обрубленных членах и помутненных рассудках. Война, отвратительная вдвойне, — окопная, безнадежная, когда фронт молчит, когда ни взад, ни вперед и время остановилось. А сейчас заработали орудия, мы вырвались из окопов и перешли в наступление. Мы ожили, забыли о боли, мы можем выбирать, решать, отстаивать свое, и другие люди — здоровые, сильные, цельные, экипированные и вооруженные — вынуждены считаться с нами.

...Они переменяли тактику: от уговоров перешли к давлению. Нас почти перестали кормить: только в обед подвозят котелок баланды, не дают ни курева, ни лекарств. Хорошо, что мы всем запаслись. Конечно, установили жесткое нормирование. Лекарства и курево в первую очередь «самоварам». Пока мы ни в чем особом не испытываем нужды. Уборщиц и санитаров к нам не пускают, но фронтовые подруги прорываются, устраивают постирушку, чего-то подбрасывают: сухари, соль, спички, снотворное, медицинский спирт. Разведанных — никаких, противник затаился и планов своих не выдает.

Пашка считает, что план у них самый примитивный — взять на измор. Очевидно, начальство их умыло руки, а они не решаются на крайние меры. С другой стороны, это не может длиться вечно: пойдут слухи о ленинградской блокаде для калек — кому-то не поздоровится. Значит, надо держаться. Удивительно, почему молчат «голоса». Михаил Михайлович каждый вечер крутит свою игрушку — ни черта. Без конца болтают о русской церкви, передают службы, как будто это кого-то интересует. Трещат о страстях Сахарова в Горьком и муках Солженицына в штате Вермонт. Конечно, на фоне таких высоких страданий наши богоярские белесты ни хрена не стоят.

...Поскольку мы заперты в четырех стенах и занять себя нечем, стали много разговаривать. И естественно, все больше о войне, а что еще у нас в жизни было? Школа, пионерлагеря, а потом война, госпиталя и убежище. Есть исключения, не без того: Аркадий Петрович часовщиком работал, в самодеятельности пел, Алексей Иванович ходил рабочим в геологических

экспедициях, Егор Матвеевич — таежный человек, охотился на пушного зверя, у Пашки была любовь и бурная жизнь между госпиталем и убежищем. Но для подавляющего большинства война все перекрыла.

Раньше фронтовые воспоминания случались у нас редко, главным образом в подпитии двадцать второго июня. И всегда тут присутствовал тот последний, решительный, героический бой, когда от тебя осталась половина или того меньше. Рассказам этим никто не верил, в том числе и сам рассказчик, тем более что содержание их варьировалось от случая к случаю, обрастало красочными деталями. Каждый творил свой фольклор, и это считалось в порядке вещей, ведь и в самом деле могло быть и так и этак, а результат один — он не придуман. Так стоит ли цепляться к подробностям, чего они стоят перед последней истиной? Нынешние рассказы ничего общего не имеют с прежними. В их откровенной, часто больной непривлекательности — голая правда. Ведь не только газеты и литература врут о войне, врут — от чистого сердца — сами участники, но это не охотничье вранье, хотя и такое бывает, все же оно не главное. Можно быть участником трагедии, апокалипсического ужаса, но не кровавого фарса. А именно фарс полез из всех щелей в нынешних воспоминаниях. Я записал несколько историй по свежему впечатлению.

Из рассказа Василия Васильевича:

«...Не переживайте особо за меня, что я не округлил счета. Это все лаферма<sup>1</sup>. Если снайпер взял больше десяти человек — брехня. Или ему искусственные условия создавали, как стахановцам, или он просто бздит. Когда ты на одном участке охотишься, фрицы тебя непременно выследят и уложат, они тоже не пальцем сделаны. Они все твои хитрости, приемы, манеру насквозь изучат и рано или поздно подловят. Вообще-то снайпер ходит на охоту со свидетелем. В следующий раз снайпером идет свидетель. И оба, конечно, химичат. Я на Карельском фронте был. Уже к сорок третьему году по сводкам получалось: финнов не осталось ни одного человека. Это обнаружила Ставка и выдала «разгонный» приказ. Стали ходить с двумя свидетелями и химичили по-прежнему...»

Из рассказа Егора Матвеевича:

«...Окоп был глубоким, бруствер высоким. Два разведчика в полный рост сопровождали ползущего на

<sup>1</sup> Чепуха.

четвереньках смершевца. Он был в новеньком полушубке и в новых бурках. Командир роты, стоя в рост, представился смершевцу. Тот приказал освободить «для работы с людьми» землянку. Единственную землянку освободили. Только в ней он встал в полный рост. Началась «его работа». Когда уполз на четвереньках обратно, мы догадались, что на троих стукачей в роте стало больше. Стукачей отгадывали по провокационным вопросам, которые они задавали командиру взвода и командиру роты. На солдат не стучали, а непременно на своих командиров. Свои «ксивы» обычно передавали почтальонам. Бывало, и замполитам...»

Из рассказа Ивана Ивановича. У него поехала крыша, поэтому называю его не своим именем. Мне кажется, что эту историю он или выдумал, или слышал от кого-то. Но ребята уверены, что он говорит правду:

«... Я воевал уже три года, и мне надоело. Хотел руку себе прострелить, но не решился. И тут в госпиталь попал с дизентерией. А там ребята попались — исключительные специалисты, все про симуляцию знают. Они меня научили сунуть крупицу медного купороса в канал члена. Меня с подозрением на гонорейку в специальный госпиталь направили. Там проверили — гонококков нет, назад отвезли. А я опять купоросинку сунул. И тут меня один раненый заложил. Судили показательным трибуналом в госпитале и дали высшую меру. Из госпиталя увезли с конвоем расстреливать в другое место. Расстреляли и бросили, даже не зарыли. Так, снегом закидали. Я очнулся. Но пока меня нашли, отморозил ноги. Мне их ампутировали. Потом госпиталь разбомбили. Когда меня опять подобрали, никто моим прошлым не интересовался...»

Из рассказа Константина Юрьевича, прожекториста, потом пехотинца на Ленинградском фронте:

«...История была типично «градоглуповская», если бы при этом не было столько жертв. Нами, прожектористами, усилили две пехотные роты. Ночью эти роты повели куда-то по шоссе друг за другом на расстоянии примерно полкилометра. Довели до моста через Вуоксу и скомандовали: одной роте окопаться по левую сторону дороги, другой — по правую. Общим ротам сказали, что противник должен объявиться с противоположной стороны. Под утро, но пока еще не рассвело, рота на роту пошла в атаку. Поводом к атаке послужил клич Кольки — «Смахни пыль с ушей» (единственный,

кстати, член ВКП(б): «Белофинны! Вперед! За Сталина!» Через какое-то время рукопашной кто-то сообразил, что атакующие друг друга густо матерят. Раздались крики: «Своих бьем!» Стало рассветать, и драка прекратилась. Убитых обнаружили позже. Занялись ранеными и поиском командиров взводов и обоих ротных. Все они исчезли. И было решено, что они «переодетые» финны или фрицы. Похоронили трех убитых, поколотили «большевика» Кольку. В знак особого к нему презрения несколько человек на него помочилось, а когда двинулись в тыл, Кольку прогнали. Он шел сзади. Кто-то выстрелил в его сторону, и Колька исчез... По дороге умер еще один. Когда его хоронили, были окружены истребительным батальоном (предшественники заградительных отрядов), который отконвоировал всех в свой палаточный городок. Там сначала разоружили, потом долго разбирались. Позже отдали оружие и отконвоировали в район сосредоточения какого-то «коммунистического» батальона, состоявшего из ополченцев. Скоро дали команду «Углом вперед!», и все пошли в наступление лесом. Шли неорганизованно, и через какое-то время прожектористы соединились в одну группу, плетущуюся в арьергарде. Некоторое время по лесной дороге, тархтя, ехали три танкетки. Позже они остановились как будто на починку, больше их не видели. Шли долго. Периодически орали «Ура». Громче всех прожектористы — для смеха и от скуки. Пришли на заброшенный хутор. Появился какой-то тип (батальонный комиссар) и сказал, что «высоту Фасоль» мы взяли и можно делать привал. Кто снял сапоги и стал сушить портянки, кто стал собирать и есть бруснику. Дом хуторской никто осмотреть не удосужился. Вдруг с чердака нас стали поливать из нескольких пулеметов, одновременно из-за леса, за пашней, начался мощный артиллерийский и минометный обстрел. Я стал окапываться, когда же кое-как зарылся в землю, ко мне подполз незнакомый старшина. Он стал бодать меня каской в бок, приговаривая: «Пусти голову под живот!» Разрыв меня оглушил. Когда очухался, от старшины половина осталась. Я вскочил и не пригибаясь бросился в лес, который был в тылу. Проскочил зону отсечного огня... Бежал долго по лесу, пока не свалился от изнеможения. Лежа, удивился наступившей тишине и тут же услышал далекое недружное и фальшивое пение «Интернационала». «Сдаются в плен», — подумал.

Встал и побежал дальше. И тут мне показалось, что на одном дереве «кукушка». Я упал, спрятавшись за ствол дерева. Лежал долго, затем переполз в ложбинку. Фигура не шевелилась. Через некоторое время заметил, что к «кукушке» ползут двое. Они подползли совсем близко и вдруг вскочили. Это были мои однополчане: Гошка и Жорка. Я свистнул и пополз к ним. Но тут понял, что «кукушка» мертва, встал и подбежал к парням.

«Кукушка» оказалась повешенным Колькой, который спровоцировал ночную атаку роты на роту. Колька был, видимо, сначала повешен, а затем снят и посажен так, что издали можно было принять его за «кукушку». В глаза были вбиты гильзы, торчал черный язык, вид жуткий... Сговорились пробираться в Питер, теща себя мыслью, что нас примут назад в прожекторный полк. Скатились с дороги вниз, в овраг. Подъехал отряд мотоциклистов, остановился. Слышна была немецкая речь, финская тоже. Через какое-то время мотоциклы уехали. Решили дальше не идти, пока окончательно не разведируется. Вскоре, прижавшись друг к другу, заснули. Проснулись, когда совсем рассвело. Перебрались с дороги на просеку. По ней вышли на большак и встретили на нем эвакуиров. Обозники пустили нас на телеги. Возница разрешил мне зарыться в сено. Я сразу заснул. Проснулся от боли. Меня укололи штыком. Это были опять «истребители». Укололи они меня очень неудачно, задев позвоночный столб. У меня отгнили ноги...»

Из рассказа Сергея Никитовича («самовара»), бывшего командира роты на Волховском фронте:

«...Мне дали роту почти сплошь из уголовников. Никто из них не умел ходить на лыжах (это в лыжном-то батальоне!), но беды большой в том не было, поскольку они все сбежали до того, как мы заняли позицию. Из семидесяти восьми бойцов у меня осталось девятнадцать. Укрытия на позициях были из замороженных трупов, не выше метра. Передвигались на четвереньках, а из укрытия в укрытие я ползал по-пластунски. И вдруг однажды, пренебрегая опасностью, непонятно почему, иду в полный рост, необычайно гордый собой. На меня подчиненные смотрят как на спятившего, а я этому рад: «Вот какой я! А вы червяки!» К удивлению всех, немцы не стреляют... Тишина... И мне радостно оттого, что я вот так

разогнулся, что я перестал быть рабом обстоятельств. Метра за два-три до укрытия какая-то неведомая сила поворачивает меня в пируэте. Смеюсь, не понимая: «Кто это меня повернул?» Затем удар по спине, оглядываюсь — никого. В штанах делается тепло. Мне кажется, что я обмочился, и я лезу к себе в ватные штаны. Вынимаю руку — кровь. Тепло становится в спине. Радость поглощает все: «Ранен!.. Легко ранен!.. Госпиталь, постель, чистое белье... Вот счастье-то!..» Я кому-то передаю команду, становлюсь на лыжи и айда в лес, на поиски БМП. Нахожу медпункт быстро. Начальник — мой сослуживец по прежнему полку Савченко — исследует и говорит: «Два пулевых сквозных ранения мягких тканей». Одно в районе тазобедренного сустава, другое в мышцу спины под лопаткой. Перевязывает, дает чистую рубаху, кальсоны. Чистую, значит, без треклятых гнид и вшей. В радость закрадывается сомнение: возьмут ли с такими ранениями в госпиталь? Савченко говорит: «Непременно! Сейчас выпей, закуси и отоспись». Я выпиваю полстакана водки, заедаю шматком сала и проваливаюсь более чем в двадцатичасовой сон. Будит меня комбат лыжного отдельного батальона. Спрашивает о самочувствии. Говорю: «Хорошо!» — «Ну, тогда одевайся и за дело!» — «Какое еще дело? Савченко должен меня госпитализировать». — «Ничего, — говорит майор, — госпитализацию временно отложим». Я к Савченко... Он смущен. Протрепался о моем легком ранении, — думаю я и в душе кляню этого предателя...

Я рассчитывал на недельку в госпитале, а провел в нем, съеденный гангреной, изрезанный вдоль и поперек, полтора года. Вышел вот таким — ничего лишнего. Привет славному представителю советской военной медицины товарищу Савченко!..»

Это маленькая часть того, что было наговорено за последние недели. Я как-то спросил у Пашки, отчего такая дегероизация войны, раньше или хвастались, или молчали... «Жить было нечем, — ответил Пашка. — У кого нервы послабее, вздрочивали себя бахвальством, у кого покрепче, искали чего-то в собственных потемках. А сейчас есть жизнь. Так на хрена липа? Это замечательно, может, главное, чего мы добились. Отметь в своей летописи...»

...Вчера произошло страшное. Наш штаб передал противнику — иначе мы их теперь не называем — протест по поводу противозаконных действий. Госу-

дарство отпускает на каждого инвалида чуть ли не двадцать шесть копеек в день, которые за месяц складываются в рубли. На эти скромные средства нам полагается питание и обслуживание, а также лекарства и медицинская помощь. А нам выдают одну баланду, теперь даже без хлеба. Выходит, отпускаемые нам деньги кто-то присваивает, а это воровство, уголовно наказуемое преступление. Если нам не будут отпускать положенное, мы обратимся в прокуратуру.

Ответ не заставил себя ждать. Нам предложили выйти из укрытия и объясниться с глазу на глаз. При этом дали честное слово, что никаких насильственных мер приниматься не будет. Мы посоветались и приняли предложение. В назначенный час высыпали на паперть трапезной церкви, куда заранее перенесли наших «самоваров». Явился противник: из знакомых — главврач и ведущий белоглазый, остальные новые. Главврача узнать нельзя, из цветущего мужчины он превратился в старенькую обезьянку: запал в самого себя и все время скребется, нервное, что ли? Говорил ведущий белоглазый — деревянный болван, играющий в железного человека, — медленно, вроде бы спокойно, но за этим спокойствием — задавленная ярость, и без обиняков. Вот смысл сказанного: убежище закрыто, его не существует. Инвалидов снабжают по новому адресу: и едой, и медикаментами, и всем положенным для жизни. Это не каприз, не злая воля, а правительственное решение, принятое для нашей же пользы. Большая часть врачей и персонала уже переехала туда, сейчас отправляется последняя партия. Здесь не останется ни одного человека. Вскоре придут монахи и займут возвращенный им монастырь. На острове разрешено находиться лишь служащим пароходства. «Вы напрасно шлете жалобы в Москву. Они возвращаются сюда». Он открыл планшет и показал наши письма — плод гражданского возмущения, человеческой обиды, боли и сарказма.

— Если вы не образумитесь, пеняйте на себя. На этой неделе мы закончим эвакуацию персонала, вывоз имущества и оборудования, после чего окончательно снимем вас со снабжения, отключим свет, воду и отопление.

Василий Васильевич крикнул:

— Гитлеровцы не добились, свои фашисты добьют!

Все заорали, загалдели. Дальше я чего-то не углядел, но вдруг среди нас оказались белоглазые и стали



крутить руки Пашке, Василию Васильевичу, Михаилу Михайловичу и Алексею Ивановичу. Те — отбиваться, Пашка выхватил нож. Его отпустили, остальных куда-то поволокли. И тут коновод «самоваров», бывший охотник, Егор Матвеевич закричал пронзительным голосом:

— Стойте, сволочи! Сейчас я самосожгусь!

И сразу резко завоняло бензином. Это Иван Иванович (с поехавшей крышей) выплеснул на него ведро бензина.

Все оторопели, а «самовар» Егор Матвеевич завизжал:

— Поджигай, зараза!..

— Стойте! — крикнул ведущий белоглазый. — Мы уходим, уже ушли!..

Его подручные сразу отпустили свою добычу. Не надо было поджигать, но Иван Иванович, если на что нацелится, непременно сделает, он не в силах остановиться, передумать. Егор Матвеевич предугадал, что случится, и крепко втемяшил ему в башку: облить и поджечь — тот и чиркнул спичкой.

Вспыхнул воздух вокруг Егора Матвеевича, пропитанный бензиновыми парами, потом загорелись волосы. Все шарахнулись прочь, попадали. Пашка сорвал одеяло, в которое был закутан простуженный тенор-часовщик Аркадий Петрович, накинул на горящего, сам рухнул на него и затушил пламя.

У Егора Матвеевича спалило остатки волос на висках и темени, брови, ресницы, а так он почти не обгорел, разве самую малость. Но разозлился на Пашку ужасно:

— Кто тебя просил, сволочь такую? Отнял ты у меня мой подвиг.

Пашка и так и сяк его улещивал, извинялся, «героем» называл.

— Был бы я героем, если б не ты, сволочь вездесущая! — ругался Егор Матвеевич, и слезы капали с обгорелых век.

— Егор Матвеевич, плюнь мне в рожу, облегчись, — попросил Пашка. И тот плюнул вязкой, тягучей слюной больше себе на подбородок, чем на обидчика. Пашка утерся подолом рубашки, потом утер Егора Матвеевича.

Василий Васильевич сказал душевно:

— Спасибо тебе, Егорушка. Кабы не ты, нам хана.

— О чем ты, Васильич? — отозвался тот. — Мы же корешки. — И, сильно наклонив голову, спрятал лицо.

...Дни, даже недели, следовавшие за самосожжением Егора Матвеевича, были самыми подъемными с начала нашего бунта. Ведь мы вышли победителями в прямой стычке с противником. И попытка захвата заложников была, и, как говорится, блеснула благородная сталь — не остановился бы Пашка перед поножовщиной, если б не героический поступок Егора Матвеевича. Вот вам и «самовары-самопалы»! Я горжусь, что в известной степени принадлежу к ним. Господи Боже мой! Вот существовал тут сколько лет никому не ведомый обрубок, а настала минута, и он ради «други своя» живым факелом возгорелся. Ведь это случайность, чудо, что Пашка сумел его загасить. И стал он опять привычным Егором Матвеевичем с чинариком, прилипшим к нижней губе, и тускло-голубыми, теперь странно голыми глазами. А он по-настоящему героическая личность!

Если б разобраться в нас, если б в каждого заглянуть, сколько может оказаться ценного, высокого, не востребованного миром, сколько сильной, неизрасходованной души. Но разве кто пытался это сделать, разве кто посмотрел хоть раз задумчиво в нашу сторону? Ползунки, «самовары», недочеловеки — вот кто мы такие не только для белоглазых упырей и тех, кто их послал, но и для всего народа, в упор нас не видящего. Если честно говорить, какое же дерьмо наш великий народ — покорный, равнодушный, с ленивой рабьей кровью. Если мы, убогие, безрукие, безногие, на целую шайку страх навели, так что могла бы сделать вся человечья громада, проснись она наконец, распрямись. А ведь и делать-то ничего особого не надо: сказать «нет» и убрать руки с рычагов. Все встанет, а там и завалится. Что могут белоглазые без работяг? Да ни хрена, со всеми своими бомбами и самолетами, танками и пушками, генералами и маршалами. Но разбит у народа позвоночник, ни на что он не годен.

...Вчера собирался стачком. Вот уже неделя, как белоглазые выполнили свою угрозу: полностью отключили нас от цивилизации, даже баланды лишили и, похоже, закончили эвакуацию персонала.

Случайно я оказался свидетелем свидания (вернее, расставания) Пашки с Дарьей. Разговор у них происходил через зарешеченное окошко полуподвала, где мы храним горючее. Я там расположился со своей тетрадкой, а Пашка меня не заметил. Слов я не слышал, но

видел, что она плакала и о чем-то просила Пашку, а он отрицательно мотал головой. Это длилось довольно долго, потом женщина ушла. Пашка повернулся и заметил меня. Он подошел, лицо у него было задумчивое, но спокойное.

— Жалко бабу. Но что поделать: она не может остаться, а я уехать.

— А почему она не может остаться?

— Где она будет жить? Что делать? У нее дочка большая, ей надо судьбу определять.

— От кого у нее дочка?

— От мужа. Он их бросил, когда она со мной сошлась. Уехал отсюда и затерялся.

— Ты ее любишь?

Он пожал плечами:

— Привык. Зачем ты меня спросил? Ты же знаешь, кого я люблю...

На стачкоме разговор зашел о том, что не сработали все наши рычаги.

— Нас предали, — сказал Пашка. — И свои и чужие. Что свои — это в порядке вещей, а почему закордонные правдолюбцы не шелохнулись, для меня загадка.

— Ничего загадочного, — сказал Михаил Михайлович. — Политика. Не хотят ссориться с нашей великой державой. Почему — не знаю. Может, какое-то соглашение готовится или поездка. Значит, сейчас надо закрыть глаза на мелкие грешки социализма. Что стоит горстка калек перед высокой политикой?

— Но «голоса»-то вроде независимые? — заметил Василий Васильевич.

— Дитя малое! Они на чьи деньги существуют?.. А кто дает деньги, заказывает музыку.

— Может, просто не дошли наши письма? — высказал предположение Алексей Иванович.

— Я два письма через «другарей» послал, — сказал Пашка. — Чех и поляк — ребята надежные. Я с ними провел разъяснительную работу. А одно письмо наш мужик взялся сам доставить, он инженер-электронщик, на работу в Багдад едет.

— Когда любимая не приходит на свидание, — сказал Михаил Михайлович, — думаешь, что она заболела, сломала ногу, попала под трамвай, а она просто трахается с другим. Не стоит мозги трудить. Любимая не придет.

— И какой вывод? — спросил Алексей Иванович.

— Все тот же, — сказал Пашка. — Держаться.

— Ленинградский вариант? — мрачно сказал Михаил Михайлович. — Подохнуть с голода?

— До голода еще далеко, — возразил Пашка. — Главное, не скисать.

— Давайте придумаем какое-нибудь развлечение, — светским голосом предложил Василий Васильевич.

Все засмеялись, кроме Михаила Михайловича, он и вообще в последнее время стал мрачен и раздражителен.

— Предлагаю бальные танцы, — сказал он и запел противным голосом: — «Ночью, ночью в знойной Аргентине»...

— Не дури, — сказал Пашка. — Устроим вечер. Один споет, другой прочтет стихотворение, третий чего-нибудь расскажет. Я фокусы умею показывать — с веревочкой и шариками.

— Знаешь, что это напоминает? — злым тоном сказал Михаил Михайлович. — Олимпийские игры в доме для престарелых. Соревновались по одному виду: кто дальше насыт. Победил старик, обоссавший себе ботинки.

— Остальные в штаны? — сообразил Алексей Иванович и захохотал.

— Очень остроумно, — сказал Пашка. — Похоже, ты сам из этих, которые в штаны.

Я думал, они сцепятся, но Михаил Михайлович повернулся и укатил на своей тележке.

Пашка поглядел ему вслед.

— Осажденной крепости страшен не штурм, а предательство.

— Брось! Мишка не предатель, — заступился Василий Васильевич.

— Он люто о своей Насте тоскует, — сказал Алексей Иванович.

Настя — уборщица, пожилая женщина, лет за пятьдесят, довольно страхолюдная и угрюмая. Но когда у нее началось с Михаилом Михайловичем, ей было чуть за двадцать...

...Давно ничего не записывал. Было много всяких хлопот, и чувствую себя неважно. Какая-то сонливость напала. Все время ищу, где бы прикорнуть. Не понимаю, что со мной. Вроде бы здоров, ничего не болит, а силенок нет.

Задуманный вечер прошел здорово. Настолько здорово, что последующие дни все ходили как «под

банкой». Оказалось, почти каждый что-то умеет. «Самовар» Аркадий Петрович пел до войны в самодеятельности, был ротным запевалой и до сих пор сохранил сильный лирический тенор. Он поет репертуар Лемешева и даже с его интонацией. Алексей Иванович, сроду не думал, помешан на Есенине, он нам всю «Анну Снегину» наизусть прочел. Константин Юрьевич — непревзойденный рассказчик. Один его рассказ я запомнил. Разговаривают пехотинец с танкистом:

**«Пехотинец.** Ждешь, ждешь танков, вот появились наконец, и первое, что они делают, — дают залп шрапнелью! Так всегда! В чем тут дело? Ведь по своим же бьют!

**Танкист.** Все нормально. Так и надо!

**Пехотинец.** Бить по своим?

**Танкист.** Да не по своим, дурья голова. Нам ни черта не видно. Где свои? Где фрицы? Вдарим разок навесным. И смотрим: бегут на нас — свои, бегут от нас — фрицы. Словом, выясняем и уточняем боевую обстановку. Понял, балда?»

Василий Васильевич спел два ромаса: «Не пробуждай» и «Мой костер». Он не поет, а почти говорит, но так, что за душу хватает. Представляю, как бы это звучало под гитару. Отличился Иван Иванович. Он очень старательно готовился к своему номеру: разрисовал цветочками фанерный лист и сделал в нем круглое отверстие. Хор «самоваров» спел куплет:

Приходи, мой милый,  
В вечерний час.  
Приходи, любимый,  
Прямо хоть сейчас.

— Я здесь! — вскричал Иван Иванович и высунул в круглое окошко голую жопу, на которой были нарисованы углем усы. Его заставили бисировать.

Я прочел отрывки из своих записей, слушали с большим вниманием. Пашка показывал фокусы, а потом мы хором пели «Невечернюю», «Когда б имел золотые горы...» «Гори, гори, моя звезда...».

...У нас введен особый режим. На общем собрании Пашка обрисовал положение и призвал потуже затянуть ремни. Экономить придется даже воду, поскольку водопровод перекрыт, а от колодца мы отрезаны. Выручает «не осенний мелкий дождик», но все-таки бочки наполняются медленно. Лекарства мы тоже поста-

вили под строгий контроль: снотворное выдается лишь тем, у кого хроническая бессонница, а валидол и нитроглицерин, если сильно схватит. Всех «самоваров» распределили по «рукастым», они должны их мыть, причесывать, одевать, кормить, водить в сортир, стирать на них, менять белье. Словом, обеспечивать такое обслуживание, какого они не имели при разленившемся персонале. Пашка вообще строго следит за тем, чтоб никто не опустился, не махнул на себя рукой. А такое почти неизбежно, когда люди заперты в четырех стенах и никого не видят, кроме одних и тех же надоевших рож. Раньше у нас была какая-то внешняя жизнь, общение с другими людьми, прогулки, сейчас мы варимся в собственном соку, а это чревато... Нас выручает то, что за все предыдущие годы мы как-то мало узнали друг друга, и сейчас происходит взаимное открытие. И это оказалось интересным, каждый увидел в другом не просто соседа по палате, сомученика, а человека...

Наведя экономию, мы обнаружили, как мало надо нам для существования. Я не говорю о таких едоках, как Пашка или Василий Васильевич, эти рубают по делу, но все «самовары» питаются, как птички. Оказывается, не нужно даже нашего скудного рациона, чтобы прокормить туловище, почти не расходующее себя на внешнюю жизнь. Куда же девалась раньше еда? Оставалась на тарелках, скармливалась скоту, собакам, кошкам. Выходит, наших запасов нам хватит надолго...

Мы ничего не знаем о том, что происходит в мире. Электричество отключено, батарейки сели, и приемник Михаила Михайловича замолчал. На бензине и керосине он, к сожалению, не работает. Теперь мы поняли, что дышали все-таки воздухом всего человечества, а не только хвоей Богояра. Сейчас нас исключили из мирового пространства...

Нервы у людей сильно напряжены. Начались ссоры. И как ни странно, среди «самоваров», которым и делить-то нечего. Причину ссоры даже сами разругавшиеся порой не знают. Вот вчера это было. Запел Аркадий Петрович. Обычно его упрашивают петь, а он огрызается: «Что я вам — патефон?» — но в конце концов делает милость. Надо же покапризничать артисту. А тут сам запел «Среди долины ровныя...» — чудную песню, одну из лучших в его репертуаре. И вдруг Сергей Никитович, культурный человек, бывший

командир роты, как заорет: «Заткнись! Надоел!» Егор Матвеевич заступился: «Не люблю — не слушай, а врать не мешай». — «Он меня с мыслью сбивает». — «Надо же, какой мыслитель! Карл Маркс! Альберт Эйнштейн! Сулов!..» Самое тяжкое, что в их ссорах нет выхода. Нельзя дать по роже, выйти, хлопнуть дверью, вообще как-то спустить пары. Остается только плевать. Что Сергей Никитович и сделал. Но попасть в противника практически невозможно, они плюются в никуда, чаще всего себе же на грудь. Это раздражает еще больше. Кончается слезами, истерикой. Так случилось и на этот раз. Сперва разревелся Сергей Никитович, а потом и сам певец. Пришлось Пашке их утешать, мирить. У него это выходит, хотя и с натугой. Раньше они крайне редко заводились. То ли их пичкали какими-то лекарствами, ослабляющими жизненный тонус, то ли они раз и навсегда оморочены страшной травмой, мне трудно судить, но такой агрессивности не было. Бунташные дела очень их возбудили, но наряду с хорошим пробудилось и плохое; агрессивность, нетерпимость — при полном бессилии — ужасны.

Пашка просил нас больше времени проводить с этими несчастными и чем-то их занимать. Пашку слушают, хотя, похоже, не так охотно, как прежде.

...Все-таки харчишек стало не хватать. Вернее сказать, они пустые: ни жиров, ни масла. Ввалились щеки, удлинились носы. И «самовары» приметно угомонились, стали меньше кидаться друг на друга. Темнеет рано. Как ни жги бензин-керосин в самодельных светильниках, осеннюю ночь не переборешь. Да и надо экономить горючее, бочки не бездонные. А ночи все чернее и длиннее...

...Сегодня я упросил Пашку выпустить меня хоть на полчаса наружу. Вообще это запрещено, поскольку белоглазые держат нас под наблюдением и от них всего можно ждать. Но, видно, на меня нашла болезнь, когда не можешь сидеть взаперти, и я сказал Пашке: если меня не выпустят, у меня пойдет крыша. Он подумал-подумал, наклонив свою крупную, лобастую голову, и разрешил: «Ладно. Только втихаря. Не то все разбегутся».

Когда он меня вывел, я вначале ничего не ощущал, кроме счастья дышать чистым воздухом. Я почувствовал свои легкие и то, что я делаю для них что-то очень хорошее, а они возвращают мне это с процентами. Ми-

нут пять, наверное, я просто дышал, закрыв глаза и тем бессознательно отгораживаясь от других, отвлекающих впечатлений. Сперва я ощущал только свежую благодать, воистину пьянящую, потом стал различать запахи — осенние, горьковатые: палого березового листа, умирающих трав, влажной коры, и от воды тянуло резко намывом гниющих водорослей.

Я открыл глаза и увидел осень. Осины были совсем голые, березы еще сохранили немного желтого убора, лесная поросль сквозила во все концы. Чайки над озером не кричали, а как-то ржаво скрипели. Синицы вернулись из леса в надежде на корм возле человеческого жилья, да возле нас не прокормишься.

И постепенно мне стало печально и тревожно в этой изнемогающей природе. И я был рад, когда появился Пашка.

- Надышался?
- Надышался.
- Налюбовался?
- Налюбовался.
- Устал? Отнести тебя?
- Еще чего? Я сам...

Когда мы вернулись домой, я вынул эту тетрадку, чтобы записать, как обычно, прожитый день, и вдруг по тетрадочному листу забегал крошечный, с порошинку, клопик. Нет, это, конечно, не клопик, а какой-то жучишко: оранжевый, со множеством ножек, невероятно шустрый. Он носился с такой быстротой, что за ним было не уследить. Каким же мощным двигательным аппаратом надо обладать, чтобы перемещать свое тельце с такой невероятной быстротой! Он метался по листу, потом я почувствовал его на своей руке; оглянуться не успел, как он щекотал мне щеку и опять оказался на бумаге. Я решил его прогнать, чтобы он не забрался мне за пазуху. Щекотно и противно. Я ничего не имею против насекомых, но не люблю, когда они ползают или просто сидят на мне. Такой у меня неуживчивый характер. Но я боялся тронуть его моим толстым и грубым пальцем, даже кончиком шариковой ручки, из которого выдавливается паста, уж больно он хрупкий. Я решил его сдуть. Но крошка припала к листу, уперлась или приклеилась к нему всеми своими ножками и удержалась. Я подул сильнее — никакого впечатления. Экая жизненная сила и сопротивляемость у такой малости! Я подул еще сильнее, и вдруг эта порошинка,



эта оранжевая точка размазалась по бумаге, я расплющил ее своим выдохом. Не знаю почему, но это произвело на меня удручающее впечатление. Ей-Богу, я чуть не заплакал. Глаза стали влажными. Неужели мне так жалко Богу нелепицу? Жалко, конечно, но тут еще что-то. Я такой же, как он, все мы, богоярские герои, бунтари, пугачевцы, соловецкие ратоборствующие иноки, такие же слабые, жалкие и непрочные, как оранжевый жучок. Просто еще не догадались дунуть сильнее. А догадаются — и все: размажут нас красноватой кашицей, как этого бедолагу.

...Пашка как-то сказал: осажденным крепостям страшен не штурм, а предательство. Я вспомнил эти слова сегодня ночью, подслушав случайно — бессонница мучила — его разговор с Михаилом Михайловичем.

— Не могу больше. Я уйду,— это сказал стрелок-радист.

— Я это давно знал.

— Откуда ты мог знать, когда я сам... сегодня еще...

— Со стороны виднее.

Пашка бывал порой резок, с начальством груб, мог покрыть матом, правда, очень редко, но в тоне его всегда оставалось какое-то человеческое тепло. А сейчас его голос был холоден, презрителен и высокомерен. Я не знал такого Пашки.

— Я скучаю за Настей,— сказал Михаил Михайлович с какой-то нищенской интонацией.— Я не знал, что буду так за ней скучать.

— Прими мои соболезнования.

— Надо ли так, Паша? — мягко сказал Михаил Михайлович.— Столько лет вместе бедовали.

— Чего ты от меня хочешь? Одобрения?

— Понимания.

— А что я должен понять? Что ты без бабы не можешь? Какой донжуан! Я младше тебя, но ничего — обхожусь.

— Это я настоял, чтобы тебя на пристань пускали.

— Я не просил. И не стал, если помнишь.

— Наверное, ты сильнее меня.

Пашка промолчал.

— Все равно там будем,— вздохнул Михаил Михайлович.

— На том свете? — поспешно подхватил Пашка.— Несомненно. Только в разных отделениях.

— Я — о новом убежище, — устало сказал Михаил Михайлович.

— Не расписывайся за всех.

— Придется отсюда уйти. Будут голод, болезни, мор. Ты что решил — всех тут положить?

— Я никого не держу. Тебя тоже. Но зачем торопиться? Уйди со всеми, раз ты уверен, что придется уйти.

— Уйти надо всем! — другим, каким-то освобожденным голосом сказал Михаил Михайлович. — Я поговорю с людьми.

— Попробуй только. Я тебя прикончу.

— Что с тобой, Пашка? Я тебя таким не знаю. Ты же добрый, хороший человек. Или ты маску носишь? Кто ты на самом деле?

— Я Пашка-безногий. Так меня звали после войны в одной теплой компании. Не напоминай мне об этом времени. Я думал, что забыл его.

— Ладно. Я тебя не боюсь.

— Напрасно.

Михаил Михайлович пропустил это замечание мимо ушей.

— Но мутить людей, пожалуй, не стоит. Для себя я решил, а насчет других... Ты же не станешь их насильно держать? Этих... беспомощных, которые сами ничего не могут?

— Не твоя забота. Ты все сказал? — И Пашка накрылся одеялом.

Михаил Михайлович ушел на рассвете, когда все еще спали. И Пашка спал. Лицо у него было жесткое, как из дерева. Он спит с открытыми глазами, я замечал это у собак. Глаза свинцовые, слепые, страшные. А вообще глаза у него серые, матовые, а случается, ударит солнечный свет, и они делаются бездонно синими. Какой же Пашка на самом деле: синий, серый, свинцовый?..

Я видел из окна, как Михаил Михайлович уходил. Его выпустил Василий Васильевич, помог поудобнее устроиться на тележке, уместил радиоприемник, пожал ему руку и сразу вернулся в дом. Михаил Михайлович покатил по утреннику, устлавшему землю и траву. Он несколько раз останавливался и оглядывался, словно ждал, что его окликнут. Я бы сделал это, да ведь не такого зова он ждал. Какой же он крошечный сверху!.. Вот он в последний раз оглянулся, уже от крыльца административного корпуса, вытер лицо кепкой и скрылся.

В то же утро Пашка собрал нас и сообщил об уходе Михаила Михайловича. Без всяких комментариев. Его выслушали молча, угрюмо и разошлись.

...Опять давно не записывал. После ухода Михаила Михайловича наступила тревожная, смутная пора. Все словно чего-то ждали. Нет, не каких-то вражеских действий, а чего-то непонятного, что возникнет среди нас и непременно обернется бедой. На улице — слякоть, зима борется с осенью, а воздух тяжел, как в августовское предгрозые, — давит. И совершилась беда — умер Егор Матвеевич.

Он давно уже был плох, только мы этого не понимали, чуть не с самого того дня, когда пытался сжечь себя. Правда, первое время он еще куражился, крыл на чем свет стоит Пашку и всех нас, что помешали его подвигу, но длилось это недолго, вдруг скис, замолк, ушел в себя. Ни с кем не общался, почти не ел, только бросал отрывисто: «Холодно, холодно», — и надо было кутать его в одеяло. Пашка пытался разговорить Егора Матвеевича, узнать, что с ним происходит, но тот отмалчивался, правда, уже без злобы и раздражения, видать, простил Пашке. Наверное, он перенес слишком сильное потрясение, ведь он не думал, что уцелеет, он принял смерть, и она вошла в него, хотя он остался жив и даже не очень пострадал. Он истратил себя полностью на свой поступок и уже не мог и не хотел жить. Конечно, это мои домыслы, а что у него было на душе, разве узнаешь?

Посоветовавшись, мы решили не ставить в известность белоглазых о кончине Егора Матвеевича. Им нет дела до нашей жизни, пусть не будет дела до нашей смерти.

Досок было полным-полно. Пашка и Василий Васильевич — умелые плотники — сколотили гроб, довольно большой, куда больше, чем требовалось обкорнанному телу покойного. Они этим оказывали ему уважение, давая приют не тому, что от него оставалось, а тому, что было, когда молодой удачливый таежный охотник сменил тройник на винтовку и помог нашему бездарному командованию решить единственную на всю войну стратегическую задачу: забить русским мясом стволы немецких орудий.

Мы похоронили его под стеной трапезной, на скрытой от врагов стороне. Могилу выкопали ночью. С утра шел снег с дождем, потом перестал, проглянуло

солнце, и земля, хвоя запарили. На сосновом суку над могилой сидела белка и внимательно следила за церемонией. Рыжими у нее оставались лишь ушки и лапы, остальной мех был зимним, серым, и казался окутанным каким-то влажным дымом. Ее все заметили и удивлялись, чего она стынет в изморози, вместо того чтобы спрятаться в дупло. Аркадий Петрович высказал соображение, что в эту белку переселилась душа Егора Матвеевича, которой интересно было знать, что скажут над могилой. Она услышала много хорошего, теплого, трогательного.

Потом Пашка выдал нам граммов по тридцать медицинского спирта, чтобы помянуть Егора Матвеевича и согреться, ведь все стояли под холодной ночью с непокрытыми головами. Все же несколько человек захлюпало носом.

...У нас новое увлечение: изобретать светильники. Уж очень сумрачно стало в убежище, это плохо влияет на психику. Мрачнеет наш гарнизон, теперь редко услышишь шутку, смех, веселый голос. Люди молчаливы, раздражительны.

Осветили мы наш каземат неплохо, но радости не прибавилось. Какой-то дурной от них свет — беспокойный. Стоят они или на полу, или на низеньких подставках, и каждая крыса, увеличенная тенью, кажется с медведя.

Я слышал, как Пашка пробормотал, уладив очередную ссору: «Герои устали». Наверное, так оно и есть. Нездоровье, усталость, плохое питание, холод, безделье делают свое дело. Тяжело повлияла и смерть Егора Матвеевича. А тут поехала крыша у нашего певца, тихого и нежного человека, Аркадия Петровича. Он неумолчно брусит что-то церковное, будто самого себя отпевает. И вдруг дико вскрикивает и опять брусит. Его перевели в нашу палату, но он плохо действует на Ивана Ивановича, который давно уже не в себе, но прежде не докучал. Сейчас он стал невероятно приставуч. Кто бы чего ни делал, он должен подкатить на своей коляске и спросить: «Ну, чё?» — «Чего чё?» — «Чё делаешь?» — «А ты сам не видишь?» — «Не, а чё?» И неважно, как ему ответить — или по-серьезному: «Посуду мою», «Постель стелю», или в насмешку: «Вальс танцую», «Жениться собираюсь», — он тут же: «И я хочу! Ты чё — забурел? Я с тобой! А чё?» — и доводит до трясушки.

Когда Михаил Михайлович ушел, я занял его койку рядом с Пашкой. Он не возражал. Раз ночью я заметил, что он не спит, и спросил его шепотом:

— Паш, а Паш, что будет?

— О чем ты?

— О нас. О чем же еще?

Он проговорил с неохотой:

— Кто его знает.

— Ты, Паша, ты знаешь.

— Не забегай вперед,— сказал он угрюмо.— Все само решится.

— Как решится?

— Не пытай меня, Николай Сергеич, иди в болото.

Таким я Пашку не видел. Он всегда был прямым и откровенным человеком. Он, конечно, знал, что будет, но не хотел этого знать и уж вовсе не хотел об этом говорить. У Пашки был огромный моральный авторитет, но он не чувствовал себя вправе давить на людей и все пустил на самотек.

Крепости сдают не только из-за предательства. Когда Михаил Михайлович ушел, крепость устояла, хотя трещина пошла по ее телу. Но было ясно, что нам не выдержать зимней осады. Уверен: многие согласились бы и на безнадежный риск, но мы отвечали за беспомощных, а они уже начали нести потери: умер Егор Матвеевич, тронулся Аркадий Петрович. А тут еще омерзительное происшествие: ночью крысы объели ухо Сергею Никитовичу. Он, бедняга, оглушенный снотворным, ничего не почувствовал, а утром проснулся — пол-уха нет.

Крысы тут всегда водились, но не в таком количестве. Днем они не появляются в палатах, хотя всюду шуруют на кухне, в сенях и коридорах, а вечером выходят из подпола, не дожидаясь, когда погаснет свет, и носятся между койками.

Кто-то подал мысль: эвакуировать «самоваров», но они подняли страшный крик. Боже мой, что там творилось!.. Ярость, гнев, отчаяние, слезы людей, которые не способны к действенному протесту, бессильны против любого принуждения, невозможно описать. Сергей Никитович с забинтованной головой пригрозил: «Расколоть башку о стену мы всегда сумеем, и вы будете убийцами». Их категорическое требование: или все остаются, или все вместе уходят. Вот и решилось само

собой, как говорил Пашка. Разве можно было предать своих товарищей, с которыми прошла жизнь?..

И начались сборы. В последнюю минуту Пашка объявил, что остается. На него накинулись: «Да кто тебе позволит?», «Очумел?», «Ты же загнешься тут!». Пашка выслушал холодно. «Не бойтесь, не загнусь и весной пойду на пристань». Его оставили в покое.

Я решил остаться с Пашкой и, пока шло это объяснение, спрятался в захламленном чуланчике, который еще раньше присмотрел для своих записей. Я был уверен: когда меня хватятся, этот тайник не найдут. Странно, но создалось впечатление, будто никто не хватился. Конечно, в суматохе могли и не заметить, хотя я не совсем рядовая фигура в нашем, увы, капитулировавшем гарнизоне. Впрочем, кто знает, может, меня искали, да уже поздно было. Белоглазые небось помешались от счастья, что могут отмылить. Наверное, и Пашка на это рассчитывал: не станут они снова накалять атмосферу и требовать его отъезда.

Я вылез из своего укрытия, когда наши все до одного покинули убежище. Шествие уже проделало полпути до административного корпуса. Зрелище, надо сказать, было не для слабонервных. «Самоваров» привязали за спиной, а поскольку все ослабели от недоедания и неподвижной жизни, то едва двигались на своих тележках. Но когда белоглазые хотели помочь, заорали, обложили их матом и погнались прочь.

Пошел мокрый снег большими, слипшимися, быстро стаивающими хлопьями. Ветер наклонил снег, понес его параллельно земле прямо в лица ползущим по закисшей дороге. Наклонив головы, плечами и грудью налегая на ветер, наши тащились сквозь снегопад. Я заметил, что плачу, потому что размылось в глазах. Я вытер глаза и приказал себе не реветь. То, что я видел из маленького грязного оконца, не было ни жалким, ни ущербным. И это не было поражением. Мы держались столько месяцев не против белоглазых оглоедов, а против всего тупого и непреклонного государства. Чем мы хуже соловецких иноков? У нашей рати ни одной пары ног и дай Бог по руке на воина. Гарнизон ушел, но крепость не сдалась. Враг не вошел сюда. Наш командир остался. И при нем гарнизон из одного человека. Я его гарнизон, мы продолжаем сопротивление.

Шествие, отдалившись, стало за пеленой снега темной извивающейся гусеницей. Вот она достигла крыль-

ца административного корпуса, и он вобрал ее в себя. Отъезда мы не увидим, корпус имеет выход за монастырскую стену. Остался лишь косо валящий снег, в него провалилось тридцать лет жизни.

Я вернулся в дом. Пашка не удивился моему появлению. И не обрадовался. Голос его прозвучал весьма сухо:

— Зря ты остался. Погано будет.

— Как будет, так и будет.

— Какой у тебя тут интерес?

— Привычка. Мне к новому месту не привыкнуть.

— Возись с тобой!..

— Я сам себя обслужу,— сказал я храбро.— Одна просьба: зови меня по имени, хватит этих церемоний. Я же на пять лет тебя моложе.

Он усмехнулся:

— Ладно, Коля... Жизнь продолжается. Будем жить...

...Неделю не притрагивался к дневнику. Дел было выше головы. Ребята такой срач оставили, что разгребай да разгребай. И главное, чтоб никаких пищевых отходов: корок, крошек,— крыс развелось видимо-невидимо. Мы занялись уборкой всерьез. Это была работка! Сколько «добра» вынесли, сожгли, зарыли! Даже представить себе трудно, как можно скопить такое количество всевозможного мусора: бумага — откуда только она взялась? — какие-то коробочки, флакончики, корешки, сушеные цветы и травы, огрызки зверьевых шкурок, птичьи лапы и крылья, сосновые и еловые шишки, гвозди, гайки, разноцветные стекляшки, бусины, гребешки без зубьев, ржавые лезвия безопасной бритвы, пипетки, железяки неизвестного назначения, камешки, кусочки материи, ленточки — все годилось в большом хозяйстве наших собирателей. В сущности говоря, в этом нет ничего смешного и странного: да, это был их вещный мир, ничуть не менее ценный, чем домашняя антикварная лавка какого-нибудь видного коллекционера. И наверное, им было грустно, что они не могут забрать с собой свои сокровища.

Пашка вымыл полы. Закутавшись в одеяла, мы хорошо проветрили наше затхлое помещение, но запаха курной избы так просто не выведешь. Мы накопили глины, замесили ее битым стеклом и замазали дыры в полу. Потом согрели воду, вымылись и переоделись в чистое. После чего сели обедать.

...Казалось бы, надо чувствовать наставшую пустоту и тишину. Сколько тут было народу, сколько шума, суеты, всяких происшествий, споров, обсуждений! Разговаривали, пели, шутили, ссорились, плакали, орали, тосковали, любили, ненавидели, сходили с ума, — когда я вспоминаю недавнее прошлое, то не перестаю удивляться, какими мы были шумными, активными, несмотря на увечья, душевно заряженными людьми. А теперь лишь слабый шорох наших с Пашкой движений наполняет дом в утренние и дневные часы (вечер озвучивается крысиным топотом — наша замазка не сработала), а дом не кажется мне пустым, он заполнен Пашкой.

Среди нас были значительные личности, сильные люди с интересной, хотя и рано оборванной биографией, но Пашка выделялся из всех. Я думаю, он в любой компании, в любом обществе был бы замечен, в нем все крупно, ярко, мускульно, если так можно выразиться, недаром его любила прекрасная женщина и даже погибла из-за него. Впрочем, я уже писал, что Пашка в ее гибель не верит. Наши ее видели, говорят, королева. Я очень жалею, что не был тогда на пристани, мне и вообще-то лишь два раза удалось туда добраться. Но Пашка говорит, что отвезет меня к первому же пароходу, который приходит на майские праздники.

Я знаю другую женщину — прачку Дашку, она тоже на Пашке чокнутая. Если б не дочь, она никогда бы отсюда не уехала, но как бы она ни любила, материнское всегда возьмет верх. Я так об этом пишу, будто чего понимаю, а ведь у меня не было любви, не было женщины. Мне с отрочества втемяшили, что пора мужской зрелости — двадцать один год, а до этого — полное воздержание. Мои родители были хорошие люди: честные, щепетильные, предельно деликатные, напичканные старинными добродетелями, типичные дореволюционные интеллигенты. Всей душой преданные четвертому сословию, с мечтой о светлом будущем, свято верящие в социализм и потому оправдывающие все действия властей — находка для диктатуры. Они не взяли от времени лишь то немногое, что следовало взять, ну, хотя бы чуть бóльшую моральную свободу, чем во времена их стерильной молодости, отсюда и предписанное мне целомудрие, будь оно проклято! Ни один из моих друзей не пошел на фронт, не попробовав бабу, кто-то по любви, большинство — с кем попало. Я



один, законченный идиот, подарил свою девственность дорогой Родине вместе с конечностями. Очень долго меня это не мучило, я не испытывал и тени влечения к женщине. Но к старости во мне что-то проснулось. Меня стали волновать даже старухи, которые приходили убирать за «самоварами». Я не люблю похабных разговоров — опять же утонченное воспитание! — но как-то слышал: некоторые «самовары» устраивались с этими старухами, кто за подарки, которые нам иногда присылали, а кто вполне бескорыстно — по взаимному согласию, ведь эти женщины военной молодости, такие же обойденные, как и мы.

...Каждый день мы ходим с Пашкой на прогулку. Он приделал веревочку к моей тачке и, когда я устаю, тянет меня на буксире. Мы обошли участок, спустились с пологой стороны к озеру, которое стало тяжелым, темным, мрачным (а все равно хорошо!), даже административный корпус обследовали, но ничего интересного не обнаружили. Белоглазые перед уходом все за собой прибрали, оставив голые стены.

Мы почти никогда не говорим о прошлом. Хотя иной раз наткнешься на след недавней жизни — и как ножом по сердцу. Мне стало казаться, что Пашка сознательно избегает этих разговоров, что они ему неприятны. Но почему? Быть может, мы по-разному понимаем и оцениваем пережитое? Мне ужасно не хотелось быть назойливым, неделикатным, но все же я не выдержал и спросил его напрямую:

— Пашка, теперь, когда все кончилось, скажи, кто мы? Победители или побежденные? Я что-то запутался.

Он ответил не сразу:

— Мы жили... Сколько лет мы томились, маялись, чуть тлели, а тут вспыхнули. Мы вернули, пусть ненадолго, отнятую у нас жизнь и подержали ее в руках, дуреху... А победить мы не могли. У нас всегда побеждает власть. Сам знаешь: нет таких крепостей...

— А вот и есть! — вскричал я. — Заврался ты, Пашка. Вот она, эта крепость, и флаг на ней не спущен.

Пашка поглядел на меня и захохотал:

— Ну, ты силен, Никола!..

После этого разговора я почувствовал себя свободнее с ним. Оказывается, и у Пашки не на каждый вопрос готов ответ. Вчера я его спросил, скучает ли он по ребятам.

— Вспоминать — вспоминаю, а скучать?.. — он отрицательно мотнул головой.

— И по Дарье не скучаешь?

— Я, Коля, свое отсучал. По другому человеку. На остальных у меня не осталось сил.

— А сейчас по этому человеку ты скучаешь?

— Нет. Я жду. И радуюсь тому, что было. И жду.

— А вот мне не приходилось ждать. Никого. Никогда. Я не знаю, что это за чувство. Я вообще ничего не знаю. Что такое любовь? Что такое близость?

— Ну, если не знал, то уж лучше и не знать, — сказал он с отчуждающей жесткостью.

Я не понял, что он имел в виду, а главное, то чувство, которое он вложил в свой ответ. Или он подумал, что я буду его расспрашивать. Тогда он угадал. Мне хочется понять, что это за чувство, которое он пронес сквозь всю жизнь. И если бы только он, меня бы это не удивило — чем еще жить калеке? Но ведь и женщина, любившая его в юности, тоже сохранила к нему это чувство. Ребята рассказывали, как она к нему кинулась...

«О калеке нельзя было сказать, что он «стоял» или «сидел», он именно торчал пеньком, а по бокам его обрубленного широкогрудого тела, подшитого по низу толстой темной кожей, стояли самодельные деревянные толкачи, похожие на старые угольные утюги...

Ничто не дрогнуло на загорелом, со сцепленными челюстями лице калеки, давшего справку. Он будто и не слышал обращенных к нему слов. Жесткий взгляд серых холодных глаз был устремлен вдаль сквозь пустые, прозрачные тела окружающих...

Анна пожалела, что не услышала больше его голоса, резкого, надменного, неприятного, но обладавшего таинственным сходством с добрым, теплым голосом Паши. Она подошла ближе к нему, но, чтобы тот не догадался о ее любопытстве, занялась приведением в порядок своей внешности: закрепила заколками разлетевшиеся от ветра волосы, укоротила тонкий ремешок наплечной сумочки, озабоченно осмотрела расштатавшийся каблук, затем, как путник, желающий сориентироваться в пространстве, обозрела местность... Затем Анна будто вобрала взгляд в себя, отсекала все лишнее,

ненужное и сбоку, чуть сзади сфокусировала его на инвалиде в серой грубой рубаше.

Она не сознавала, что нежно и благодарно улыбается ему за напоминание о Паше. Она думала: если похожи голоса, то должно быть сходное устройство гортани, связок, ротовой полости, грудной клетки, всего аппарата, создающего звучащую речь. Мысль отделилась от действительности, стала грезой, в дурманной полуяви калека почти соединился с Пашей. Если б Паша жил и наращивал возраст, у него так же окрепли бы и огрубели кости лица: скулы, челюсти, выпуклый лоб, полускрытый блинообразной кепочкой; так же отвердел бы красивый большой рот, так же налился бы широкогрудой мощью по-юношески изящный торс. Когда-то она любовалась Фидиевыми уломками в Британском музее, похищенными англичанами с фронтона Парфенона, и ее обожгла мысль: как ужасны оказались бы мраморные обрубки, стань они человеческой плотью. Этот калека был похищен Божояром из Британского музея, но обрубленное тело было прекрасно, и Анне — пусть это звучит кощунством — не мешало, что его лишь половина. Легче было представить, что и другая половина была столь же совершенна.

Чем дольше смотрела она на калеку, тем отчетливей становилось его сходство с Пашей. Конечно, они были разные: юноша и почти старик, нет, стариком его не назовешь, не шло это слово к его литому, смуглому, гладкому, жестко-красивому лицу, к стальным, не моргающим глазам. Ему не дашь и пятидесяти. Но тогда он не участник Отечественной войны. Возможно, здесь находятся и люди, пострадавшие и в мирной жизни? Нет, он фронтовик. У него военная выправка, пуговицы на его рубашке спороты с гимнастерки, в морщинах возле глаз и на шее, куда не проник загар, кожа уже не кажется молодой, конечно, ему за пятьдесят. И вдруг его сходство с Пашей будто истаяло. Если б Паша остался в живых, он старел бы иначе. Его открытое, мужественное лицо наверняка смягчалось бы с годами, ведь по-настоящему добрые люди с возрастом становятся все добрее, их юная неосознанная снисходительность к окружающим превращается в сознательное всеохватное чувство приятия жизни. И никакое несчастье, даже злейшая беда, постигшая этого солдата, не могли бы так ожесточить Пашину светлую душу и омертвить взгляд. Ее неумное воображение, смещение теней да почудив-

шаяся знакомая интонация наделили обманным сходством жутковатый памятник войны с юношей, состоявшим из сплошного сердца. И тут калека медленно повернул голову, звериным инстинктом почуяв слезку, солнечный свет ударил ему в глаза и вынес со дна свинцовых колодцев яркую, пронзительную синь.

— Паша!.. — закричала Анна, кинулась к нему и рухнула на землю. — Паша!.. Паша!.. Паша!..

Она поползла, обдирая колени о влажно-крупитчатый песок, продолжая выкрикивать его имя, чего сама не слышала. Она не могла стать на ноги, не пыталась этого сделать и не удивлялась, не пугалась того, что обезножела. Если Паша лишился ног, то и у нее их не должно быть. Вся сила ушла из рук и плеч, она едва продвигалась вперед, голова тряслась, сбрасывая со щек слезы.

Калека не шелохнулся, он глядел холодно, спокойно и отстраненно, словно все это его ничуть не касалось.

Она обхватила руками крепкое, жесткое и вроде бы незнакомое тело, уткнулась лицом в незнакомый запах стираной-перестираной рубашки, но сквозь все это чужое, враждебное, нанесенное временем, дорогами, посторонними людьми, посторонним миром, на нее хлынула неповторимая, неизъяснимая родность, которая не могла обмануть...»

...Ночью случилась мерзость: по мне пробежала крыса. Пашка отнесся к этому спокойно: «Подумаешь, по мне сколько раз бегали». «И по Сергею Никитовичу», — напомнил я. «Ну, сравнил!.. Ты же отмахнуться можешь». Пойди отмахнись этой клешней. Да мне до них дотронуться противно. Я с детства боюсь крыс. Ну, не боюсь, конечно, а невыносимо брезгую. Мне их вид омерзителен: голые лапы, длинные хвосты, кровавые глаза, гнусный навозный цвет шерсти. Когда я был совсем маленьким, мне в кроватку забралась крыса. Ее сразу прогнали, но страх остался. Не страх — омерзение. Такое бывает даже у самых мужественных людей.

...Ночи становятся все беспокойнее, крысы совсем обнаглели. Топают, как солдаты по мосту. Я чувствую, как они задевают внизу одеяло. Я ору, стучу палкой по полу — Пашка привязывает к моей руке сосновый сук, ни черта не помогает. На минуту затихнут и опять пошли шуровать. И чего они носятся? Харчи наши стоят на полках в кухне, до них им не добраться.

Голодные крысы хуже волков. К нам, что ли, подбираются? А Пашка спит.

...Пашка сделал помост из разных железяк и поставил на него мою койку. Сюда, говорит, никакая крыса не доберется. Крысы, кстати, умеют прыгать, и довольно высоко. Я помню, бабушка раз пыталась прихлопнуть крысу скалкой (наша тогда еще коммунальная квартира кишела крысами), так та подпрыгивала на полметра. Но, может, это с испуга? Пашка уверяет, что я в безопасности. Он подвинул свою койку к моей, обезопасив с одного фланга. Надо только, чтобы одеяло не свешивалось, и крысам до меня не добраться. Пашка так старательно пакует меня на ночь, что я сплю, как младенец в конверте. И все-таки мне неспокойно, и что-то сердце не очень. Стучит так, что в ушах отдается.

...Пашка попросил у меня почитать мой дневник. Вроде бы неудобно давать, там и о нем много. А потом я подумал: что тут неудобного, я ничего не врал, писал о том, что видел, и о своем понимании происходящего. Никого обидеть не хотел. Даю я ему тетрадку. Он полистал, усмехнулся. Сейчас скажет о «куриной лапе». Не удержался мой дорогой дружок: «Ну и почерк у тебя. Будто куриной лапой». — «Хуже, — говорю, — как рачьей клешней». Он засмеялся и стал читать. Я обиженно думал: почему люди, даже умные и тонкие, не могут удержаться от ехидных банальностей? Ну какой каллиграфии ждать от безрукого, чудо, что я вообще пишу. И вдруг успокоился: почерк, в самом деле, хуже некуда — взбесившаяся кардиограмма. И промолчи Пашка, я бы мучился, что он ни черта не разбирает, злится и проклинает мои каракули. А так он отреагировал и с присущей ему обстоятельностью включился в работу.

Читал он медленно, до каждого слова докапывался, но ни разу не обратился за помощью. Это тоже в Пашкином духе: справляться самому. Прочтя, долго думал, заглядывал то в одну, то в другую страницу, наконец высказался:

— Интересный документ. Единственный в своем роде. Надо, чтобы он сохранился... Ах ты, богоярский Нестор!.. — как-то очень по-доброму это у него прозвучало. — А любопытная штука — литература. Дневник тоже литература, хотя вроде для себя пишешь. Я многое не так видел, как ты. Кое-чего вовсе не заметил, а я ведь приметливый да и обязан был все видеть. Ты, наверное, так ухватист именно потому, что должен был писать. Я понял теперь... Тот... который

про меня написал, он не просто врал, он иначе видел... Что-то, конечно, присочинил, не мог же он всего знать... Но вот что странно: иной раз такое чувство, будто он ко мне внутрь залез, а иной раз зло берет: зачем врать, когда правда снаружи видна. Он, конечно, был в тот день на Богояре, видел нас с Анной, знал ее семью. Зачем только он придумал, что она погибла?..

«... Анна думала о монастыре, но почему-то не ждала, что увидит его, да еще так близко... Она жадно вбирала в себя скудные, томящие знаки непрочитываемой жизни и вдруг всей захолодевшей кожей ощутила, что это Пашин мир, что Паша, живой, горячий, с бьющимся сердцем, синими глазами, сухой смуглой кожей, — рядом, совсем рядом. Их разделяла лента бледной воды шириной не более двухсот метров, совсем узенькая полоска суши, ворота, которые откроют на стук, двор... Она прекрасно плавает. Паша сам ее научил. Он затаскивал ее на глубину и там бросал, преграждая путь к берегу. Приходилось шлепать по воде руками и ногами — плыть. Она оказалась способной ученицей. Какие заплывы они совершали! Чуть не до турецких берегов. Боже мой, как легко все может решиться: он не выгонит ее, если она, мокрая, замерзшая, постучится в его дверь. А все остальное как-то образуется...

Анна сбежала на нижнюю палубу. Только бы ей не помешали. Но кругом — ни души... Она тяжело перелезла через барьер и, сильно оттолкнувшись, прыгнула в воду. Ее оглушило, ожгло холодом, но она вынырнула, глотнула воздуха и, налегая плечом на воду, поплыла к берегу, к Паше. Теплоход отдалялся медленно, он был грозно огромен, на берег же, как учил Паша, смотреть не надо — он не приближается. Руки и ноги были как чужие, плохо слушались, озеро совсем не прогрелось солнцем. Да ведь тут близко!.. Холод проник внутрь, стиснул сердце. Она хлебнула воды и хотела позвать на помощь, но остатками сознания поняла, что этого делать нельзя, потому что тогда ее не пустят к Паше. Она не знала, что на теплоходе прозвучал сигнал «Человек за бортом» и уже спускали шлюпку, куда прыгнули вслед за матросами капитан и судовой врач. Она не почувствует, как ее выхватят из воды, как хлынет изо рта вода, когда сильные руки врача начнут делать искусственное дыхание...

...Судовой врач прижал пальцами веки Анны и держал некоторое время, чтобы глаза закрылись. Она не захлебнулась — остановилось изношенное сердце. Конечно, это не было самоубийством, женщина видела спасательную шлюпку. Но упрямо плыла прочь от них, к берегу. Зачем?..»

...С этого разговора и пошел Пашкин рассказ о его любви к Анне. Я узнал об их довоенном целомудренном романе, о прощании в Сердоликовой бухте, сделавшем Анну — по ее страстному утверждению — женщиной, хотя Пашка ее не тронул, о схватке с немцами, из которой он вышел калекой, о послевоенных мытарствах, о богоярском томлении, когда он каждую субботу и воскресенье таскался на пристань в сумасшедшей надежде увидеть ее, об их встрече через жизнь и о том, как он бежал от нее, не пожелав предать Богояр и все годы своей тоски.

Пашка рассказывал по вечерам, когда мы ложились спать, гасили свет и в крошечной темноте начиналось шуршание, топот, писк омерзительной, хотя и не повинной перед природой, жизни. Горючего у нас оставалось мало, а самые длинные ночи только еще подступали.

Он говорил медленно, обстоятельно, какими-то затрудненно круглыми фразами, будто разбирал неотчетливо написанный текст. В память свою вчитывался, что ли, не могу понять. Или как-то проверял себя перед каждой фразой, стараясь быть предельно точным, — без осуждения кого-либо и самооправдания. Наверное, он без счета прокручивал все это у себя в голове, мог бы потоком обрушить, а он цедил. Вначале меня это раздражало, а потом стало нравиться, потому что давало свободу сопереживания...

«...Она не ответила. Обняла его, навлекла на себя, поймала сомкнутые губы и откинулась назад.

В слившихся воедино людях звучала разная музыка. Ее восторг был любовью, его — любовью и ненавистью, сплетенными, как хороший кнут. Под искалеченным и мощным мужским телом билась не только любимая плоть, но и вся загубленная жизнь.

Она была почти без сознания, когда он ее отпустил. Но, отпустив, он вдруг увидел ее смятое, милое, навек

родное лицо, услышал слабый шорох волн, набегающих на плоский берег бухты, чтобы оставить на нем розоватые прозрачные камешки,— все мстительное, темное, злое оставило его, любовь и желание затопили душу. Он сказал ее измученным глазам:

— Лежи спокойно. Усни. Я сам...»

...Странно действуют на меня Пашкины рассказы. Происходит какая-то подмена рассказчика слушателем. Я вживаюсь в Пашку, становлюсь им. Это я брел по коктебельскому пляжу с прекрасной девушкой Анной, я обнимался с ней, обнаженной, на берегу, на холодном песке, вдыхая запах загорелой кожи, сплетая длинные ноги, в последнюю ночь перед разлукой. Я, уже безногий, шастал по московским улицам с рассыпным «Казбеком» за пазухой; я ждал под секущим дождем пароход на богоярской пристани; я делал Анну своей на опушке леса, откуда видно озеро, причал, цветную туристскую толпу. Я думаю, от Пашкиных рассказов в моем старом обрубленном теле пробуждается юноша. Я чувствую желание, не ту смутную, томительную тягу, испытанную в юности, а сильное, грубое, ставшее неодолимым мужское желание, которое бросает мужчину к женщине, даже старой, даже безобразной, но я ничего не могу сделать. И однажды ночью я сказал не спавшему Пашке, чтобы он помог мне.

Он сунул под одеяло свою большую теплую руку, и я узнал, что бывает с людьми, когда ты умираешь и воскресаешь в одно и то же мгновение. У меня провалилось сердце, и я обрадовался, что это конец, потому что ничего больше не нужно, все уже состоялось, я узнал последнюю тайну. Но я не умер, и мне стало стыдно и противно, как буду я смотреть Пашке в глаза. Но Пашка заорал восторженно:

— Ну, мужик!.. Ну, Казанова!.. Дал струю, как девятнадцатилетний!..

И вдруг все стало просто, и я уснул. Но вскоре проснулся от грозы сквозь снегопад. Во вспышках молний пронесшиеся мимо окон снежинки казались птичьими стаями. Гремел гром...

...Проснулся поздно, какой-то ватный, вставать нету сил. Я сказал Пашке, что хочу поваляться. Он спросил: «Тебе что-нибудь нужно?» Я сказал: «Дай мне дневник»...



...Дальше в дневнике идет запись, сделанная другим — четким, крупным почерком: «Николай Сергеевич Кошелев умер сегодня днем, во сне, видимо, от сердечного приступа. Похоронен на береговом обрыве, где он любил бывать. На могиле поставлен крест».

...По тяжелой последней воде, давя прибрежную кромку льда, на остров прибыл транспорт с монахами и монастырским обзаведением. Обследуя свое новое обиталище, монахи наткнулись на труп безногого калеки. Труп лежал на койке, завернутый в одеяла, пальцы скрючены на рукоятке хорошо наточенного ножа. Вокруг валялись мертвые крысы в запекшейся крови.

Дивясь на широченные плечи и могучий торс безногого, монахи подняли с койки его затвердевшее от холода тело. И тут он открыл глаза.

— Куда вы меня тащите? — спросил застуженным голосом.

— А хоронить, — отозвался отец Паисий, не отличавшийся умом.

— Вроде бы рано, святые отцы, — насмешливо сказал «покойник».

— Кто ты есть? — спросили монахи.

— Комендант Богояра. А звать Павлом.

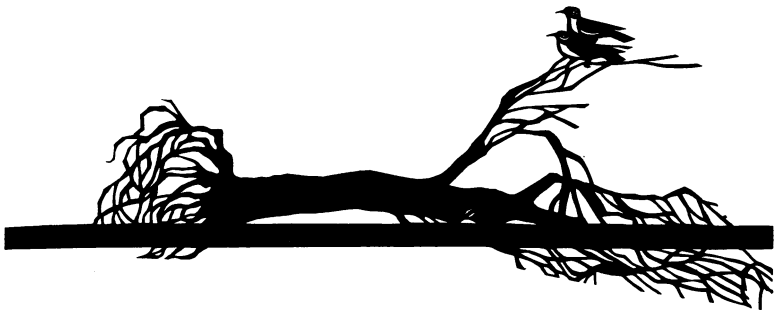
— А что ты тут делал? — поинтересовался любознательный Паисий.

— У вас все такие умные или через одного?

Подошел отец-настоятель, рослый, длиннородый старик с властным, грубым лицом, сунул калеке фляжку с разведенным спиртом. Тот сделал глоток, повторил.

— Добро пожаловать на Богояр, — сказал комендант...

...На майские праздники в Богояр прибыл первый туристский пароход. Среди встречавших его был безногий монастырский трудник с молодежавым лицом и седой головой. Спокойно и холодно смотрели на толпу серые, редко моргающие глаза. Он никого не ждал, он правил тризну.



## ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Впоследствии она не могла вспомнить, как началась ее другая жизнь. Жизнь без мамы. Она смутно, сбивчиво помнила последовательность событий, но вовсе не помнила, что она при этом чувствовала. А чувствовала ли она вообще что-нибудь, кроме неудобства и досады, что они оказались в центре общего, азартного и какого-то неблагоприятного внимания?

Они пили в пароходном баре, когда сквозь толпу танцующих и топчущихся пробрался речник в форме и фуражке, что-то сказал на ухо ее отцу и увел его. Через короткое время появился опять и увел Пашку. Она осталась со своим кавалером, которого прозвала про себя «молотобоец», так могучен, рукаст и узколоб он был. Оставшись с ней без родственного призора, он быстро освободился от своей мучительной скованности, как-то внутренне рассупонился, стал безостановочно вливать в себя фужер за фужером «таран со старкой», а пышногрудую и чернокудрую барменшу называть «миленькая», что ту заметно раздражало. Таню он хватал за руки, похлопывал по спине, спускаясь от шеи к пояснице и стремительно разрушая впечатление о себе как о недалеком, наивном и славном малом. Таня уже подумывала, как бы незаметно смыться, когда вернулся Пашка с зареванным лицом и кивком позвал ее за собой. «Молотобоец», видимо, почуял запах беды и не стал ее удерживать.

Потом она увидела то, что долго преследовало ее, не вызывая ни боли, ни жалости, лишь брезгливый передерг кожи. Это видение покинуло ее в свой час, и она опять увидела мать живой и разной и расплакалась над ней. А когда слезы иссякли, появился тот последний образ матери, с которым она срослась настолько, что перестала понимать, где она, где мама, но это случилось много, много позже.

А тогда в полутемном трюме она увидела очень большое и, как померещилось, разбухшее тело женщины в мокрой одежде, с мокрыми волосами и будто размытым чужим лицом. Глаза были закрыты, непривычно большие плоские веки изменили лицо до полной утраты той зыбкой родности, которую она щемяще чувствовала сквозь привычную, невесть когда возникшую отчужденность.

Над этим большим неопрятным телом стоял отец и рыдал, погрузив лицо в ладони. Она никогда не вглядывалась в отцовские руки и не знала, что у него такие длинные костлявые бледные пальцы. Она не чувствовала сострадания к нему, не чувствовала жалости к матери, не чувствовала потери. Она была пустой внутри и даже поймала себя на странной мысли: зачем меня сюда привели? Ее поводырь похлопал носом, посочился из покрасневших кроличьих глаз, потом исчез. Когда вернулся, то уже не плакал. «Хватил стопаря», — догадалась Таня. Как-то косо сквозь сознание мелькнуло: никто тут не знает, что надо делать и как себя вести.

Появился давешний пароходный служитель, речной моряк, и предложил проводить ее в каюту. Она охотно согласилась.

Уже в каюте она спросила речника, как это произошло. «Упала за борт», — ответил он, не глядя в лицо. Он был молод и еще не научился врать. «Моя мать не ваза, — сказала Таня сухо. — Я вас спрашиваю, как это произошло?» — «Она прыгнула за борт», — через силу сказал речник. «Самоубийство?» — «Н-нет. Она плыла к острову. И когда шлюпку спустили и кричали ей, все плыла и плыла». — «Мать хорошо плавала». — «Она не утонула. Сердце отказало. Вода холодная». — «А куда она плыла?» — «На остров, куда же еще?.. — растерянно сказал речник и тихо добавил: — Будто ей голос был...»

Она вспомнила об этом разговоре много позже, а тогда лишь удивилась, и сразу ломяще заболела голова.

«Вам что-нибудь нужно?» — спросил речник и, не дождавшись ответа, бесшумно притворил за собой дверь каюты.

Таня приняла таблетку от головной боли, снотворное, легла, не раздеваясь, и сразу уснула.

Голову продолжало ломить и в последующие дни. Все ей виделось будто сквозь дым: возвращение домой, похороны, которые отец как-то очень заторопил, и такие же скомканные поминки. Ему хотелось как можно скорее перевести случившееся в прошлое. Таню удивило, что так много народу пришло на кладбище, мать казалась ей человеком неконтактным. А тут явился институт в полном составе, вся кафедра, толпа студентов и аспирантов. Многие плакали. Ее поразили слова директора института: «Мы еще не понимаем, кого потеряли. Сохранится ли климат нашего института без Ани?.. Вот беда так беда!..» — Он заплакал, махнул рукой и отошел. — «А я знаю, кого потеряла? — спросила себя Таня. — Знаю, что она для меня значила?» Ответа не было, а через три-четыре дня она жестко приказала себе вернуться из поездки на Богояр.

Вернуться было бы проще всей оставшейся семьей, но очень скоро она перестала ощущать под собой семью. Первой оборвалась тонкая и при этом прочная связь с Пашкой. Хотя Пашка уже давно жил отдельно — отец купил ему однокомнатную квартиру («купил кооператив» — по новоязу), — он не изменял своей привычке обедать дома и нередко оставался на ужин. Пашка, как Онегин, был «глубокий эконоом» и считал, что давший ему жизнь должен давать и хлеб насущный. Таня могла пользоваться обществом брата каждый день, но прежних доверительных разговоров не получалось. Весь скудный запас своего дружелюбия Пашка переключил на отца, они подолгу шебаршили в кабинете, тянули коньячок под крепкий кофе, и когда Пашка покидал дом, чтобы предаться обычным вечерним удовольствиям, на лице его читалось глубокое удовлетворение: получен очередной калым. Отец любил Пашку, ему было одиноко, и сын умело пользовался этим. Пашка всегда был баловнем отца. Матери он давно разонравился, знал это и вычеркнул ее из своего душевного обихода. Есть, наверное, что-то гипнотическое в словах «мамы нет», «мама умерла», и в первые дни при упоминании матери Пашка как-то автоматически всхлипывал. В нем пробуждалась детская память. Маленьким

он не мог уснуть, если матери не было рядом, чего-то боялся. Он засыпал, ухватившись за ее пальцы, и, оставляя его, надо было с величайшей осторожностью высвобождать руку, чтобы он не проснулся с криком ужаса. Пашка выпустил материнскую руку с наступлением отрочества, перестав верить в чудищ и обретя безмятежный сон, но в подсознании сохранилась память о спасающем присутствии матери, и эта архаичная память выталкивала из Пашки испуганный вскрик. Мужественный юноша не дал подсознанию воли над собой и вскоре вернулся к обычному бездушию.

Отец же был раздавлен. Таня никогда не думала, что сильный, удивительно хорошо владеющий собой человек способен так развалиться. Во время похорон он впал в бурное отчаяние, пытался спрыгнуть в могилу, позорно потерял себя на глазах толпы. Это было так на него не похоже, что Таня засомневалась: уж не фальшивит ли он? Отец всегда давал людям ровно столько, сколько считал нужным, никогда не переплачивал, даже любимому сыну. Сдержанность, расчетливость и отстраненность были сутью его натуры. Возможность чего-то другого, мягкого, даже беззащитного приоткрывалась в нем лишь в отношении к матери, но этого почти никогда не случалось при свидетелях, и все-таки Тани доводилось уловить в нем любовь, нежность, боль. В матери — никогда, лишь заботу о его здоровье, бытовых удобствах, вежливый интерес к делам.

Почему же он так разнуздан на кладбище? Сорвались нервы с колков? Не верится. Он словно в чем-то кого-то убеждал (может, себя самого?) и от чего-то освобождался. Его бурное отчаяние особенно плохо выглядело на фоне тихого, искреннего горя сослуживцев и учеников матери. Это дико, но единственно нерастроганными на кладбище оказались близкие покойной.

А может, она зря?.. Откуда ей знать, как выглядит последнее, окончательное горе? Шекспировские страсти ходульны, безвкусны, неестественны, но, видать, истинны, если люди верят им какой уж век. Истинная страсть и не может быть иной, ей не уместиться в рамках хорошего тона, приличия, корректности и прочих правил бытового благонравия. «А жаль, что отцу помешали, — подумала она вдруг. — Ну и остался бы в могиле, людям нельзя видеть такое страдание».

Чудовищная мысль пришла ей почти всерьез. Это испугало. У нее никогда не было злого чувства к отцу,

он ей нравился. Или иначе: ей нравилось быть его дочерью. Образец мужчины: высокий, стройный, элегантный, спокойно ироничный и во всем состоявшийся. А сейчас он стал ей противен. Тошно было вспомнить его худое, бритое, пудренное, не подходящее для сильных чувств лицо, изуродованное гримасой показного — никуда не деться от этого чувства — отчаяния. Оно будет постоянно преследовать ее. За ним скрывается какая-то изначальная фальшь, недоброкачественность их общей жизни. И сейчас это вылезло наружу. Даже на вершинах своего цинизма и хамства Пашка не был ей так омерзителен, как в сопливых всхлипах. Отец же вызывал чувство стыда, и она боялась, что он догадается об этом. И сама себе она была неприятна до зубовного скрежета, потому что перестала себя узнавать. Не получилось у них возвращение с Богояра.

Неужели вечно занятая, озабоченная, до черствости спокойная к домашним мать так цементировала семью, позволяя каждому оставаться самим собой, но без худшего в себе, что с ее уходом все связи распались? А была ли у них семья? О да, семья была — с правилами, традициями, с елкой и подарками, с сюрпризами и розыгрышами, с масленичными блинами, с днями именин и рождений, с постоянной заботой о здоровье каждого и незамедлительной помощью, с присущей им всем семейной гордостью, хотя об этом не говорилось вслух, и все это шло от сухой, педантичной матери, а вовсе не от любящего отца. И уж если начистоту, то все они, даже сверхсамостоятельный Пашка, чуть что хватались за ее верную спасительную руку.

Теперь не схватишься. Остается жить по заведенному ею порядку, этим хоть как-то гарантируется сохранность семьи. Да, не стало матери, никуда от этого не денешься, но не надо делать вид, будто жизнь кончилась. У Тани не было настоящей близости с матерью, лишь изредка мелькало какое-то женское понимание и они обменивались заговорщицкой улыбкой. Возникало тепло, доверие, но чтобы костер горел, надо подбрасывать хворост, а обе на это скупилась. Мать не любила ее? Не то чтобы «не любила», а «не любила». Таня не знала. Вот Пашку мать «не любила», ее оскорбляли его неопрятные связи, пьянство, пижонство, корыстолюбие и отнюдь не показная пустота. Он был способный, ему все легко давалось, особенно языки, при его феноменальной механической памяти и тонком слухе, но тем

обиднее был Анне тот душевный и моральный вакуум, который она безошибочно угадывала в сыне, умевшем пудрить мозги окружающим.

«А чем ты лучше? — спросила себя Таня. — Конечно, ты меньше пьешь, меньше распутничаешь и больше читаешь, но ты так же пуста и больше всего на свете любишь тусовку, рок и гляцевые обложки американских журналов». Все то, что мать с ее серьезностью, наукой, опрятностью, старомодностью и вечной печалью терпеть не могла. И все-таки она жалела Таню, беспокоилась о ней и, когда дочь занесло особенно сильно и чуть не сбросило с дороги, успела на выручку.

Это случилось года три назад. Таня попала в компанию ребят старше себя, а главное, куда испорченнее, испорченнее, если считать испорченностью фарцовку, перекрестное опыление, ловлю кайфа с помощью пилюлек и особых сигареток; те, что постарше, и на иглу садились. Компания была текучая и разномастная: от десятиклассников до приבלатненных, знающих приводы и даже отсидевших срок. Таня принадлежала к октябрятам этого пионерского отряда. Она ничего не делала всерьез, только попробовала: фарцовкой не занималась, хотя раз-другой припрятывала дома какие-то шмотки, осталась полудевой после настойчивых и неумелых поползновений Миши-Жупана, сигареток не курила — ее тошнило, а к более серьезным наркотикам «указниц» не допускали старшие ребята, вино, правда, научилась пить, но к водке не привыкла. В общем, ничего серьезного не было, все, как у всех, правда, школу она бросила и ушла из дома. Ночевала в разных местах — у подруг. Днем они слонялись, балдели от музыки и вина, вечером отплясывали и трахались, кто всерьез, кто «на ближних подступах». Таня не получала никакого удовольствия от душной возни с Жупаном то на продавленных диванах, то в подъездах у батарей, но без этого нельзя, ее и так считали буржуйкой, чужачкой. Большинство из этой компании жили у теток, бабушек, были и детдомовские, нормальных семей не было ни у кого. Отсюда пути вели: ребят в армию — эти спасались — или в тюрьгу, девчонок — через фарцовку или проституцию в колонию, на химию, на сто первый, как повезет. Но будущее никого не заботило. Жили минутой, ловили кайф. Нельзя сказать, что Таню это безумно увлекало, но все

лучше, чем школьная тупость и ложь или домашний холодный порядок. Здесь она казалась себе личностью.

Она не знала, каким образом отыскала ее мать. Анна застучала ее у длинноногой девчонки по кличке Бемби, они пили вермут и балдели от Элвиса Пресли, которого только что узнали. Мать вошла с таким уверенным видом, будто не раз тут бывала, элегантная, красивая, благоухающая «Роше». Не было ни скандала, ни объяснений, ни слова упрека. Мать сразу узнала Элвиса Пресли, рассказала о его страшной смерти — откуда ей все известно? —хватила полстакана вермута. «Тьфу, мерзость! Это не для белых людей!» — вынула из сумочки деньги и послала Бемби за коньяком. А когда распили коньяк, мать спокойно, без лишних слов увела ее, и все почему-то восприняли это как должное. Мать подавила их сочетанием классности и простоты, той принадлежностью к чему-то «высшему», что не подвергается сомнению. И сама Таня, гордясь матерью, не оказала ей ни малейшего сопротивления.

Дома, придя в себя, она закатила небольшую истерику. Мать выслушала ее надрывно-слезный гимн во славу свободы личности, помогла высморкать нос и спокойно сказала:

— Кончи школу, поступи в институт, а там делай, что хочешь.

— Мне с ними интересно! — ломалась Таня. — Они настоящие, а все ваши знакомые мороженые судаки.

— Но ведь это наши знакомые. Какое тебе дело до них?

— Ты же хочешь, чтоб я сидела дома.

— Вовсе нет. Я хочу, чтоб ты ночевала дома. Хочу знать, что ты жива и здорова и не вляпалась в грязную историю.

— Почему я должна вляпаться?

— Потому что ты маленькая дура. Они все старше тебя, даже однолетки. Кроме этого курносого дебила (так мать восприняла ее поклонника Жупана), он просто одноклеточное. Все остальные поразвитей и куда испорченней. Вообще-то они жалкие, бедные ребята, которым хочется роскошной жизни. А вся роскошь — джинсовый костюм, адидасы, сигарета «Кент» в зубах, «сейко» на руке и пары «височки», как говорит твой братец, в башке. Жалкий набор, но в наших условиях его можно приобрести только в борьбе с законом. Ты им чужая, у тебя все есть. Ты сядешь просто за компанию,



это глупо. В ваших жалких тусовках — так это называется — нет ни романтики, ни гибели всерьез, ни глубины. Если бы ты ушла в горы, в пампасы, стала бы охотницей на львов, хоть террористкой или второй Мата Хари, я бы слова не сказала. Но отдать тебя шпане, этого не будет.

«Шпана», «жалкие» — чужие и противные слова в лексике матери. Конечно, ее приятели не герцоги и бароны, не доктора наук, но с чего такая заносчивость? Мать боролась за нее, а в борьбе все средства хороши. Ей хочется унижить, уничтожить несчастных ребят в Таниных глазах. Лучше бы она просто приласкала ее, погладила по головке, как некогда, в далекую пору клетчатых утр. Таня медленно набирала рост и до шести лет спала в детской кровати с сеткой. Мать забыла о простых доверчивых жестах, она полагалась теперь лишь на убеждающую силу слов. А для Тани то, как она хлопала рюмку за рюмкой коньяк ради ее спасения, было во сто раз убедительнее всех умных рассуждений.

Таня долго не догадывалась о своей зависимости от матери. Впрочем, «зависимость» — неточно. Была какая-то внутренняя связь при полной несхожести характеров, темпераментов, взглядов, отношений к людям и жизни. Таня придумала слово «сращенность». Слишком сильно, но если так, то лишь в одной точке. Это обеспечивало свободу друг от друга при тайной и нерасторжимо физиологической связи. Даже внешне между ними было мало сходства, но случались какие-то повороты, игра света и теней, и вместо Тани возникала вторая Анна, такая, какой она была в юности. Порой эта метаморфоза случалась на глазах отца. Он менялся в лице и беспомощно подносил руку к сердцу. При его сдержанности и владении собой произвольный жест говорил о многом. Как же сильна в нем память о молодом очаровании матери, если мгновенный промельк сходства сбивал ему сердце!

Таня томилась непонятностью и несвершенностью своих отношений с матерью. Конечно, это не было содержанием ее жизни, проходившей совсем в иной плоскости. В обычном течении дней она просто не помнила о ней, занятая теми проблемами, которые ставили перед ней сперва школа, потом институт, ее развивающийся организм и формирующаяся женственность. Но затем что-то случилось — внутри или вовне — и, закрывая весь остальной мир, надвигалось серьезное,

печальное, любимое и ненавидимое, родное и неприступное лицо матери.

И вот теперь это лицо навсегда погасло. Больше не будет ни обидного равнодушия, ни сбивающего с толку и понижывающего до печенок глубокого взгляда, не будет изнуряющего одностороннего счета с той, которой тебе хотелось бы стать при всем противоборстве и отрицании. Жить будет легче. Она до конца свободна. Все пути, вязавшие ее, были в руках матери, отец, как она поняла теперь, ничего для нее не значил, о брате и говорить не приходится. Дух семьи, дух квартиры — обман, был дух матери, и он отлетел.

Она знала, что отец примет любые условия совместного проживания, которые она предложит. Она вовсе не собиралась превращать квартиру в бардак или постоянный двор, должны сохраняться та опрятность, тот строгий порядок, которые были учреждены матерью. И традиция общего семейного обеда, собиравшего их всех за столом, но этим исчерпываются ее обязанности. В остальном — полная свобода. Никаких отчетов отцу, они будут корректными соседями, не больше...

Решения были приняты, теперь можно было качнуть замерший маятник повседневности. Она начала с почтового ящика. Среди старых газет, каких-то проспектов и приглашений оказалось два письма, одно от Жупана, проходившего действительную в ГДР, другое от Нинки (Ирэн) из Горького, куда ее сослали на химию за спекуляцию. Таня с внезапным теплым чувством вскрыла воинское послание.

*«Привет из ГДР! Здравствуй, Таня!!*

*С солдатским приветом и массой пожеланий к тебе Миша. В первых строках своего письма сообщаю что жив здоров и тебе того же желаю. Немного о себе. Служба идет нормально но правда не совсем со мной случилось маленькое ч.п. и сейчас лежу в госпитале. Таня сейчас в госпитале очень хорошо. Ты не беспокойся врачи говорят что это не так страшно, могло случится хуже. А самый главный доктор подошел ко мне и спросил у меня «Есть у меня девушка или нет». И я ответил есть и назвал эту девушку именем Таня. Ты если не обижаешься, то ты мне напиши. Таня я очень по правде сказать соскучился. Если тебе потребуются переводки всяких гербов или переводки с изображением женского пола то пиши, я тебе буду присылать. У нас*

*это навалом. Да как хотел бы стать птицей и полететь в Ленинград и к тебе Таня. Передавай привет всем знакомым кого увидишь. Да Таня остался год и я снова у себя дома и снова я и ты если не возражаешь будем слушать магнитофон и пить сладкие напитки. Нет нет Таня я уже не буду наверное пить вино и водку в таких дозах в каких пил до армии. Знаешь в этом чертовом Цетхайне разучишься не только пить, а и смеяться. Да тяжело здесь. Впервые я столкнулся в лицо смерти и такими трудностями. Недавно застрелились 3 человека. Да три человека не дожидется мама, папа, родные и конечно девушка. Жаль не их, а их родителей и девчонку. Сколько будет пролито слез. Таня может тебе и не следовало писать что у нас происходит. Но больше писать не буду.*

*ГДР нечего республика. Цетхайн тоже городок симпатичный широкие улицы, много зелени. А вот насчет людей трудновато очень рано уходят спать в 7 вечера уже нет не кого на улице. А вообще немцы веселые люди. Таня я тебя попрошу в одной просьбе, если ты не откажешь. Вышли мне свое фото, а я в свое время вышлю свое. Писать больше нечего. До свидания, Миша. Жду твоего письма и фото с нетерпением».*

«Он идиот! — подумала она с ужасом. — И к тому же неграмотный идиот. А ведь считается, что он кончил... сколько там — восемь классов, чему же его учили? И как он переходил из класса в класс? А ведь он мне и раньше писал, неужели я не замечала?.. Может, это армейская служба вышибла из него остатки грамотности и ума? И это моя первая любовь. Если, конечно, считать любовью то, что я позволяла ему делать. Значит, я тоже сумасшедшая или безмозглая...»

Она распечатала письмо Нинки (Ирэн), одной из самых близких подруг в охтинской (по месту главной тусовки) компании.

*«Здравствуй, Таня!*

*Вот только сегодня привезли нас в г. Горький на химию. Проторчала я в осужденке в «Крестах» полтора месяца, да еще две недели в Москве, на Пресне, потом этапом сутки и трое суток в горьковской тюрьме. Сегодня вот привезли в общежитие и расконвоировали. В общежитии находится спецкомендатура, проверка в половине десятого, внизу мент сидит. Вот*

такие, Танечка, дела. Я в тюрьме написала письма Славику, Бемби и Леше, там слезливую «телегу» сочинила, и при шмоне в горьковской тюрьме все отобрали. Теперь вот пишу тебе да и позвоню на днях. Таня, денег нет ни копейки, привезли нас сюда в это общежитие, бросили и живи, как хочешь. Мест нет, все нервы истрепали, пока поселились, да и то на время и то еще придется спать на раскладушке. Таня, буду работать в арматурном цехе. Мрак, да? Система здесь коридорная. Как в песне поется, на 33 соседа всего одна уборная. Меня поселили в комнату, девчонки хорошие, а вообще здесь есть разные. В основном здесь из Москвы и Ленинграда. Таня, настроение у меня мрачное. Слушай, я завтра дам телеграмму Леше, чтоб денег выслал. Таня, сходи там, проведи с ним беседу. Только обязательно, я на тебя надеюсь. Я осенью надеюсь вернуться в родные стены (на 11-ю), амнистия, говорят, будет. Мысли в голову не лезут, не спала всю ночь, переписывалась с ребятами. Они на втором этаже, а мы на первом, просверлили дырку в потолке и всю ночь гоняли ксивы. Таня, на твой адрес напишет один мальчик, ты уж не обессудь, я с ним переписывалась, как, Таня, кстати, в Москве на Пресне тоже с Володей с одним под твоим именем. Ну так вот, перешлешь мне его письмо сюда. Ладно? Я же знаю, что человек ты ответственный и тебе можно доверять, не то что некоторым. Тань, мозги не варят, пиши обо всем, про Бемби, про Светку, в общем, про всех и про все, мне все интересно. В июле приеду на 5 дней, порезвимся, если будут бабки. Да, скажи Леше, чтобы выслал старые мои сабо сюда, они на антресолях, вместе поищите. Жупану большой привет передавай и Длинному. Ну, на этом заканчиваю. Пиши, жду.

Целую. Ирэн».

Спасибо, что пришла на суд, мне было приятно. А почему моего мудака не было?

И.».

Странно, но по прочтении этого послания из «глубины сибирских руд» гадливое отторжение от недавних своих друзей по «охтинскому сидению», испытанное от цидули Жупана, если не прошло, то подутихло. Может, потому, что Ирэн писала грамотно? Ирэн!.. Лохмушка с сожженными перекистью волосами, то в драных колготках, то на сношенных каблуках, но непременно при

одной хорошей шмотке: свитере, или жилетке, или кофточке. Но на ансамбль сроду не хватало бабок, как ни пыжилась, бедолага. Жила она у старшей сестры, поэтому и адреса своего не могла дать, а хотелось быть светской, модной, пускать пыль в глаза. Неплохая девка, компанейская, безалаберная и вовсе не корыстная. Влипла на два года из-за грошовой фарцовки. Ловят всегда пескарей, акулы разрывают сеть. К Леше-«наркоматику» она не пойдет, ну его к черту, а туфли и деньги вышлет.

В конверте оказалось еще одно письмо — машинописное, на тонкой папиросной бумаге. Размашистым почерком Ирэн было написано сверху: «Сестра переслала мне Светкино письмо. Белолицая не знает, что я загремела. Помогии ей, если можешь, она девка неплохая, хоть и с закидонами». Белолицая — это настоящая фамилия, а не прозвище, работала машинисткой в какой-то конторе. Таня ее давно знала, но особой дружбы между ними не было.

*«Здравствуй, моя хорошая девочка! Сегодня прихожу на работу — я бюллетенила, а шеф передает мне бумажку, что звонила твоя сестра. Я удивилась, потому что она мне сроду на звонила, а этот судак не мог спросить, что ей от меня надо. Ладно, разберемся. Ирэночка, это, конечно, смешно, но получился для меня очень большой и глупый промах. Меня кинула телка на 300р., и я не могу еще успокоиться. Все так глупо получилось, до ужаса. Не буду ничего писать, приедешь — расскажу. Может, мы с ней, с сукой, договоримся как-нибудь. Я очень много теряю. Ир, понимаешь, я связываться с ней боюсь, она матери позвонит, а та, в свою очередь, кислород мне перекроет. Это все с нитками. А из-за этой суки я не могу взять остальные. Короче, не знаю, что делать. Ирэн, директор мне говорил, что ты собиралась приехать. Рыбочка, ну давай, а то у меня такая напряженная обстановка дома, я скоро буду сваливать. Я хочу тебе еще раз напомнить про босоножки. Сделай, если можешь. В долгу не останусь. Сегодня утром звонил отец — только что из Ельца приехал. Он всегда, когда звонит — только что из Брянска, из Уфы, из Мариуполя, из Ашхабада. Все врет, а зачем — непонятно. Сказал, заглянет, он уже четвертый год заглядывает и все никак не заглянет. А*

у нас бабушка совсем плоха, а Наташка так заучилась, что хоть в дурдом сдавай.

Ирэн, если бы ты знала, как мне надоел директор своими ухаживаниями. Сил больше нет. А он думает, что если ты приедешь, то опять какая-нибудь экскурсия состоится. Если мы один раз поехали, то, значит, будет и второй. А он просто себя не уважает после тех вещей, которые мы вытворяли с подругой. Я его и на х. посылала, и матом крыла по-черному. Не действует. А переспать себя с ним не могу заставить. Хотя тогда же была пьяная в жопу. Но такой ерунды, я думаю, у меня больше не будет. Это финал! Приедешь, расскажу все подробно. Ирин, только все между нами. Я не хочу, чтобы знала Бемби, потому что после юга я ей в этом плане не верю, хотя очень уважаю. Договорились, Ирочек, ну ладно. Пиши мне, я положу тебе марок в конверт, клей их, чтобы письма быстрее доходили, по одной штуке. Крепко целую и обнимаю тебя. До скорой встречи, я очень жду. Белолицая Света.

Есть партия джинсов по 1.50, «Мартини», итальянские. Где взять бабки? Да, Ир, и очки по 20 руб., как у Вовки, тоже были партией. Если я с этой сукой разберусь, мы можем раскрутиться. Приезжай».

В мире большого бизнеса!.. Значит, надо помочь Белолицей: вернуть 300 ре, на которые ее бросила телка, потом — партия джинсов «Мартини» по 1.50 (что это значит на условном языке отечественных коммерсантов: сто пятьдесят или полторы тысячи?) и еще очки по 20 ре. Не указано, сколько их в партии. К тому же они уже ушли. Она может помочь. Отец показал ей ящик письменного стола, набитый деньгами: на хозяйство и на личные расходы. Оказывается, они всегда так жили с матерью: заработанные деньги сбрасывали в общий котел, и каждый брал, сколько ему нужно. Но будет ли это порядочно в отношении отца, если она начнет субсидировать своих предприимчивых и незадачливых друзей? Можно сделать жест в честь Ирэн-узницы, но если дальше так пойдет, она совсем запутается...

А тот, кто мне только казался,  
Был с той обручен тишиной,  
Простившись, он щедро остался,  
Он на смерть остался со мной.

Любимые стихи матери. Чуть-чуть захмелев — пила редко и мало, — она всегда произносила их, будто наново вслушиваясь в знакомые строки, потом говорила их шепотом, улыбалась и кивала головой.

«Я его и на х.. посылала, и матом крыла по-черному...» Поэзия и проза. А ведь и то и другое произнесено в одном жизненном пространстве, там, где Фонтанка и Нева, гранитные набережные, чугунные ограды и бледно светящиеся шпили. Мир матери и твой мир, но в одном звучит: «Он на смерть остался со мной», а в другом: «Я его и на...». И это вовсе не смешно. Сейчас ты еще играешь, но игра перейдет в повседневность, в обязательство, станет твоей постоянной заботой, потому что ты уже спрашиваешь себя: а чем я лучше? Ничем. Как это ни грустно. Ты ничем не лучше. Хуже, потому что те — от нужды, а ты — от избытка. Внезапно Таня принялась лихорадочно перебирать бумажки, которыми завален был письменный стол. И нашла то, что искала: два старых письма без конвертов.

Знакомый, родной почерк:

*«Привет из ГДР. Здравствуй Таня!!!*

*С солдатским приветом и массой пожелания к тебе Миша. В первых своих строках сообщаю что жив здоров, что и тебе желаю. Немного о моей службе. Служба идет нормально за эти 10 месяцев которые я прослужил в армии был на губе 5 раз, по 10 суток, а что там нормально. В 5 часов утра подъем, а у всех в 6 часов, и до завтрака занемаешься физзарядкой а завтрак начинается в 7.40 нормально жить можно. А как у тебя дела. Наверно все хорошеешь. Ребята вьются за тобой, это точно. Таня вот ты пишешь что я здесь бросил пить, да я бросил пить и курить вот какой я стал дисциплинированный мальчик. А ты говоришь купаться. Таня ты пишешь что бы я берег себя, но знаешь я не знаю что будет завтра со мной и с товарищами мы живем одним днем, прошел без жертв и ладно. Я ведь служу почти на границе ГДР и ФРГ от места где я служу с товарищами 120 км. У нас на стрельбах стреляют очень метко и часто. Да Таня я приеду домой, я не останусь в ГДР мне еще жить хочется. Знаешь я уже этих гранад и всяких взрывчатых веществ видел и уже по правде сказать надоело уже стрелять по мешеням которые уже надоели. Знаешь Таня нас здесь учат не любить, а убевать в полном*

*смысле убевать. Таня знаешь ты пишешь что я если приеду домой то ты меня будешь бить за зайцев, пожалуйста я не буду сопротивляться. Давно я отвык от твоих ударов по корпусу. Извени меня, но я буду рисовать их. Писать больше нечего. Да Таня береги себя, а обо мне не бойся, я как небудь выживу. Да Таня я стал злым и коварным не знаю даже как это случилось. Я иногда сам себе поверить не могу. Таня береги себя, а то я приеду, а ты будешь не здорова это очень плохо. Кто же будет мне выливать вино и бить меня за зайцев. До свидания. Моя смышлюная и симпотичная девушка. Пиши чаще жду ответа».*

Внизу был нарисован заяц с большими ушами. Это единственное, что он умел рисовать, и выходило у него ловко и смешно. Она имела неосторожность одобрить его творчество, с тех пор он с маниакальным упорством рисовал зайцев где только можно: на сигаретных пачках, салфетках, скатертях, стенах и дверях. Ее в дрожь бросало при виде ушастых тварей, а ему это казалось невероятно остроумным и светским. Даже побои — весьма чувствительные — не могли заставить Мишку отказаться от своего художества. То был не только его фирменный знак, но и таинственный знак их союза: ушастый заяц. И все-таки, если оставить в стороне неграмотность, глупость и зайцев, то Мишка не самый плохой человек на свете. «Я стал злым и коварным...» Телок, губошлеп, заяц, добродушный и привязчивый недотепа. А внешне недурен даже со своим носом-кнопочкой. Рослый, плечистый, русоволосый, лицом на Столярова похож из «Цирка», только носик малость подгулял.

Последнее письмо было от находившегося в бегах Олежки по кличке Арташез. Так называлось его любимое армянское вино. Это был, пожалуй, единственный парень в компании, которого она терпеть не могла: красивый, наглый, с чудовищным самомнением. Он был весьма многоопытным юношей, когда Таня появилась на Охте, потому что служил в армии, а вернувшись, занялся теми серьезными делами, которые вскоре вынудили его сменить обозримый Ленинград на необъятную Сибирь. Вести от него приходили из разных городов, очевидно, он считал за лучшее нигде долго не задерживаться. Тане он никогда не писал, и, получив неожиданно его письмо с обращением «Мартышка», она бросила его непрочитанным, противно отзываться на



дурацкую, придуманную им кличку. А сейчас она это письмо прочла. Вначале шли сообщения о каких-то неведомых ей Сяве, Азяме, Путяте, может, она их знала, но по именам, а не по кличкам, и о знакомом ей парне, дружившем одно время с Белолицей, Валере Крошине: его посадили на шесть лет «за грабеж, разбой и еще что-то», — хладнокровно писал Арташез. Затем он переходил к тому, что волновало его куда больше:

*«Теперь немного о себе. Я каким был, таким и остался, это мне так кажется, но все говорят обратное. Короче, в конце августа, в начале сентября я все-таки заскочу к вам в гости. Дело в том, что здесь я с пареньком сошелся, ленинградец он. Говорит, что в Ленинграде очень запросто лежат штаны «Техас» и еще какие-то. Мартышка, если есть там такие вещи, то напиши мне. Я после армии понял, что честно ничего не заработаешь, а я хочу кооператив и машину. У нас город для этого подходит. А люди дурные и богатые. Вот такие вот дела. Еще мне нужен башмак летний, посмотри, если есть что-нибудь, то тоже напиши. Если бабками богата, то можешь прислать штанов штук несколько, деньги я тебе пришлю. В Ленинграде я жить не буду, это слишком нудно, мне здесь городов хватает. Сейчас я отдыхаю, посещаю регулярно кабаки, жениться не собираюсь, мне и без этого девочек хватает. Правда, мне это все начинает надоедать, скоро поеду в Москву. У меня там девочка знакомая, она меня до армии любила. У нее там 2 двухкомнатные квартиры и дача. Одна ее, другая родичей. Родичи квартирой не пользуются, живут в мастерской, они у нее художники. Так что поеду, отдохну. Вот вроде пора и закругляться. До встречи. Всем привет. Целую. Арташез».*

Могла мать прочесть эти письма? Могла и обязательно прочла. Когда человек будто по рассеянности или небрежности оставляет на всеобщее обозрение что-то интимное, значит, он хочет, чтобы другие это увидели. Если у женщины распахивается на пляже халат, под которым ничего нет, не верьте ее стыду и растерянности, она этого хотела. И она хотела, чтобы мать прочла. Зачем? Пусть знает, что она не бросила своих друзей ей в угоду, что, пожалев ее и вернувшись домой, она продолжала жить своей жизнью, а не той, что ей навязывают. Что она хотела этим доказать? Свою

независимость, силу воли или отомстить за все недополученное от матери: ты упустила меня, так получай Жупана, Арташеза, Сяву и Валеру.

Какими глазами читала мать эти письма, что думала она о ее «бой-френде», «злом и коварном» пограничнике, которого армия научила «не любить, а убевать»? Наверное, она скорее смирилась бы с грамотным преступником, чем с этим «дисциплинированным мальчиком». Впрочем, довольно грамотное письмо Арташеза тоже едва ли порадовало мать, от него несет камерой предварительного заключения... «Он на смерть остался со мной», — трудно примирить эти слова с пустоголовой сентиментальностью и с джинсово-обувными страстями.

Ну, с Арташезом Тане и самой все ясно, а так ли хорош Миша-Жупан, которого ей не хочется ронять? Когда она появилась на Охте, семнадцатилетний Жупан лакал вино и водку, как заправский пьяница, но сильный, здоровый молодой организм спасал его от безобразного распада. Он влюбился в нее с первого взгляда и с первого взгляда принялся ее насиловать, без костоломной грубости, в том не было нужды, поскольку она ему поддавалась, хотя и не облегчала усилий. Его поведение было естественно для охтинских правил, но красотой рыцарственности не светило. Жупан был чужд коммерции, его мать работала в «торговой точке» и щедро снабжала единственного сына джинсовой тканью и «корочками»; водились у него и карманные деньги, Мише давалась щедрая возможность хорошо погулять перед армией. Все же в этом водочно-половом монолите была щель духовности, из нее выскакивали зайцы.

Что должна была чувствовать Анна, читая письма адресованные «смышлюной и симпотичной девочке», ее дочери? Внезапно Таня всхлипнула. Она сама не поняла, из чего родился этот влажный звук: из жалости к матери или к себе самой? Неужели правда, что Охта — мое будущее? С Мишей, Бемби, Ирэн, Белолицей, вернувшимся из узилища Сережей и гастролером Арташезом? Они оплетут меня, запутают в свои дела, я никогда от них не отделаюсь, потому что не умею отказывать людям, если вижу в них хоть какую-то слабость. И я вляпаюсь в настоящую черную беду. Я могла играть в эти игры, в «бесстрашный» эпатаж, в помоечную вольницу, пока жива была мама. Я знала, хоть и скрывала от самой себя: когда станет совсем плохо, она придет, возьмет за руку и уведет. Но мамы

нет, а я слабачка, я не сумею себя защитить. Сейчас, когда их разбросало по свету, самое время «сделать ноги», как говорит принцесса Ирэн. Конечно, я выполняю ее просьбу и просьбу Белолицей, но это все. И Мишке придется изредка писать, а то еще учудит чего этот «дисциплинированный» мальчик, там слишком много «гранатов» и прочей взрывчатки.

Приняв решение, Таня несколько взбодрилась и стала прикидывать другие возможности реализации своей молодости и безграничной свободы. Начисто исключался институтский круг. Парней у них мало, и все выглядели законченными чиновниками. Уровень девушек отличался от уровня Бемби, Ирэн и Белолицей лишь качеством шмоток. Здесь учились детишки весьма устроенных родителей, черта с два иначе попадешь на английский факультет иныа, и туалеты студенток стояли на высоте. Разговоры же их носительниц имели крайне прагматический характер и все — о будущем. Оно заботило. Идти в гиды или в технические переводчики никому не хотелось. Вершиной карьеры представлялось замужество с фирмачом. Этажом ниже — замужество с любым иностранцем, только бы выбраться на волю, а там видно будет. Еще ниже котировалась валютная проституция, которая в нравственном смысле никого не смущала, но многих сдерживали семейные обстоятельства. Выход был — перебраться в Москву, это далеко от родного порога да и возможностей больше. Но все знали, как строго охраняют свои пределы столичные интердевочки. Таню эта перспектива не увлекала, настолько в ней еще оставалось опрятности. Она подумывала о художественном переводе, но была дружно высмеяна: в крошечную кормушку уткнулись рылами такие крокодилы, что не подступиться.

С год назад Таня оказалась в любопытной компании и, как говорится, прижилась там. Компания, довольно текучая, состояла из людей степенных, прочно определившихся в жизни, в большинстве семейных, хотя жен на свои встречи они не приглашали. Костяк составляли киношники, художники, журналисты, театральные администраторы, но были и «примкнувшие»: поэт-маринист, знаменитый бард и невероятно светский юрист-картежник. Все прекрасно одевались, у каждого был свой стиль: денди уайльдовых времен в крылатке; энергичный американец типа Роберта Кеннеди: черный блейзер и белый банлон; ковбой: замшевая куртка с

бахромой, тегазы, сапоги на высоком каблучке; русский барин: тройка, часы в жилетном кармашке с золотой цепкой; парижский художник: широченная бархатная куртка, яркий бант на груди; хиппи: расстегнутый до пупа батник, заношенные вельветовые брюки, обруч на длинных, до плеч, волосах. Все, как один, говоруны, остроумцы, отличные рассказчики, нашпигованные последними новостями во всех областях искусства и мировыми сенсациями. Ресторанные ужины с ними превращались в карнавал, фейерверк, особенно старались они в присутствии московских гостей, испытывая к столице чуть ироническое почтение.

Была в них некоторая жесткость, которая Тане импонировала. Даме, принятой в компанию, не полагалось ломаться, если на нее клали глаз. Делалось это не вульгарно. Будто внезапная влюбленность постигала давно знакомую пару, и окружающие вели себя соответственно: с уважением к чужой страсти. Никаких шуточек, насмешек.

Мать виновата, что ее доверчивое восхищение этими блестящими людьми замутилось, а там и вовсе сгнуло.

В компании периодически появлялся знаменитый журналист-международник из Москвы. Танин хороший английский привлек его высокое внимание, и зазвучали золотые трубы незамедлительно увенчанной любви. Теперь, приезжая, он всякий раз предъявлял на нее претензии, которые все уважали, в том числе она сама. Это стало напоминать роман, что не мешало другим мгновенным влюбленностям: в Оскара Уайльда, Ковбоя, Роберта Кеннеди.

Однажды он зашел за ней, чтобы вместе ехать в Териоки на пикник. Мать была дома, и Таня не без гордости представила ей журналиста, вот, мол, это тебе не охтинские дружки — мировая знаменитость. Элегантный, с утомленной улыбкой на узком загорелом лице международник (его чуть портила лишь какая-то страусиная плешь в серых волосах) взял руку матери, поднес к губам, но не поцеловал, а резко-почтительно опустил. Таня обмерла, сочтя этот жест хамством, но мать приняла как должное. Она ходила на приемы в консульства, ей был знаком новый гигиеничный способ приветствовать даму.

Они обменялись несколькими банальными фразами, но именно в банальности их Тане проглянул холод, чуть ли не отвращение матери к гостю. Мать была человеком

пластичным и при желании умела обаять любого, что и доказала в простодушной, но по-своему пронизательной (не терпели гонора, фальши, лукавства) охтинской компании. Сейчас мать была вызывающе неприятна и малословна. Как ни странно, знатный гость этого не заметил. Он привык считать себя подарком для окружающих, и если встречал равнодушие, тем паче холод, то относил это за счет смущения собеседника. «Какая интересная у тебя мать, — заметил он, когда они вышли. — Ты, пожалуй, на нее не потянешь».

— Откуда взялся этот прохиндей? — спросила на другой день мать.

— Что ты понимаешь? — возмутилась Таня. — Это лучший международник в стране.

— Вполне допускаю, — холодно сказала мать. — Но быть первым в школе для негодьяев невелика честь.

Таня оторопела. Она никогда не читала корреспонденций своего друга, но все, как один, цокали языком, когда произносилось его имя. Правда, восхищались его костюмами, часами «роллекс», «мерседесом» последнего выпуска, коллекцией картин Рокуэлла Кента, пятикомнатной квартирой в престижном доме на Кутузовской набережной и другой — в Манхаттане, о литературной продукции как-то не говорили, но подразумевалось, что с этим все о'кей.

— Как ты можешь судить?.. — проговорила она не слишком уверенно.

— Могу! — жестко перебила мать. — Кроет американцев на чем свет стоит, а сам отца родного зарежет, только бы сидеть в своей Америке. — Она усмехнулась. — Все познается в сравнении. Теперь мне кажется, что охтинский анти-Сирано не так плох. Во всяком случае, не слизняк.

Таня не сразу поняла двойную шутку матери насчет анти-Сирано — нос и красноречие — и разозлилась еще больше. Она оборвала разговор, но, когда злоба прошла, обнаружила, что ореол вокруг смуглого чела и страусиной плечи заморского гостя померк навсегда. Как же все-таки много значило для нее мнение матери!..

Их разговор имел еще одно последствие: Таня задумалась о своих блистательных друзьях, как бы навела их на фокус. И сразу резко обрисовалось то, о чем она и прежде догадывалась, но отгоняла прочь за душевной ненужностью. Профессия для них была делом побочным. Они все что-то собирали: кто картины,

кто иконы, кто старинную мебель, кто фарфор, кто разный антиквариат. Коллекционеры. У них имелись вещи высочайшей ценности, которые они время от времени давали на выставки. Не нужно было особой проницательности, чтобы понять: они жарят не на сливочном масле. Прекрасная их страсть подпитывалась спекуляцией, которую так, разумеется, не называли, и обманом, считавшимся торжеством опыта и знаний над лопоухим любительством. Все оправдывалось высокой целью собирательства, спасением художественных ценностей от утечки за кордон. Были специалисты по обиранию одиноких старушек, сохранивших в своем нищенстве какой-нибудь жакоб или ампир, были «комиссионщики», были какие-то «землеройки», суть их жульничества Таня так и не постигла.

В сущности говоря, это была та же фарцовка, только высшего разряда. Как жалки рядом с ними охтинские мародеры, отправляющиеся на химию за партию джинсов и в тюрьму за разгром ларька. Тут счет идет на сотни тысяч, но никто уголовной ответственности не подлежит.

Собиратели грамотнее Жупана, начитаннее Арташеза, интеллектуальнее Бемби, Ирэн, Белолицей, у них отлично подвешенные языки, они знают кучу всяких вещей, но Таня не могла вспомнить ни одного серьезного разговора, чтобы мнения столкнулись на какой-то бескорыстной мысли, а не на стоимости «предмета». Они избегали деловых разговоров, но их главный интерес порой вырывался произвольно из густой тени. Стоило кому-нибудь коснуться ненароком боли жизни, как тут же несло тягуче: «Ску-у-у-чно!» Главное, чтобы не было скучно, а легко, весело, просто, необременительно. Набор удовольствий оставался неизменен: еда, выпивка, обмен информацией, постель. Прейскурант, мало отличающийся от охтинского. Там еще бывала травка, пилюльки и скандалы. Здесь никогда не ссорились, если же и покуривали, покалывались, то не принародно.

А что, собственно, еще может быть в тусовках: пламенная дружба, ослепительные страсти, мудрые беседы о смысле бытия? Разница между двумя компаниями была не в самом продукте, а в сортности. Здесь и застолье почище, и разговор покультурнее, и постель уютней. И там и здесь осуществлялась одна цель:

убить время. Но коллекционеры предпочтительнее — не в моральном плане, боже упаси, а в гигиеническом.

...И началась другая жизнь. Вообще-то, та же самая, до мелочей, но другая, потому что в ней не участвовала Анна. Неприсутствие Анны в днях оказалось для Тани куда приметнее прежнего присутствия. Таня все время замечала, что ее нет, все время помнила о ней, а раньше, когда мать была, она словно бы и не видела ее, занятая своей жизнью. В чем заключалась эта «своя жизнь», куда она девалась? Ничего и никого... Какая-то неестественная пустота вокруг и пустота внутри. Тут нет ничего загадочного, просто сейчас мертвый сезон, все разъехались. Она пыталась звонить друзьям-антикварам, но телефоны молчали. Отец предлагал ей путевку в Пицунду, но не хотелось оставлять дом. Отец растрогался, приняв это за преданность ему. «Маленькая хозяйка», — сказал он, дернув щекой, и стал уговаривать ее ехать. Они с Дусей — проходящей работницей — прекрасно справятся. Таня не стала его разочаровывать. Ее удерживал дома дух матери, а не забота об отце, только в этих стенах скользила прозрачная тень Анны.

Оказывается, дом, если им заниматься всерьез, поглощает массу времени. Таня ходила в магазин и на рынок, в прачечную и химчистку, сама готовила, вспоминая любимые матерью блюда. Дусе она оставила только уборку. Она даже пироги научилась печь. У матери была легкая рука на тесто: понятия не имея ни о каких рецептах, она пекла великолепные мясные, капустные, крупяные и сладкие пироги, пышки, ватрушки, маковники. И сроду не стоявшей у плиты Тане тесто открыло свою капризную душу. Унаследовала она и второй домашний талант матери: составлять букеты. Квартира вновь стала нарядной, ведь нет ничего наряднее цветов.

Таня впервые узнала, как обременителен быт даже такого налаженного и материально обеспеченного дома, как у них. И как легко, незаметно тащила мать громадный воз своих дел. Отец работал от и до. Ему больше не требовалось, чтобы вести громадный и склочный, как все научные заведения, институт. Несомненно, он был выдающимся администратором от науки, если умел так строго укладываться в рабочие часы. Мать занималась самой наукой. Нередко она возвращалась из лаборатории в двенадцатом часу ночи. А ведь

была еще кафедра, студенты, аспиранты. И тесто, и букеты, и праздничные обеды, и бытовые учреждения, и приемы. Она всегда была хорошо одета, с искусно уложенной головой. Похоже, мать старалась до отказа забить свой день, чтобы не осталось в нем никаких пустот и щелей. В этом проглядывала какая-то исступленность. Она хотела быть замороженной, чтобы лишить себя возможности остановиться, сесть, сложить руки на коленях и задуматься. Но можно ли сказать, что она вкладывала душу в свои многочисленные дела? Таня готова была поклясться, что мать не была фанатиком науки, как не была и бытовым человеком: наука ее не окрыляла, а домашняя возня не веселила. Она не ела своих пирогов, и не потому, что боялась пополнеть, а не любила теста. Она даже букеты составляла с хмурым видом, а ведь цветы должны радовать. Но обстановка в доме была не хмурой, а какой-то бодро-прохладной. Теплом веяло лишь от отца и порой, как ни странно, от Пашки, который умел быть очаровательным, если ему нужно было от предков нечто существенное: новая машина, финский гарнитур, поездка в Англию. И тогда из Пашки фонтаном било что-то такое мило-бесшабашное, обаятельно-хулиганское, что начисто отсутствовало в их семейном коде.

Таня не вполне сознавала, что ее игры вокруг домашнего очага — своего рода попытка диалога с матерью, не происшедшего в жизни. Она как бы вызывала мать на разговор, в котором вместо слов участвовали предметы домашнего обихода, блюда, хозяйственные заботы. И конечно, ей хотелось одобрения.

Однажды во время обеда она поменяла место за столом. Тут не было заранее обдуманного намерения, ей показалось, что так будет удобнее разливать суп из фарфоровой миски. Это было место матери — на торце стола. Взяв в руки тяжеленький серебряный черпак, Таня почувствовала странную, чуточку стыдную нежность, какое-то влажное тепло внутри себя, оттого что она сидела в кресле матери и повторяла ее жесты. Она знала, что очень похожа на мать в эти минуты. Слишком похожа — отец вдруг разрыдался и опрометью кинулся из-за стола.

— Дура, — сказал Пашка. — На кой хрен тебе этот спектакль? Зачем ты плюхнулась в кресло матери?

— Не твое собачье дело.



— Нарочно хотела отца завести?

— Пусть привыкает, — буркнула Таня.

Если уж такой эгоцентрик, как Пашка, мгновенно все понял, значит, из нее в самом деле глянула мать.

Она осталась за столом на месте матери, и все к этому привыкли, и отец уже не плакал, не выбегал из-за стола, она и сама привыкла и перестала ощущать жесткое кресло узурпированным тронном.

Другая жизнь двигалась дальше, хотя правильнее было бы сказать, что она стояла, а на нее двигалось время, обтекая со всех сторон и создавая тем иллюзию движения. С потоком времени принесло разбежавшихся друзей-собрателей. Словно ладожский лед, дружно надвинулись знакомые злачные места, застоля, домá, набитые антиквариатом, иконами и картинами, все было не хуже, не лучше, чем в прежние дни. Но, может, все-таки хуже, потому что не лучше. Гэдээровский воитель, поощренный ее письмом и фоткой, разразился несколькими посланиями, непревзойденными по неграмотности и глупости, каждое — с дурацкими зайцами. Таня решила, что не будет больше Элоизой этого Абеяра. Пришел благодарный, но довольно грустный привет с химии; Бемби обнаружилась почему-то в Мариуполе, но и там ее не оставляли заботы о «техасах» и кроссовках. «Нет больше слов живых на голос твой приветный, — пробормотала Таня, дочитывая мариупольскую эпистола.— Оставим все это в детстве. Пора взрослеть».

Но как это делается, она не знала и продолжала плыть по течению: институт, домашние дела, вечерние сборища, доставлявшие все меньше удовольствия...

Отец неумоимо шарил по квартире. Он шуровал в старом шкафу со всякой рухлядью, вынесенном в коридор в ожидании окончательной ликвидации. В этом ожидании «дорогой, глубокоуважаемый» провел уже с десяток лет, набитый старой одеждой, сношенной обувью, сломанными зонтиками, пустыми коробками и прочей дрянью. Не раз обшаривал он и антресоли на кухне, шурша черновиками материнских научных трудов, руша папки с рабочими материалами. Не раз слышала Таня, как он щелкает ящиками в комнате матери и роется в ее вещах. Он делал это с маниакальным

упорством, уверенный, что доищется до каких-то секретов.

— Что ты ищешь? — спросила она однажды, скрывая раздражение. — Дай я тебе помогу.

— Я ищу свои письма к матери. Не понимаю, куда она их задевала.

Он врал, и Таня сказала жестко:

— Выкинула или сожгла.

Он не обиделся, подтвердив ее догадку. Свои письма он давно нашел, если их вообще пришлось искать.

— Люди нашего поколения бережны к переписке. Это у вас, нынешних, нет ничего святого.

— Давай искать вместе.

— Спасибо, — сказал он натянуто. — Это не так важно. У тебя и без того много хлопот.

— Только не повторяй, что я маленькая хозяйка большого дома.

— Хорошо, что предупредила, — улыбнулся отец. — Я как раз собирался это сделать.

Он прекратил поиски — при ней. Когда же она уходила, что случалось частенько, продолжал настойчиво искать. И как ни тщательно заметал он следы, обмануть дочь не удавалось.

Таню заинтересовала таинственная деятельность отца. Что он искал с таким нездоровым упорством? Молодые фотографии, какие-то мелочи, бессознательно сохраняемые материальные знаки минувшего, которые ничего не скажут другим людям, но полны глубокого значения для знающих их историю: сломанный гребешок, клипса, флакончик из-под духов, хранящих тень аромата, шпилька, театральная программа, приглашенный билет, засохший цветок, погашенные марки. Каждый человек с годами обрастает множеством совершенно ненужных мелочей, которые почему-то не выбрасывает. Но странное дело, после матери «вещественных доказательств» былого не осталось. Неужели она так тщательно прибирала за собой, не желая никакой памяти о прожитом? Осталась ее рабочая корзинка с иглами, булавами, нитками, лоскутками материи, кнопками, но идеальный порядок исключал лирическую память. Остались носильные вещи, рукописи, парфюмерия, с десятков книг, которые она любила, пишущая машинка и «Зингер» с ножным приводом, единственная старинная вещь в доме. Если исключить книги, сборники стихов, — все другое мало говорит о ней: человек

порядка, труженица, и все. Вполне вероятно, что отец хотел найти себя в каком-то укромье Анны, поверить, что он присутствовал в ее внутреннем мире. Отношение отца к матери выразалось одним словом: любовь. Отношение матери к отцу — целым рядом слов: тепло, привязанность, обязательность, забота. Но все эти слова стоили неизмеримо меньше того единственного.

А что, если тут совсем другое — найти и уничтожить. Он не хочет, чтобы какие-то обстоятельства их жизни вышли наружу, стали известны даже близким людям. Мать была из пишущих ученых. Она владела словом и охотно писала для газет, журналов, занималась популяризацией. Вполне вероятно, что она вела дневник, ну, хотя бы просто записи, и они куда-то подевались. Очевидно, отец знал, что такие записи существуют. Уничтожить их мать не могла, она же не знала, что путешествие на Богояр окажется в один конец. Вот он и ищет.

А коли так, то почему бы не начать свои поиски, ведь ей тоже хочется знать, кем было самое близкое на земле и такое далекое существо — ее мать. Отец неправильно ищет. Он исходит из того, что матери было что скрывать, что она ждала обыска и нашла какой-то необыкновенный тайник. Сыщицкая психология. Но у матери не могло быть никаких стыдных тайн, ей в голову не приходило, что кто-то будет рыться в ее вещах, поэтому она ничего не прятала, а просто убрала. То, что не предназначено чужому взгляду, нехорошо оставлять на виду, испытывая чужое любопытство и чужую деликатность, этого требует элементарная вежливость. Не надо бросать где попало ни личных писем, ни лифчиков.

Таню не переставало удивлять, с какой сомнамбулической уверенностью она прошла в комнату матери и вынула из шкафа круглую кожаную коробку с шитьем. Для настоящего шитья мать не располагала временем, хотя любила и умела шить. Для нее было удовольствием пришить пуговицу, заштуковать дырку, укоротить рукава или брюки. Она говорила, что с детства обожает шершавую шапочку напёрстка и вкус перекусываемой нитки. Таня разгребла все шелковинки, шерстинки и обнаружила плоский сверток в истончившейся хрусткой газетной бумаге. Он не был даже перевязан.

Таня убрала коробку в шкаф, а сверток взяла к себе. Осторожно развернув его — бумага от времени стала

хрупкой, крошилась, — она обнаружила несколько любительских фотографий, коротенькое, в несколько строк, письмецо, розовато-дымчатый, прозрачный на просвет камешек — сердолик, засохшую веточку тамариска и два официальных бланка. Как истинное дитя своего времени, Таня прежде всего обратилась к бланкам. Содержание их было идентично — разница только в датах: отказ сообщить что-либо о судьбе Канищева Павла Алексеевича, поскольку запросы о пропавших без вести принимают лишь от близких родственников. Ну вот, сказала себе Таня, теперь я знаю имя человека, которого уже вычислила в жизни матери.

Она стала разглядывать фотографии двух незнакомых людей: юноши лет двадцати, которого звали Павел, и девушки его лет, которую звали Анна и которая для нее была почему-то «мама».

Она с жадностью вглядывалась в молодые черты матери, ища сходства с собой. Они, конечно, похожи, хотя мать была выше, худее, легче. Некоторая отяжеленность пришла к ней лишь в последние годы, она очень долго сохраняла молодую стать. Но и та стройная, гибкая Анна, которой она восхищалась и завидовала, сильно отличалась от девушки на фотографиях. У матери было строгое, невеселое лицо, а эта, еще не ставшая ее матерью, светилась радостью, бесилась от радости. Улыбка прямо-таки раздирала ее большой красивый рот. «Боже мой, что же надо чувствовать, чтобы так скалить зубы?» — думала Таня с завистью на грани злости. Если б она не знала органической естественности матери, полного отсутствия в ней показного, наигранного, она бы заподозрила ее в ломанье. До чего же здорово было ей с этим Павлом Канищевым! И до чего же не здорово, когда она пыталась разыскать его, пропавшего без вести!

Таня прочла записку: «Зашел к тебе и не застал. Мы возились с Кузькой и смертельно устали друг от друга. К тому же он разорвал мне штанину. В наказание я укусил его за ухо. Он был так потрясен, что написал на ковер. Это тебе в наказание — не шляйся. Иду домой. Позвони. Будь проклята. П.»

Не много же осталось у матери на память о любимом: записка, камушек-сердолик, засохшая веточка тамариска и четыре фотографии. На трех они сняты вместе, на одной он плывет саженками, на голове облегающая резиновая шапочка. Так лицо его кажется

круглее, а без шапочки оно удлиненное, чуть суженное в висках. Глаза очень светлые, наверно, по контрасту с загорелой кожей. Потрясающий парень: высоченного роста, мать ему по плечо, с телосложением культуриста, только без вульгарности мышечного переизбытка. Да, тут будешь смеяться взахлеб, когда у тебя такой парень. И будешь его искать и через три, и через десять лет после войны, зная, что его нет на свете.

Теперь Таня не сомневалась, что ее давняя догадка о сбитой, исковерканной судьбе матери справедлива. Мать потеряла своего длинноногого бога и стала жить чужой жизнью. Да, все окружающее было ей чужим: чужая семья, чужой дом, чужая работа, чужое солнце. Это казалось неправдоподобным. Таня не понимала такого чувства и не верила в него. А эти ошалелые от счастья лица? Ты веришь им? Верь не верь, они смотрят на тебя из дали лет, столь же несомненные, как прозрачный камешек, лежавший когда-то на их ладонях, как сорванная ими веточка тамариска. Они были, они есть, потому что стали горестной частицей тебя самой. Я не видела и никогда не увижу такой любви. И тут же она вспомнила гримасу горечи, искажавшую порой серьезное, суховатое лицо отца. Это был другой образ того же чувства. Отец был влюблен в мать, влюблен безответно и не обманывал себя на этот счет. Он не искал никаких секретов, никаких тайн, ему все было слишком хорошо известно, он хотел уничтожить последнюю память об убитом, вымарать его из судьбы матери. Зачем? Кого он пытался этим обмануть?..

Таня вдруг заметила, что плачет. Чего я плачу? Мне жалко, что у таких дивных, сказочных людей ничего не вышло. Им бы жить, как у Грина, долго и умереть в один день. Но они умерли поврозь, и ушедшему раньше было легче. Она поцеловала карточку матери. Сладковатый запах долго пролежавшего в коробке картона оказался ей запахом загорелой кожи. Ей хотелось поцеловать Павла, но было стыдно перед матерью.

Это было началом долгой игры. По странному совпадению отец прекратил свои поиски. Теперь он часто вечерами уходил из дома, оставляя Таню одну. У нее создалось впечатление, что отец загулял в партнерстве с собственным сыном. Надо полагать, Пашка являлся не только партнером, но и наставником, поскольку в некоторых отношениях был куда взрослее, искуснее своего старомодного отца. Что ж, каждый

спасается, как может. Наверное, отцу в самом деле невыносимо сидеть в пустой, немой квартире, пропитанной больной памятью. С некоторых пор Тане стало казаться, что ее усиливающееся сходство с матерью — она стала носить материнские кофточки и юбки, причесываться, как мать, пользоваться ее косметикой и духами, завела туфли на высоком каблуке, чтобы подравняться ростом, — тревожно и неприятно отцу. Но его душевный комфорт мало ее заботил.

Она пребывала в замечательном совместном приключении с Анной и Павлом. Было мало рассматривать фотографии, нюхать засохшую веточку тамариска, перекачивать во рту гладкий теплый камешек-сердолик, она стала придумывать общую жизнь с опасными похождениями, охотой на львов, ночными кострами, нападениями дикарей, смертельными подвигами ради спасения друг друга. У неразлучной троицы появился спутник — огромная собака, похожая на сенбернара, только черная, по кличке Кузя. Самозабвенно предаваясь этим фантазиям, Таня ловила себя на том, что порой как бы подменяет мать в перипетиях захватывающей жизни, может, не подменяет, а сливается с ней, теряя ощущение раздельности своего и материнского «я». При всей своей юной просвещенности она не догадывалась, что разыгрывает старую-старую пьесу под названием «любовь втроем».

Как распалась строгая, налаженная жизнь профессорской семьи! Отец с сыном кутили, а дочь погрузилась в фантастический мир, сотворенный из нескольких фотографий, записки, розового камешка и засохшей веточки.

В какой-то момент здоровые силы Таниной природы восстали против этой возни с призраками и противоестественного затворничества.

Ее давно уже домогалась антикварная компания, и Таня откликнулась на призыв. Она была удивлена и польщена тем сильным впечатлением, какое произвела на этих бывалых людей. «Тебя нельзя оставлять одну», — сказал Оскар Уайльд, весь лучась грешным добротством. «Она нашла свой стиль», — заметил Роберт Кеннеди. «Если и дальше так пойдет, что с нами будет?» — растерянно спрашивал Парижский художник. «Не знаю, что будет с вами, — мрачно изрек Русский барин, — но моя семейная жизнь разлетится

вдребезги». Улыбаясь, Таня думала: «Просто я стала похожа на мою маму».

И полетели дни, кружась проклятым роєм, но вино и страсть не терзали Танину жизнь. Ей как-то не пилось и не игралось. Она сама знала, что изменилась, причем не только внешне, а вот окружающие не изменились ни на волос. Они были слишком взрослыми людьми, чтобы меняться, но могла бы за истекшее время возникнуть хоть какая-то новая интонация, новая тема в разговоре, какой-то сдвиг настроения, они словно окаменели в своем образе. Как же она раньше не замечала, до чего однообразно их времяпрепровождение не только по общему сценарию, но даже в подробностях. Одними и теми же присказками сопровождался заказ официанту (и брали всегда одно и то же), первый тост был «со свиданьем», и все смеялись, «пьем рывчуном», — предупреждал Художник, и опять смеялись; Русский барин рассказывал новый анекдот, больше не полагалось — дурной тон; затем Ковбой оговаривался противным выражением «всю дорогу», и его дружно корили за дурной американизм, после — короткая хроника светской жизни, зарубежные новости, между горячим и кофе — «междусобойчик»: быстрая деловая пшебуршья, в то время как ее кто-то кадрит на вечер, и уже официант приносит счет, и Роберт Кеннеди цедит: «Прокофьич, вы хотите нас разорить?» «Вас разоришь!» — отзывается ко всеобщему удовольствию Прокофьич, и кончен бал. Им это однообразие не приедалось, они были очень занятые люди, заинтересованные в своем азартном деле, требовавшем немалых усилий, и необременительная привычка разрядки награждала их помимо сытости и легкого опьянения верой в незыблемость миропорядка.

Перекачивать во рту сердолик и охотиться на львов было увлекательней. Все с меньшим желанием откликнулась она на зовы «Астории» и «Европейской», лучше валяться на тахте и мечтать — не о будущем, о прошлом.

Но от будущего не отмахнуться. Что ждет ее впереди? Выбор невелик. Технический переводчик звучит солиднее, чем экскурсовод, но при одной мысли о табеле ее прошибал холодный пот. Что угодно, только не учреждение с его распорядком, тягомотным бездельем и профсоюзными собраниями. Экскурсовод — это все-таки посвободнее, больше воздуха и движения. Всю жизнь

мечтала водить группы пусто любопытных и каменно равнодушных туристов, молодящихся накрашенных старух с лошадиными челюстями и веселых старичков в панاماх с цветными ленточками. Запихивать их в автобус, то и дело пересчитывать и умирать со страха, не досчитавшись одного, застрявшего в сортире. Делать любезное лицо, ускользать от прямого ответа, еще чаще — грубо врать во славу Родины и все равно нарваться на донос. А высшую награду за терпение, изнурительную возню и унижение — дрянной сувенир — передаривать этажной горничной. Вершина удачи: повести группу отечественных путешественников за «бугор». Пересчитывать их еще чаще и нервнее, мешать им делать, что они хотят, а потом строчить «телегу» на жалких запуганных бедолаг, глотнувших дивный «воздух свободы». И так всю жизнь? Бог мой, лучше повеситься.

А чего она хочет? Да ничего, вот чего! Художественный перевод — это для родителей, их гостей, чтоб отвязались, отчасти для самой себя, чтоб не думать о выборе профессии. Ей это скучно. Она не любит читать. Надо жить собственной жизнью, а не читать про каких-то придуманных людей. Какое ей до них дело? Ну, так чего тебе надо? Смеяться во все горло на морском заплеске, глядеть ошалело на своего смуглого бога. Собирать разноцветные камешки, обрывать ветки тамариска, играть с Кузей, кусать его за ухо и все время видеть удлиненное, суженное в висках лицо и светлые, как вода, глаза. Все остальное не стоит ломаного гроша. Но этого не будет...

Однажды в воскресный день Пашка зашел за отцом, чтобы ехать в Сестрорецк ловить корюшку. Был он приметно навеселе.

— Допрыгаешься, — сказала Таня. — Отберут права.

— Так я для запаха, — засмеялся Пашка. — А права у меня давно отобраны.

— Как же ты едешь?

— Без них. Так спокойнее. Если что — сую десятку, и никаких проблем.

Беспечная его самоуверенность разозлила Таню. Она вспомнила, что все Пашкины спортивные мероприятия: охота, рыбалка, гонки на скутерах, теннис — неизменно кончаются пьянкой.

— Зачем ты разлагаешь отца?



— Что, мне за его нравственностью следить? Он совершеннолетний.

Таня заметила на руке брата новые часы «рол-лекс» — мечта всех пижонов. Пашка вообще очень преуспел за последние месяцы: новая дубленка, кожаная куртка, поляроид, ослепительные галстуки. Видимо, скрашивая отцовское одиночество, он добрался до его кассы. Тане это было безразлично, но маленькая обида за отца все-таки шевельнулась.

— Ты бы его здоровье пожалел. Отец не мальчик.

— Он нас с тобой переживет! Железный старик.

— Как-то непочтенно все это, — покачала головой Таня.

— А в нашей семье все непочтенно! — озлился вдруг Пашка и весь как-то выострился. — Но рекорд поставила мамахен. Встретила на Бояре свою первую любовь, безногого калеку, и выдала ему с ходу чуть не на пристани.

Она ударила Пашку кистью руки по глазу с такой силой, что он упал спиной на диван. Заорав не столько от боли, сколько от неожиданности, он вскочил и хотел кинуться на нее и тут увидел в руке сестры нож для разрезания книг с длинным, узким лезвием. Но страшнее ножа было ее остервенелое лицо.

Боль показалась нестерпимой лишь в первое мгновение и сразу отпустила. Глаз не пострадал, хотя синяк останется.

— Ты мне за это заплатишь, дура психованная! — но в голосе не было особого ожесточения.

— Поговори еще!

— Думаешь, хозяйкой тут стала? Отец скоро новую мамочку приведет.

И, пустив эту парфянскую стрелу, Паша отбыл.

Она пропустила последнюю фразу мимо ушей. Это ее не интересовало. Надо было разобраться с главным. Пашка был врун, но тут он не мог соврать. Его истерическое хамство было правдой. Что ж, тогда все сходится. Речной моряк сказал: она плыла к берегу. И еще он сказал загадочно: ей был голос. Конечно, никто ее не звал с берега — на таком расстоянии, за шумом парохода она бы и не услышала, но голос прозвучал в ней самой и бросил ее в реку.

Конечно, Анна плыла к Павлу. Она прекрасно плавала. Но вода была слишком холодной, а сердце слишком усталым. Почему она не осталась с ним? А как

она могла остаться? Где? В убежище для калек? Обратно — это порыв, тут нет ни расчета, ни житейских соображений, остаться — быт. Наш страшный, вязкий, опутанный множеством условностей и правил быт. Чтобы соединиться с ним, надо было уехать. Уйти, чтобы остаться... «Зачем я играю словами? — подумала она удивленно. — Я что, с ума съехала...»

Но мать — вот человек! Ни о чем не думая, ни с чем не считаясь, ничего не стыдясь, никого не щадя, кинулась в объятия любимого. Да, так было, только так и могло быть у этих смуглых богов. У богов... Но это пожилые люди, почти старики, не видевшиеся чуть ли не сорок лет. И ко всему он калека, обрубок. Что же такое было в Анне, если она не колеблясь швырнула на ветер всю свою жизнь? И что же такое было в нем, в половинке человека?.. Неужто так сильна и ослепляющая память о прежнем облике? Какая чепуха! Это, скорее, должно было отторгнуть Анну от него, сегодняшнего. Конечно, и мать сильно отличалась от белозубой девчонки на морском берегу, но она сохранила красоту и стать, какую-то благодность облика. А что сохранил этот несчастный? Небось его убежище не краше лагеря, а обитатели — те же эки, только искалеченные. Какая там грязь, вонь от невымытых тел, дезинфекции и крыс — тошный дух советского общежития. Кровяной толчок из сердца в мозг может на миг погасить сознание, но так забыться — невероятно. А еще невероятней, по миновании умопомрачения, уже владея собой, кинуться в ледяную воду, чтобы вернуться к кому?.. к призраку. Значит, он снова стал ей прекрасен и важнее всего на свете: дома, семьи, мужа, репутации, снова захлебно, ошалело любим в нынешнем убогом облике... Боже мой, неужели так бывает в жизни?.. Господи, неужели жизнь все-таки есть?..

...В это майское утро земля наконец-то проснулась, как после долгого и тяжелого сна. Зима началась рано — в ноябре — и не сдавала позиций до конца апреля. В середине месяца выпало несколько сухих, хотя и угрюмых дней, когда показалось, что весна будет, но опять повалил снег — густой и липкий, накрыл землю плотной с виду, влажной белизной, глубоко проминающейся под лапами зверей и птиц. К праздникам снег внезапно стаял, как-то робко, на солнечной

стороне зазеленела трава и проклюнулся первоцвет. Веточки деревьев, кустов у одних позеленели, у других покраснели, но даже торопыги-ветлы не опушились. Земля оставалась нищенски голой, и ничем не пахло. А вот сегодня очнулись запахи; пахло все вместе — пробуждением, и пахло отдельно: трава, кора, почки, мох, корни, купающиеся в талых водах, — каждый аромат легко вынюхивался в общем потоке.

Но калеку, пеньком торчащего на пароходной пристани, близ сходней, игры природы мало трогали, как и все творящееся вокруг. Он лишился надежды, и жизнь стала машинальной, он только присутствовал в ней, не деля ее волнений, ее великолепия и страданий. Когда он впервые притащился сюда на майские праздники, уже зная, что ждать ему некого, что правдой оказалась беспощадная сплетня, — он правил тризну, и душа его была полной и сосредоточенной. Он вглядывался в лица сходявших на пристань людей, словно призывал их к соучастию в своем молчаливом обряде, и не обижался на то, что они этого не понимают. Его замечали, многие знали о зловещем богоярском убежище, иные слышали о бурном выселении калек, хотя едва ли кто знал всю правду, а главное, уроды притягательны, за ними ощущается нечто большее, чем просто несчастье, — перст судьбы, Божья кара, знак каких-то тайных, зловещих, предостерегающих сил. Это давно перестало раздражать, сам он чувствовал себя в одном потоке жизни с двуногими. Он провел значительный день на берегу, не вступив ни с кем в общение, хотя, по обыкновению, нашлись добрые и беспокойные люди, которым хотелось деликатным приставанием выразить сочувствие несчастному.

Он думал, что больше не пойдет на пристань, но миновала неделя, и он опять притащился сюда. И оказался пуст, как грецкий орех. Воздержаться от похода-прополза было куда труднее, чем исполнить то, что стало для него непреложным, как нервный тик. Попробуй воспрепятствовать сокращению лицевого мускула — с ума сойдешь, нет, пусть лучше дергается.

Он стоял и смотрел на выматывающуюся из нутра парохода пеструю ленту пассажиров, не вглядываясь в лица, не испытывая к ним ни малейшего интереса. Потом машинально, как он и все делал сейчас, стал подсчитывать, сколько раз мотался он на пристань. Прежде он очень любил всякие игры, связанные с

цифрами, в студенческие годы ходил в гениальных математиках за способность производить в уме сложные вычисления. Потом эта способность пропала, возможно, в связи с общим ослаблением памяти. И хотя подсчет был не особенно сложен, он сбился, забыв, сколько дней пропустил из-за бунташных дел. Наплевать и забыть. Как смазались все дни в его памяти, за исключением одного-единственного, когда он увидел Анну! И вот что странно: узнавание было мгновенным, а кажется, что оно обладало длительностью. Анна «проявлялась» в воздухе, как детская переводная картинка, становясь все отчетливей, ярче, жизненней. И в какой-то миг он поверил, что она действительно есть, и умер, и очнулся, когда она тоже узнала его. Потом оказалось, что она увидела и узнала его первая, но не поверила себе. А поверила его глазам, вдруг просиневшим из темной глубины. А Павел забыл, что в молодости взгляд его синел и голубел, он привык видеть в уломке бритвенного зеркальца свинцовую серость глаз.

Его воображение стало таким сильным, что проецировало рождающиеся в нем видения на окружающий мир. Анна шла по сходам с рюкзаком в напрягшейся руке. Сойдя, она опустила рюкзак на землю и медленно, как при замедленной съемке (на самом деле убыстренной, ибо это и дает медленность в проекции), двинулась к нему. Он вздрогнул, стряхнул дурман и понял, что Анна идет по земле. Значит, она не умерла? Значит, право было его вещее сердце?.. Боже мой, как она молода, такой она была в их последнюю встречу, когда он уходил на фронт. Нет, не она ожила, а он умер. Прекрасная смерть — без боли, без муки, без малейшего затруднения в переходе рубежа. Знать бы заранее, что смерть — это возвращение утраченного, стоило ли тянуть эту ляжку? Но в чем-то должен быть подвох, у него никогда не бывало иначе. Или сама смерть окажется подвохом, или его посмертная судьба будет под стать земной: Анна растает, исчезнет, не достигнув его рук и наделив новым томлением, или ее отнимут. Или они окажутся немые, лишены дара прикосновения, ну же, работай, моя неудача!..

Молодая Анна приближалась.

Чем дольше смотрела она на калеку, тем отчетливей становилось его сходство с Павлом на фотографии. Конечно, они были разные: юноша и почти старик. Нет, стариком его не назовешь, не шло это слово к его

лито­му, смугло­му, глад­ко­му, жест­ко-краси­во­му ли­цу, к сталь­ным, немор­гаю­щим гла­зам. Ему не да­шь и пяти­де­ся­ти. Но в мор­щи­нах воз­ле гла­з и на ше­е, куда не про­ник­ло ве­сен­нее сол­нце, ко­жа уже не ка­жет­ся мо­ло­дой, ему под ше­сть­де­сят. И вдруг его сход­ство с тем Пав­лом, ко­то­ро­го она не­сла в се­бе, ис­че­зло. Если бы Павел ос­та­лся в жи­вых, он ста­рел бы ина­че, ведь по-на­сто­я­ще­му доб­рые лю­ди с воз­ра­стом ста­но­вят­ся все доб­рее, их ю­ная неосоз­нан­ная снис­хо­ди­тель­ность к ок­ру­жаю­щим пре­вра­ща­ет­ся в соз­на­тель­ное все­ох­ват­ное при­я­тие жи­зни. И ни­ка­кое не­сча­стье, да­же злей­шая бе­да, постиг­шая это­го сол­да­та, не мо­гли бы так ожес­то­чить свет­лую ду­шу Пав­ла и омерт­вить его вз­гляд. Это дру­гой не­сча­ст­ный, от­дав­ший вой­не боль­ше, чем жи­знь. И тут ка­ле­ка мед­лен­но по­вер­нул го­ло­ву, сол­неч­ный свет ударил ему в гла­за и вы­нес со дна сви­нцо­вых ко­ло­д­цев яр­кую, про­низ­и­тель­ную синь.

— Па­ша! — за­кри­ча­ла она, ки­ну­лась к не­му и рух­ну­ла на зем­лю. — Па­ша!.. Па­ша!.. Па­ша!..

Ка­ле­ка не ше­лох­нул­ся, он гля­дел хо­лод­но и спо­кой­но, слов­но это его ни­что не ка­сало­сь.

— Ты оп­ять ждал ме­ня!.. Ты не знал, что ме­ня нет? Или не ве­рил?.. — до­пы­ты­ва­лась Ан­на.

Та­ких слов то­гда не бы­ло, да и быть не мо­гло. Это не по­вто­ре­ние. То­гда у нее бы­ла вспыш­ка гне­ва, и Кор­сар ки­нул­ся на за­щи­ту. Но не бы­ло в ней гне­ва и не бы­ло Кор­са­ра, уни­что­жен­но­го ох­ран­ни­ка­ми в пер­вые дни бун­та. Да Кор­са­ра и не мо­жет быть тут, у собак дру­гой рай. Но тут на­сто­я­щее оп­ять сов­ме­сти­лось с про­шлым, неза­бвен­ный го­лос Ан­ны ска­зал:

— И­дем... И­дем вон ту­да.

Они не ушли да­леко, но при­стань со всем на­се­ле­ни­ем скры­лась за по­ло­гим, не­при­мет­ным вз­гор­ком, а им дос­та­лся уе­ди­нен­ный мир, вме­ща­вший лишь при­ро­ду и две их жи­зни.

По­сле, ко­гда он от­пу­стил ее, она спро­си­ла:

— Так все бы­ло, Па­ша?

Ему стран­но бы­ло слы­шать свое у­мень­ши­тель­ное имя из уст этой де­воч­ки, стран­но и неж­но.

— Я знаю, кто ты, — ска­зал Павел.

— Да, я дочь Ан­ны. Таня. Ты не от­ве­тил.

— А мо­жно об этом спра­ши­вать?

— Я ду­ма­ла, ты храб­рее.

— Лю­бой че­ло­век не храб­рее са­мо­го се­бя. Она у­то­ну­ла?

— Ты не знал?.. Она не смогла уехать. Нет, это не было самоубийством. Она хотела вернуться к тебе. Ты убил ее.

— О чем ты?

— Ты прогнал ее.

— Нет, я сам ушел... Уковывлял, уволокся, уполз, называй, как хочешь!.. Ладно,— сказал он вдруг, клацнув челюстями.— Я убил ее. Зачем ты приехала к убийце?

— Не знаю. Наверное, мне хотелось, чтобы Анна доплыла.

Он пристально посмотрел на нее, и глаза у него опять были свинцовые, тяжелые.

— Мудрено. Темно. И пусто... Это ваше проклятое очарование!.. Я урод, калека, поползень, старик, что вы хотите от меня?

— А-а, теперь я понимаю, как у вас все было!.. Нет, Паша, ты в порядке. Это я была калекой, а ты меня вылечил.

Он оторопело посмотрел на нее. Что-то начало проступать из тумана.

Она порылась в своих вещах и достала розовый камешек.

— Узнаешь?

— Боже мой!.. Я помню, как нашел его. После шторма, в Сердоликовой бухте... Значит, прошлое не выдумка. Была молодая Аня, был я на длинных ногах. Бегал, прыгал, собирал разноцветные камешки. И казалось, будет тысяча лет с нею... А была тысяча лет без нее.— Он оборвал и вдруг резко, почти грубо спросил: — Что ты от меня хочешь?

— Только то, что ты мне можешь дать.— Она улыбнулась и обняла его.— От тебя пахнет смолой, сосновой корой, теплой, влажной землей...

— Проще — могилой...

Уже начала по-вечернему сыреть трава, когда послышался пароходный гудок.

— Собирают пассажиров. Тебе пора.

— Я не Анна,— сказала Таня.— Я современная девочка. От меня так просто не отделаться.

— Ты в своем уме?

— Мать — милая, бедная, деликатная... Поддалась самолюбивому бреду калеки-истерика.

— Замолчи! Хватит!

Таня кончила одеваться. Вещи были мокрые, холодные.

— Идем домой. Я замерзла.

— Ко мне нельзя, — сказал он хмуро. — Здесь монастырь.

— А ты принял постриг? Какой банальный сюжет: соблазнение монаха.

— Не дурачься. Я в самом деле не могу тебя взять с собой, даже если бы хотел.

Она пропустила конец фразы мимо ушей.

— Почему? Я не рвусь на ваше подворье. Но есть там какая-нибудь сторожка, заброшенный сарай, собачья будка?.. Нет, построим шалаш. Поговорку знаешь?

Была банька прежнего медицинского начальства, которой монахи не пользовались. Все их службы находились внутри кремля. Там можно устроиться на какое-то время. Павел и секунды не верил в продолжительность этой чересчур неправдоподобной сказки. Хотя сюда ее привели не только взбалмошность и желание приключения. Она то ли искупала какую-то вину перед матерью, то ли мстила ей, то ли, позавидовав, хотела присвоить ее тайну. А может, это желание заpastись прошлым, слишком гладко, бессобытийно течет благополучная, обеспеченная жизнь. А может, все уходит в тайну пола?.. Но то, в чем она почти напрямую призналась ему, этой тайне непричастно. Нежданная — а вдругжданная? — премия за дикий с виду, но внутренне оправданный поступок. Ему в этом не разобраться, у него слишком маленький опыт с женщинами. И уж давно с женщинами ее среды и столь юного возраста...

Они устроились в брошенной баньке.

Утром — не успели чаю попить — за Павлом пришли. Его требовал к себе настоятель.

— Начинается, — сказал Павел. — Монастырь — копия нашей страны: весь на доносах.

— Не разуживай себя, — сказала Таня. — Поговори с ним по-человечески.

Вернулся Павел неожиданно скоро. Разумного разговора не получилось. Настоятель — человек жесткий и грубый — сказал, что не потерпит блуда под стенами обители. Павел спросил, почему же он разрешает его в стенах обители, ведь известно, что все монахи либо мужеложцы, либо рукоблуды. Старика чуть кондрашка нехватила. Что там началось!.. Павел расшвырял братию и ушел.

— Ты провокатор, — голосом Анны возмутилась Таня. — Хочешь, чтоб меня вышвырнули отсюда? Я сама с ним поговорю.

— Зачем нарываться на хамство?

— Никакого хамства не будет. Угомонись.

Она вышла, озадачив Павла своей взрослой уверенной интонацией. Так могла бы говорить Анна в остуду лет, немолодая, много пережившая женщина, умеющая и привыкшая брать на себя ответственность. Но она не взяла на себя ответственности в их последнюю встречу, подчинилась его дури... самолюбивому бреду калеки-истерика. Как эта девчонка сумела понять такое и как отважилась бросить в лицо безноготому? Странное существо, совсем не похожее душевным складом на молодую Анну и, возможно, очень похожее на ту, какой Анна стала.

Павел ничего не ждал от разговора Тани с настоящим. Ему даже хотелось, чтобы скорее все кончилось. Почему судьба играет с ним в такие непонятные, острые, больные игры? Он был простым, бесхитростным, веселым парнем, влюбленным, красивым, без каких-либо завышенных требований к жизни. Он считался способным, даже талантливым, и наверняка стал бы хорошим инженером, опять же не заносясь высоко. Он хотел простой и ясной жизни: Анна, дом, дети, друзья, море, горе. А вышло ему увечье, «малина», убежище. Хорош его послужной список: солдат, продавец рассыпного «Казбека», уголовник-ножебой, пахан инвалидного узилица, предводитель безногого бунта, монастырский трудник. И ко всему еще — донжуан с кожаной задницей.

Скорее бы все кончилось. Зачем ему это немилосердное наслаждение? Нельзя привыкать к ней, нельзя допускать себя до страха потери. Сейчас она еще не отделилась от Анны, и если сразу уедет, то не увеличит утраты. Останется в памяти насмешливой и милой улыбкой судьбы.

Таня не возвращалась, и он начал беспокоиться. Он не хотел нового унижения, слишком много было их в его жизни. Он поклялся себе: если Таню оскорбят, он спалит монастырь.

Как трудно жить, думал Павел. Случилось ли у меня, начиная с войны, хоть одно не мучительное сближение с жизнью? Дико подумать, но у нас, богоярских, до бунта была относительно легкая жизнь,



ее обеспечивала наша изолированность и безответственность. Но жизнь, где люди трутся друг о друга и должны что-то решать, невероятно трудна. И каждый старается сделать ее другому вовсе невыносимой. Чем Таня помешала Божьим людям? Им бы радоваться, что обобранному кругом человеку добром посветило. Куда там, нарушены их ханжеские правила, разве может с этим примириться провонявший ладаном партком! Он еще предавался злым и бесполезным мыслям, когда вернулась Таня. Улыбающаяся, хотя видно, что она плакала.

— Нам поставят домик. А пока можно оставаться здесь.

— Кто это нам поставит? — сказал Павел. — Я тут один плотник.

— Вот ты и поставишь, а монахи помогут.

— Чудеса! Воистину чудеса! Чем ты его взяла?

Она пожала плечами.

— Он хороший старик. Ты зря ему нахамил.

— Я только огрызнулся. Так что ты ему сказала?

— Все как есть.

— Зачем?

— А тут нельзя врать.

— Ты лучше меня. Я бы так не мог. А что он?

— Благословил. И согласился нас обвенчать.

Павел засмеялся каким-то лающим смехом:

— Ну, ты даешь!

— В загс тебя не вытащить — надо в Ленинград ехать. И вообще это мерзость. Половой райком. Мы оба не были в браке, значит, имеем право на церковное венчание.

— Тебе не кажется, что все это заходит слишком далеко? — тихо, с занимающейся яростью спросил Павел.

— О чем ты? Я не придаю значения всяким формальностям, но тут в самом деле монастырь. Надо с этим считаться.

— А тебе не кажется, что я мало гожусь для роли жениха?

Она окинула его критическим взглядом:

— Кажется. Но что поделаешь, какой есть. Ты что так разволновался? Это же не завтра будет. Поставим дом, обустроимся. Нас никто не торопит.

— Послушай, — сказал он с поразившей его самого беспомощностью. — Зачем тебе все это надо?

— Я хочу здесь остаться.

Это прозвучало искренне. Но почему она ни разу не спросила, любит ли он ее? Или его любовь казалась ей настолько естественной, непреложной, что и спрашивать нечего. Или же... Но другое соображение припахивало серой, как в царстве нечистой силы или в старых ленинградских подъездах: он вступает в брак с Анной, и тут никакие признания не нужны.

Оставалось надеяться, что она очнется от наваждения и удерет, что озеро поглотит остров — такие случаи бывали — или наступит конец света. Надежда, как известно, последней покидает человека. Прогнать Таню он не мог...

Павел поставил дом, монахи ему дружно помогли. Настоятель освятил жилье и подарил новоселам мебель, за которой посылал в Эстонию. После чего напомнил, что теперь следует узы любви скрепить законным браком. У Павла не хватило решимости сказать: зачем вы замешиваете старого, серьезного, печального человека в дурное шутовство?..

В дни, предшествующие венчанию, он настолько не владел собой, что стал сам себе противен. Особенно раздражало его, что окружающие относятся к предстоящему таинству всерьез, ему легче было бы поддерживать тон грубоватой мужской шутливости. Он стал подозрителен и все время следил за Таней, что она выдаст свои скрытые намерения. Но она вела себя как влюбленная женщина.

Монахи сделали ему для венчания кресло-каталку на велосипедных колесах. Он наотрез отказался воспользоваться им.

— Я не могу венчаться на велосипеде.

— Так будет удобнее и тебе и священнику, — уговаривала его Таня.

— Кому нужен этот обман? Ты идешь замуж за недомерка. Кстати, еще не поздно отказаться.

— Не может быть, чтобы ты всегда был таким, — сказала Таня. — Да и сейчас ты не такой.

— Именно такой. Старый злой калека.

— Нет, я верю матери, а не тебе.

Очередной скандал он закатил, когда его решили принарядить — где-то раздобыли черный пиджак и рубашку с галстуком.

— Я не витринный бюст, а живой обрубок! Всю

жизнь я проходил в гимнастерке и не желаю менять своих привычек.

— Ты мне казался человеком без комплексов. Что с тобой случилось?

— Каждый хорош только в своей роли,— угрюмо сказал Павел.— Я из гиньоля, а вы суете меня в бурлеск.

— Тебе не приходит в голову, что я тоже в этом участвую? За что ты меня оскорбляешь?

Она сидела и шила из длинной белой ночной рубашки подвенечное платье. Так не играют, подумал он. Даже если у нас все кончится и она уедет, это останется для нее переживанием. Для всякой хорошей женщины свадьба — событие души, которое не забывается. Она шьет это жалкое платье, и у нее серьезное, глубокое лицо. И как умело она шьет. У нее хваткие хозяйственные руки. Как у Анны. И разве дала она мне право на мои гнусные выходки? Ты ищешь какую-то неправду, а куда девать правду наших ночей? Все, засохни, заткнись, веди себя как человек.

— Я не ломаюсь,— сказал он.— Мне непривычно все это. Я выстираю гимнастерку, подошью чистый подворотничок и ленточку «за ранение». Надену свои медали. Я никогда никем не был, только солдатом, и то совсем недолго. Я хочу быть перед аналогом в своем естественном и достойном виде.

— Спасибо, Паша,— сказала она и перекусила нитку.

И оттого, что он взял себя в руки, все прошло как нельзя лучше. Нежелание сесть в коляску создало ряд неудобств, но отец-настоятель — он совершал обряд — помог преодолеть их. Таня плакала, да и у многих монахов глаза набухли. Павел не позволил себе растрогаться, но когда он надевал Тане кольцо на палец, что-то в нем подозрительно пискнуло.

... Теперь Павел жил как бы в двух измерениях. В одном он делал все, что положено нормальному мужику: работал как оглашенный, в свободные часы ходил с Таней в лес по грибы, ягоды и лекарственные травы — надо было запастись на зиму, ночью любил жену с пылом юности. В другом — он как бы со стороны наблюдал свою жизнь, такую простую, естественную и такую ненастоящую. На свадьбе он ненадолго утратил контроль над собой, позволил двум измерениям слиться

в одно, но эта цельность была самообманом, от которого надо было скорее избавиться, что он и сделал.

Требовалось приучить себя к мысли, что она вскоре уйдет. Как бы ни заигралась Таня в сложную и непонятную ему до конца игру (возможно, она и сама не все понимала, слишком много мотивов сплелось тут), нельзя же молодой женщине жить такой противостественной жизнью. Теперь он знал, что и с Анной у него тоже ничего не вышло бы ни здесь, ни по давню в городе. Слишком много жизни пролегло между Сердоликовой бухтой и Богоярмом, а тяжкое его увечье обременительно для постороннего сознания. Это не то, к чему можно привыкнуть, чего можно не замечать. Он и сам забывался лишь среди себе подобных, а с двуногими постоянно ощущал свою «заниженность», и ненависть ходила возле сердца. Лишь однажды он напрочь забыл, что он калека,— с Анной. Он ломался под калеку, юродствовал, но не был им, зная, что он сильнее. С Таней было другое. Он мог сколько угодно, бравируя внутренней свободой, независимостью, называть себя обрубком, недочеловеком, огрызком, это не приносило освобождения, те же слова, но уже без балды, а серьезно и угрюмо, звучали в нем самом. Их больной шум замолкал только ночью, вытесняясь ликующим ощущением власти над трепещущей женской плотью. Тут все было без обмана, без игры, без умственных и душевных вывертов. Бывает, очевидно, физиологическая избирательность: он был мужчиной этих двух женщин — матери и дочери. Быть может, бессознательная угадка, пронизательность пола и привели сюда Таню, он упрощает, но истина где-то рядом.

Павел почувствовал облегчение, когда в исходе сентября Таня сказала, что ей надо съездить в Ленинград. Стояло бабье лето с тихими, теплыми, безветренными днями, длинной паутиной, парящей в воздухе и пристающей к одежде, сучьям деревьев, сухому былью давно отцветших иван-чая и чертополоха.

В один из таких погожих дней погода вдруг резко испортилась, похолодало, задул сильный ветер, воздух наполнился тихим шорохом осыпающейся листвы. Прямо на глазах стали обнажаться березы и осины. Ветер нагнал облака, зарядил дождь, пали глухие сумерки, даже не верилось, что где-то за свинцовой, с

примесью сажи наволочью еще светит в небе солнце.

Они только пообедали; и Таня убирала со стола.

— Как мрачно! — она зябко поежилась.

— Это еще не мрачно, — сказал Павел. — Завтра развиднеется. Вот в ноябре станет мрачно. Потом выпадет снег, и опять посветлеет.

Она перестала вытирать стол, задумалась:

— Надо подготовиться к зимовке. Как у тебя с теплыми вещами?

— Нормально. Ватник, ушанка, варежки, теплое белье.

— А я явилась по-летнему, — сообщила она, будто он сам этого не знал. — Придется сгонять за зимними шмотками. И надо не тянуть, а то еще кончатся рейсы.

— Да, лучше не тянуть, — сказал Павел.

... Среди ночи Таня, спавшая всегда очень крепко, вдруг проснулась и села на кровати.

— Что там стучит?

Павел, который не мог заснуть, сделал вид, что она его разбудила:

— А-а?.. О чем ты?.. Это еловые шишки. Их отряхает ветер. Неужели ты их услышала?

— Да... Как это тревожно... и хорошо.

Он услышал сквозь законный стук другой — близкий и слабый стук ее сердца.

— Ты испугалась?

— Не знаю. Дай твою руку.

«Трудно тебе уехать, бедная?» — спросил он про себя.

— Ты не провожай меня завтра... Я одна быстрее.

— Сегодня, — поправил он. — Уже суббота.

— Боже мой, правда!..

— Как скоро ночь минула! — усмехнулся он.

... Оказывается, Ленинград значил для нее больше, чем то казалось на острове, возле Павла. Несколько озадачило поначалу, что город так неказист. В памяти он был из «Медного всадника»: строгий и стройный, весь в граните и узорах чугуновых оград. Как же поиздержался Петрополь! Нева словно высохла, вода опустилась, и по береговому граниту тянулись зеленые полосы речной плесени; листья необлетевших деревьев превратились в бурые жестяные скруты; сеялся мелкий холодный дождик, но не было пушкинского желания опробо-

вать его пальцами. Удивило обилие необитаемых домов с выбитыми стеклами, иные облизаны черным языком пожара, иные — в обставе лесов брошенного ремонта. На город махнули рукой, предоставляя ему вернуться в болотистую почву, из которой его некогда выдернул Петр.

И все же радовало, что она опять в Ленинграде, что «светла адмиралтейская игла» и что можно позвонить по телефону. Девственная жизнь на острове имеет много прелести, но телефон — отличная штука, и перспектива помыться в ванне вместо прелой баньки тоже манила. Ей вдруг стало весело, а этого не хватало на острове, где все было как-то чересчур серьезно. И еще — ей надоел неумолчный шум деревьев и ржавые крики чаек. Насколько приятнее редкие автомобильные гудки.

В квартире оказалась только Дуся, возвышенная из приходящих в постоянно живущие. Отец уехал отдыхать на Кавказ. Помявшись, Дуся сообщила, что он уехал не один. «Он женился?» — спросила Таня. «Я в его паспорт не заглядывала. Гражданочка эта, Нина Константиновна, у нас не прописана». Таню все это мало волновало. Хорошо, что отца нет. Павел никогда не спрашивал ее об отце. Как-то раз она сама заговорила о нем. «Мы знакомы», — отрубил Павел и пресек дальнейший разговор. Значит, они знали друг друга до войны, в пору любви Павла и Анны. Почему-то она сразу решила, что отец сделал подлость Павлу.

У Тани было много дел: пойти в парикмахерскую и к маникюрше, забрать дубленку из морозильника, что-то постирать, погладить, починить, достать батарейки для магнитофона, пленку для фотоаппарата и, как полагается каждой женщине, тысяча других мелочей. Наверное, все эти дела требовали не так уж много времени, но ей не хотелось торопиться. Приятно было зайти в «Север» и съесть бульон с курником, шоколадное мороженое, выпить чашку крепкого кофе; имелись и другие хорошие места на Невском, где было уютно посидеть, разглядывая прохожих, законное движение толпы, и ни о чем не думать. Наверное, она устала на Богояре, не физически, а душевно устала. Она не вспоминала об острове, если же в мозгу начинали покачиваться верхушки сосен, она старалась как можно скорее прогнать видение. Гнала она прочь и родной,

скорбный, утомляющий даже издали образ Павла. Но он напомнил о себе весьма решительным и не вовсе неожиданным способом. Таня была у врача, и тот сказал, что она будет матерью. «Ты родишь сына», — приказала себе Таня, и перед ней возник дочерна загорелый, хохочущий, великолепный пляжный Павел. Что надо будет у нее паренек.

Ей захотелось немедленно обеспечить своего сыночка приданым. Хотя ждать еще полгода, да ведь на Богояре ничего не купишь. «На Богояре? — удивилась она. — Почему на Богояре?..» За окнами Ленинград погрузился в фиолетовые сентябрьские сумерки. Зажглись фонари. Некоторое время их свет останется в колпаках, не смешиваясь с тем светом, который еще насылает небо. Потом он расплавится в темноте и станет ночным солнцем города. Она больше всего любила этот переходный час. В природе его нет, или он там совсем другой, она его не замечала. Ей нужна ленинградская фиолетовая стыковка двух светов.

Пока Таня занималась своими делами, у нее не было желания кого-либо видеть. Но, покончив с ними, она с удовольствием вспомнила, что есть в городе люди, которые хотели бы увидеть ее. Она вспомнила крылатку, трость, бархатный пиджак, обшитый тесьмой, пышный бант Оскара Уайльда и решила начать с него. Ей вежливо сказали, что он находится в «Астории», и дали телефон. Она позвонила и услышала протяжно-гнусявое, ленивое: «Да-а?» Она назвала себя. «Танька!.. Ах ты, пропащая душа!» — человеческим голосом сказал денди с 6-й линии. Он устал от семейного компота, и журналист-международник уступил ему свой номер, а сам уехал проветриться в Усть-Нарву. Оскар Уайльд спросил о ее делах, и Таня могла поклясться, что в голосе его опять прозвучала живая заинтересованность. Но, услышав, что все о'кей, он сразу успокоился. В этой компании было принято довольствоваться тем, что человек сам о себе сообщает, и не лезть в нутро. Чрезмерная деликатность отдавала холодком, но упрощала жизнь. Тане равно приятны были и проявленное к ней внимание, и вовремя поставленная точка. С этой минуты ею овладела какая-то волшебная легкость.

С головой, наполненной солнцем, она пошла на ужин в «Асторию». Оскар Уайльд пригласил кое-кого из

старой команды. Ковбоя, Парижского художника, Русского барина. Все искренне были рады видеть ее. Люди с хорошим глазом, натренированным на антиквариате, они мгновенно заметили происшедшую с Таней перемену. «Можно подумать, что ты стала женщиной!» — под общий хохот сказал Ковбой. «А ведь он угадал!» — и волшебная легкость оставила ее. Онахватила рюмку водки и снова воспарила.

За столиком начались какие-то оленьи игры: немолдые, опытные самцы что-то учуяли, и между ними возгорелось соперничество: рог ударился о рог. «Мальчики подерутся из-за меня!» — с восторгом подумала Таня.

В этой компании не дрались. Даже не ссорились, во всяком случае, из-за женщины. Здесь верили мудрости Омара Хайяма:

Нет в женщине и в жизни постоянства,  
Зато бывает очередь моя.

И сегодня эта очередь по неписаным законам принадлежала Оскару Уайльду — он держал стол, он пригласил Таню.

Когда официант Прокофьич со своим обычным: «Вас разоришь!» — сунул в карман чаевые, ни у кого не вызывало сомнений, что поле боя останется за Оскаром Уайльдом. Не вызывало это сомнений и у Тани. С той блаженной легкостью, которая недавно овладела ею, она поднялась к нему в номер.

Она знала этот уютный полулюкс, где не раз бывала у журналиста-международника. Летучий же роман с Оскаром Уайльдом осуществлялся в мастерской Парижского художника под его ужасными полотнами. Она прошла в туалет, бегло удивившись вернувшейся к ней автоматичности движений. Она раскрепостилась, избавилась от той непомерной ноши, которую несла последние месяцы. И ей не было дела, что ноша называется душа.

Когда она вышла, Оскар Уайльд успел снять штаны, свои неизменные брюки-дипломат, и, стоя к ней спиной, вынимал перед зеркалом запонки из рукавов рубашки. Она увидела его полноватые ноги, и они ее оскорбили. Эти бледные, в черном волосе ноги с женственными бедрами будут сплетаться с ее ногами, отвыкшими от таких прикосновений, и на завязь ее сыночка прольется



чужое мерзкое семя. Она схватилась рукой за горло, стараясь удержать приступ рвоты.

— Извини... ничего не будет... я пошла.

— Что случилось? — он растерянно повернулся к ней. — Тебе плохо?

— Нет, — сказала она и добавила нечто загадочное, о чем он вспомнит через годы: — У тебя слишком много ног. Как у краба. Я не могу.

Быстро прошла к выходу и захлопнула за собой дверь.

«Что со мной было? — спрашивала она себя под гулкой постук каблуков по ночной пустынности улицы. — Я догадываюсь — из меня полез папа...»

На другой день она разыскала Бемби, вернувшуюся из долгих темных странствий под суровой, но надежный теткин кров, и попросила помочь ей с отъездом. Бемби, сразу заподозрившая романтическую подоплеку Таниного путешествия, никак не могла взять в толк, зачем той понадобился Богояр, где нет никого, кроме монахов и пристанских служащих. «Может, ты в матушки метишь?» — «Дура, черному духовенству запрещено жениться. Я там недолго пробуду. Мой друг заберет меня оттуда на катере». При всей своей глупости Бемби не поверила. «У твоего друга — катер? Он что — вице-адмирал?» Тане лень было придумывать; в таких случаях чем нелепее, тем лучше: «Он главный гинеколог Военно-Морского Флота». — «Ну тебя к черту!» — обиделась Бемби.

Несмотря на обиду, она верно послужила Тане и получила в подарок двадцатидолларовую купюру, оставшуюся у Тани от поездки в Финляндию. Бемби чуть не прослезилась: «Белолицая за такую бумажку всю ночь под японцем кочевряжилась. Сейчас ни встать, ни сесть не может».

Таня просила передать привет старым друзьям. У них без особых перемен: Жупан еще служит, Ирэн на химии, Белолицая ловит иностранцев, ее уже два раза били профессионалки за снижение цен, Арташез пропал, Валера тянет срок. Со шмотками все труднее, «мусора» совсем озверели.

Стоя на пристани, Бемби долго смотрела вслед пароходу, и Таня смотрела на ее все уменьшающуюся фигурку. Было ее жалко — добрая непутевая девка.

... Павел не ждал Таню. Он много передумал и

решил, что инстинкт молодого здорового существа обязан увести ее прочь от Богояра. Этот остров — проклятое Богом место. Здесь разрушили старый, чтимый в православии монастырь, а братию извели по тюрьмам и ссылкам, здесь учредили заказник для уродов и довели до бунта безногих и безруких; прекрасная, лучшая в мире женщина приехала сюда и нашла смерть. И он — носитель богоярского зла, на нем вина за Анну и за погибших в бунте. Страшен человек! Кто он? Огрызок, полчеловека, а сколько бед причинил! И эту девочку заморочил. Слава Богу, у нее хватило разума бежать. Что ее ждало с мужем-калекой, в близости темной и противоестественной монастырской жизни? Кто они, эти люди, напялившие рясы и укрывшиеся за высокими стенами? Найдется ли среди них десяток истинно верующих? Что бы тут с ней стало? Она бы либо спилась, либо сошла с ума, либо утопилась. Тут место лишь тем, кто не годится для нормальной жизни.

Павел устал. Он всегда серьезно относился к жизни, считал, что человек обязан действовать, а не просто перетекать изо дня в день. Даже в пору своего падения он не раскис, а сжал в руке нож. Он был негласным старостой инвалидного дома, атаманом бунта. Он вразрыв жил, отслуживал монахам свое спасение. Но история с Таней опустошила его. Если она и впрямь хотела отомстить за мать, то цель достигнута. Но она этого не хотела. Счет был не с ним, а с матерью, счет любви-обиды — взаимной непонятности, и был еще безошибочный женский инстинкт. И если без вечного богоярского угрюмого нытья, то ему сказочно, неправдоподобно повезло. Можно подумать, что пожилая, грустная Анна приехала сюда на разведку, а затем прислала себя молодую. Как чудно соединились корни и комель его судьбы!

Но трудно жить одной благодарностью и уже нельзя жить той смутной, крошечной надеждой, которая в нем теплилась до приезда Тани, уже все сбылось. Есть один простой, хороший выход: перестать хотеть жить — слабое пламя быстро иссяхнет. Он начал с того, что не пошел на пристань.

Он лежал на койке, когда появилась Таня с тяжеленным чемоданом и устроила оглушительный скандал. Это напомнило приступ бешенства Анны в первые минуты их встречи, та даже плюнула ему в лицо, и он в странной нежности не стирал плевков со щеки.

— Старый негодяй! Ты не ждал меня. Не ждал мать своего ребенка...

— У тебя будет ребенок? — спросил он обалдело.

— И у тебя тоже. Я не размножусь почкованием. Если не случится выкидыша от этого чертова чемодана, то через полгода ты услышишь крик своего сына.

Даже затопившее его чувство счастья не помешало Павлу уловить деланность ее тона. Если б не срок, ею названный, он решил бы, что станет отцом чужого ребенка. Соприкосновение с прежней жизнью было для нее вовсе не таким простым и безмятежным, как рисовалось отсюда. Конечно, он и слова не сказал бы и растил этого ребенка как своего собственного. Добавь: и воспитал бы как своего собственного. Счастливый малютка, его ждет Итон, затем Кембридж, нет, лучше Оксфорд, он опять выиграл традиционную регату...

Нельзя обмануть зверье чутье калеки. И Таня почувствовала, что он о чем-то догадался. Ее уверенный, залихватский тон не сработал. Но если по-житейски — она ни в чем не провинилась. Будь он другим человеком, она рассказала бы о своем несостоявшемся падении и они вместе посмеялись бы над фиаско Оскара Уайльда. Но Павел не из сегодняшних дней, и придется оставить его с этой маленькой ложью, которая не слишком удалась.

...Таня родила в положенный срок. В поселке была старушка, умевшая принимать роды. За ней опоздали послать. Павел сам принял младенца, появившегося на свет так легко и безболезненно, что Таня не успела раскричаться. Павел был в состоянии, близком к безумию, но сделал все безукоризненно, с одной лишь странностью: перегрыз пуповину зубами. После он объяснил это тем, что боялся занести инфекцию.

Как и ожидалось, это был мальчик, крупный, увесистый и тихий. Свой первый деликатный писк он издал, лишь получив крепкий шлепок по попке. Павел смотрел на его ножки с аккуратными тесными пальцами, крошечными ноготками, и сердце его сочилось. «А чего, собственно, я ждал?» — спросил он себя, очнувшись.

Утром привезли старушку, и Павел, который не мог

смотреть, как чужие руки касаются его сына, выкатился из дома.

Не зная, чем себя занять, он нарвал красных кленовых листьев и отнес их на могилу Кошелева. Потом спустился к озеру и постоял над темной водой. Сильное и путаное чувство распирало Павла, в этом чувстве было ликование, боль, благодарность, страх, восторг, удивление и смертная жалость к чему-то, к кому-то... Ему нужно было освободить душу, выговориться, но ни с могилой друга, ни с озером разговора не получилось, и Павел потащился в пустую церковь.

Глядя в суровое лицо Спаса, едва различимое в косом свете, падающем из высокого оконца, он говорил:

— Ты есть. Теперь я знаю, что ты есть. Я жалею, что не люблю тебя. Я нагляделся в жизни такого, что не могу тебя понять и... простить. Я никогда не прощу тебе мучеников Божояра, сошедших с ума, обгоревших, объединенных крысами, ставших гробами своих дарований, ума, удали. Только за мою судьбу нет с тебя вопроса. Плохая вера без любви, я знаю. Я не молюсь тебе, я тебе плачу. — И он правда заплакал и продолжал сквозь слезы: — Ты сказал своей матери: не рыдай мене, мати. Но мать рыдала, и я рыдаю тебе. Рыдаю за себя, за Анну, за Таню, за сына, за страшную и прекрасную жизнь, которую ты мне послал...

Перед крещением мальчика настоятель вызвал к себе Павла и сказал, чтобы тот воспользовался коляской.

— Ты верен данному тебе образу. Ценю и уважаю. Но ты подумай. Я выну твоего сына из купели и протяну его тебе. Не вверх, не к небу, а вниз, к земле. Хорошо ли это, Павел?

— Понял, — сказал тот.

Таня была ошеломлена, застав Павла перед зеркалом. В пиджаке и белой рубашке, он силился завязать галстук. У него не получалось. Таня помогла ему, опустила воротничок рубашки. Он причесался и сильным рывком послал свое тело со скамейки на сиденье коляски. Выпрямился, расправил плечи.

— Джеймс Бонд! — ахнула Таня. — Господи, до чего ж ты красивый! Хоть бы с нашим парнем поделился...

Мальчика нарекли Андреем. Когда обряд кончился, настоятель сказал Тане:

— Ты угодна Господу, ибо живешь не по долгу, а по любви.

— Я думала, для церкви долг важнее.

— Апостол Иоанн уже совсем дряхлый твердил единоверцам: дети, любите друг друга. Они спросили: зачем ты постоянно говоришь нам это, разве нет у тебя других наставлений? Нет, это заповедь Господа, и если соблюдете ее, то и довольно...

... Прошло восемь лет. По ухабистой проселочной дороге катится инвалидная коляска, которую приводит в движение сильными загорелыми руками широкогрудый калека в белой рубашке с распахнутым воротом. Павел не поддался старости, разве что совсем поседел, и глаза у него стали ясно, до дна синеглубыми.

А вот Таня сильно изменилась: заматерела, погубела, хотя и осталась красивой. Физическая работа развила и укрепила ее костяк, ветер и солнце задубили кожу. От стройной ленинградской девочки не осталось следа. Она прочно и тяжело шагает рядом с коляской. С ними их сын Андрюша, высокий, гибкий мальчик, и щенок с пышным именем Корсар.

Еще год назад Андрюше надо было идти в школу, но решили учить его дома. Павел взял на себя математику, черчение и то, что в школе называется «труд». Таня — русский и английский языки. Настоятель учит его закону Божьему и истории. Другой монах занимается с ним рисованием и лепкой. «Образование почище итонского!» — шутит Павел. Настоятелю хочется, чтобы Андрюша стал священником в далеком и трудном приходе. Таня видит его ремесленником: резчиком по дереву, камнетесом, гранильщиком, ничто не вызывает у нее такого восхищения, как ручная умелость. Мальчик постоянно возится с корнями и сучьями, выискивая в них человечье и зверье подобие. Он изящно и тонко выявляет это сходство, едва прикасаясь к материалу, дом заставлен фигурками разных милых уродцев. Конечно, детское увлечение может пройти, но Таня верит в руки сына. А Павлу хочется, чтобы он стал футболистом. Это так упоительно лупить по мячу ногами! В доме есть телевизор, и отец с сыном не пропускают ни одного матча. Но чтобы стать настоящим игроком, надо поступить в футбольную школу, а Таня ни за что не расстанется с сыном.

Щенок — типичный перекресток дорог, но, несом-

ненно, в его предках были терьер и боксер. Его мохнатая мордочка обещает стать кирпичиком, а муругого цвета шерсть, короткая и гладкая, чуть лоснится. В честь знатных предков хвостик у него обрублен. В далекие дни у Павла была огромная черная собака-полуволок по кличке Корсар (щенок назван в его честь), она чуть не разорвала Анну, когда та накинулась на Павла с кулаками. Корсар II едва ли будет отличаться таким свирепым нравом; неуклюжий, толстый недотепа, он валко, боком трусит по дороге.

Павел наставительным тоном, слегка раздражающим Таню, учит сына, как обращаться с собакой. Андрюша все время приставал к щенку, тот долго терпел, а потом озлился и тяпнул хозяина. За что получил трепку. Нельзя унижать достоинство собаки, она этого не простит. Шлепками от нее можно добиться покорности, но не любви и преданности. «А кто укусил Кузю за ухо?» — спрашивает Таня. Павел не сразу вспоминает: «Он тяпнул меня первый, я — его, мы были квиты. Укус Кузю не унижил, испугал, а битье унижает. Собака не может ответить тем же. Породистые собаки особенно щепетильны». — «Ну, к нашему это отношения не имеет». — «Он вовсе не беспородный. В нем даже слишком много пород. Давай считать, что он не потомок, а предок будущей знати. Как наполеоновские маршалы».

На Андрюшу это производит сильное впечатление.

— Наверное, надо говорить ему «вы»? — спрашивает он серьезно.

— Зачем? Вы же оба мальчики. Разве ты говоришь другому мальчику «вы»?

— Но ведь он скоро станет взрослым, а я останусь мальчиком.

— Тогда и разберетесь.

Семья приближается к пристани. Они ходят сюда каждую неделю, к субботнему туристскому пароходу из Ленинграда. Считается, что они делают это ради Андрюши, нельзя, чтобы мальчик видел лишь лица родителей да монахов. С туристами бывают дети. Общительный Андрюша легко заводит знакомства. Особенно с тех пор, как появился такой притягательный магнит, как Корсар, предок будущей знати.

Таня никогда не приходит сюда с пустыми руками, она всегда что-нибудь продает: грибы, ягоды, орехи, травы. Андрюшины корни. Особой корысти в этом нет,

хотя лишние деньги не помешают, да и лучше быть при деле, чем по-дикарски глазеть на приезжих. Иногда с ней заговаривают, а Таня словоохотлива. Впрочем, держит дистанцию, от слишком любопытных расспросов уклоняется, но перекинуться словом с громкими, веселыми жителями Большой земли любит.

Павел сидит в своей коляске чуть в стороне. В разговорах не участвует. Когда к нему обращаются, делает вид, что не слышит. Его спокойный, терпеливый взгляд прикован к сходям. Он ждет Анну.

**МОСКОВСКОЕ  
ЗАЗЕРКАЛЬЕ**







# ДВЕ ВСТРЕЧИ

## 1

Когда это было? Во второй половине семидесятых, точнее назвать трудно да и не нужно. Сейчас это время называюг застоем, таким оно, конечно, и было — из дали лет. Но ощущал ли я и близкие мне люди — за других я не могу ручаться — это время как застой? По-моему, нет. То была наша единственная жизнь, а в ней все, ради чего рождается на свет человек: любовь, дружба, путешествия, охота, семейные драмы — без них было бы пресно, творчество, да, да, и оно было — это сейчас кажется, что там зияла пустота, а еще творил Тышлер и строил на бумаге свои фантастические города Эрнст Неизвестный, были поэзия и музыка. И были диссиденты для успокоения нашей совести. Быть может, утомленный перестройкой, я хочу сказать, что то было прекрасное время? Упаси Господь! Время было ужасное, и мы это тоже знали, но и сейчас ужасное время, хотя по-другому — насквозь заполитизированное, совсем нетворческое: нашу духовную пищу мы получаем из прошлого или из-за «бугра», отечественные соловьи молчат, порой издают странные для соловьев скрежещущие звуки злободневного наполнения, которые называются публицистикой, безобразные расхристаные телеклипы — наши Моцарт и Бетховен, а главное, нет душевной жизни, никто никого не любит. Значит, нет и глубины бытия, оно крикливо, бесстыдно и плоско, как бездарный плакат. Это двухмерное бытие,

без психологии и без тайны, без тишины и задумчивости, без нежной памяти и слез, но с испугом и с тем, что называют чемоданным настроением. Одни бегут, другие думают о бегстве, третьи никуда не собираются, но чемоданы почему-то уложены. А еще немало таких, кто хочет крови. Быт исчез. Люди не ходят в гости: застолья не соберешь, такси нет, и опасно поздно возвращаться. Все — и стар и млад — сидят у телевизоров, тупо уткнувшись в безобразные съездовские шоу. Ни одного самоубийства из-за любви, ни одной дуэли, не звучит серенада в уголовной ночи разрушающихся городов.

Неужели тогда было, как у Пушкина: «Много крови, много песен для прелестных льется дам»? Немного, конечно, но лилось. Сейчас льется неизмеримо больше, но дамы тут ни при чем. И все же я не хочу туда, назад. Нет, лучше наше безлюбье и пустые полки. Кстати, со жратвой в застое уже было плоховато. Нефтяной бум мог сделать нас самой богатой страной в мире, но все миллиарды ушли в эпохальные долгострой и в экологические преступления, которые назывались в песнях преобразованием земли.

Во всяком случае, Анна Ивановна Наседкина (имя вымышленное, хотя человек действительный), секретарь Усвятского райкома партии (название тоже вымышленное, хотя район лежит посреди России, ближе к северу), была сильно озабочена, как, а главное, чем принять группу из Академии педагогических наук, которая следовала автобусом через ее палестины. Это непривычное слово применил третий секретарь обкома, давая ей по телефону партийное поручение: принять, накормить и обласкать выдающихся московских ученых с женами. Они объездили всю область, знакомясь с достопримечательностями древней русской земли: промыслами, ремеслами — тут при всеобщем разоре сохранились кружевницы, резчики по дереву, керамисты, плотники-виртуозы, реставраторы икон, — с монастырями, украшенными дивной росписью, с деревянным и гражданским зодчеством. Они возвращались домой по ее владениям, чтобы еще раз глянуть на Калистратов монастырь, расписанный несравненным Феодосием с сыновьями.

Довольно большой район, доверенный попечению Анны Ивановны, доставлял ей, помимо обычных секретарских хлопот с разваливающимися колхозами, убы-

точными совхозами, убогой местной промышленностью, с пивным заводиком, на который алчно смотрела вся область, — еще бы, свое пиво! — с жилищным кризисом, нехваткой учителей в школах, врачей и медсестер в больницах, транспортными и энергетическими кошмарами еще одну мучительную, пусть и лестную, доuku — всемирно знаменитый Калистратов монастырь. Хотя это был музей всесоюзного значения и ведало им Министерство культуры, практически он существовал попечением и муками Анны Ивановны. К примеру, после долгих слезных просьб, бесконечных проволочек министерство присылало хранителя коллекций, научного сотрудника или экскурсовода, но, кроме весьма скромной зарплаты, ничем его не обеспечивало. Специалист оказывался в положении Робинзона: у него не было ни жилья, ни средств и материалов, чтобы это жилье построить, равно и никакого обзаведения. Монастырские кельи были давно заселены, а дом для сотрудников, запланированный еще в пятидесятые годы, строить не собирались — смешно державе тратиться на подобную мелочевку. Были дела поважнее и помасштабней: прикончить тайгу, погубить Байкал и великие сибирские реки, убрать с карты России Аральское море, остановить течение Волги, ликвидировать чернозем. Если специалист приезжал с семьей, положение его оказывалось вовсе отчаянным. Но, как правило, специалисты были людьми одинокими, они знали, что их профессия — искусствовед — никому не нужна, почти не оплачивается, а следовательно, не позволяет завести семью. Похоже, тут нарушался главный экономический закон, установленный еще Адамом Смитом, но это никого не волновало. Конечно, нищенствующий музей не мог помочь даже одинокому специалисту, не говоря уже о семейных, и тогда за дело бралась Анна Ивановна. Всеми правдами и неправдами она раздобывала лес или кирпичи, железо или тес, уговаривалась с мастерами, кого улещивала, кого подкупала, кого брала на силовое давление: дом складывали, подводили под крышу, как-то обставляли, и возникал очаг — ячейка жизни. Специалист начинал сеять разумное, доброе, вечное, а потом, глядишь, бросал свое бездоходное занятие и пристраивался к чему-то более выгодному. Жилье он, конечно, не освобождал, и мученические труды Анны Ивановны шли прахом. Вместо духовного наставника район получал еще одного паразита. Музей запрашивал

нового специалиста, томительная канитель начиналась сначала. А ведь музей нуждался не только в рабочих. Его надо было отапливать, подсушивать — почвенные воды точили старый разрыхлившийся камень, — ремонтировать: трескалась, покрывалась плесенью настенная живопись, чернел металл паникадил, обваливались ступени лестниц. Министерство, похоже, считало монастырь действующим и молчаливо возлагало все заботы о его поддержании на трудолюбивых иноков. Но святых отцов не было в помине, была Анна Ивановна, и лишь ее неустанностью как-то спасалась старинная обитель. Не поймешь, как и на какие шиши, но дело делалось. Залатывали дыры, снимали плесень, укрепляли краску, заставляли работать вентиляцию и обогрев, дабы сияла бессмертная (в духовном, но не в физическом смысле) живопись Феодосия и угрюмился на потолке грозный смуглый Спас, далекий от прощения. И текли непрерывным потоком людские толпы, восторгаясь, замирая, плача, крестясь, сморкаясь, зажимая рукой трепещущее птенцом сердце в груди, становясь светлее и чище; среди добрых, верующих в Бога или в Искусство, шли и пустоглазые, ни горячие, ни холодные, перед которыми отступал и душесокрушитель Феодосий, да ведь человечья протерь всюду проникает и не о ней речь.

Никто из паломников не думал, что своим умилением, восхищением и очищением он обязан маленькой сутуловатой женщине средних лет, настолько замороженной, загнанной, не имеющей времени для себя, что забыла она о своей женской сути, о том, что у нее красивые глаза и волосы (плохо, кое-как уложенные) и при легкой сутулости крепенькая, стройная фигура, о чем, правда, нелегко было догадаться из-за нелепой, случайной одежды.

Не думали об Анне Ивановне и те местные, равно приезжие люди, которым доводилось освежаться местным кислотатым, но все равно благословенным в жару пивком. Заводик, заложенный еще в петровские дни, не развалился и давал продукт только благодаря фанатичной — на житейский взгляд, а для нее естественной, как дыхание, — вьедливой ответственности этой женщины. На заводике то не хватало овса (пиво тут варили овсяное, а не ячменное), то впадал в длительный запой главный мастер-пивовар, то не присылали стеклотары, и пиво приходилось пускать распивочно в ларек, а

поскольку кружки давно побили или порастаскали, то пили из полиэтиленовых мешочков, как испанцы — вино из бурдюков, а случалось — стыдно сказать — даже из глубоких калош. Но такие перебои не бывали часты и длительны — Анна Ивановна включала третью скорость и находила выход, опять пенилось в чистых чанах золотое пиво, наполнялись бутылки, и район заливал холодной горьковатой благодатью горячий жар готовых котлет. Их бесперебойное производство на местной фабрике-кухне для уличной продажи тоже наладила Анна Ивановна.

Не стоит утомлять читателя другими примерами хлопотливой деятельности Анны Ивановны. Названные трудоемкие объекты были довесками к обычному набору секретарских забот, охватывающих все без исключения стороны районной жизни: от сельхозработ и производства до школ и прсфтехучилищ, от спортивных площадок и больниц до аптек и вытрезвителей. Казалось, яблоко с дерева не упадет без ведома и участия Анны Ивановны.

Как и в других районах области, в избытке тут имелись только водка, плодоягодное вино, грибы и голубика в лесу, сосновые шишки для самовара, в иные годы — клюква. Все остальное принадлежало державе чудес, но Анна Ивановна управляла этими чудесами, обеспечивая их относительную регулярность. И район жил: работал, ел, во что-то одевался, любил, целовался, смотрел телевизор, слушал музыку по радио и через транзисторы, ловил рыбу и раков, охотился, ходил в кино, а когда болел, то лечился (Анна Ивановна верила в народную медицину и не обижала травниц, наговорных женщин, знахарок и колдунов).

Анна Ивановна работала на полный износ, но разве можно сделать так, чтобы все были довольны? И Анну Ивановну ругали — случалось, в лицо, но больше за глаза, донимали доносами. Она не обращала на это внимания и не меняла благожелательного отношения к людям, пиущим кляузы, жалея их ущербные души. Равно Анна Ивановна не задерживалась мыслью на том, почему она должна все делать сама, почему без нее люди шагу не могут ступить, не способны ни сеять, ни жать, ни варить пиво, ни тачать сапоги, ни учить детей, ни посещать музеи, ни получать почту, ни покупать товары, какие хочется (этого они не могли и с ее помощью), ни ездить в автобусе, ни подтереть задницу

мягкой бумажкой. Вся ее деятельность была для нее столь же естественна, как для домашней хозяйки работа по дому и у плиты. Разве задумывается русская женщина, почему она должна успевать так много: поить, кормить, одевать, обстирывать семью, шить, мыть, штопать, чинить, чистить-брыстить, стоять в очередях, выхаживать больных детей, возиться с пьяным мужем, самой вкалывать на производстве, в поле или конторе? Так надо. Иначе рухнет домашняя жизнь. Анна Ивановна воспринимала весь район как свой дом, на который у нее уже не оставалось времени. Выручала ее старуха мать, да и муж был хозяйственный и непьющий. Он заведовал столярной мастерской, работал от и до и, являясь мужем секретаря райкома, не мог ни воровать, ни химичить с пиломатериалами. Поэтому он приносил в семью немного, зато считал своим долгом подсоблять по дому и с детьми. К деятельности жены он относился двойственно: уважительно, но с оттенком иронии. Уважение отдавалось жене, ирония — системе, в которой она надрывала свои бедные женские силы. Муж задумывался над тем, о чем никогда не думала жена в силу своей полной замороченности: почему она должна заниматься пахотой, севом, сеноуборочной, жатвой, пивоварением, строительством домов и ферм, школьным преподаванием и музейной работой, не имея ни о чем понятия. Почему не оставить это тем людям, которые знают дело профессионально, почему крестьяне не могут сами крестьянствовать, артельщики делать замки, учителя учить, портные шить, строители строить? Почему всюду должна мелькать ссутулившаяся от забот, а некогда прямая, как былинка, фигура его жены? Долгое время он считал, что она только мешает, и стыдился за нее. Потом понял, что без нее все остановится и наступит паралич, конец света в одном отдельно взятом районе, и зауважал ее. Но одновременно он понял, до самого дна души понял несостоятельность системы, которая и дня не просуществует без толкачей вроде его жены. И никому — даже Анне Ивановне — не признаваясь, поставил крест на этом мироустройстве. Не должна сложная, противоречивая, ориентированная на собственные силы жизнь идти на бесконечной подкачке, словно старая, износившаяся шина, когда-нибудь она лопнет, разлетится на куски. Конечно, такой громозд изнашивается медленно, пройдут не то что годы, а десятилетия, но конец будет один. Хорошо бы

неизбежный финал наступил не раньше, чем Анна Ивановна выйдет на пенсию или ее спишут. Он боялся, что удар настигнет ее на всем разгоне, тогда не выдержит усталое сердце. Пусть она раньше сойдет на обочину — прозрение окажется не столь сокрушительным. Понял он также, что пока она на своем месте, уют и тепло не вернутся в дом, как бы этого ни хотелось им обоим. Что не будет и прежней ночной близости с безмерно утомленной женщиной, проваливающейся в сон, как в смерть, хотя они любят друг друга. Осталась лишь видимость семьи. Их хорошая девочка Варя растет не дочкой при родителях, а внучкой при доброй недалекой бабушке, парень и вовсе отбился от дома — матери он не видит, тусклый отец ему не указ, хорошо хоть босяком не стал — милый далекий чужак. Жизнь отняла у семьи жену и мать, и ничего тут не поделать. Он умел подчиняться обстоятельствам, начисто не умея их ломать, и завел себе женщину на стороне, надежно оградив свой роман от сплетен. Анна Ивановна не знала о существовании его пассии, а если б и услышала, все равно бы не поверила. Она любила мужа, привыкла к нему, чувствовала его преданность и надежность и была совершенно спокойна за свои тылы — вполне справедливо. Муж мог за нее помереть, он только жить на холоду не умел.

Но не надо думать, что Анна Ивановна была белкой в колесе — маленьким, не сознающим мира вокруг безмозглым существом, включенным в систему вечного движения, при котором не постигается и сантиметра пространства. Она искренне считала, что вся ее утомляющая тело, мозг и душу деятельность нужна не только сегодняшнему дню, но и далекому манящему будущему. Она была незаменимым человеком для диктатуры: все принимала на веру, особенно — идеи, мгновенно очаровываясь любым зигзагом верховной мысли, ничего не подвергая проверке, оценке, и ломала во всю мочь туда, куда ее поставили передом. При этом оставалась нравственным человеком: любила, жалела людей и, не жалея себя, трудилась им на пользу и радость. Последним Анна Ивановна резко отличалась от стоящих, вернее сидящих, над ней, отчасти у нее на голове, ибо верхние люди обслуживали только самих себя. В системе их ценностей значились лишь предметы очевидного наслаждения: хорошая жилплощадь, дачи, пайки, сауна, машина, летний отдых на море или в



горах, заграничная техника, обеспечение своих детей всем, что имеют родители, в самом начале жизненного пути. Был у них и момент духовный: ощущение власти, что едва ли не нужней для сладости бытия, чем зарубежные новинки, впрочем, и проигрыватель «Грюндиг», и магнитофон «Филипс» напоминают очевидностью своего блеска и совершенства, кто ты есть и чего достиг.

В полубреду бессчетных дел, в замороченности спешкой, противоречивых и неиссякаемых требований Анна Ивановна была не то чтобы счастлива или довольна, но покойна, тем самым важным внутренним, глубоко запрятанным покоем, когда человек находится в ладу с самим собой, даже если не все получается, когда он делает то, что должен делать, и не сомневается в прямизне своего пути. Правда, до дна сознания она доводила это редко, а так все больше тревожилась, задыхалась, сбивалась с ног и, как ей самой казалось, ничего не успевала. Иногда мир в ее глазах становился размытым, текучим, как в подводном царстве, она протирала глаза, не догадываясь, что влага на пальцах — слезы. И опять кидалась в бой — стойкий оловянный солдатик эпохи бесконечного обмана и надругательства над человеком.

Но все это из области высоких материй, хотя что тут высокого: в сущности, речь идет об искалеченной повседневности. А сейчас перед Анной Ивановной встала новая конкретная задача: принять и накормить группу московских путешественников. С питьем затруднений не оказалось: она купила на свои деньги несколько бутылок водки и два ящика пива, благо заводикшек работал. Больше заботили ее продукты, которые помещаются не в бутылках. Хлеб, масло, консервы «Частик», конфеты-подушечки, сахар и чай она приобрела в сельпо, кое-что оказалось дома: десяток яиц, картошка, зеленый лук, огурчики.

Неожиданная забота настигла Анну Ивановну в разгаре подготовки к уборочной. Готово, разумеется, почти ничего не было. Комбайны обещали стать на ход, но комбайнам на мелких лесных косых землях района не разгуляться, лишь в одном совхозе поля лежали цельно, гладко и удобно для большой машины, остальной хлеб придется брать жатками, а на особо неприступных местах — вручную. Серпом, украшающим наш герб, уже никто не владел, значит, косой. Потерь, ко-

нечно, при косьбе больше — выбивается зерно из колоса, но, как говорится, не до жиру, быть бы живу. Жатки кое-как подготовили, куда хуже обстояло с тракторами — вечная нехватка запчастей, и вовсе гибло с автотранспортом: резина — слезы. А машина не человек, босиком не пойдет. Положение казалось безвыходным, но ведь таким же безвыходным оно было и в прошлом, и во все предшествующие годы, да ведь как-то убирали хлеб. В районе же Анны Ивановны вовсе обходились без приписок: убирали все подчистую, и клинышка не оставляли жестианеть и бронзоветь на осенних утренниках. Хлеб губили уже в других местах: при перевозке к элеваторам, в самих элеваторах, где он если не сгорал вместе с самим хранилищем, то прел, гнил, прорастал, но туда власть Анны Ивановны не простиралась.

Ужасны и ошеломляющи новые неизвестные болезни, вдруг обрушивающиеся на вчера еще здоровый организм, а с врожденными или застарелыми недугами человек сживается. Горбун не помнит о горбе, слепой от рождения не страдает в своей тьме, и даже те, кого регулярно постигает радикулит, «укус ведьмы», приступы печени, равно хроники-язвенники, не паникуя, перетерпывают боль, а порой настолько сживаются с ней, что пребывают в полном комфорте.

Так и Анна Ивановна: она надрывалась, осаживала голос по телефону, куда-то мчалась на своем «козле» по страшным местным дорогам, кого-то уговаривала, кому-то грозила, у кого-то валялась в ногах, отважно шла к злым, крикливым, ругательным и все равно чудесным бабам, почти всёгда находя у них поддержку, а душу не теряла. Хуже обстояло с внеочередным поручением. На ленивых райкомовцев рассчитывать нечего: пообещают, надуют и отбредутся. Да и на своих положиться нельзя: попросила Варю собрать грибов, та принесла ведро червивого мусора.

Даже понять трудно, где она такую дрянь отыскала. Места тут на редкость грибные. Белых не так чтобы очень, но подберезовых и подосиновых — завались. Выйди, оглянись, и ведро само заполнится крепенькими чистыми грибочками. «Что же ты?» — только и вздохнула Анна Ивановна. «Мне уроки готовить надо», — в нос, что было признаком крайнего нерасположения, отозвалось дитя. Вот так во всем, положиться не на кого.

Пришлось братья самой. В обеденный перерыв она подкатилась к бабке Суслихе — первой грибнице, ягоднице и травнице в районе. За моток шерсти бабка согласилась съездить с Анной Ивановной в лес, в свой секретный грибной рай, заручившись партийным словом секретаря, что та не только никому не скажет, но и сама сроду туда не пойдет. Думала Анна Ивановна, что далеко ехать придется, в Кощеево царство, в бабы-яги государство, а заповедное место оказалось чуть не в самом райцентре, в заросшем мусорным леском, сильно выгоревшем после пожара овраге. Поблизости находилась свалка в ярко сверкающем на солнце обводе из консервных банок и битой стеклотары. И здесь, в гиблом, безобразном месте, где не виднелось ни одной осинки и лишь редко-редко среди немощных елочек и обгорелых сосен белела одинокая березка, две охотницы мигом набрали четыре ведра отборных подберезовиков и подосиновиков. А потом Суслиха отвела Анну Ивановну в ложок, где по скосам они взяли с десяток крупных темно-коричневых боровиков. «На похлебочку больно хороши!» — заметила Суслиха.

Уже по пути назад Анна Ивановна принялась чистить грибы. С такими крепышами хлопот нету, да уж больно их много, глядишь, не управишься. Теперь жарехи на всех хватит, а есть ли что вкуснее свежих, жаренных на костре грибов с картошечкой и лучком!

Закуска кое-какая собралась, теперь следовало позаботиться о сюрпризе к столу. Можно предложить гостям такое угощение, что разглядятся морщины на самых суровых официальных лицах, — вареных раков! Если, конечно, удастся их наловить. Раки, хотя и мелкие, водились в речке в изобилии, а часто ли по нынешним временам ты встретишь за столом классическое сочетание: пиво — раки! Анна Ивановна радовалась, что доставит удовольствие людям. Она их уже любила за те хлопоты, которыми они, сами того не желая, ее нагрузили. А еще ей хотелось поджарить рыбы. В реке водилась плотва, густера, окуни, язи, щуки, но взять рыбу можно было либо сеточкой, либо бреднем, на удочку разве что пескарником за день разживешься. Тут требовалась мужская рука. Она поделилась своими планами с мужем. «Стоит ли так выкладываться? — спросил он с жалостью, глядя на ее измученное, опавшее лицо. — Мало тебе своей мороки? Ты ведь не знаешь этих людей. Может, это дрянь, мелочь пуза-

тая?» — «Типун тебе на язык! Стали б из обкома звонить? Самые ценные люди. Академики. Педагоги!» Он слегка дрогнул: «Ты в этом так уверена?»

Наверное, стоило помочь, но его раздражало, что надо корячиться ради чужих и случайных людей, которых они никогда больше не увидят. Да и лень, признаться. К тому же ее уход на всю ночь, раньше не управится, открывал возможность навестить приятельницу без обычной вороватой спешки, и он сказал фальшивым голосом: «Я бы подсобил тебе, да из принципа не хочу. Нельзя, чтоб на тебе так ездили». — «А я и не рассчитывала,— сказала Анна Ивановна, чтобы облегчить ему отказ.— Я Трофимыча попрошу». — «Только бутылку дашь ему погодя,— посоветовал муж.— А лучше сама с ним пойди. Он мужик хороший и реку знает, но без царя в голове. За все берется и ничего до конца не доводит. Что это я так разболтался? — одернул он себя.— Анька доверчивая, но не дура. Почует, что дело нечисто». И добавил ворчливо: «Да плюнь, не мучай себя».

Анна Ивановна уже не слушала. Не захотел помочь, и Бог с ним. К тому же позвонили из города и сказали, что путевка в Цхалтубо обеспечена. Стало быть, пьяница кузнец Сухов с авторемонтной будет вкалывать субботу и воскресенье. Такой у них был уговор. Считай, еще два грузовика выручены для уборочной. Настроение резко поднялось. Она переделась в старенькое, сунула в карман бутылку и отправилась на «козле» сперва к Сухову, потом за Трофимычем.

С Суховым управилась быстро. Он называл свою болезнь люмбаго, гордился ею и утверждал, что единственное средство против нее кроме водки это целебные грязи курорта Цхалтубо. Узнав, что путевка в кармане, сказал коротко: «Буду как штык!»

А вот Трофимыч оказался не в духах и принялся ворчать:

— Раков захотела? А решето у тебя есть? А мяса тухлого захватила?

Анна Ивановна ни о чем таком не подумала, полагая, что у Трофимыча, речного человека, найдется всякая снасть и заманка. Поломавшись, Трофимыч достал из чулана драное решето, другим одолжились у соседки — вдовы музейного сторожа. Анна Ивановна пообещала ей помочь с дранкой для курятника. А вот

тухлого мяса у старушки не оказалось, она забыла, когда вообще видела мясо в последний раз.

Продуктовый магазин был уже закрыт. Оставалась надежда на райком. Анна Ивановна заметила, что из холодильника, стоявшего в углу столовой для сотрудников, сильно несло. Возможно, подпортились готовые котлеты, которые она запасла для предстоящего семинара пропагандистов.

Лучше бы они не ездили в райком: от котлет остался только запах, кто-то их умял, а вот на телефонный звонок нарвалась. Во вторник в обкоме совещание по вопросу подготовки к Дню танкиста. «Зашиваюсь я с уборочной», — жалобно сказала Анна Ивановна. «Все зашиваются, — разумно ответил обкомовский голос. — Почему для вас должно быть исключение? Совещание крайне важное». — «Хлеб важнее». — «Не занимайтесь демагогией!» — и трубка шмякнулась на рычаг.

Увидев расстроенное лицо Анны Ивановны, — мяса тухлого не нашла, а на разговор тухлый нарвалась, — Трофимыч сменил гнев на милость:

— Не печалься, Анна Ивановна. Мотанем на Никишкин пруд, лягух наловим. Рак, он после тухлого мяса больше всего дохлую лягуху обожает.

Поехали на пруд в сторону заката. В натихшем просторе оглушительно громок был хор гортанных грассирующих голосов на пруду. В дело шла только дохлая лягушка, поэтому Трофимыч вооружил Анну Ивановну палкой, а свою десницу оплел поясным ремнем с пряжкой. В считанные минуты картавый французский хор лишился десятка певуний.

Поехали на реку. Почему-то заветные места вовсе не таятся в таинственных даях, а находятся под носом. И до леска Суслихи было рукой подать, и раковая пучина Трофимыча оказалась неподалеку от плотины. Анна Ивановна отпустила машину, наказав водителю за ней не приезжать, отсюда до поселка было минут десять хода.

Трофимыч привязал к решетам по крепкому суку, напихал туда дохлых лягушек и пристроил под бережком.

Солнце зашло, но небо еще светилось утомленной белесостью, и нагустели тени. Плескалась рыба, выпрыгивала из воды за мошкаррой, расходились медленные круги.

— Головель играет, только его не взять,— заметил Трофимыч.— Надоть с бредышком пройтись.— И стал снимать штаны.

Анна Ивановна разулась, сняла чулки, а юбку заправила в лиловые дамские штаны, подтянула повыше нижние резинки. Занимаясь туалетом, она рассеянно прикидывала, сколько Трофимычу лет. Думалось о нем как о дедушке Трофимыче, а ведь был он далеко не стар и пенсию получал по военной инвалидности, а не по возрасту. У Трофимыча плохо разгибалась перебитая пулей левая рука, другая пуля сидела у него внутри, обеспечивая ему вольную жизнь шабашника. Нигде не служа, Трофимыч был всегда при деле. На деньги не жадничал и все тянулся к реке.

Трофимыч пустил Анну Ивановну ближе к берегу, но все равно она промокла до пояса, а долговязый Трофимыч едва замочил подол старой гимнастерки. Анна Ивановна не была больно спора в рыбацком деле, хотя в детские годы хаживала с бредышком, поскольку большая семья, потеряв кормильца на войне, нуждалась в пищевом подспорье. И хотя Трофимыч ворчал и покрикивал, она его не подвела. С первого захода взяли пяток плотиц, подъязка и ерша. А при повторном им помимо мелочи и щучка приличная попалась.

Вода у берега хорошо прогрелась за день, и, хотя кончили они рыбачить уже в сумерках, ноги и поясница почти не застыли, чего побаивалась Анна Ивановна, у которой с некоторых пор погуживало в коленях.

Щуку посадили на струнку, остальную рыбу сложили в сетку, которую привязали к лозе и спустили в воду. Проверили рачи ловушки. Анна Ивановна ахнула, как полно набилось каждое решето черной в прозелень шевелящейся массой. Раков собрали, обновили приманку и пошли на берег обсушиться и попить чайку.

Анна Ивановна сняла все мокрое, повесила на лозняк сушиться, вытерлась и натянула ватные брюки.

— Надел бы штаны, Трофимыч.

— Мне не холодно,— отозвался тот, подтаскивая ветви для костра.— Мы привычные.

— Ты-то, может, привычный, а я нет. У тебя чего-то телепается.

— Не бойсь, Анна Иванна,— сухо сказал Трофимыч.— Я его не выпущу.

Но штаны надел.

Он сложил хороший костер, сварил чаю, испек картошек. У Анны Ивановны были с собой хлеб, сало, лучок. Поужинали. Трофимыч разорил соседнюю копенку и соорудил пышное ложе. Они легли тесно, спинами друг к другу. Анна Ивановна лицом к потухающему жару костра.

Заметно посвежело, но холодно поначалу не было. Обтянутая ватником спина Трофимыча грела лучше костра. И она опять как-то смутно отметила про себя, что Трофимыч живой, справный мужик, и со стороны небось странным показалось бы их совместное отдохновение у костра. А вот мужа ничуть не смутил ее ночной поход на реку. Что это — равнодушие или доверие, исключаящее всякую дурную мысль? А Трофимыч ощущает ли, что лежит рядом с женщиной, что они греются друг о дружку, или настолько исчахло в ней женское начало, что стала она для мужиков чуркой? Все эти мысли промелькнули быстрыми тенями, не принудив к сосредоточенности ни на одной, и сменились привычными тревогами об уборочной, запчастях, полевой ржи; усталые, но довольно четкие мысли стали сбиваться, запутываться в пряжу сна, превратив видения в бред: страшные бесовские рыла полезли со всех сторон, она успела сообразить, что они прорвались сюда из предстоящего семинара пропагандистов, вслед за тем была какая-то шевелящаяся рачья тьма и потеря себя. Анна Ивановна спала.

Уже под утро, судя по отчетливости выступивших из серой мглы деревьев, кустов, камыша, она проснулась от холода в спине — за ней было пусто. И сразу услышала ровный гулкий шум. Трофимыч мочился на лопухи. Анна Ивановна успокоилась. От костра уже не тянуло теплом. Она дотянулась рукой до кострища, пепел и угли были холодными. Загудели колени. Трофимыч вернулся и осторожно подлег, только уже не спиной, а передом, босяк, прижался. Ей стало неудобно и противно, зато тепло. А пес с ним, он мужик порядочный.

Трофимыч лежал тихо, не ерзал. Анна Ивановна пригрелась и опять заснула — до ясного, залитого солнцем утра. В лицо ей дышал жаром вновь разожженный костер, побулькивала вода в чайнике. Трофимыч возился на берегу. Анна Ивановна окликнула его. Поздоровались.

— Анна Иванна, с удачей тебя! Два ведра раков. И вот такой красавец в гости пожаловал.

Трофимыч вывесил, ухватив за жабры, кого-то головастого, усатого, обросшего по брюху лишайчатой зеленью.

— Что за зверь?

— Сома не узнала? Ты им всю команду накормишь.

— Ну и здоров! Да невкусный он, Трофимыч. У старого мяса, как вата.

— Это верно, — неожиданно легко согласился Трофимыч. — Да ведь не выбрасывать. Что же он, даром жизни лишился? Ладно, я его сам сжую.

Анна Ивановна спустилась к воде, умыла лицо, потом глянула на улов. Раки мелкие, как тараканы, набили ведра с мениском. Да и рыбы предостаточно. Трофимыч в свою сеточку не одного сома уловил. Жареха обеспечена. Трофимыч предложил еще разок пройти с бредышком, но вода была мозжаще студеной, и Анна Ивановна испугалась, что застудится и не встретит гостей.

— Поберегись, — согласился Трофимыч. — Я посла переметом сам пошую. Раков-то варить умеешь?

— А чего тут уметь? Бросил в подсоленный кипяток — всех и делов.

— Эх, ты! А еще хозяйка. Рака сварить — цельная наука. Ладно, я сам сварю. Ты где костер плануешь?

— На Мыске. Где же еще?

— Ни о чем не заботься. Я вам костер разведу, всего наварю, нажарю.

И тут она вспомнила о поллитровке, которую сунула в карман по совету мужа.

— Трофимыч, у меня бутылочка есть.

Его морщинистое лицо разгладилось, так он залыбился.

— Давай тяпнем для угрева.

— Это тебе. Мне сейчас нельзя.

Он темно посмотрел на нее:

— Думаешь, я на бутылку не заработаю? Гостям своим поставь.

Она вспомнила, что, оказывая ей всякие житейские услуги, Трофимыч сам сроду ни о чем не просил. Со своей согнутой в локте рукой, в дранье и опорках, долговязый неухоженный бобыль был из дающих, а не берущих. На том и стоял. Надо было ей соваться с бутылкой! А ведь это муж ее попутал, чтоб ему пусто было! Может, из ревности хотел поссорить ее с Трофимычем?



— Вот черт самолюбивый! — сказала Анна Ивановна. — Наливай. Авось до обеда выдохнется...

...К приезду знатных гостей все было готово. Трофимыч выполнил свое обещание не оставить Анну Ивановну в трудную минуту. Он сложил громадный костер, натаскал хворосту для подпитывания пламени, охладил пиво в бочажке, почистил рыбу, перебрал раков, чтобы отделить тех, кто протянул клешни, живых сварил со всеми специями к вящему их удовольствию, — коли карась любит, чтобы его жарили в сметане, рак не меньше обожает, чтобы его варили с разными хитрыми травками.

Гости приехали — три супружеские пары — и показались Анне Ивановне важными, чопорными, как-то чересчур знающими себе цену. Но может, так и следует вести себя педагогическим академикам, делающим большое государственное дело для народного образования? Пожалуй, ее больше удивило бы и озадачило, окажись они веселыми и общительными. Столичным людям подобает некоторая важность.

Гости пошли осматривать монастырь. Анна Ивановна наострилась домой привести себя в порядок. Конечно, из этого ничего не вышло: позвонили из обкома по поводу предстоящего семинара пропагандистов и продержали у телефона чуть не целый час. Когда она запирала дверь своего кабинета, ее настигли человек пять или шесть, каждый с радостным криком: наконец-то поймал! Пришлось вернуться. Дела были разные — личные и общественные, но для Анны Ивановны они объединялись в одно горестное ощущение прокола: домой она не успеет, о бане и парикмахерской надо забыть. А до чего же противно являться на обед чумичкой! После ночи, проведенной на берегу, она была в довольно злом виде. Ее задержка в кабинете имела еще одно следствие: позвонил третий секретарь обкома и сказал, что на обед придут два московских писателя с женами.

— Хоть бы предупредили! — возмутилась кроткая Анна Ивановна. — Нельзя же так! В последнюю минуту. Еще четверо. Я на них не готовила.

— Они горячего не будут, — заверил секретарь, — только посидят.

Повесив трубку, Анна Ивановна испытала чувство такой окончательной пустоты, что была рада, когда через минуту-другую подступило отчаяние. Хоть какое-

то чувство заполнило вакуум, в котором не было ни боли, ни обиды, ни огорчения, ни надежды. А отчаяние выдавило из глаз слезки, а из груди тяжелый прерывистый вздох. Ну правда, с таким трудом собрала она приличный стол, рассчитала, чтобы всем хватило и рачков, и рыбы, и грибов, и пива, и вдруг — еще орава. Он говорит: четверо. А шофер? А случайно присоединившийся к ним знакомый? Еще один комплект. К тому же писатели. Известно, выпить не любят. Конечно, это не ее вина, ей себя грызть не за что. Но не хочется срамиться перед людьми, не хочется, чтобы они плохо думали о районе, что он такой бедный. И тут из душевного мрака выплыл некто без штанов с ястребиным профилем — Трофимыч! На него вся надежда. Он чего-нибудь придумает, раздобудет, может, и сомом своим не успел распорядиться.

Она кинулась к Трофимычу, тот оказался на высоте:  
— Ничего не бойся, Анна Иванна. Рядом я с палкой.

## 2

...Я стоял на полоске земли, протянувшейся между двух вод и усаженной тощими деревьями. Возведенная в чин бульвара, она отделяла бездарную плоскую ширь нового Волго-Балта от старого узенького канала Мариинской системы. Новостроечный гигант затопил поемные луга, на которых паслись коровы, те самые, чье жирнейшее молоко превращалось в лучшее на свете вологодское масло. Нынешнее вологодское масло — обман, оно ничем не отличается от всякого другого. Волго-Балт недавно создан, а уже приходится его расчищать, углублять, по всей его отсвечивающей жидким оловом поверхности разбросаны землечерпалки. Судоходно в этой части лишь старое русло Шексны, размеченное бакенами, и караван барж вьется среди них анакондой. Остальная вода ничему не служит, кроме размножения комарья на заиленном побережье. Неподалеку от места, где я стою, канал вливается в Белое озеро и отдает суда во власть его капризного, бурового характера. Нет второго такого бурного озера в стране, и сейчас его пытаются укротить волнорезами. Самое невероятное, хотя и предсказуемое: чем строить эту грандиозную, вредоносную и баснословно дорогую нелепость, лучше было бы углубить каналы старой

Мариинской системы — совершенства, как запоздало выяснилось, инженерного искусства. Вот он, этот тихий канал, с темной и прозрачной до дна водой.

А вот и производитель работ — его бронзовый, в патине старины бюст высится на постаменте. Осмеянный русскими писателями — властителями дум, особенно постарался иересиарх отечественной словесности Лесков, — угодливый, придурочный, суетливый, ничтожный — таким он вышел из-под их пера, на деле же серьезный, ответственный, распорядительный и знающий — граф Клейнмихель. Признаться, и я однажды лягнул покойника. Зачем мне это понадобилось? Захотелось примазаться единомыслием к обожаемому Николаю Семеновичу. Но какое-то смутное беспокойство с тех пор меня не оставляло. А с чего оно пошло, не знаю. Нигде и слова доброго о Клейнмихеле не обронено. Либеральный дух настолько пронизал русскую литературу да и все общество со времен Новикова и Радищева, что никто не смел одобрительно высказаться о царском сановнике, даже сотворившем такое чудо, как Мариинская система, если он не оказывался в опале, как Сперанский. Ведь только опале, а не победам обязан своей невероятной популярностью генерал Ермолов — он небрежно воевал в Отечественную («Может, но не хочет», — говорил о нем Кутузов), вяло, хотя и жестоко на Кавказе (Паскевич куда энергичней и быстрее решил те же задачи). Я вглядываюсь в бронзовое лицо и ничего не могу прочесть на нем. По слухам, Клейнмихель был так подобоострастен, что его мутило в присутствии императора, что с нижестоящими бывал жесток и непреклонен, но ничего этого не проглянуть в смытблагодарных чертах официального скульптурного портрета.

— Беседуешь с графом Клейнмихелем? — послышался голос.

Я оглянулся и увидел рыжий пламень волос и бороды, бледную растянутую кожу обожженного лица моего друга поэта Сережи Орлова.

— Какими судьбами?

— «В душе моей, душенька, сантименты нежные». Приехал взглянуть на родные места. Я ведь здешний. А ты?

— Приехал взглянуть на здешние места. Они ведь всем родные.

— И засмотрелся на Клейнмихеля.

— А что — он того стоит.

— Ты его понимаешь?..

Сережа вдруг чем-то озаботился. Это было мне знакомо. Сколько раз при встрече он проваливался куда-то, затем следовало неуверенное: «Возьми этот мундштучок». — «Я не курю». — «Кому-нибудь пода-ришь». Или: «Смотри, какой удобный карандаш — с ластиком. Хочешь — пиши, хочешь — стирай». Или: «У меня для тебя отличный лейкопластырь... жевательная резинка... лента для пишущей машинки... очки от солнца...»

На нем были спортивные брюки на резинке, без карманов, и майка — никакого хранилища для подарков. Правда, в руке он держал промасленный сверток в газетной бумаге.

Два быстрых движения — скомканная газета полете-ла в урну, а мне в зубы ткнулся ком теста.

— Ешь! Крестьянский пирог. Местный.

Я куснул, глотнул и подавился рыбьей костью.

— Осторожнее! Рыбу запекают целиком — нечище-ную, с хвостом, жабрами и всем скелетом.

— Ты серьезно? Это же опасно для жизни.

— Чепуха! Люди так едят с языческих времен. Никто не помер.

— А ты откуда знаешь? До чего ленивый народ твои земляки.

— Ешь, ешь, поменьше разговаривай.

Я откусывал крошечные кусочки. Было довольно вкусно, хотя мелкие кости впивались в язык, десны, нёбо и неприятно приклеивалась чешуя.

— Ты надолго?

— До завтра.

— Мы тоже. Вы домой?

Я кивнул.

— Поедем вместе. Поклонимся Феодосию, и в Москву.

Я кивнул и вынул кость.

— У тебя места нет?

Я кивнул и показал на пальцах: два места свободны.

— Возьмешь меня с женой? Я отпущу обкомовскую машину.

— Охотно, — сказал я и подавился.

Вот так возникло столь смутившее Анну Ивановну сообщение о новых гостях.

По дороге Сережа Орлов сокрушался, что мы создадим лишние хлопоты секретарю райкома Анне Ивановне. Она принимает московских гостей: группу из Академии педагогических наук. «У нее, наверное, все рассчитано, — говорил Сережа, — а тут ввалится наша команда». — «Неужели это может смутить хозяйку района?» — удивился я. «Милый, какое у тебя представление о районном быте? Ты что — живешь в стране изобилия?» — «Я — нет. Но мне казалось, что хозяин района обладает большими возможностями». — «Какая чушь! Знаешь, кто такой секретарь райкома? — У него вдруг покраснели обводья глаз, а замененная на лице кожа стала мертвенно-бледной. — Это — Ванька-взводный!» — «Им тоже срок жизни шесть дней?» — «Не дурачься! Ты же меня понимаешь. Он подымает людей в атаку и по нему главный огонь. Его шпыняют сверху, кроют снизу, он за все в ответе, и в конечном счете этот шестидневный Ванька-взводный делает победу».

Его слова произвели на меня впечатление, и я сразу расположился к незнакомой Анне Ивановне.

Перед выездом мы сделали ревизию нашим припасам. У Орловых имелась дюжина костлявых деревенских пирогов, у нас — две банки судака в маринаде и палочка копченой колбасы. Решили подкупить провизии в дороге. Мы проехали немало сельмагов, но, кроме какой-то синюшной больной водки и черного хлеба, ничем не разжились. Еще имелись в продаже безмясные суповые консервы, но самый вид их отпугивал — ржавые разводы по донцу и крышке и неаппетитный опояс полуистлевшей этикетки, словно предупреждавшей: нас не трогай, мы не тронем.

Потом Сережу осенило набрать грибов. Мы приглядели лесок и замечательно там отоварились. Я, житель самых грибных некогда в Подмосковье мест, забыл, что бывает такое изобилие. У нас давно, кроме свинушек и валуев, ничего не осталось. Черный груздь — это ЧП районного масштаба. Все истребили стекающие с полей химикаты.

Когда мы добрались до места и наклонялись Феодосию, обед уже начался. Гости отдали дань закуске и ухе. Для пикника выбрали хорошее место в излучке реки, на опушке березняка, рослый кипрей окружал поросшую клевером полянку, искры высокого костра гасли в его листьях, сворачивая их в пепельную трубочку. Белые

холсты, расстеленные на траве, были уставлены блюдами, тарелками и рюмками.

Странное впечатление производили академические гости. Мне вспомнились строчки из «Столбцов» Заболоцкого: «Прямые, строгие мужья сидят, как выстрел из ружья». Именно так сидели мужчины в темных костюмах, белых рубашках, при галстукке. Дамы были не то что раскованнее, а, как бы сказать, разляпистее по рисунку: тучные и неуклюжие, они неловко чувствовали себя в сельских условиях, никак не могли выбрать удобной позы. Я не знаю, что стояло за холодной чопорностью мужчин: номенклатурная спесь или, скорее, неуверенность в себе. Они не знали, как себя держать с нами, и на всякий случай заперлись.

Удивительным контрастом этим истуканам была женщина с миловидным усталым лицом, теплыми карими глазами и разваливающейся прической, которую она безнадежно пыталась скрепить шпильками, гребенками, слишком густы и тяжелы были волосы цвета лесного ореха, — Анна Ивановна, взводный наших — войны страшней! — мирных будней.

Мне понравился мажордом банкета — ястреболикий пожилой жердина в заношенном военном костюме, яловых сапогах и капитанской фуражке с лакированным козырьком. На груди у него пестрела орденская планка и золотилась ленточка за тяжелое ранение. Только увидев эту ленточку, я обнаружил, что у него испорчена левая рука. Но действовал он ею ловко. И еще я заметил, что академические гости слегка его робеют, даже с некоторой угодливостью отвечают на его обращение. Его звали Василий Трофимыч, он управлялся с двумя кострами: декоративным небоскребом и небольшим трудягой, над которым булькал ведерный чайник. В его распоряжении находились противни с жареной рыбой, ведра с раками и, как потом выяснилось, пиво, остужавшееся в реке.

Сережа Орлов взорвал пикник, похожий на поминки. Конечно, восковые фигуры местного отделения музея мадам Тюссо не пустились в пляс, да это и невозможно, но он сделал праздник. Его внутренняя свобода, раскованность, чуждая развязаности, создали другую атмосферу вокруг костра, люди почувствовали, что это не обычный день, что таких дней вообще немного выпадает в жизни, когда так весело и трескуче рвется к небу пламя, когда так ласково северное солнышко, так

вкусна простая и свежая пища, и можно спокойно довериться тишине и друг другу и убрать когти. Первой откликнулась ему улыбкой, заблестевшими, будто проснувшимися глазами Анна Ивановна, ей поди обидно было, что все немалые труды гибнут в томящей скуке, возвеселился сердцем и ветеран Трофимыч, и вся наша свежая команда, и даже стылая академическая глыба стала доступна теплым веям.

Я довольно часто видел Сережу за ресторанным столиком, реже за домашним столом, но не подозревал, что в нем скрывается тамада, заводила. В разговорах глаз на глаз он казался мне человеком скорее грустным. А сейчас он открылся с новой, неожиданной стороны.

Сережа озвучил застолье остроумными и добрыми тостами, сказал трогательные слова об Анне Ивановне, Трофимыче, святом месте, где мы собрались волей судьбы, о нас — паломниках и о том, как сдруживает людей древнее тепло костра. А перед раками с пивом — кульминацией праздника — он предложил совершить омовение в чистых водах, оплескивающих подножие монастыря. У академиков эта идея вызвала такой же энтузиазм, как если б Сережа предложил им принять участие в брокенском шабаше или групповом сексе. Но внезапно монолит дал трещину: одна из академических дам поднялась, царственным движением распустила молнию от горла до подола платья-халата и предстала в ослепительном атласном купальнике, ярком и сияющем, как оперенье жар-птицы, туго облегающем непостижимую уму крепость белых мясов, как сказал бы весельчак Ноздрев.

Некоторое замешательство произошло с Анной Ивановной, у нее не было с собой купальника. Она уже собралась окунуться в рубашке за кустами, но тут наши жены подыскали ей что-то из своих туалетов.

Водяная феерия включала проплыв Сережи под водой с камышинкой для дыхания во рту, сбор кувшинок и кубышек на пахучие, быстро увядшие венки, наши с Трофимычем прыжки в воду с бугра, могучий кроль Жар-птицы от берега до берега. Анна Ивановна купалась как-то иначе: истово, серьезно, стараясь взять от реки все, что можно. Она долго лежала на спине, раскинув руки и блаженно зажмурив глаза, затем перевернулась на живот; совершила дальний заплыв неспешным, размеренным брассом и так же серьезно обсыхала на берегу...

Мы пили пиво и хрустели крошечными, но очень вкусными раками. Сережа читал стихи, среди них мое любимое:

Меня зарыли в шар земной...

Я предложил присутствующим на спор угадать автора стихотворения, ставка — бутылка пива.

В жару растенья никнут,  
Ползут в густую тень.  
Одна лишь чушка-тыква  
На солнце круглый день.  
    Лежит рядочком с брюквой,  
    И кажется — вот-вот  
    Она от счастья хрюкнет  
    И хвостиком махнет.

— Маршак! — вскричала сильно расхрабренная Жар-птица.

— Маяковский! — безапелляционно заявил Трофимыч, ему очень хотелось выиграть бутылку пива.

— А поэт известный? — спросил один из академиков.

— В высшей степени.

— Откуда ты знаешь эту пошлость? — Как странно краснеет Сережа — как бы рамкой вокруг молодой бледной кожи.

— В том же номере «Звена» напечатан мой рассказ. Мы вместе дебютировали.

— Господи! Совсем из головы вон! Я не такой злопамятный, как ты. У тебя был рассказ о косоной тетке...

— Получай бутылку. Ты выиграл.

— Надо бы не бутылку, а бутылкой. Попадись мне сейчас такие вирши, я бы сказал: сроду поэтом не будет.

— Вот стали же, — почти улыбнулся один из академиков.

— Да еще каким! — подхватил другой. — Лауреатом!

— Секретарем Союза писателей, — веско утвердил Сережино достоинство последний из рассекреченных молчунов.

Трофимыч плеснул в граненый стакан водки и цокнул им о бутылку Сережи.

— Твое здоровье, танкист! — сказал он душевно.



Ближе к вечеру за академиками пришел автобус, и они стали прощаться.

— Спасибо за праздник, — сказал главный из них Анне Ивановне.

Они забрались в автобус и сразу будто обрезали все связи: ни один не выглянул в окошко, не помахал на прощание. Сели на свои места, выпрямились, одеревенели, взгляд устремлен прямо перед собой, как у свиньи, ни вправо не взглянуть, ни влево, только в сияющие дали.

Я допускаю, что все они неплохие люди; при том жестком режиме, в котором они существуют — добровольно или по принуждению, не имеет значения, — в них всех мелькнуло что-то человеческое: оказалась лихой пловчихой одна, проговорились доброй интонацией другие, и все отозвались на явление Орлова. Будь время, они бы еще сильнее оттаяли, и стало бы возможным поверить, что у них было детство, что им ведомы слезы и любовь, но времени не оказалось.

А все дело в том, что они занялись не своим делом да и вообще ничьим: нельзя быть педагогическим академиком, нужно быть гением, как Песталоцци или Ушинский, чтобы хоть что-то понимать в тончайшей и сложнейшей области — не науки, а чего-то высшего, что называют педагогией. Будь один из них честным ремесленником, другой — пахарем, третий — шофером или расторопным молодцом при лавке, они все заняли бы свои законные места, а в награду — раскованность, общительность, прямой ясный взгляд; и тяжелые их жены обернулись бы русскими Венерами, чаевницами, милыми хохотушками. Но они ткут из паутины, добывают солнечный свет из огурцов и общественный продукт — из экскрементов, проще говоря, паразитируют на народном теле. И, сознавая это с тайным содроганием в последней глубине души, они не могут быть самими собой, все время собраны, напряжены, готовы к отпору, как и все занимающиеся незаконной деятельностью. В известной мере они тоже жертвы времени.

И вот что удивительно: столь не похожий на них человек, как Анна Ивановна, стоящий прочно на земле и занимающийся самыми жизненными делами на свете — хлебом, производством, дорогами, транспортом, школами и больницами, — тоже эфемер и жертва времени. Она растрчивает свою душу и плоть, женский и материнский запас на то, чтобы жизнь творилась не

естественным путем, когда каждый заинтересован в своем деле, обеспечивающем достойную жизнь ему и его семье, а наперекор желанию и сути человека, наперекор древнему разуму. Все, что она вынуждена пробивать, проталкивать, внедрять, навязывать, тратя столько сил и срывая душу, может вершиться само собой, как смена времен года, как дыхание. Только бы отвалилась от народной груди черная душная напасть, частицей которой, ничуть о том не подозревая, была бедная, милая и чистая Анна Ивановна. Она была уверена — не без оснований, — что без нее не обойтись: не будет даже серого сырого хлеба, комом лежащего на желудок, не будет и безмясных суповых консервов и конфет-подушечек на полках сельмагов, не будет всего судорожного движения жизни, в котором осуществляется человек. И каждый день без оглядки Анна Ивановна шла в свой последний решительный бой, ничего не выгадывая для себя, кроме тычков и затрецин, выговоров и проработок, теряя все: годы, дом, мужа, дочь, сына, — шел на кинжальный огонь противника бессмертный смертник Ванька-взводный.

А как же в иных странах, у иных народов — там все по-другому? Об этом Анна Ивановна не задумывалась, знала одно: если по-другому, значит, хуже.

Мы долго сидели на берегу. Ушло солнце за березняк, побелела вода, задымились прозрачные тучки безвредных, не едучих комаров. Мы допивали пиво, доламывали рачьи панцири. Анна Ивановна и Сережа что-то напевали вполголоса. Мог ли я думать, что в последний раз вижу Сережу? Пройдет немного времени, и его не станет — в одночасье. Какой-то «эмкóвец» из управляющих литературой нахамит ему публично, и разорвется горевшее в танке, но тогда спасшееся сердце гордого человека. Человеческое сердце невероятно выносливо и хрупко, как стекло.

А затем Сережа замолчал, и Анна Ивановна, не заметив, что ее бросили, продолжала петь маленьким старательным голоском:

Темнеет ночь, ужасный ветер воет,  
Где медлишь ты, отрада бытия?  
Кто стукнул в дверь — зачем так сердце воет?  
Когда б она, бесценная моя!..

— Анна Ивановна, что это? — заинтересованно спросил Сережа, когда она добрусила странную песню.

Она вздрогнула и вернулась из своей дали.

— Сама не знаю. Мама пела. Чушь какая-то.

— Вовсе не чушь. Что-то старое. По лексике — начало века. Влюбленный телеграфист, вечер, палисандр дачной гитары. Хорошо!..

Вот и совсем кончился этот долгий, без всяких событий и происшествий, без значительных слов и чувств, летний северный день, который — я знал это уже тогда — навсегда останется в памяти.

— Прощайте, Анна Ивановна, — говорил Сережа, целуя доверчивое лицо женщины. — Прощай, дорогой Ванька-взводный!..

Я потом много думал, почему Сережа воспользовался при расставании непривычным и непринятым в бытовой речи, романсным словом «прощай» вместо обычного «до свидания»? Неужели его вещая душа подсказала ему это слово?..

### 3

Прошло сколько-то лет, а для Сережи прошла жизнь, и я сделал неожиданно-негаданно ослепительную, хотя, как вскоре выяснилось, мотыльково краткую карьеру. Меня, не спрашивая согласия, назначили секретарем Московского отделения СП. Краткость же карьеры следует отнести за мой счет, я быстро разобрался что к чему и вернул себе утраченное достоинство.

Что произошло за минувшие годы? Из отдаления трудно сказать. Вроде бы ничего не произошло. Шла вялая и ужасная афганская война, где мы теряли не столько убитыми, ранеными и пленными, сколько морально разложившимися. И без того не великий нравственный запас наших воинов стремительно расходовался в пьянстве, наркомании, кровавой алчности к трофейной технике и поощряемой жестокости; с искажившегося лица Армии смывало честь, заслуженную ею в Отечественной войне. Все хуже становилось с продуктами и все лучше с бормотухой и водкой, производимой из отходов отходов. Для самых честных и смелых было три пути: в лагерь, в психушку, за кордон. Для честных, но робких один путь: в молчание. Для низких, бездарных и бесчестных путей было без счета, и все они вели к золотому дождю наград. Мы уже не стеснялись, что жирный косноязычный бездельник — глава партии,

государства и армии — стал литературным корифеем, потеснив Достоевского и Толстого, что он оставляет за собой мокрое пятно, не узнает государственных деятелей, с которыми лезет целоваться, что дух народа вверен Кощею с белой пустотой за стеклами очков, что под видом диссидентов домолачивается интеллигенция — последнее, на чем оставался свет божий, что лгать научились младенцы и покойники, что на безумном байкало-амурском строительстве доламывается молодая душа, не иссушенная афганцем, и спокойно ждали, когда поворот великих сибирских рек доконает страну.

Но жизнь шла, пили и гуляли, как в последний день, иные с крысиной суетливостью обделывали свои делишки, ухватывая кусок барского пирога, другие, как вороватые лакеи, уносили с пиршественного стола мировой культуры какое-нибудь запретное лакомство: книгу Набокова, стихотворение Бродского, песню Галича — и тайно наслаждались, а многие были вполне довольны по причине здорового кишечника, мощных половых желез и мускулов, просто от неведения, что существуют потребности, — безмятежное счастье мокриц, медуз, полипов. И пока таких большинство, диктатура может быть спокойна.

В разгаре этой фантазмагорической, но скучной полувяи-полусна меня направили в один из областных центров подстепной России провести семинар начинающих авторов, а затем — перевыборы правления местного Союза писателей.

Я довольно легко справился со своими обязанностями, ибо имел большей опыт работы с молодыми авторами, второе же поручение требовало лишь одного: спокойно подремывать в президиуме и не мешать. Но поскольку в президиуме я сидел в первый раз (и в последний, как вскоре оказалось), мне все было в диковинку, и я поминутно лез не в свое дело. Меня мягко осаживали, я и сам твердил себе: поменьше рвения, но ничего не мог поделать со своей нездоровой заинтересованностью и порядком затянул рутинное мероприятие. Впрочем, народ тут был покладистый и снисходительно списал мне никому не нужную активность.

Больше пользы от меня было, наверное, на семинаре, где оказались обещающие ребята. Один парень уже напечатал несколько рассказов и шел как бы вне конкурса. Он носил смешную фамилию Петрушка, был отчет-

ливо даровит и несколько разочарован слишком медленным продвижением к Олимпу. Надо было его взбодрить, обнадежить. Я и впрямь верил, что он пойдет в ход.

Мне ребята понравились — сперва внешне: опрятные, свежие, собранные, что парни, что девушки. Впрочем, парнями и девушками они выглядели из окошка моей старости, в основном тут были люди определившиеся и профессионально и семейно. Все работали, и лишь один студент затесался в солидную компанию. И никакого гениальничанья: ни лохматых шевелюр, ни клочкастых бород, ни запорожских усов, ни расстегнутых до пуза рубашек и грязных, выношенных до основы джинсов. Почему-то я так и не научился любить образ нынешней юности. У иностранных ребят за этой простотой и небрежностью — здоровое презрение к буржуазному быту, миру отцов, благонравному, умытому и приглаженному мещанству. Хотя и у них среди зажиточной молодежи есть немало фальшаков — ломающихся под битников, тогда это тоже противно, как и все неестественное, служащее моде, а не собственной душе. Ну а нашим чего выкаблучиваться? У нас нет быта, а мещанство наше не голубое и розовое, а черное, смрадное и косматое. Лучше отрицать его спортивной элегантностью, местные молодые люди так и делали. Хорошо одетые, воспитанные, они все имели четкое лицо: инженер, учительница, заводской мастер, рабочий-станочник, два врача, а еще студент и жена. Это была красивая молодая женщина, недавно вышедшая замуж за очень крупного человека — не то директора комбината, не то командующего военным округом, не то члена-корреспондента Академии наук. Нежно ошеломленная чудом столь блистательной реализации своей юной прелести и внезапной сановной взрослости, она все время пребывала в нетях, в душевном и умственном парении, уводящем ее прочь из бедной обыденности семинара к каким-то иным видениям, посылавшим таинственную улыбку на ее отрешенное лицо. Впрочем, когда дело дошло до обсуждения ее рассказов, неожиданно резких, жестких и точных, обнажавших немалый и горький душевный опыт, она очнулась и слушала внимательно, отсеивая словесную шелуху и беря для себя нужное.

У меня было предвзятое отношение к периферийной прозе, после того как я со сходным поручением (но еще не секретарь!) съездил в Горький раскисшей, сопливой порой ранней хрущевской оттепели. Медленно рас-

ходятся круги по воде, мы, столичные, уже кусали от сладкого пирога свободы, а горьковчане дожевывали мякинный хлеб культа личности. Почти все рассказы начинающих волжских мопассанов были посвящены одной животрепещущей теме: освоению мужчинами-колхозниками женской профессии доярки. Душа разрывалась, сколько непонимания, насмешек, издевок приходилось на долю смельчаков новаторов, видевших свое высшее предназначение в том, чтобы дергать коровьи дойки. Было страшновато слушать этот воробьиный щебет грузных волгарей, в чьих предках значатся такие крутые, могучие люди, как Шалапин и Горький. «Что, у вас другой проблемы нету? — спросил я. — Ведь новое солнце на дворе». Они обиделись и послали донос в Союз писателей. В другое время мне не поздоровилось бы, но тиран ушел, и я отделался пустяками — не пустили в какую-то заграничную поездку...

Здесь, на семинаре, в самый разгар застоя, о чем мы, правда, не догадывались, думая, что нас баюкают волны зрелого социализма, было и разнообразие тем, и запах жизни, порой даже некоторая художественная бесовщина, навеянная Булгаковым, но не заимствованная у него. Театральный художник Петрушка удивил меня естественностью своего сюрреализма.

В последний день семинара ко мне подошел переизбранный на очередной срок председатель местного СП и сказал проникновенно и чуть таинственно:

— Мы хотим вас еще поэксплуатировать. Не считаете ли два очерка нашего молодого автора?

— А почему он не участвует в семинаре?

Мой собеседник терпеливо улыбнулся:

— Он не так молод, как остальные участники. А главное — очень загружен. Он первый секретарь одного из наших сельских райкомов партии.

Что-то во мне закисло, и мой сообразительный собеседник почувствовал это.

— Он очень скромный человек, поэтому не решился сам подойти к вам. Если не понравится, вы так и скажите. Ваш суд для него последний.

— А это очень плохо?

— Он не претендует на особую художественность. Но подкупают знание жизни, серьезность подходов, выстраданный жизненный опыт.

«Ванька-взводный!» — вспыхнуло во мне. И, не зная этого человека, я уже расположился в его пользу,

почти полюбил, потому что он глянул на меня милыми усталыми глазами Анны Ивановны. Дорогой человек, день-деньской носится по полям между отстающими колхозами и разваливающимися совхозами, проворывающимися артелями и не выполняющими план заводами, с совещания районных пропагандистов мчится в обком на разнос, слезно вымаливает шины и запчасти, лекарства и школьные тетради, изойдя черным потом усталости, ловит ночью раков для гостей района, а под утро, трудя красные воспаленные глаза, заполняет листы бумаги неохотно слепляющимися словами, чтобы отдать людям остатки не израсходованных в дневной круговерти мыслей и чувств. Это было трогательно и высоко. А главное, передо мной витал лик незабвенной Анны Ивановны, как перед очарованным странником Флягиным — образ Грушеньки, когда он под пулями переплывал ледяную воду.

Короче говоря, я взял эти очерки, хотя, видит Бог, как мне не хотелось в последний вечер, уже перенасытившись молодой прозой, читать тусклые секретарские откровения.

За окнами, распахнутыми в молодое лето, широко открывался с холма, на котором стояла гостиница, удивительно живописный город, весь в цветущих сиренях, славших сюда свой густой сладкий аромат, со старыми действующими храмами, с огромным парком и опрятными домами, с чистым, прозрачным воздухом — все предприятия располагались по кругу на окраинах и отдавали разноцветные дымы в небо. Слюдяно сверкала излучка хорошей упругой реки, по ней скользили байдарки, и хотелось туда, к воде, к сиреням, старым храмам.

Этому городу сказочно повезло. Он лежит посреди разоренной, разбомбленной России, совсем нетронутый, не пострадавший ни одним строением. Немцы до него не дошли, но долетали куда дальше. Они уничтожали города с несравнимо меньшим промышленным потенциалом и без всякой военной индустрии, а здесь находился мощный оборонный комплекс. Город обязан этим провидческому гению Сталина. В тридцатые годы, когда Гитлер пришел к власти, вождь народов поверил в него как в человека, который изведет под корень социал-демократию, для начала хотя бы в Германии. Ненавидя все демократическое движение, Сталин особенно ненавидел его немецкое крыло, славное многими историческими именами. Первоклассная летняя школа города

широко распахнула двери для немецкого люфтваффе. Здесь в русском ситцевом небе оттачивали свое мастерство такие асы, как будущий глава военно-воздушных сил Мильх, как генерал-полковник Мельдерс — гроза испанских республиканцев, и сам рейхсмаршал, герой первой мировой войны Герман Геринг, взял несколько уроков высшего пилотажа и прицельного бомбометания. Можно сказать, весь цвет военно-воздушных сил вермахта, уничтожавших Европейскую Россию в ходе второй мировой войны, прошел здесь выучку. И когда началась война и распоролось русское небо клиньями «юнкерсов», Геринг запретил бомбить свою альма-матер: ни один фугас, ни одна зажигалка не упали на город, когда кругом все полыхало, ни разу вой и свист пикирующих бомбардировщиков не заледенили душу городских жителей. После войны уцелевший и развивший свою промышленность город быстро пошел в гору.

И вот теперь между мной и этим чудесным, спасенным совместными усилиями Сталина и Геринга городом, выласканным трудами своих симпатичных жителей, храмовым и благоуханным, втиснулась секретарская проза. Но что поделать: взялся за гуж...

В каком-то смысле это оказалось еще хуже, чем я ждал. До того сухо, серо, невыразительно, без единой искорки не только таланта, но живого чувства, темперамента, пристрастной заинтересованности в чем-либо, радости и гнева. Ровное, добросовестное изложение расхожих районных мероприятий по выполнению последних решений не помню уж какого пленума. Индивидуальности автора не было в помине, как и характеров персонажей, только фамилии, имена и отчества, зато время от времени возникал пейзаж с самыми расхожими полевыми, лесными и приречными атрибутами, поданными так, словно он взял перед партией обязательство не проговориться ни одним живым словом. Но вместе с тем это было лучше, чем я ждал, настроенный на встречу с чем-то жалостно-неумелым, неловким, но с проговорами в какую-то художественность. Это особенно опасно, поскольку есть за что похвалить, а в целом приходится браковать. Такое мало радует даже молодых, наивных, но всерьез тянущихся к литературе авторов, и вовсе неприемлемо для солидного, знающего себе цену человека. Тут или мучайся над бессильными авторскими поправками, или садись и сам все переписывай. А это было довольно гладко и вполне



грамотно. У меня возникло подозрение, что Глава местных литераторов прошелся рукой мастера. В принципе, если есть связи, а в их наличии сомневаться не приходилось, такую писанину можно опубликовать в межрегиональном журнале в разделе «Хроника районной жизни» или «Нам пишут». Непонятно только, зачем ему это надо. Впрочем, литературный зуд и тщеславие, желание напечататься — явления столь широко распространенные, что едва ли стоит над этим ломать голову.

— Ну, как? — спросил Глава местной литературы на другое утро, когда мы встретились в вестибюле гостиницы.

Накануне вечером, только я перевернул последнюю страницу рукописи, ко мне в номер постучали. Это были Петрушка, Инженер, Заводской мастер, один из Врачей — наиболее обещающие на моем семинаре, если не считать Жены, которой не было с ними, что меня огорчило. Они пришли попрощаться, поблагодарить и плеснуть на сердце. Карман Петрушки стыдливо оттопыривался бутылкой шампанского.

— А где Жена? — спросил я. — Она тоже из нашего золотого фонда.

— При исполнении супружеских обязанностей, — улыбнулся Инженер, автор довольно язвительных рассказов в духе раннего Пантелеймона Романова, о котором он даже не слышал.

— Литература требует всего человека, — заметил я сентенциозно. — Ей надо решить, кто она: жена или писатель.

— Она, видимо, надеется совмещать эти ипостаси, — улыбнулся Врач, тяготевший к смелой манере Генри Миллера.

— Ее никуда вечером муж не отпускает, — добавил Заводской мастер, писавший смешные миниатюры о животных.

Я понял, что Жены мне не видать, и налег на шампанское. За этой бутылкой последовала еще дюжина. Мы пили его, как пиво в жаркий день. Но разговор получился грустный и серьезный. Расставаясь, мы знали, что едва ли еще увидимся, и долго жали друг другу руки...

Утром я чувствовал себя неважно — опьянение от шампанского дурное, с головокружением и отрыжкой, — не понимаю, что находили в нем гусары? — и на вопрос коллеги: «Ну, как?» — ответил честно:

— Муторно.

— Неужели настолько плохо? — спросил он упавшим голосом.

— Да нет,— тронутый сочувствием, я решил его успокоить.— Блёва не было. Выпью кофе и оклемаюсь. До Москвы отойдет. Не впервой.

Он как-то странно посмотрел на меня:

— Я не о том... Как рукопись?..

Господи, с чего я взял, что он знает о нашем мальчишнике? И почему решил, что он так озабочен моим здоровьем? Видимо, у меня с головой действительно не в порядке.

— Знаете, вполне терпимо. Грамотно и членораздельно.— У него было такое напряженное лицо, что я не удержался в тесных рамках объективной правды.— Я ожидал куда худшего. А это можно печатать.— Ложь была не столько в словах, сколько в интонации, слишком горячей.

— Одну минутку,— и он кинулся к телефону.

Дозвонился сразу, и там, куда он звонил, сразу же сняли трубку. Он говорил, прикрыв рот рукой, потом долго кивал кудрявой головой, выслушивая ответ. Под конец так кивнул, что кудри упали ему на лицо. Положив трубку, он вернулся ко мне.

— У меня к вам просьба — скажите ему это сами.

— Что?

— То, что вы говорили. Только чуть-чуть теплей. Вы не представляете, какой это хороший, скромный человек. Очерки хотят напечатать, но он сказал: только если классик даст добро.

Мне стало не по себе: история с секретарской прозой как-то разрасталась, словно заглатывая меня.

— Соедините. Я скажу.

— Нет, нет. Вы поедете мимо и скажете это ему лично.

— Что значит, «мимо»?

— Он сегодня принимает новый домовый комплекс в Чувырине. Это вам по пути. Вы посмотрите замечательные терема для доярок и скотниц. Плеснете на сердце и скажете буквально два добрых слова. Кстати, сиреневый заповедник находится в его районе. Хотите посмотреть?

Это уже куда лучше! Новостройки — Бог с ними, а вот о сиреневом заповеднике я давно мечтал. Да и плеснуть на сердце не помешает, надо поправиться. И вспомнился день на реке, костер, раки, похожие на

тараканов, кислое пиво, хрустящая жареная рыбка, чай с дымком, Ванька-взводный, Сережа, Трофимыч, небогатое, но такое милое, доброе застолье, негромкий русский разговор,— неужели это может повториться?

— Принято! — сказал я.

Он кинулся к телефону...

На встречу с молодым автором меня сопровождали на черной «Волге» кудрявый секретарь СП, его приближенные, среди них юная поэтесса в обтяжных узорчатых штанах, заправленных в высокие коричневые кавалерийские сапоги. Такие сапоги носил после революции поэт Оцуп и выдавал себя за секретаря Троцкого. Сапогам верили, что обеспечивало находчивого поэта контрамарками в кино.

Не помню, сколько мы ехали, я задремал, а проснулся от резкого толчка, едва не влипавшего меня рожой в лобовое стекло. Впереди было заграждение, как при строительных работах, а вокруг много народу; в праздничной толпе выделялись две женщины в национальных русских платьях, которые носят только оперные пейзажи и никогда не носят живые русские бабы. Слепительно сияла медь духового оркестра.

— Мы влипли,— сказал я шоферу.— Кого-то встречают. Похоже — Брежнева.

Я вылез из машины. Волнение содрогнуло нарядную толпу. От нее отделились три рослых человека в темных вечерних костюмах при галстуках и двинулись к нашей машине. Семенящей походкой их обогнали пейзажи, одна несла на деревянном блюде каравай домашнего хлеба и солонку, другая на подносе — золотой столбик коньяка и чарки. На локте у нее висело полотенце с петухами. Тяжело из глубины чрева вздохнул геликон, и оркестр заиграл «Славься!».

Дорогие мои соотечественники, братья и сестры, это встречали меня!..

Хлеб-соль оказались передо мной одновременно с высоким представительным человеком, источавшим какой-то сухой жар. Засмугленный солнцем лоб, серые, затененные ресницами, словно прячущиеся глаза, странно горькая складка прекрасно очерченного рта. Тайное страдание искажало черты красивого, победительной стати мужчины. Оно искупало обидную для окружающих щедрость природы, излившей на него все свои дары, быть может, то боль мира пронизывала его душу, он был в ответе за всех малых и сирых нашей земли.

— Здравствуйте, дорогой человек,— сказал он, заключив мою руку в две теплые сухие ладони.— Я ваш подопечный.

— Второй! — произнес подходя его правый спутник.

— Третий! — доложил спутник слева.

Я думал, что они рассчитываются, как в строю, нет, просто то были второй и третий секретари райкома. Прежде чем я это сообразил, мне в нос шибануло плотным запахом свежепеченого хлеба. Я взял густо посоленный кусок, в другой руке оказалась чарка с коньяком. Я хватил ее, содрогнулся всем своим похмельным существом и вслед за тем почувствовал, как собирается нацельно мой размытый вчерашним шампанским состав. Громкое «ура» сотрясло хилый средне-русский воздух. Кто-то утер мне рот полотенцем. Я стал жевать вкусный теплый хлеб, свободной рукой приветствуя ликующую толпу.

Следующую чарку мы выпили «со свиданьем», и тут вчерашнее шампанское пришло во взаимодействие с сегодняшним коньяком, и во мне проснулся Хлестаков. Бессмертный Иван Александрович дремлет почти в каждом русском человеке, это фигура куда более национальная, чем купцы Островского, толстовский Платон Каратаев, мужики и разночинцы Тургенева, Обломов Гончарова, не говоря уже о вовсе придуманных праведниках Лескова. Это все типы, обобщения, а Хлестаков живая и весьма существенная частица каждого из нас. Я почувствовал легкость мыслей необыкновенную, и пискнувший в душе птенец смущенной совести сдох. Спокойным ухом ловил я замирающие раскаты хора и духовых, спокойным взором принимал кривые улыбки поселян, похоже, не знавших, кого они так тепло встречают (представляю, что бы творилось, если бы они знали!), спокойным шагом направился в сторону расписной потемкинской деревни.

Надо сказать, что всего неделю назад я наблюдал точно такие же двусмысленные коттеджи под Дмитровом — целый еще не заселенный поселок. То было шоу, организованное для писателей тогдашним подмосковным боссом Конотопом. За этим причудливым строительством угадывалось какое-то верховное сумасшествие. Надо думать, Брежнев с подачи своих сельских консультантов (Суслов не лез в деревенскую безнадёгу) решил, что единственный способ удержать доярок в колхозе — это создать им выдающиеся жилищные условия. Это заблуж-

дение: в текущем колхозном населении лишь доярки ни при каких обстоятельствах не бегут с тонущего корабля. Очевидно, привязанность к скотине делает русскую женщину вечной пленницей гиблого места. Но царское слово упало с уст, и все как оглашенные принялись строить дома для тружениц молочных ферм по типовому проекту, сочетавшему изящную неброскость избушки бабы-яги с ярмарочным балаганом. При каждой избушке предусмотрен гараж, предполагалось, что у всех доярок есть машины. Но как-то не подумали, что у доярки может быть своя корова, свинья, пара овец, на худой конец птица — ни хлева, ни сарая при доме не имелось. И когда я спросил об этом Конотопа, он ответил с раздражением, но умно: «У вас, видать, ветерок в голове. И Москва не в один день строилась».

Тут меня поздравил Борис Можаяев:

— Глядите, в этих домиках нельзя жить.

И показал на щели, рассекавшие строение сверху донизу по всему составу. В каждую щель свободно входила ладонь. Не надо норд-оста, сирокко и афганца, чтобы сдаться нарядные избушки непригодными для жилья, достаточно нашей обычной русской метелицы.

— Стало быть, — мудро добавил Можаяев, — никто и не рассчитывал, что тут будут жить.

Узбекский синдром. Хлопковые эшелоны Рашидова в нечерноземном исполнении. И сейчас, войдя в терем, я стал уверенно всовывать ладонь в щели, ничуть не уступавшие своим подмосковным сестрам. Пока я предавался этим полезным упражнениям, сопровождающие меня лица деликатно отвернулись.

Главный писатель спросил, действительно ли мне так понравились очерки секретаря райкома — при нем. Я пробормотал что-то смутно утвердительное.

— И это можно печатать? — допытывался он.

— Если журнал хочет, почему бы не напечатать? — ответил я, цепляясь за остатки чувства собственного достоинства.

Самое странное, что секретарь стоял тут же рядом и страдальческое выражение на его красивом лице могло поспорить с ужасной гримасой Марсия, с которого Аполлон живьем сдирает кожу в наказание, что тот вздумал состязаться с ним в игре на свирели и проиграл. Почему мы разговаривали через переводчика, я и сейчас не пойму. Видимо, причиной тому крайняя скромность и деликатность молодого автора, который даже спросить

о своем труде не решился. Мне же это не прямое общение позволяло облекать свои ответы в уклончивую форму, как бы не беря на себя полной ответственности за происходящее. Я был наивен и глуп, да разве мне было тягаться с представителями власти? Представляю их презрение к этому жалкому барахтанью, ведь они твердо знали, что будет так, как им нужно.

И вдруг я увидел, что вокруг все опустело: исчезли второй и третий секретари, скрылись прелестные пейзажи с хлебом-солью, рассеялась толпа, и оркестр унес свою сияющую гулкую медь. То, что от меня требовалось, было сказано — и кончен бал, погасли свечи. Хорошо, что оборвалось на полуслове это бредовое чествование, хватит хлестаковщины, пора вернуться к себе настоящему и грустному.

Опять же через Главного писателя я услышал, что секретарь идет проводить митинг и вручать дояркам условные ключи от их будущих жилищ. Почему «условные», поинтересовался я в своей обычной манере лезть куда не надо. «Дома еще недостроены, замки не врезаны, какие же могут быть ключи? — прозвучал вразумительный ответ. — Это, так сказать, ключи в моральном смысле».

Мною же распорядились так: меня отвозят в сиреневый заповедник, куда позже подскочит мой протезе, мы посидим на травке, перекусим и плеснем на сердце.

И опять обрывком старой мелодии поманило душу в милое невозвратное прошлое, где тоже была трава и «утоли моя печали»...

Когда кончится дурман политических страстей, и вновь запоют птицы, вернуться краски в мир, зазвучит Шопен, и нежное, доверчивое девичье лицо выплывет из мглы, кишащей размалеванными масками интердевочек и живых манекенов, я напишу о сиреновом заповеднике.

Это было и осталось самым чистым и благоуханным впечатлением моей жизни. Полтора часа среди белых, фиолетовых, голубо-лиловых и жемчужно-голубых кистей. Венгерская, персидская, махровая сирени источали материально плотный аромат. Воздух порой становился спертым, а я все не мог надышаться. Я будто плавал в сиреновом море. Мои спутники, поняв, что мне хочется остаться одному, потерялись в сиреневых аллеях. Это было почти безнравственно, такое погружение в субстанцию аромата, оставляющее за бортом весь остальной мир с его печалью, вытесняющее Бога из души. Я все

сильнее чувствовал греховность своего наслаждения и почти обрадовался, когда из кустов вдруг высунулся кудрявым фавном Главный писатель.

— Вас ждут, — сказал он вкрадчивым сиреневым голосом.

Мы выходили из заповедника, теряя все истончающийся дурманный аромат, а навстречу нам поплыл совсем иной — грубый, плотский, но по-своему тоже привлекательный запах, будящий древнюю память о насыщении у костра.

Впереди открылась березовая роща; созревшее дневное солнце разбросало палевые пятна по белым стволам, а в кронах зажгло ослепительные дневные звезды. По грозно-изумрудной траве пробегали вороненые отблески. Слева протянулись тяжи голубого дыма, они быстро расплывались, заполняя рощу сухим туманом. Внезапно этот среднерусский пейзаж мощно дохнул восточным рестораном.

Мы сделали еще несколько шагов и увидели: на опушке на огромном вертеле вращалась над костром освежаванная баранья туша, а вокруг набитые раскаленными углями мангалы отдавали свой жар нанизанному на шампура мясу вперемежку с помидорами и головками лука. Смуглые усатые восточные люди в белых колпаках и передниках колдовали над жарящимися шашлыками, опаживая их веерами.

Справа, под сквозной сенью березовых кущ, была разостлана скатерть, уставленная вазами с зернистой икрой, блюдами с лососиной, семгой, балыком; плавали в горчичном соусе миноги, исходил жирной слезой угорь; трепетало коричневое желе вокруг холодной телятины, молочный поросенок закусил веточку петрушки мертвой, иронически вздернутой губой, меж чаш с садиви и лобио высились горы помидоров, огурцов, гранатов, не забыты были заливное из осетрины, копченый язык и сухие чесночные колбаски; лаваш, хачипури и чурек мирно соседствовали с калачами, домашней выпечки пшеничными булочками и бородинским хлебом.

Сервировка оставляла желать лучшего: приборы — не Фаберже, посуда — не Кузнецов, а советское столовое серебро и обычная гжель, но загородной простотой это допускается. И чтобы сразу успокоить читателей, скажу: березовый пикник на берегу сиреневого моря превзошел не только скромное северное застолье дней Анны Ивановны, но и последний пир Валтасара, когда на стене возникли роковые слова: мене, текел, фарес.

Не буду ломаться: я обалдел до полного протрезвления, до какой-то внутренней судороги. Колоссальным усилием воли я взял себя в руки, изгнал из организма скрючивающий сцеп и даже сделал вид — надо полагать, крайне неумело, — будто ничего другого не ожидал, меня всегда и всюду так принимают. Лишь потом я сообразил, что они не поняли бы моего потрясения, для них это было нормой, они и сами так отдыхают и принимают гостей, в которых есть хоть малейшая нужда.

Секретарь райкома был уже на месте. В свежей белой рубашке и туго повязанном галстуке, элегантный, подтянутый, набравший на лоб и скулы нового загара, он просился на обложку мужского журнала, лишь прибавилось горечи в изгибе губ: ведь он понимал, что не так надо принимать высокого гостя, но что поделать — провинция, деревня. В какой-то мере он был прав — икру следует подавать прямо из осетра.

Бывало и снисходительно усмехаясь, я сказал, что восхищен и пейзажем и — хе, хе — натюрмортом, но он оставался безутешен.

Рядом со мной вдруг очутилось, словно родившись из воздуха, дивное существо в узорчатых шальварах, золотых туфельках и тюрбане. Шехрезада? Мне кажется, я не очень удивился бы, окажись она и в самом деле подружкой ночных бдений страдающего бессонницей султана. То была наша верная спутница — юная поэтесса. Она избавилась от своих тяжелых кавалерийских сапог, дала простор узорчатой ткани шальвар свободно струиться на острые мыски золотых туфелек, повязала голову чалмушкой из крашенной в небесно-голубой цвет марли и обрела сказочный экзотический вид. Пленительный, чуть условный Восток Шемаханской царицы.

Она взяла меня за руки и отвела к почетному месту, где высилась гора подушек в полосатых шелковых наволочках. Я опустился на текинский коврик, заботливые руки, с которых отпахнулась воздушная ткань, обнажив их округлую смуглоту, запорхали вокруг меня, даря уют и удобство полулежачего положения, как на пирах олимпийцев. Едва я прилег, все гости по знаку незримого дирижера заняли свои места, правда, на скрещенных по-восточному ногах.

Ухнули тимпаны и литавры, взныла зурна, грянули скрипки, исступленно запели смычки, повара, хлопотавшие вокруг мангалов, разом скинули фартуки,



колпаки, оставшись в черкесках и мягких чувяках.

— Осса!..

Поплыла лезгинка на тонких паучьих ногах. Когда же она достигла неистовства урагана, и казалось, все джигиты падут бездыханными, танец рассыпался, разбежался. Белые фигуры вновь возникли меж едучих дымов, схватили шампуры с шипящим мясом и, выставив их вперед, как пики, кинулись на гостей.

— Это шашлык от поваров,— пояснил мне Главный писатель.— Под первый тост. Потом займемся закусками.

Я бывал за Кавказским хребтом, сиживал на пирах, но впервые столкнулся с таким обычаем; по-моему, тут не обошлось без русской смекалки, освежившей старинные горские обычаи.

Первый тост был, разумеется, за меня. Его сказал молча — глазами, бровями, улыбкой, вклинившейся в страдание губ, первый секретарь. А Главный писатель перевел песнь без слов на бедный человеческий язык:

— За ваше здоровье!

Я только сейчас задумался над этим феноменом: наш хозяин почти не открывал рта за все время моего присутствия в его владениях. Очевидно, в доносах и на допросах значение имеют лишь произнесенные вслух слова, а если их нет, то очень трудно, почти невозможно обвинить в чем-либо человека. Секретарь ни о чем не просил меня, ни на чем не настаивал, ни о чем не спрашивал, он даже не приглашал меня на этот праздник, не обмолвился обо мне ни одним добрым словом, что можно было бы представить как заискивание, моральный подкуп. Он был хрустально чист, скорее гость на скромном литературном пиру, которым решили отметить мою службу области (помимо семинара и перевыборов у меня было два публичных выступления в городских библиотеках), а это в ту пору не только не преследовалось, напротив, всячески поощрялось, ибо делало чуть менее заметным вселенский разгул начальства. А почему именно данный район взял на себя расходы и хлопоты? Об этом никто не спросит, тем более что сиреневый заповедник, равно как и доярочный Китеж-град,— предмет гордости всей области — находятся на территории этого передового района.

Неблагодарная скотина, скажет иной, а то и каждый читатель, представив себе фантастическое застолье с морем разлитым и яствами невиданными: за шаш-

лыком от поваров и холодным последовало жаркое — шашлыки карские и натуральные, цыплята-табака, купаты, люля-кебаб, перепелки на вертеле, осетрина в белом вине, форель; не буду раздражать воображение читателей невероятным десертом, тем более что до него еще далеко в моем рассказе, и вообще, хватит описаний этих пантагрюэлевских гастрономических излишеств в пору карточного, талонного и паспортного питания. Впрочем, с общенародным столом и тогда обстояло неважно, а в провинции не лучше, чем сейчас.

А вот насчет неблагодарности — это зря. Очень даже благодарная скотина объедалась и опивалась под ветвями старых берез, в заплеске сиреневой струи в шашлычно-душную обвонь.

Главный писатель подсказал мне, что надо бы черкнуть пару слов в журнал, потому что при скромности и щепетильности секретаря он никогда не заикнется о тех комплиментах, которые я ему расточал. У меня еще хватило сознания смекнуть, что комплиментов особых я не делал, вообще не делал, хотя и сказал, что можно печатать. Но сейчас уже трудно было заводить склоку вокруг тех или иных формулировок, как-то неловко, неблагодарно да и утомительно, когда в брюхе столько баранины, курятины и рыбы, а в сосудах — коньяка. Я только попросил его написать самому, на подпись у меня хватит сил. Я был похож на девуцу, которая провела с кавалером ночь, но не позволяет поцеловать себя в ухо. Этот последний участок невинности она во что бы то ни стало хочет сохранить. Он не стал спорить, молча протянул мне блокнот и шариковую ручку. У меня и без того почерк куриный, а тут, налитый всклень, я выдал такую каллиграфию, что сам оторопел.

— Ничего, ничего, — хладнокровно сказал Главный писатель. — Только распишитесь почетче. Для журнала мы отзыв перепечатаем, а документ оставим себе.

Меня резануло слово «документ», но тут я уловил такую смертную муку на лице секретаря, что захотелось быть щедрым. Я разорвал листок и аршинными, почти печатными буквами нацарапал то, чего от меня ждали, и лихо расписался.

И тут произошло чудо: одинокая, высоченная до едва слышимости нота пронизала мироздание, стала осью всего сущего, к ней пристроилась другая нота, третья, и вот они уже стали оркестром, странным, отроду не

слышанным мною оркестром, где каждая дудка держала лишь одну-единственную ноту. Боже мой, да это роговой оркестр — древнее, вымершее, забытое русское искусство. Оказывается, оно живо здесь, на этой сиреновой земле, и подарено мне!

Крупная слеза скатилась по моей монгольской скуле, упала на губу, я слизнул, у нее был коньячный вкус.

Боясь пьяной сентиментальности и не желая — чисто по-советски — перебрать по части благодарности, я облек свое искреннее, хотя и с глубоко запрятанной червоточиной признательное восхищение в форму банальной шутки:

— Если б покойный отец меня видел!..

Острым беспощадным лучом в бредовую муть сознания врезался истинный смысл этой расхожей фразы. В самом деле, что, если б меня увидел сейчас мой родной отец — «вечный студент», расстрелянный на берегу Красивой Мечи и утопленный для верности в той же тургеневской реке за сочувствие крестьянскому отчаянию, переросшему в то, что потом называли «антоновщиной»?.. Что, если б меня увидел мой приемный отец — вечный узник, за последние четверть века своей жизни лишь шесть месяцев гулявший на свободе?.. Что, если б меня увидел мой отчим-писатель, которому тридцать седьмой год сломал душу и литературную судьбу?.. Уверен, что каждый из них от души плюнул бы мне в морду, мне, пирующему посреди полумертвой России — без отчаяния, надрыва и муки, хамски спокойного и безгрешного в стане победителей, которым ничего не страшно и не стыдно и от которых я принял причастие дьявола.

Анна Ивановна, Анна Ивановна, грустная районная Мискусь, где ты?..

Мне трудно рассказывать о том, что происходило дальше, ибо я не знаю, что принадлежит съехавшей с рельс реальности и что — белой горячке. Кажется, меня спросили, каких еще мне хочется яств, прежде чем перейти к десерту, и я ответил словами сластолюбивого гоголевского попишки:

— Душа моя взыскует яств иных.

— Каких же?

— Гурий.

Они появились, и начался сон Ратмира. Витало что-то голубое и что-то розовое — из воздушных одежд и нежного тела — и несло в себе музыку, я никогда не видел

гурий и плохо представляю, что это такое, поэтому мои видения были плоски и банальны, как кордебалет. Я пресытился бесформенными грезами, не воплотившись ни в поцелуи, ни в ласки, довольно скоро и вернулся к полуяви с рощей, шашлычными дымами и запахами, с дискретными фигурами над горами еды, то растворяющимися в густом сине-зеленом режущем свете, залившем рощу, то обретающими грубую, пугающую вещественность безобразных карнавальных масок. А музыка превратилась в комариный гуд, и только это принадлежало неподдельной реальности — тучи комаров вились над пиром, но почему-то не кусались. И тут я увидел метелку из жемчужно-серых и черных страусовых перьев, она колыхалась перед глазами, оведала виски, касалась затылка. Нежное опало защищало меня от комаров.

Сперва я решил, что это Шемаханская царица несет службу охраны. Но нет, руки у нее заняты, в одной — фужер с водкой, в другой — кусок осетрины на вилке. Повернуться не было сил, но спина обрела зрение: я видел обнаженную эбеновую рабыню с рыбьей костью в носу и копной сухих черных волос. Серебряные браслеты на тонком запястье сшибались, озвучивая колыхание страусовой метелки. Откуда она здесь? Пленница последней войны района с Берегом Слоновой Кости во исполнение интернационального долга или студентка института Патриса Лумумбы на летней практике? Какое мне дело? Лишь бы отгоняла комаров от моего царственного чела...

Что было дальше — не знаю. Наверное, танцы. Все кончается танцами. Смутно мерещится мне мелькание узорчатых шальвар Шемаханской царицы, змеиные извивы эбенового тела пленницы или студентки, источающего запах мускуса.

Когда меня на руках несли в машину, Главный писатель слицемерил:

— Простите, если что не так.

— Отличный лабардан! — сказал я и окончательно выпал из сознания.

Прошли годы, прошла жизнь, и уже в наше смутное, странное, ни на что не похожее, прекрасное и ужасное время я получил письмо из тех мест, где некогда сеял разумное, доброе, но едва ли вечное, ратмирствовал, внимал роговой музыке, лицезрел гурий, где впервые приблизился к яслям с тучным овсом, замоченным в вине, и сразу опакостил. Конверт был довольно толстый, в нем кроме письма оказался газетный лист с большим интервью и

портретом героя. Я сразу узнал своего литературного крестника, хотя он крепко заматерел с тех пор и согнал горькую складку с губ. И он уже не был секретарем райкома, он шагнул куда выше, но не прямо. Кормушка власти переместилась, и он последовал за ней. В интервью сообщалось, что ныне он председатель облисполкома, к тому же видный писатель, автор нескольких книг.

Я вспомнил о своих семинаристах. Ни один из них не стал писателем, даже талантливый и самобытный, уже печатавшийся в ту пору Петрушка. Ни один даже не опубликовался, а ведь каждый из них был отмечен даром Божиим. Ближе всего к успеху был по праву Петрушка. В том межобластном издательстве, что так старательно обслуживает бывшего районного, ныне областного босса, Петрушке был обещан сборник, затем книга на двоих, затем — на троих, но и эта маленькая на троих не увидела света. Бумага нужна для другого, для высшего. С горя Петрушка женился и запил.

Мелькнула в Москве Жена, прикосновенная через мужа к чертогам власти и потому имевшая шансы издаться. Но и ее связей оказалось недостаточно, чтобы превратить вялое расположение одного из крупных московских издательств в книгу. Об Инженере, Враче, Заводском мастере говорить не приходится. Каждый был слишком вмазан в свою серьезную профессию, чтобы пускаться в странствия за синей птицей литературной удачи. А в родном городе, проведя семинар, о них напрочь забыли, они нужны были только для мероприятия.

Вышел в писатели (стал членом СП) только один, для чего ему хватило написанной куриным почерком у шашлычного костра записки. Хватило, потому что и она не требовалась, просто с нею было удобнее. Но покамест я думал, что дело ограничилось напечатанием двух очерков, хоть и поеживался, не особо страдал от своего низкопробного, но по общим меркам естественного поступка. И вот я читаю в письме: «Довольны Вы своим подопечным? — спрашивал пожелавший остаться неизвестным автор.— С ним Вам повезло, не то что с остальными. Да и что говорить — талант!»

Читать дальше не хотелось. Я пробежал глазами интервью. Очень серьезное, вдумчивое, перестроенное. Ведущая мысль: необходимо всемерно насыщать колхозы техникой. В самый корень беды заглянул, в самое сплетение больных нервов нашей действительности.

Будь у колхозов побольше тракторов и комбайнов, мы бы не завязли в зрелом социализме, а штурмовали зияющие вершины. А вот и о литературе. Где уж тут читать в такое огнепальное время? И писать-то не успеваешь. Но все же при чудовищной своей загруженности предоблисполкома старается следить за периодической и от корки до корки читает наиболее близкий ему журнал «Наш современник». И в художественном, и в социальном, и в идейном, а главное, в нравственном смысле этот журнал наиболее близок его мировоззрению, идеалам и чаяниям. Дальше читать интервью не имело смысла, ничего лучшего добавить к своему символу веры этот прогрессист не мог. И письмо не надо дочитывать, я сам скажу себе все слова, которые, очевидно, приготовил для меня автор.

Нет, я не могу воскликнуть, как Дмитрий Карамазов: «В этой крови я не повинен!» Повинен, дорогие соотечественники, братья и сестры, повинен, господа присяжные заседатели. Каюсь и не буду ссылаться на то, что обошлись бы и без моего участия. Хотя, откажись я написать рекомендацию, нашелся бы не один десяток куда более весомых членов СП, которые сделали бы это с пылом-жаром. Он обречен был на все свои удачи и достижения. Но не будем забывать: если что-то делается Божьим соизволением, то куда больше — людским. И нельзя оправдываться тем, что, мол, не ты, так другой. А если ты откажешься, другой откажется, третий откажется, глядишь, пойдет цепная реакция и пресечется попытка зла?..

Петрушка, Инженер, Врач, Заводской мастер, Жена, простите!..

Жители сиреневой страны, простите!..

Анна Ивановна, Сережа, Трофимыч, простите!..

Ну а как Анна Ивановна, что с ней? Ее сняли с работы. Очень просто, буднично и очень давно, еще до моего вояжа в страну сиреневого ситца. Секретарь обкома сказал: «Анна Ивановна, конечно, старается. Ее район в числе передовых. С ней не задумываясь пойдешь в разведку, на ледовую зимовку, на любой десятитысячник в одной связке. С ней не пойдешь в сауну. А ее район один из самых посещаемых нашими работниками. Мы должны думать о людях».

Она работала там и сям, сейчас на пенсии.



## А ЛЬВА ЖАЛКО...

Давно это было, лет пятнадцать назад или около того, когда нас с женой пригласили на встречу с Чангом. Пригласили соседи по дачному поселку — Дружниковы. Сам Дружников — известный писатель, кинодраматург, его супруга — хранительница домашнего очага, а Чанг — лев, снимавшийся в фильмах Дружникова, к вящей славе для них обоих, а также хозяев Чанга — семьи Бедуиновых. Чанг, ручной, очеловечившийся лев, никогда не видевший пустыни, был равнодушен к славе, но наверняка радовался за своих хозяев, которых любил не меньше, чем Маугли — вырастившую его волчью стаю, и так же считал, что он с ними одной крови. Поэтому лев, еще молодой, но слабый здоровьем, малоподвижный и легко утомляющийся, покорно трясся в самодельном фургоне на съемки и безропотно отработывал бесконечные дубли. Не уверенный ни в себе, ни в операторе, ни в аппаратуре, ни в качестве пленки, режиссер заставлял Чанга страховки ради десять раз совершать один и тот же прыжок. Режиссер был мало сведущ в львиных повадках и считал прыжок наиболее характерной особенностью льва, выражением его сути, как, скажем, у кузнечика, лягушки или антилопы-импалы, и бедному

---

От автора. В основу рассказа положены действительные события. Но это не хроника, не документальная проза, а беллетристика, со всей присущей ей свободой вымысла.

Чангу приходилось без конца прыгать: на стол, на стул, на комод, на шкаф, на крышу автомобиля, в окно, из окна, через ограду, ручей, канаву, овраг. Он приседал, напрягая мышцы задних ног, отчего в крестец впивалось шило, отталкивался и приземлялся на больные, чуть искривленные от рождения передние лапы. Чанг родился рахитиком, дохляком, за что был обречен на уничтожение собственной матерью, стыдившейся и презиравшей этого недоделка, невесть с чего затесавшегося в великолепную шестерку ее первенцев. Новая — человеческая — мать Чанга буквально вырвала его из когтей отторгшей убогого сына львицы. Эта женщина (в медовом мурлыканье маленького Чанга, когда она ласкала его, звучало: «Урча, урча», и постепенно все стали так звать ее) не представляла, какую чудовищную обузу взяла на себя. Вырастить льва в домашних условиях — дело вообще не простое. Особенно когда домашние условия заключаются почти в полном отсутствии их: одна комната в деревянном домишке барачного типа, а в ней семья из четырех человек, не считая собаки. И жить предстояло на одну зарплату скромного служащего. Урча — будем и мы ее так называть — вынуждена была уйти с работы, чтобы целиком посвятить себя львенку. Тяготы усугублялись тем, что львенок был больным и слабеньким, он требовал повышенного внимания (впрочем, кто знает, сколько внимания требует здоровый львенок, выращиваемый в коммунальной квартире на условиях, так сказать, семейного подряда?), неусыпной пристальной заботы, лечения, включая массаж и гимнастику для лап. Льва надо было чистить, обрабатывать ему когти, расчесывать гриву (это уже позже, когда подрастет), поить и кормить по четкому распорядку. Но не стоит все это расписывать: уверен, ни один из моих читателей не возьмет льва на воспитание, особенно если дочитает до конца эту печальную историю, так что не стоит корчить из себя старого львовода.

Трудности усугублялись соседями по дому, сразу возненавидевшими Чанга. Они пытались избавиться от него, подбрасывая ему то булочку с бритвенным лезвием в мякише, то крысиный яд, и бумажными голубями летели во все инстанции доносы на хозяев Чанга, испортивших им жизнь. Конечно, Чанг никому не мешал и никто его не боялся, просто людей томила тревога, вдруг диковинное предприятие Бедуиновых даст навар.

И все же, худо ли, хорошо ли, семья справлялась с



трудностями и, подчинив свою жизнь странному, песочного цвета таинственному существу, стремительно растущему и как бы вытесняющему их из жизненного пространства, уверенно продвигалась к поставленной невесте кем и когда цели: вырастить посреди Советской страны усилиями рядовой, ничем не взысканной семьи самого большого и грозного из всех африканских хищников. Зачем им это было нужно? А разве мы всегда знаем, почему выбираем те или иные пути? Конечно, в иных, не столь уж частых, случаях, когда выбор происходит сознательно, продуманно, мы это знаем, но ведь куда чаще выбираем не мы, а дороги выбирают нас, и темны истоки человеческого предназначения к тому, что оказывается судьбой.

Возможно, указание пришло из бесконечной дали лет: какой-нибудь заблудившийся ген добрался до Урчи через поколения от того христианского мученика, которого пощадил лев на арене Колизея (эту легенду использовал Бернард Шоу в пьесе «Андрокл и лев»), и превратил ее в опекуншу львов. Тогда наследственностью объясняется, почему четырехлетний Урчонок, сын Урчи, и семилетняя Урчона, ее дочь, тоже оказались прирожденными укротителями. Они сразу установили с большим и опасным — сперва когтями, а там и пастью, быстро набравшей острых клыков в мягкую молочную пустоту, — желтым котенком отношения покровительственной, но строговатой дружбы, и царь зверей принял такой порядок вещей, хотя жалки и бессильны были перед ним дети человеческие.

Куда труднее объяснить, почему маленькая, грязно-белая курчавая болонка Рип с огромными коричневыми подглазьями и закушенным розовым язычком тоже оказалась специалисткой по львам. Рип воспринял появление в доме огромного — для него, крошки, — новосела как нечто само собой разумеющееся, хотя и обязывающее, и сразу стал на него полаивать и порыкивать, но не от злобы, а помогая освоиться в новой среде. Малыш Рип сделал больше всех Урчей, вместе взятых, для адаптации львенка, и тот оплатил эту заботу преданностью и любовью. Впрочем, трудно сказать, кто в этой паре любил сильнее: Чанг, вырастая, становился все сдержаннее в проявлении чувств, даже к Рипу, а Рип, простая душа, любил в открытую, не таясь и не стесняясь. Казалось, любовь Рипа возрастает пропорционально росту Чанга. Малыш становился все требо-

вательнее и нетерпимее к объекту своей любви: то и дело обтягивал его, даже покусывал за ноги, разумеется, для пользы Чанга, которую он один лишь знал, никого к нему не подпускал, особенно если тот спал или подремывал. И лев ничуть не сердился на эту мелочную, докучную опеку, он охотно подчинялся Рипу, позволяя делать с собой что угодно. Рип расхаживал по нему, зарывался в гриву, спал у него под лапой — одно неосторожное движение, и от собачонки осталось бы мокрое место, но такое движение было невозможно. Лишь однажды, в начале дружбы, Чанг проявил неосмотрительность в отношении Рипа. Он принялся вылизывать его своим шершавым, как наждак, языком и слизал всю шерстку на спине. А разнежившийся Рип даже не заметил, что облысел. Пристыженный Урчами, Чанг понял, что нанес ущерб другу, и с тех пор стал тщательно соизмерять свою мощь с уязвимостью слабого существа. Он помог Рипу восстановить шерсть, нежно сляюнявя ему спинку мягким подбоям языка.

Чанг, никогда не видевший пустыню и не слышавший рассказов матери, знал откуда-то, что такое пустыня, и, повзрослев, постоянно грезил о ней. Он видел ее такой, какой она и была на самом деле: желтые, в цвет его шкуры пески, когда недвижные, когда шевелящиеся, пересыпающиеся в себе самих, редкие колючки, бездонное, почти бесцветное небо. Видел он и свою слепополуденную гордую тень на песке. Ему хотелось туда, хотя он не мог взять с собой тех, кого любил, за исключением Рипа. Тот вписывался в пустыню не то крошечным шакаленком, не то крупной ящерицей, мгновенно исчезающей в песке.

Мы забыли о главе семьи, приютившей Чанга, а ведь это он, Урч, зарабатывал всем на прокорм. Он спокойно, хотя и с симпатией относился к льву. Урч принадлежал к какой-то странной, редкой кавказской народности, почти вымершей, и привечал лишь тех, с кем можно составить застолье, часами пить сухое грузинское вино. Чанг в рот не брал вина и потому был ему без интереса. Но когда Урч замечал Чанга, в светло-карих шальных глазах его зажигался теплый огонек. Чанг платил Урчу благожелательным равнодушием, но не дал бы его в обиду, поскольку от Урча шел семейный запах.

На зарплату счетовода Бедуинов не смог бы прокормить собственного глиста, не то что семью из шести человек, один из которых лев. Но он чуть не каждый

вечер, независимо от того, было ли застолье или нет, играл в нарды по-крупному и всегда выигрывал. Любопытно, что после застолья он играл еще лучше. И опытные игроки предупреждали новичков: сегодня с Бедуиновым не садитесь, он выпил шесть бутылок кахетинского. Но те все равно садились — уж больно велик был соблазн обчистить шатающегося и орущего песни задавалу, и уходили с пустым карманом.

Чанг жил в своем очарованном печальном мире, где всегда недоставало чего-то самого главного; в младенчестве чувство недосыгаемости было обращено к матери, из которой он пил молоко, бессильно толкаясь в братьями и сестрами — ему неизменно доставались почти опустошенные сосцы; на новом месте, когда он подрос и вкус мяса вытеснил память о материнском молоке, тоска недосыгаемости обрела образ пустыни.

Тоска, когда с нею сживаешься, уже не доставляет страдания, становится окраской жизни, в которой есть место хорошему, радостному. И у Чанга были свои скромные радости: возня с Урчком, хлопотливые пристаивания Рипа, его беспокойный сон в Чанговой гриве, когда он тявкал, рычал, сучил лапками, продолжая нести службу охраны, ежедневные прогулки по двору на поводке, который с гордым видом сжимали в кулачке Урчонок и Урчона, а еще была хорошая порция мяса, вскоре замененного фаршем — у него стали шататься и сыпаться зубы.

Были и занятия докучные, раздражающие: чистка шерсти, расчесывание гривы, подтачивание когтей, росших криво и впивающихся в мясо, промывание глаз, осмотр ушей и зубов. Всем этим ведала Урча, но Чанг был настолько великодушен, что прощал ей все вины, не понимая одного: зачем доброму человеку нужно его мучить.

Прошли годы, и нелегкая жизнь семьи озарилась добрым светом. Урча написала книгу о Чанге, прошумевшую на весь мир. В книге живо и трогательно была поведена история Чанга от горестного младенчества, едва не кончившегося смертью под тяжелой лапой матери, до последних дней, когда Чанг стал большим, могучим и безмерно добрым зверем, ручным, как домашняя кошка или собака. Урча рассказала о его привычках, повадках, времяпрепровождении, о дружбе с детьми и Рипом. Переведенную чуть не на все существующие языки книжку заметили наконец и в

Москве. Конечно, о ней знали, но не было указания сверху, как относиться к самовольному, не санкционированному никем поступку семьи. Быть может, не стоит ориентировать народ на домашнее воспитание львов? Но сейчас последовал благосклонный кивок сверху, и навалом пошли восторженные статьи о смелом эксперименте выращивания льва в тепличных условиях — тот факт, что эксперимент ставился на шестнадцати квадратных метрах, авторы стыдливо умалчивали, но всячески подчеркивали, что такое могло произойти только в Советской стране, исповедующей принципы социалистического гуманизма и интернационализма. В результате стали сбываться дурные предчувствия соседей.

Бедуиновым отдали вторую комнату в их барачной квартире, выселив оттуда какого-то бомжа, не имевшего прописки. Он и прежде редко навещал свое незаконное жилье, а Чанг вовсе отучил запуганного бродягу от гнезда кукушки. В эту комнату перебрались со своими кошмами дети, Рип и Чанг и свободно разместились в лишенном мебели пространстве. Кроме того, Чангу выделили для прогулок участок на задах дома, огорожив железной сеткой и лишив соседей повода к скандалам, и, наконец, его поставили на пайковое довольствие старых большевиков. Он стал получать помимо мяса консервы, докторскую колбасу, печенье пти-фур, сигареты «Прима» и по праздникам бутылку «Столичной».

В дом повадились газетчики. Чанга много фотографировали, чего он не любил из-за пугающей его вспышки, наведальсь и телевидение, а затем наступила очередь кино. Оно появилось без аппаратуры и без всякой помпы в образе элегантного пожилого мужчины с загорелой лысиной и седыми висками, отрекомендовавшегося писателем и сценаристом. Он ошеломил Урчу потрясающим предложением. Да что там предложением, то был пятилетний план артистической деятельности Чанга, включающий два полнометражных фильма, один трехсерийный телевизионный, хроникальную короткометражку «Чанг в кругу семьи» и рекламный ролик. В хронике и рекламе предлагалось сняться всей семье Бедуиновых, а в телевизионном сериале были неплохие роли для Урчонка и Урчоны и даже Рипа. Два сценария уже готовы, Бедуиновы могут ознакомиться с ними, есть и проекты договоров. Эта деловитость, столь не вяжущаяся с образом свободного художника, и то, что представляясь, он назвал лишь имя-отчество без фами-

ции, насторожили Урчу. Она начала плести ахиною: мол, не может ничего решить, не посоветовавшись с мужем (то был день кахетинского и нардов), да и Чанга надо спросить, хочет ли он стать артистом, он ведь домосед, скромник, к тому же слабенький — лапки побаливают, зубочки повыпали, жует, как старичок, мякотькое, промолотое любит, а на съемках кто его обеспечит? Ей самой был противен этот сюсюкающий тон, но она словно защищалась им от нахрапистого незнакомца.

— Мы обеспечим,— спокойно ответил безымянный автор и выложил на стол пачку договорных бланков.— Здесь будут зафиксированы все условия содержания, кормежки, медицинского обслуживания, ухода. Разумеется, вы и ваш муж, если он захочет, будете включены в договор как сопровождающие лица. Точнее, как дрессировщики, укротители.

— Об этом тоже надо подумать, товарищ... ой, забыла вашу фамилию.

Писатель улыбнулся, поняв ее игру, он отлично помнил, что фамилии своей не называл. У него вообще была отменная память, не только художественная, но и деловая, а не назвал он себя из деликатности, чтобы не оглушить милую провинциальную женщину. Но сейчас он открылся.

— Как? — переспросила она.

— Вы меня не читали? — улыбка стала натянутой.

— К стыду своему...— начала женщина.— Чита-ла!..— вскрикнула она радостно, не заметив обидности разорванной фразы.— «Вова на катке» ваш рассказик? У дочки в хрестоматии видела.

— Ну, это не единственный мой хрестоматийный рассказ,— прозвучало неловко и хвастливо, но он не оправился от потрясения.

Недоразумение возникло оттого, что фамилия у него была самая расхожая, незвучная и лишь в сочетании с именем обретала гулкость бронзы.

На другой день Бедуинова пошла в детскую библиотеку и с ужасом обнаружила, до чего же она темная дура. Писатель был один из основоположников, лауреат Государственных премий, заслуженный деятель искусства, член-корреспондент Академии педагогических наук, председатель отроческого фонда стран Азии и Африки...

И началась у Чанга и всех Урчей новая жизнь Счастливая? Если говорить об Урче — он ушел с работы и сопутствовал Чангу в качестве укротителя, — то наисчастливейшая, ибо теперь застолье было каждый вечер, хотя порой без кахетинского и других грузинских вин. Но Урч оказался ценителем не только коньяка или «столичной», а и более грубых напитков вроде «кубанской» или бормотона. В киноэкспедициях бывали всякие обстоятельства — и светлые и темные, но пили при любой погоде. Урч обучил собутыльников играть в нарды, а за науку, как известно, платят, хотя, по совести, он уже не нуждался в приработке. Счастлива был и Урча — и за Чанга, ставшего знаменитым, и за себя, наконец-то полно реализующую свои возможности. Она поднаторела в интервью, в радио- и телевыступлениях, завела множество интересных знакомств, научилась ухищрениям косметики, стала модно одеваться и вдруг обнаружила, что она привлекательная женщина, безотказно действующая на мужчин. Счастливы были и дети — они по месяцам прогуливали школу, к тому же кино — это так захватывающе!.. Счастлив был и Рип, ему прибавилось хлопот по охране Чанга, но в том и состоял смысл его земного существования. Он так налаивался за день, что к вечеру вовсе терял голос, а в сон проваливался, как в смерть, что пугало Чанга, и он несколько раз проверял ночью, дышит ли его маленький друг.

Чанг был несчастлив. Ему тяжело давались переезды в пикапе с надстроенным фанерным домиком и зарешеченным окошком, было душно, тряско, тесно, его укачивало. Если б не поддержка Рипа, отвлекавшего от грустных мыслей и дурного самочувствия, он бы не выдержал. Плохо действовало и нерегулярное кормление, и жажда по утрам и к вечеру, которую он зачастую не мог утолить.

Но еще хуже было на съемках: резкий, обжигающий глаза свет софитов; от которого никуда не деться, разил даже сквозь сомкнутые веки; когда же он наконец погасал, в глаза вплескивалась ночь, а в ней зажигалась слепящая точка. Эта точка, то неподвижная, то медленно наискосок пересекающая тьму, то судорожно мечущаяся, прожигала мозг. А еще его доканывали прыжки. Как болел крестец и передние искривленные рахитом лапы! Его удивляло, что Урчи позволяют так издеваться над ним. Большие Урчи почти не подходили к нему на

съемках, делая вид, будто они не догадываются о его муках. Маленькие и впрямь не догадывались — им было весело, упоительно интересно, а бедняга Рип видел свою единственную задачу в том, чтобы облаивать всех, кто приближался к Чангу. Иногда Чангу казалось, что Рип подозревает неладное, — поднявшись на задние лапки, он облизывал нос прилегшему Чангу с такой щемящей старательностью, словно от его быстрого нежного язычка зависела жизнь друга. Чангу хотелось ответить Рипу той же лаской, показать, что он понимает и ценит его жалкие усилия, но он не решался, помня о том, как облысел Рип от его дружеского поцелуя.

Чанг не жаловался, а ведь жаловаться можно не только презренным скулежем, но и естественно неловой поступью, разлаженностью движений, утомленной позой. Но он был лев, и это обязывало всегда сохранять осанку, гордый вид, оставаться царем вопреки всему. И ослепленный, преследуемый сверлящей мозг точкой, наломанный, измученный Чанг важно и прямо держал голову, делая вид, что вглядывается поверх голов окружающих в недоступную им даль. Напрыгавшийся на съемках до онемения позвоночника, он заставлял себя мягким прыжком вскакивать в пикап, хотя мог бы, пошатываясь, подняться по сходням. И когда он опускался на землю, то не укладывался на бок, что было удобнее его наломанному телу, а сохранял красивую напряженную позу сторожевого мраморного льва с высоко поднятой головой и чуть прихмуренными глазами, зорко обозревавшими окрестность. Он должен был не ронять своего рода, не ронять пустыни, чего бы это ему ни стоило.

А пустыню свою он почти потерял. Для нее нужны не минуты, а долгие часы покоя и сосредоточенности, чтобы ушла внешняя и внутренняя суета, стало свободно и безмолвно, тогда распахнется пространство в застывших волнах песка и чуть различимый горьковатый запах других существ, населяющих мир, затревожит ноздри. К ночи он так уставал, что засыпал раньше, чем являлось видение. Жизнь стала плоской и утомительно беспокойной. Чанг все сильнее привязывался к Рипу, утрачивая другую свою великую привязанность — к Урчонку. В мальчишке появились неприятные черты: он любил показать себя хозяином льва — прикрикивал, иногда замахивался и даже шлепал ладонью по спине, чего Чанг почти не ощущал, но

сознавал как нечто унижающее. Он не позволял себе огрызаться, даже подыгрывал дурачку, что слушается его, но прежний мальчик, простой и ласковый, был лучше.

Тихих минут Чангу хватало лишь на то, чтобы вспомнить, как он лежал на драной кошме в их старом доме или на траве во дворе и грезил о пустыне. И вообще, та спокойная, размеренная жизнь вспоминалась ему как счастье. Но он не разрешал себе показывать окружающим, как ему плохо. Лишь умилительная котячьест, что так долго сохранялась в большом взрослом звере, оставила его, он стал угрюм и царствен, и это делало его еще фотогеничнее. Киношники прямо-таки помешались на Чанге, планируя все новые и новые фильмы с его участием. Большой, чудом отобранный у смерти лев, выращенный энтузиазмом и любовью странных, не от мира сего людей, становился героем пошлой кинематографической Чангианы, привлекавшей интересы многих деловых людей.

...Его привезли на дачу к самому обеду. Можно было въехать на участок, но пикап остановился у калитки, одарив прогуливающих по аллее редким зрелищем. Отпахнулась задняя дверца фанерного домика, встроенного в кузов пикапа, на землю ловко спустился мальчонка лет семи, к нему на руки прыгнула кудлатая болонка, затем мощным мягким прыжком на землю опустился настоящий лев.

Из калитки высыпала группа людей. Они смеялись и хлопали в ладоши, ничуть не опасаясь льва. Они встали шпалерами от пикапа к калитке, и лев двинулся по образовавшемуся коридору. Над калиткой был прикреплен плакат с броской надписью: «Добро пожаловать, Чанг!»

Лев вскинул голову и внимательно посмотрел на приветствие. Задние ноги его чуть подогнулись, и он принялся мощно, как из брандспойта, мочиться. Желтая влага растекалась по желобам и морщинам земли, потом струи слились в поток, устремившийся к ногам встречающих, обратив их в паническое бегство. Чанг пружинно вытолкнул последние капли, распрямился и величественно прошествовал на участок.

Гости, толкаясь, поспешили за ним. Лев направился к купам берез, выбрал освещенный солнцем пяточок и улегся, раза два зевнул, показав гнилушки испорченных зубов, и смежил веки. Тут же к нему скакнул Рип и



устроился в ущелье меж толстых лап; из-под грязноватых кудряшек сверкали охраняющие глаза. А в гриву Чанга зарылся Урчонок, вызвав стремительный прорыв из толпы гостей увешанной аппаратами фотокорреспондентки. Она собиралась заняться съемкой позже, но ведь нельзя же пропустить такой кадр. Мальчонка, видать, многому научился за свои кинематографические дни. Делая вид, что не замечает упражнений толстой фототетки, он принимал самые картинные позы, то разваливался на спине Чанга, то садился верхом.

Гости млели в первом, каком-то неуверенном восторге, соревнуясь в банальностях. Впечатление было такое, что большинство считало льва фикцией, предложением для встречи. Знаете, как приглашают: «Приходите, будет Пугачева», «Приходите, нас посмешит Хазанов», «Приходите и не падайте в обморок — мы ждем Паваротти». Попробуй не откликнуться, хотя каждому ясно: в последний момент досадное недоразумение помешает приезду суперзвезды, но все равно останется чувство эфемерного соприкосновения с прекрасным, некий эстетический навар. А сейчас Хазанов — Пугачева — Паваротти явился, он лежал посреди сада, свободный, никем не охраняемый, грозный царь пустыни, символ той могучей силы, имя которой природа, чьи последние бастионы разрушает человек, дабы прекратить жизнь во вселенной.

Мы с женой попали на торжественный обед, посвященный Чангу, как я понимаю, случайно. Мы были в добрых отношениях с хозяевами, но ни визитами, ни праздничными открытками не обменивались. Откуда-то стало известно, что цель встречи вовсе не рекламная — это походя, а гуманная: помочь Чангу. Живущий в нашем поселке крупный номенклатурный работник, в прошлом сталинский волевой министр и сейчас тоже почти министр, но в более либеральном духе, пригласил на встречу одного из столпов режима, всеильного в мире материальных ценностей Ивана Ивановича Бабенышева — назовем его условным именем, ибо великий человек жив и может схватить нас за руку, если что окажется не так. Странное дело: участвуя бесконечно долго и старательно в разрушении страны, он чувствует себя в полной защищенности, безгрешно и улыбочиво рассыпает интервью и даже консультирует кооперативную фирму, которую не остерег его плачевный опыт в масштабе государства.

Он должен был обеспечить Чанга новой квартирой, спецпайком на уровне республиканской высшей номенклатуры, мини-автобусом «рафиком» и местом на морском пляже — город Чанга находился на одном из исчезающих морей.

Кто-то пронюхал, что великий человек не считает эти требования чрезмерными и даже сказал с присущим ему добрым юмором: «Нас много, а Чанг один. Создадим ему условия». Сейчас требовалось одно, чтобы он почувствовал поддержку писательской общественности, творческой интеллигенции. Зачем это было нужно человеку, который распоряжался экономикой всей страны, непонятно. Но и на вершине власти идут свои таинственные игры. Он мог свободно оставить без горючего целую республику, лишит угля металлургию Урала, это никого не волновало, но за лишний килограмм костей Чангу грозил «вызов на ковер». Этот изящный оборот административного словотворчества неизменно вызывает в моем воображении дореволюционный цирк и того, «кто получает пощечины», — коверного клоуна с красной бульбой носа, в рыжем парике, пестрых штанах и громадных ботинках. Его бьют все кому не лень, он падает бульбой в ковер, в пропахшие зверьевой мочой опилки арены, в вытертый бархат барьера. Мне казалось, что сходным образом поступают с провинившимся чиновником. Бабенышев хотел помочь Чангу, но так, чтобы не расплачиваться за свой гуманизм получением пощечин, вот он и решил подкрепится писательским авторитетом. Предположим, вызовут его на ковер:

— Ты что, сволочь такая, кости разбазариваешь? — накинется Генсек.

А он эдак с улыбочкой:

— Писательская общественность потребовала, хе-хе! Куда деваться? — И разведет беспомощно руками.

И Генсек, поласкав ладошкой профиль Ленина на золотой лауреатской медали, вспомнит, что он сам из этих проказников, и промурлыкает хитровато:

— Да-а, с писателями лучше не связываться. Мы такие!..

И отпустит с ковра на пол, к вящей злобе Главного идеолога, которому вечно не хватает крови.

Конечно, нужно было создать достойное окружение Бабенышеву, но с этим оказались сложности. наших знаменитых поэтов хозяин решил не звать, ибо пони-

мал, что вечер Чанга неизбежно превратится в вечер Антокольского, или Кирсанова, или другого витии, умеющего слушать лишь самого себя. Из прозаических первачей двое на дух не переносили хозяина дома и были слишком эгоистичны, чтобы поступиться своей ненавистью ради льва, третий же был так упоен собственным величием, что само предложение участвовать в застолье, где ему отводилось третье место (после Бабенышева и льва), почел бы смертельным оскорблением.

Но оставался главный, сверхведущий, хотя и малость пощипанный в неуважительные времена хрущевской оттепели, но все равно самый близкий и желанный любому начальству, — Константин Симонов, и он милостиво согласился прийти. Я знал, что он надует. Симонов никогда не подписывал коллективных заявлений и никогда не участвовал в несанкционированных мероприятиях. Даже присутствие промышленного босса не возносило в чин дозволенного наше экстравагантное сборище. Не было должной серьезности ни в поведении, ни в герою встречи — вынужденном на волю и расконвоированном льве. Если перевести в слова смутные опасения перестраховщика, получится следующее: да, его выпустили из клетки, но не реабилитировали официально, и вообще, все, что с ним творят, сплошная самодеятельность, своеволие, несогласованность, неуказанность, кто знает, как на это посмотрят там. И компания не проверенная, смешанная — с бора по сосенке, и зачем после добровольной среднеазиатской ссылки, когда дела опять пошли в гору, ставить себя под удар из-за какого-то паршивого льва? Константин Михайлович был физически храбрым человеком: спокойно оставался на НП полка во время боя, летал на военных самолетах, не терял головы под бомбежкой и артобстрелом, первым вбегал на разминированное поле, но в общественном смысле отличался крайней робостью и законопослушанием.

Я сказал хозяину дома: «Симонов не придет». Тот побледнел: «Он обещал, подождем еще». — «Напрасно. Борщ остынет». Он поглядел на меня ранеными глазами и побежал на кухню советоваться с женой.

И все-таки в глубине души он был готов к тому, что Симонов не придет. Я был приглашен на подмену, как и два других писателя из нашего поселка. Один из них пользовался славой на рубеже пятидесятых и шестиде-

сятых годов, потом вдруг исчез из литературы. Как потом выяснилось, он не хотел приспособливаться и писал в стол. Гласность рассекретила два его талантливых романа, созданных в самоизоляции. Но ведь и гениальный «Чевенгур» не сработал на ту мощностъ, которая была в него заложена в пору создания. Литература, увы, живет по правилу: дорогá ложка к обеду. Другой писатель тоже знал успех — и романый, и драматургический, но было бы преувеличением сказать, что его слава легла «на стекла вечности». За моими плечами истаивал шум, поднятый «Председателем», но фильм давно сошел и, кроме того, никогда не нравился начальству. Все мы были доярками-подменщицами. Можно найти более величественный образ. Когда в бою под Эслингом пал Ланн — едва ли не самый крупный наполеоновский маршал, это высшее воинское звание было присвоено Мармону, Макдональду и Груши. Армейские остряки шутили: это та мелочъ, на которую разменяли одного Ланна. Мы были той мелочью, на которую разменяли одного Симонова.

Ничего не попишешь, опера пошла со вторым составом. Застолье скрашивала россыпь писательских вдов, какие-то юные приживалки и представительницы прессы в расцвете лет. Слава богу, лев не вызывал никаких сомнений. Правда, о нем как-то подзабыли в разбеге застолья.

А он и не претендовал на внимание. Стоило откинуться и глянуть за спины пирующих, в окне между цветочными горшками можно было углядеть желтое пятно, над которым мелькал желтый жгут с кистью: Чанг отмахивал хвостом слепней. А ведь он действительно совершенно свободен, мелькнуло испуганно, с какой-то темной замирающей надеждой. Ничто не мешает ему прийти сюда и перепластать нас всех своей могучей лапой. И это будет справедливо, хотя мы собрались тут выбить для него паек, машину, добавочные квадратные метры и клочок морского берега. Но стоило бы посчитаться с нами за киносъемки, телевидение, рекламу, за всю кутерьму вокруг печальной львиной тишины.

После того как мы выпили за Бабенышева с супругой, за Министра с супругой (у таких людей жен не бывает, только супруги), за Бедуиновых, за Хозяина и Хозяйку, настал черед выпить за здоровье Чанга. Это

послужило переходом к главной части празднества. — Урча начала свой рассказ о воспитаннике семьи.

Наверное, она щедро черпала из своей книги, которую никто, кроме Хозяина, не читал, возможно, она это уже не раз рассказывала в разных аудиториях, но все равно, артистически номер был выполнен на высшем уровне. В конце концов, все талантливые эстрадники, работающие в разговорном жанре, не являются импровизаторами, говорят чужой текст, что не мешает слушателям переживать, радоваться или печалиться, плакать или смеяться. Когда она говорила о том, каким жалким уродцем уродился Чанг, в глазах ее заблестали слезы, и верю, что она вкладывала в свои слова истинное переживание. Когда она рассказывала, как мать-львица хотела его уничтожить и уже подняла над маленьким тельцем страшную лапу, слезы выкатились на побледневшие щеки. Послышался влажный всхлеб, звякнули сережки жены Министра — так резко наклонила она голову. Я посмотрел на жесткое, ограниченное эпохой и зловецей близостью к пику власти лицо ее мужа — глаза воспалены, хрящеватый нос странно дергается — он плакал.

Не оставалось сухих глаз за столом, но никто не плакал так истово, как Бабенышев; навзрыд, всем своим широченным размягшим лицом, по-крестьянски громко и открыто.

Мне вспомнилась история, случившаяся с ним недавно в Японии. Это был один из тех вояжей, которые, по идее, должны принести нам неслыханную промышленную выгоду, но неизменно кончаются пшиком по самым разным и непредсказуемым причинам. То мы вдруг разрываем договор (хладнокровно уплатив чудовищную неустойку), потому что премьер-министру страны-партнера нравится «Доктор Живаго» или он имел неосторожность принять израильского лидера. Станным образом эта политическая чувствительность сочетается с предельной терпимостью в отношениях с наиболее страшными режимами. Массовое истребление коммунистов в Ираке не повлияло на преданную дружбу нашу, мы единственная страна, оставшаяся до конца верной людоеду Иди Амину, которому на ужин готовили членов его кабинета.

Во время протокольного братания с трудолюбивым японским народом (все народы трудолюбивы, все армии непобедимы) какой-то безумец-патриот пронзил грудь

Бабенышева картонным мечом, выразив тем самым протест против аннексии Курильских островов. Со времен блоковского «Балаганчика» известно, что пронзенный картонным мечом исходит клюквенным соком. Но даже капельки алой не выступило на белейшей рубашке советского посланца, нанизанного на поддельный самурайский меч. В Японии распространился слух, что он робот и что роботы управляют гигантской страной, раскинувшейся от Атлантического до Тихого океана. И это, мол, многое объясняет в тайне внешней политики Советского Союза, в тупом и вредоносном нежелании сверхдержавы расстаться с несколькими незаконно присвоенными крупницами чужой земли.

Какая чушь! Разве бывают рыдающие роботы? Добрый, теплый русский человек, исполненный глубокого сострадания к малым мира сего. Да будь его воля, он бы давным-давно отдал япошкам Курилы.

— Ну вот, — прозвучали последние слова Урчи, — все горести остались позади. Чанг выздоровел, вырос, стал большим, красивым, добрым зверем. Нет, не зверем! — оборвала она себя почти гневно. — А членом нашей семьи.

— Членом всей нашей советской семьи, — поправил Хозяин дома.

— Всё вы хорошо говорили, — утирая красные глаза, но сурово произнес Министр, — а под конец слицемерили. Не остались трудности позади. Неужели ваши жилищные условия достойны льва? А страшная повозка, в которой Чанг задыхается? А то, что он, обитая на море, не может окунуться после трудового дня? А с питанием у него все в порядке? Получает ли он достаточно белков и углеводов? Чанг выращен вами, честь вам и хвала, но он принадлежит державе и обществу.

Чета Бедуиновых повесила головы под градом справедливых упреков. Высокий гость перестал сочиться, а на широком круглом лице его появилось хитроватое выражение. Он понял, что это подступ к просьбам. Да нет, все было заранее обговорено, иначе он просто не поехал бы сюда. А хитроватый прищур — игра: он притворялся смекалистым мужичком, сразу почувывшим, откуда ветер дует. Потом в писательской среде будут долго пережевывать подробности и тонкости его поведения. И Бабенышеву не откажешь в артистизме. Судьбою Чанга распоряжались артистичные натуры.

Включилась еще одна артистка — Хозяйка дома с миловидным кукольным лицом и льяными волосами. Округлив васильковые глаза и смяв жалобной гримаской рот, она сказала каким-то древним голосом:

— Давайте поклонимся в ножки нашему благодетелю и попросим всем миром за Чанга.

Она отвесила земной поклон Бабенышеву, коснувшись рукой пола.

— Какая женщина! — горячо дыхнул мне в ухо сидящий рядом Бедуинов.

— Советская власть не обеднеет, если поможет льву, — резко сказал Министр, последовательно ведя партию суровой, чуть зашоренной принципиальности.

— Надоть, надоть помочь львенку! — нарочито простонародным говором пропел Бабенышев и вдруг сменил тон: — Большое патриотическое дело сделали вы для страны, товарищи Бедуиновы. Ваш эксперимент обогащает науку. И важно, что он поставлен именно у нас. Вопросы с жилплощадью, питанием, транспортом, оздоровительным моционом подняты своевременно. Я попрошу Омара Стихивича, думаю, что он мне не откажет.

— Вам отказать! Кто может вам отказать? — вскричала Хозяйка, словно безотказность республиканских руководителей в отношении Бабенышева коренилась в его личном обаянии, а не в том, что он распоряжается всеми промышленными ресурсами.

Можно было не сомневаться — если даже Омар Стихивич принципиальный противник выращивания одного отдельно взятого льва в условиях одной отдельно взятой семьи, он не откажет такому просителю, как Бабенышев.

Все захлопали, а Хозяйка кинулась к Бабенышеву и поцеловала его в лысину.

— Какая женщина! — вскричал Бедуинов и железной рукой, будто клешней, впился мне в колено.

Застолье развалилось. Проблема с Чангом была решена, и у гостей оказалось много частных интересов, не имеющих отношения к главной теме. Бедуинов обцеловывал руки Хозяйке, якобы в порыве благодарности. Приживалки шушукались, хихикая. Фоторепортер перезаряжала «лейку» в мешке. Писательские вдовы пытались вовлечь в свой щебет номенклатурных дам. Бабенышев и Хозяин пошли проведать Чанга. Я потащился за ними.

По мере того как мы подходили к Чангу, шаги произвольно замедлялись. Лежащий посреди сада, на солнечной поляночке, лениво и холодно жмурящийся лев внушал трепет. Вдруг из его гривы с захлебистым лаем выскочил Рип. Лев будто лишь сейчас обнаружил наше присутствие и медленно повернул голову.

— Не разорвет? — спросил Бабенышев.

— Ну, что вы! — чуть фальшиво вскинулся Хозяин. — Чанг добрый, Чанг — умница! — завел он льстивым голосом.

Бабенышев внимательно поглядел на него.

— Я не о Чанге.

— Ах, Рип!.. Замолчи, негодник!.. Иди к дяде на ручки!..

Рип твякнул на него персонально, презрительно отвернулся и лег меж лап Чанга. Моторчик внутри него вырабатывал бесконечное «х-р-р-р!».

Подошла фотокорреспондентка и стала общелкивать нас на фоне Чанга.

Завершился вечер, как полагается, танцами. Бабенышевы убыли, Министр с женой последовали их примеру, и все раскрепостились. Хозяйка поплыла в русской, а Бедуинов носился вокруг нее с фруктовым ножом в руке и хрипло кричал: «Осса!» Он казался себе джигитом.

Урча углубилась в разговор со смазливим администратором киногруппы, который уговаривал взять его в качестве помощника укротителя. Она смеялась русалочьим смехом. Появилось много непонятного народа. Откуда взялись все эти люди? На кухне их, что ли, держали до отъезда чистой публики? Тут были второстепенные киношники из съемочной группы, соседи, недопущенные к столу, просто уличные прохожие, посчитавшие явление льва началом эры вседозволенности. Новые гости вели себя очень раскованно, хватали со стола закуску, дохлебывали водку и вино. Хозяева не возражали. Одержанная победа располагала к благодушию.

Поддавшись общей бесшабашности, Урчата носились по саду, орали, пели, кочевряжились, а за ними с сердитым лаем едва поспевал Рип, которого их поведение явно шокировало.

И величаво, безучастный к человеческим радостям, человеческой корысти, игре бурных и тайных страстей, лежал в солнечном пятне Чанг. И вдруг по сердцу полоснуло: до чего же он незащищен!..



Помните кинохронику: посещение Н.С.Хрущевым и Н.А.Булганиным английской королевы? Незабываемые кадры! Они были во фраках, при пластронах и в цилиндрах. Кошмар всей жизни Булганина — его дворянское происхождение. Статный по природе и воспитанию, он сутулился, гнулся в каких-то любезных до приниженности полупоклонах, ничего не помогало: порода брала свое. Не помогало и то, что по мере его возвышения социальное происхождение угодного Сталину аристократа неуклонно понижалось. Это можно проследить по энциклопедиям и справочникам: сын железнодорожного инженера (на самом деле его отец принадлежал к начальствующему составу) превратился в выходца из рабочей семьи, с намеком, что он увидел свет в депо. Но все равно он оставался слишком отличным от окружающих его лапотных людей и тосковал. Его благообразное лицо было исполнено вечной грусти. И вот пришлось надеть фрак и цилиндр, и порода, неведомо для него самого, поперла наружу. Как шел цилиндр к его седым волосам и остроконечной бородке, как дивно обтягивал фрак аристократический костяк, как веяло благородством от каждого движения, жеста, поворота. И до чего же неправдоподобно смешон был рядом с ним Никита Сергеевич! Если напялить цилиндр на голую задницу, она не будет столь комична и нелепа, как блинообразная физиономия с оттопыренными и загнутыми под тем же цилиндром ушами. Остальной структурой Никита Сергеевич напоминал беременного пингвина. Видимо, ощущая свою неполноценность, Хрущев в беседе с английской королевой был поначалу непривычно суетлив и не уверен в себе. Это видно с экрана. А вот что рассказывали очевидцы высокой встречи. Поддавшись, по обыкновению, бесу словоблудия, Никита Сергеевич все время искал поддержки у своего элегантного и столь уместного во дворце спутника:

— Ваше величество,— говорил Никита Сергеевич, прижимая руки к пластрону,— вот Николай Александрович не даст мне соврать.

— Почему он все время ссылался на этого красивого и молчаливого человека? — удивлялась после аудиенции королева.— Они что там, у себя, врут на каждом шагу?

Так вот, я воспользуюсь ораторским приемом Никиты Сергеевича — жена не даст мне соврать, что перед уходом из гостеприимного дома я сказал:

- Это добром не кончится.
- Что ты имеешь в виду?
- Не знаю. Но сейчас завязывается что-то ужасное.
- Пить надо меньше, — сказала жена.

Но уже через два дня она вспомнила мои вещие слова. Позвонила Хозяйка дома, где мы гуляли, и сказала, рыдая:

— Чанга убили.

... Для временного проживания семьи и льва студия сняла часть пустующей в летние каникулы школы на тихой зеленой улице, неподалеку от «Мосфильма». Льву отвели просторный физкультурный зал на первом этаже, семья разместилась в классах над ним. Это случилось во время обеда. Потрясение от триумфального вечера, великодушия Бабенышева и дарованных благ не только не прошло, но вылилось в блаженную эйфорию, когда мир становится прекрасен и сказочен, а ночное небо — в алмазах. На обеде присутствовала вся семья и ближайшие друзья из киногруппы. Ждали Хозяйку. Бедуинов то и дело бегал звонить в учительскую. Хозяйка отделялась смутными обещаниями вырваться. Она не любила пьяных застолий, если они не служили великой цели, к тому же догадывалась о кавалерственных намерениях горца и не хотела их поощрять. Слушая хриплый взволнованный голос, она закатывала кукольные глаза и отвечала заманчиво-обещающим таинственным голосом:

— Стараюсь, Джани, стараюсь...

Вешала трубку и тут же выбрасывала из головы настойчивого кавалера — до нового звонка. Она была неутомима в служении мужу и семье, готова все сделать для Чанга, на чьих упругих ребрах держалось благополучие торгового дома, но не собиралась ради этого принимать ухаживания неистового джигита. Предчувствие беды не проникло в спокойно дышащую грудь. Что бы ей приехать!..

Бедуинов скрипел зубами, возвращался к столу, опустошал рог пенного вина, пел горскую песню о соколе, потерявшем подругу, и тут радость вновь охватывала его не иссушенную долгой унылой жизнью душу, он сажал дочь на закорки и скакал по классу, дразнил жену, продолжающую тихие переговоры со смазливим администратором, метящим во вторые укротители, и праздник звенел дальше.

О льве все забыли. Впервые с тех пор, как маленькое желтое тело, завернутое в одеяло, оказалось в доме. Он всегда был тем центром, вокруг которого вращалась жизнь семьи. Но герои устали от вечного напряжения и устроили перекур.

Чанг лежал в физкультурном зале, дованивающим старой дезинфекцией, ножным потом и летней пылью. Зал был пуст, если не считать сваленных в углу пыльных матов, шведской стенки и коня с ободранной дерматиновой шкурой. Лев скучал, иногда чихал от пыли и не мог взять в толк, почему его все покинули, даже верный страж Рип. А бедняге Рипу сказочно повезло, впервые в жизни он получил сахарную косточку, и перед таким даром не устояло его преданное сердце. Жалким зубишкам не совладать было с крепким мослом, но даже притворяться, что ты грызешь — что может быть упоительнее? И он мусолил, покусывал кость, скреб ее клычками, волтузил по полу, чуть все зубишки не обломал и был счастлив древним собачьим счастьем. И все же Рип вспомнил о Чанге, выбрался, спотыкаясь, с костью в коридор, чтоб не украли, и со всех ног помчался в физкультурный зал. Чанг лежал спокойно и глядел в окно. Рипа он даже не заметил. Тот вернулся к кости, из последних силенок втащил ее в класс — чувство признательности требовало расправиться с ней на глазах щедрых дарителей.

Чанг мог бы и сам навестить пирующих, но он не выносил запаха спиртного. По этой причине он несколько охладел к Урчам, ведь даже Урчатам давали пригубить сладкой хванчкары. К тому же он на дух не терпел киношников, даже если от них не пахло сивухой, что случалось редко. Они были слишком шумны и размашисты для сдержанного, воспитанного льва.

Чанг предпочитал одиночество. Пустыня не возвращалась в эти первые тихие дни после отъезда из дома. Пространство зала источало сильные и недружественные запахи, немногочисленные предметы, находившиеся в нем, были чужды и непонятны.

Лев с усилием поднялся, перетерпел короткую боль в крестце, потянулся и подошел к окну.

То, что он увидел оттуда, заинтересовало его: через решетчатую ограду, окружающую школьный участок, перелезал парень в полосатой рубашке. Полосы были продольные — черные и белые; какой-то генетической памятью Чанг вспомнил зебру, которой никогда не

видал, поскольку не посещал ни цирка, ни зоопарка. Полосатый визитер привлек его некоей прародностью. Он мотнул головой и ненароком толкнул раму. Окно отворилось.

Парень прыгнул на землю, присел, огляделся и затрусил по асфальтовой дорожке к диким яблоням, усеянным маленькими твердыми незрелыми яблочками. Чанг вскочил на подоконник и прыгнул на землю. Никаких враждебных намерений у него не было. Им двигало любопытство. Познакомиться хотелось.

Но сперва познакомимся мы с этим новым антигероем, появившимся в нашем рассказе. Это был студент строительного института. Разумеется, комсомолец. Не москвич. Жил в общежитии. Сейчас находился на каникулах между сенокосом и жатвой. С пустым карманом — выпить не на что. А хорошо бы освежиться холодным пивком в жаркий московский летний день! Но с этим глухо, и он просто шел. Гулял. В голове не ютилось ни одной мысли, пустая емкость гудела. И вдруг он углядел сквозь решетку дикие яблони. Ему ужасно захотелось отведать яблочка. Он знал, что оно будет каменно-твердым и таким кислым, что сведет скулы. В деревенском детстве привык он отряхивать соседские яблони и портить желудок незрелыми плодами. Случалось и дизентерией расплачивался за свои шалости, но ничто не могло остановить лакомку. Удовольствие от кражи, нарушения закона и уязвления ближнего распространялось на мерзкий продукт.

Он увидел зеленые яблочки, и сразу челюсти затеснило предчувствием кислоты, заурчало в желудке, готовом к отравлению, и пустой тяжелый котел на плечах полегчал — в нем образовались какие-то связи, сцеплялись шестеренки зачаточного мышления.

Как все переменчиво! Шел дореволюционный студент по Москве и нес в себе целый мир. В мире этом рвались бомбы и опрокидывались кареты, залитые кровью санных супостатов, взвивалось алое знамя над баррикадами, гремели выстрелы, позвякивали кандалы, пуржило над каторжной Владимиркой — дорогой в один конец, звучали «Варшавянка», «Гаудеамус» и «Быстры, как волны, дни нашей жизни...», грешное, но милое создание усаживалось за швейную машинку, купленную в складчину нищими благодетелями в потертых тужурках, Маркс спорил с Гегелем и клал его на лопатки, рвали душу больные строки умирающего Надсона,

Шалаяпин гремел «Дубинушкой», Рахманинов взвихрялся «Весенними водами», и не перечислить всего, что тревожило, будоражило, терзало, воспаляло и поднимало на подвиг чистую, восторженную, наивную, глубокую и по-молодому глупую, но всегда героическую душу российского студента. А его сверстнику и коллеге эпохи зрелого социализма хотелось лишь наворовать кислых яблок в школьном саду и вознестись орлом над унитазом с оторванной крышкой в страшной, как ад, уборной студенческого общежития.

Он приближался мелкой рысью к своей высокой цели, как вдруг ощутил по холодку в вороватых лопатках, что его преследуют. Он оглянулся, готовый увидеть дворничиху, сторожа-инвалида, дежурную учительницу, пионера, комсомольца, последнее было хуже, ибо грозило мордобитием, а студент, надорвавшийся в детстве организм бесчисленными расстройствами, не отличался ни отвагой, ни бранной силой,— итак, он оглянулся и увидел льва.

Он закричал, сперва тихо и тонко, потом душераздирающе, и помчался по дорожке, оставляя за собой мокрый след. И Чанг прибавил хода, перешел на мягкие скачки, радуясь неожиданной милой игре.

Тут на арене появляется новый персонаж — носитель рока. Судьбе было угодно, чтобы в эти минуты мимо школьного двора проходил младший лейтенант милицейской службы Глотов, о котором в участке, где он служил, существовало единое мнение: глуп до изумления. Как покажет будущее, сослуживцы глубоко заблуждались. За отсутствие ума они принимали обескураживающую неразвитость, глухое невежество. Кроме устава, приказов и вывесок, Глотов ничего не читал. В детские годы его обошли стороной даже те книги, которых не минует ни один «хомо советикус», вроде «Как закалялась сталь» или житийной литературы о Павлике Морозове. Необразованность, невежество ничуть не мешали его неспешному продвижению по службе, искупаемые с лихвой другими достоинствами: он был смирен, аккуратен, исполнительен и до обожания любил начальство. К тому же отличался в тире, его «макарка» бил без промаха. Он долго и трудно добирался до первого офицерского звания, но, получив его, засиял от счастья, как новый гривенник. Больше ему ничего не нужно было от жизни: только бы носить хорошо пригнанную и отутюженную форму, зеркально

сверкающие сапоги, выполнять несложные служебные обязанности, по вечерам сидеть в компании за накрытым столом — в одной руке рюмка, другая под юбкой у соседки, а по выходным всаживать пулю в пулю на стрельбище. Жизнь была столь невообразимо прекрасна, что с простодушного лица его не сходила румяная белозубая улыбка, в которой проглядывало даже что-то ужасное, как в гримасе человека, который смеется.

И вот этот счастливый, исполнительный и меткий милиционер увидел льва, преследующего парнишку в полосатой рубашке. Если б он читал, хотя бы просматривал газеты, то наверняка бы догадался, что перед ним знаменитый Чанг, ручной лев и киноактер. Редкий номер «Вечерки» выходил без материалов о Чанге, который сравнился в популярности с Юрием Гагариным. Шевелись извилины в его безмятежном мозге, он смекнул бы, что по Москве не бегают дикие львы и тем более не выбирают для проживания закрытые школьные дворы. Короче говоря, будь у него зачаточное сознание, Чанг остался бы в живых. Но этот милиционер по уровню развития и осведомленности был равен яблочному студенту и не задумываясь выполнил свой долг.

Первая пуля попала Чангу в задний проход и пронизала насквозь мягкие ткани, пробив кишечник, желудок, пищевод, уже на излете вышибла слабые зубы и упала с разорванной губы. То не был мгновенно убивающий выстрел, и Чанг, будто нанизанный на раскаленный шампур, испытал вместе с невыносимой болью изумление, обиду и унижение. Он не знал такого обращения даже в последнее плохое время, за что, за что с ним так?.. Чувствуя, что весь наполняется горячей жидкостью, Чанг обернулся к обидчику, и вторая пуля вошла ему в ухо, разрушив мозг. И тут вернулась пустыня, и чье-то гибкое тело цвета песка метнулось к нему — не опасностью, а спасением. «Мама!» — успел сказать Чанг.

Пирующие услышали выстрелы, но не встревожились, принадлежа инерции праздника. Потом смутное беспокойство толкнуло Урчонка к окну. Он посмотрел вниз, вдаль, налево, словно подчиняясь тайному запрету не смотреть туда, где на асфальтовой дорожке лежал труп Чанга. Но прежде чем отойти от окна, все-таки посмотрел направо.

Они прибежали к убитому льву, не веря в окончательность несчастья, которое невозможно было вместить

в душу, еще наполненную радостью и торжеством. Натура человека пластична, но не до такой степени. Налитые коньяком и сухим вином, набитые шашлыками, курятиной в ореховом соусе, луком и фасолью, осоловелые, все еще во власти надежд и проснувшейся жажды греха, в готовности к неизведанным наслаждениям, они не могли поверить, что вифлеемская звезда погасла, едва загоревшись, и не будет чуда, искупления и новой веры, и они отброшены назад, во тьму и рабство духа. На асфальте была кровь и желтые брызги мозга, но безусловные, грубые приметы смерти не убеждали в ее окончательности. Казалось, все еще поправимо, надо только очень постараться. Лишь Урчонок зашелся в страшном заикающемся плаче-крике.

А Рип, тряся грязными кудрями, облаял Чанга, последними словами обложил, что тот вздумал так отвратительно притворяться, даже хотел укусить за лапу. И тут правда вошла запахом смерти в его кожаный нос. Он заскулил, упал на брюшко, пополз к Чангу, задние ножки его волочились, как перебитые, добрался до морды, лизнул, дернулся и умер.

Это была первая, но не последняя смерть, вызванная кончиной Чанга.

Непосредственный виновник происшедшего дурак студент уголовной ответственности не подлежал. Но, боясь, как бы ему не начали клеить дело,— лев небось громаднейших денег стоит,— он предпочел смыться. Конечно, его быстро отыскали и впяли пятнадцать суток за хулиганство, предварительно набив морду в отделении. А меткий стрелок не думал бежать, поскольку действовал по уставу и рассчитывал если не на материальную, то на моральную награду. К тому же надо было составить акт. Из этого ничего не вышло. Обезумевшие люди сорвали с него фуражку, оплевали новенький, с иголочки мундир, а мальчишка укусил за ногу, порвав клычком хромовую кожу сапога.

Но эти потери оказались чепухой по сравнению с тем, что его ждало в отделении. Начальник, пожилой, усталый подполковник с седой головой, в отличие от своего подчиненного, газеты читал, знал о радении вокруг одомашненного льва и даже слышал краем уха, что царю зверей цари человеческие оказали высокое покровительство. Он хорошо представлял себе тяжелые последствия метких выстрелов. Затронуты интересы писателей, киношников, телевизионщиков, журналистов,

самой кляузной публики. Его старая мудрая бабка говорила: «Не трожь дерьма, оно завоняет». Если же насчет мецената правда, то дело вовсе дрянь. Младшего лейтенанта разжалуют — так ему и надо, его начальнику тоже не сносить головы, но пятно ляжет на всю милицию, на министерство, от этой мысли слабеет мочевого пузыря. Подполковник высказал полумертвому от ужаса Глотову все, что он о нем думал:

— Где ты живешь, дубье стоеросовое, кретин-гигант, что ты не слышал об этом льве? Все газеты трезвонят, радио орет. Хорошо, если тебя, гниду, просто разжалуют. Я буду стараться, чтобы впаяли срок. Стрелять любишь, а твоя политическая подготовка где, гад-позорник?.. Сдай оружие и пошел вон. Чтоб до суда я о тебе не слышал.

При всей своей дисциплинированности Глов не выдержал.

— Как же так? — сказал он на слезе. — Лев человека преследует — и не стрелять?

— А тебе непременно «стрелить» надо? — Начальник пожевал губами. — Ну и стрелял бы в студента. Лев один, а студентов хоть завались.

На другое утро подполковнику приказано было явиться к министру. «Началось!» — сказал себе старый служака и поник седой головой. Он понимал — оправданий нет. Ты вырастил идиота, опасного для общества, теперь расплачивайся. Чего ждать? Отставки? Понижения в должности? Разжалования? Или просто зашлют куда Макар телят не гонял? А с чего ты взял, что министр будет утруждать себя выбором? Тебя и понизят в должности, и разжалуют в майоры или капитаны, и пошлют к черту на рога. Правда, многое зависит от того, в каком настроении встал Щелоков, хорошо ли опохмелился, не получил ли вздрючку от жены. Предсказать ничего нельзя, но готовиться надо к худшему.

За свою долгую и не слишком счастливую службу в милиции — застрял в районном отделении, двадцать лет подполковник — старый служака приучился к смирению. Но когда его машина сворачивала на улицу Огарева, он не удержал горестного всхлеба. Подумать только: да мыслимый ли случай в нашей стране, чтобы на улице стреляли львов? Это войдет в историю мировых курьезов. И обязательно надо, чтобы новоявленный Тартарен, помоечный Хемингуэй, оказался его подчиненным. Уму непостижимо!..



Он впервые переступал порог министерского кабинета, но трепета не испытывал, потому что поставил на себе крест. Высоченные потолки, высокие полузашторенные окна, гигантский стол для совещаний, внушительный, старинный, на львиных лапах (дурная примета!) письменный стол, кресло с резной прямой спинкой, за креслом опять же огромный портрет Ленина кисти Ильи Глазунова. Подполковник узнал автора не потому, что был знатоком живописи, впрочем, и портрет не имел к ней никакого отношения, он присутствовал в клубе МВД на выпускном вечере милицейской академии, когда Глазунов передал Щелокову свое творение. Художник стоял на сцене рядом с министром, вытянувшись по стойке «смирно», задрвав подбородок, демонстрируя всем обликом мобилизованную бдительность и готовность к подвигам во имя правопорядка.

Между портретом и письменным столом сидел невидный статью, с жеваным лицом и живыми глазами человек в генеральской форме. Его лицо было лишено классово-сословной и профессиональной принадлежности. Обычно смотришь на человека и видишь: из крестьян, из рабочих, из интеллигентов, технар, художник, врач, военный. По внешности министр был ближе всего к сильно зашибающему жэковскому слесарю-калымщику, нечто вполне деклассированное, лишенное всяких корней.

Подполковник представился по форме, даже щелкнул каблуками. Министр не отозвался, не кивнул, не предложил сесть. Его левое ухо было заткнуто черной кнопкой, от которой бежал шнур, исчезая в чуть выдвинутом ящике стола. С минуту длилось молчание, потом Щелоков подвинулся к столу и сказал кому-то незримо:

— Спасибо, Слава. Ты меня духовно поддержал. Как его звать?.. Сен... Сен-Санс? Понятно. Будь здоров. Не кашляй. Галочке привет.

Щелоков вынул кнопку из уха и кинул ее в стол. Задвинул ящик. На подполковника уставились маленькие едучие глаза в красном обмете.

— Для вас, значит, законов не существует? — сказал он ерническим тоном. — Открытие охоты через три недели.

Так. Моральная пытка началась. Наверное, следовало оценить перл министерского остроумия, но улыбки не получилось. Подполковник вздохнул.

— Что с этим оглоедом?

— Отобрал оружие. А там, как суд решит.

— Значит, судить будем? И вся печать раззвонит, какие в милиции некультурные, глупые и жестокие люди? Ни за что ни про что убили беззащитного ручного львенка! Эх, вы!.. Парень — снайпер, «ворошиловский стрелок». Меток глаз, тверда рука. Быстрота и решительность. И гуманизм. Спас человеческую жизнь. Вот на таких должны мы равняться. Подписан приказ о награждении старшего лейтенанта Глотова воинской медалью «За отвагу». Завтра сам буду вручать. Приглашены телевидение и пресса. Понял? А тебе спасибо, что вырастил такой кадр.

— Служу Советскому Союзу! — пробормотал в полусознании воспитатель.

На прощание министр поднес ему стопку марочного коньяка и посоветовал:

— Выпиши этому стрелку «Вечернюю Москву». И сам проверяй — читает ли. Это дело мы погасили. Но коли он и дальше будет так палить, хлопот не оберешься. К нам черномазые повадились. Глядишь, он президента или премьера дружественной державы за гориллу примет. Мировой скандал.

Существует анекдот — из черного юмора — про одного молодого солдата, который стоял на часах, когда к нему приехала мать из деревни. Он предупредил ее, чтобы та не подходила, раз он при исполнении служебных. А она слышать не хотела, ей бы сыночка обнять. Он раз предупредил, два, а на третий выполнил свой боевой долг — уложил старушку. А потом, стоя опять на часах и любовно оглаживая рукавом орден, думал мечтательно: скоро батя приедет.

С Гловым все было по-другому. Он, конечно, радовался медали, любовно натирал тальком, драил. Сфотографировался с нею. Приобрел ленточку серую с полосками и прикрепил к будничному кителю. Но не стремился к повторению подвига. Он читал «Вечернюю Москву» от передовицы, где остро ставилась проблема дворников, до сообщения в черной рамке о том, что «смерть вырвала». Он долго, по отсутствию навыка, читал «смерть вырвало». Подполковник поначалу, что ни день, гонял его по всем четырем полосам, а потом бросил, поняв, что парень не просто приохотился к чтению, а прямо-таки жить не может без правдивого

вечернего слова самого популярного печатного органа столицы.

Для Глотова открылись новые миры, он никогда не предполагал, что жизнь так захватывающе интересна и богата. Сколько в ней событий, происшествий, зрелищ, необыкновенных людей, сколько каждый день новых покойников! Оказывается, живешь изо дня в день: служба, стрельбы, посидухи, горячее потное женское тело под ладонью, а люди в это время умирают от тяжелых продолжительных болезней, от аварий, катастроф, скоростно и преждевременно, и скорбят жена, дети, родители, близкие друзья и несколько загадочная группа товарищей. А оставшиеся в живых играют в футбол, городки и другие игры, лазают по горам, переплывают океан на щепке, одерживают победы в конкурсах пианистов, скрипачей и певцов, дуются в шахматы и шашки, берут обязательства, борются за звание лучшего, целыми производственными бригадами, лестничными площадками, прилавками подступают к коммунизму, а Израиль тем временем собирается уничтожить арабский мир и все прогрессивное человечество. Последнее стало не на шутку тревожить Глотова. Он попытался отыскать на карте грозного агрессора и не сумел. Страна оказалась тайной, она спряталась, как сыпно-тифозная вошь в бельевых швах, в складках мироздания.

У него обнаружили качества, о которых никто не подозревал, а менее всех он сам: усидчивость, цепкая механическая память — с двух-трех прочтений запомнил номер газеты от корки до корки, железная воля к постижению. Он стал удивлять, а там и утомлять сослуживцев осведомленностью в самых неожиданных и никому не нужных обстоятельствах жизни: мог сообщить, сколько в Москве цветочных магазинов, где находится в столице Угольная площадь, как долго живет муха цеце, зачем казуару нарост на клюве.

Через полгода прилежному Глову разрешили перейти на «Московскую правду», а еще через полгода допустили к «Известиям», «Молодому коммунисту» и шестнадцатой полосе «Литературной газеты» — для веселья. А вскоре Глов ошарашил своего наставника намерением поступить на вечернее отделение юридического института. Даже при всей прилежности, блестящей памяти, терпении Глов не осилил бы высшего образования, но истребителю львов пошли навстречу: он

получил диплом. Академия МВД далась ему значительно легче, а там — аспирантура и кандидатская. Защита диссертации «Отстрел хищников в условиях мегаполиса» вылилась в триумф, ему присвоили через ступень звание доктора юридических наук. Ныне профессор, заведующий кафедрой, неоспоримый авторитет в вопросах уголовного права, полковник Глотов — желанный гость на страницах крупнейших центральных газет, будущий член-корреспондент и академик.

Вот чем обернулся меткий выстрел — гибель льва подарила отечественной науке новый светлый ум. Не знаю, что важнее для мироздания — лев или милицкий ученый. Хорошо, конечно, когда есть и то и другое, но если уж выбирать, я предпочитаю льва, мне кажется, он важнее в биологической структуре бытия.

В данном случае рождение ученого было оплачено не только гибелью льва и преданной ему собачонки, но и другими безвинными жизнями — об этом дальше, а также приметной утратой нравственного чувства в обществе.

У нас нет статистики. То есть она есть, но ее нет. А будь она, мы располагали бы ошеломляющими данными о том, как резко пошла вверх кривая преступлений против животных, после того как убийство Чанга возвели в подвиг, а подвиг разрекламировали средствами массовой дезинформации. Вскоре после этого газеты запестрили сообщениями о фактах детской жестокости: поджигали крыс во дворах, ловили кошек на удочку, используя для наживки кусочек сала, ломали собакам хребты стальными трубами, украли где-то павлина и обципали живьем догола. Особенно страшные случаи открылись мне, когда я познакомился с той негласной статистикой, которую вели друзья домашних животных, позднее объединившиеся в общество по их защите. Приведу лишь один пример. В Подмоскovie тринадцатичетырнадцатилетние шалуны зашили лошади рот. Когда обезумевшее от боли, голода и непонятности случившегося животное наконец поймали, это был скелет с оскаленными зубами, обтянутый лысой шкурой.

Подвиг милиционера потряс юные, не воспитанные в Боге и милосердии души наследников Павлика Морозова. Им захотелось такого же героического, невероятного, кровавого, победного. Но львы редки в Москве да и во всех остальных городах и селениях нашей непостижимой Родины. Детишки принялись геройствовать —

зверствовать над тем, что под рукой, — над малыми и незащитными. Тем более что крыса, мечущаяся факелом по двору, — впечатляющее зрелище, а лошадь с зашитым ртом — подавно, а как уморительны изломы перебитых крыльев двух черных лебедей на глади Чистых прудов!

Зло всегда сеет зло, меткий выстрел будущего ученого породил много зла. Сейчас скажу о самом страшном.

И снова мне придется сослаться на жену, как ссылался в Бекингемском дворце на своего благородного меланхолического спутника распоясавшийся перед королевой донецкий говорун. Жена не даст мне соврать — я предвидел судьбу Бедуиновых. Конечно, не в подробностях — так далеко не заходит в жестокости мое воображение, но неизбежностью окончательной беды.

Нам принесли фотографии Чанга: и последние, с нашим участием, и сделанные раньше, без нас. На одной из них голые Урчата бежали вместе с Чангом по полю, деля на троих самозабвенную радость.

— Бедный Чанг, бедные дети, бедные люди! — вздохнула над фотографией моя жена.

— Это еще не конец, — неожиданно для самого себя сказал я.

— Что ты каркаешь?

В голосе прозвучала несвойственная моей жене резкость — я подтолкнул ее мысли к чему-то, о чем ей не хотелось думать.

— Они не угомонились.

— Кто?

— Силы рока, — сказал я дурашливо, не желая и боясь продолжения разговора, который сам же спровоцировал.

На другой день нам предложили стать пайщиками нового льва, которого хотят приобрести в складчину для Бедуиновых. Вне зависимости от предчувствий мне этот жест не понравился. Тут не было ни доброты и наивности доморощенного эксперимента, ни порывистости того первого, почти безумного поступка. Надо было заполнить новым львом обещанную жилплощадь, «рафик» и кусок берега. Льва требовали и ненасытный киноэкран, и ящик Пандоры.

— Можно иначе отнестись к этому, — сказала жена. — Ты представляешь, какая пустота образовалась в жизни всех этих людей — и больших и маленьких?

Кошка старая умирает, и то в доме дыра, а тут ушло такое могучее, странное, прекрасное существо, поглощавшее столько чувств, забот, беспокойств, доброты. Психологически их нельзя не понять.

Наверное, это было справедливо и высоко, но я знал про себя что-то ужасное, безобразное, и слова жены меня не тронули.

И все же мы вступили в обладание частицей льва, еще не обретенного, но уже заложенного в ячейку будущего семьи Бедуиновых, льва, которому жить с людьми, принять их правила, характеры, привычки, вписаться в чужой, противный всей сущности дикого зверя обиход.

У Карела Чапека в «Рассказах из обоих карманов» есть новелла о человеке, случайно узнавшем, что будет совершенно преступление, скорей всего убийство. Но доказательств у него нет, к тому же дело происходит в чужезычной стране и никто его не понимает. Он бессилён воспрепятствовать злу. Я тоже вдруг заговорил на языке, который никто не понимал, даже самые близкие люди. На мое «добром не кончится», никто не попытался помочь мне яснее выразить свою тревогу, задуматься вместе со мной и, может быть, предотвратить неминуемое. Любопытная описка: «неминуемое» нельзя предотвратить, но это слово пришло из подсознания, как все описки, оговорки, стало быть, выражает истинную суть. Выходит, я знаю, что ничего нельзя было сделать.

Новый лев был приобретен. Не помню подробностей, да они и не важны. К этому времени скончался Бедуинов, человек далеко не старый. Отчего он умер? Разве это важно? От инфаркта, от рака. Все эти медицинские названия лишь псевдонимы смерти, которая не любит открывать своих тайн. О человеке до сих пор ничего не известно. Все усилия мирового ума, все золото и бриллианты тратятся на то, как быстрее и вернее покончить с затерявшимся во вселенной островком, где сотворилось чудо сознания. На остальное нет ни времени, ни средств.

Бедуинов умер, потому что не стало Чанга. В слово «Чанг» в данном случае вкладывается меньше всего от самого льва, Бедуинов относился к нему, живому, довольно хладнокровно, хотя, разумеется, чтл. Но с уходом Чанга оборвалось то великое застолье, о котором он грезил всю жизнь, тот пир, где так полно раскрывалась его душа всем лучшим и самым ярким, что в ней

заложено: страстностью, влюбчивостью, безудержностью, способностью к воспарению. Оборвалось грубо и беспощадно, вульгарно и подло: его словно выхватили из-за стола, когда он говорил тост, подняв золотой кубок с пенным вином, и швырнули лицом в кровавую грязь. Новый лев его не вдохновлял. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, нельзя дважды усаживаться за один и тот же пир. А другого пира быть не может, поперек всего мироздания лег Чанг, простреленный сквозь зад и ухо. На крови строят храмы, на крови не расстилают скатертей. Все стало ненужным, прошлое обрезано, в настоящем и будущем пустота. Жить не для чего. И он перестал жить.

Его смерть не была трагедией для семьи. Оплакали пристойно, погоревали, опрятно похоронили и помянули добрым словом. Тем более что новый, хотя и не состоявшийся пока укротитель заполнил образовавшуюся щель. Потом навалились заботы: привести в дом льва, устроить, наладить с ним отношения. Вскоре к льву присоединили пантеру.

Последнее кажется невероятным. У меня на даче одно время оказались вместе борзая — сука и карликовая такса — кобелек: Дара и Кузик. Нам казалось, что мизерность кавалера перед рослой дамой, к тому же почтенный его возраст гарантирует Дару от матримониальных посягательств. Какое там! Старый малыш чуть не разнес дом, когда сука запустовала, потом его скрючило в вопросительный знак, а Дара выла на всю округу. Пришлось срочно везти Кузика в Москву и держать там, пока опасный период не минует.

На что рассчитывала Урча с ее новым советником? А ни на что. О нем забудем, он бездействующее лицо. А Урча и ее дети — они тоже участвовали, бедняжки, своей тоской, нервозностью, неприкаянностью, потерянностью в ее решении — слепо выполнили предначертания рока.

Едва ли можно сейчас реставрировать то, что происходило в душах этих обреченных. Ведь так очевидно то, чего нельзя было делать, а делалось на глазах десятков, сотен людей, да что там — на глазах всего города, всей страны. Никто пальцем не шевельнул, чтобы остановить смертельный номер без страшующих средств. Конечно, подобное могло случиться только у нас, ибо нигде в мире нет такой безответственности, наплевательства на собственную и чужую жизнь и,

добавлю, такого незнания простейших законов природы. Как бдительны мы к нарушению мелких административных правил — попробуйте поселить у себя брата или сестру без прописки, старую тетку из провинции, да с вас шкуру спустят, но «уплотнить» льва пантерой — сколько угодно. Достаточно знать, что «наверху» не возражают.

И не могу я винить ту, которая всех виноватей, — Урчу, она не могла иначе. Опустевшее после Чанга пространство (не только физическое, но и моральное) было так велико, что его не заполнить другим львом. Требовалось нечто большее. Кроме того, Чанга вырастили в условиях куда худших, зачем же повторять опыт в облегченном варианте? Это не даст навару, никого не поразит, не взволнует. И куда новому льву тягаться с Чангом — всенародным любимцем? Но выйти на сцену с двумя прирученными хищниками — так можно опять «привлечь любовь пространства, услышать будущего зов».

Времени на эксперимент, как оказалось, было отпущено ровно столько, чтобы хищники подросли и пантера запустовала.

Она забралась на шкаф и рычала, обнажая красную пасть, более свирепую, чем у льва, тигра или леопарда. А лев ходил по комнате из угла в угол, задевая стулья, что-то роняя, опрокидывая, на поворотах разевал пасть, с которой текла тягучая слюна. Порой из его утробы вырывался задущенный хрип. Урча и Урчонок пытались его вразумить, говорили успокоительные, ласковые слова, он не поддавался на добро. Они принялись укорять его — Урча не повышая голоса, Урчонок — он же был мужчина — покрикивая.

Лев не обращал на них внимания, возбуждение его все усиливалось. Но мать и сын настолько привыкли к покорности своих четвероногих сожителей, что не испытывали тревоги.

Лев сменил курс, стал ходить не по диагонали, а от двери к шкафу, на котором лежала пантера. Поворачиваясь, он толкал шкаф плечом, пантера рычала, срываясь на визг. Льва пронизывала тугая дрожь.

— Прекрати! — крикнул Урчонок. — На место!

Лев угрюмо посмотрел на него, подошел к шкафу и стал тереться боком. Шкаф закачался. Пантера приподнялась, выгнула спину и низко-низко, из чрева, зарычала. Казалось, она сейчас прыгнет.



— Пошел вон! — Урчонок кинулся к льву и вцепился в гриву. Лев потрянул головой, Урчонок упал на пол, громадная лапа опустилась ему на спину и переломила хребет, как сухую тростинку. Урча страшно закричала и бросилась к своему переломленному надвое детенышу. Львиные когти вцепились ей в волосы и рывком сняли скальп. Она рухнула рядом с сыном — окровавленным черепом на его сломанную спинку.

Девочка уцелела (физически), она играла в «классы» во дворе.

Так закончился этот единственный в своем роде эксперимент, проведенный с чисто русской бесшабашностью и советским алчным азартом. Мог ли быть другой конец? По-моему, нет. Чанг был обречен, в нем перестали видеть льва, а он им оставался — и для себя самого, и для окружающих. Стало быть, рано или поздно должен был возникнуть Глотов — человек с пистолетом. А коли так, неизбежно было появление нового льва в зоне повышенной опасности и пониженного инстинкта самосохранения.

И на Западе с дикими животными играют в опасные игры, видимо, того требует неизбывное стремление человека познать бессловесный мир, который куда старше заговорившего мира, заглянуть в тайное тайных природы и тем приблизиться к собственной омороченной сути, только делается это совсем иначе: на основе знаний, расчетов, с привлечением науки, специалистов, что сводит риск к минимуму. К тому же эксперимент проводится в щедрых природных условиях, а не в коммунальной квартире. Зверь обеспечивается всем необходимым: от питания до лекарств и квалифицированного ухода, он не живет за счет старых большевиков и подачек власть имущих.

Мы обречены на кустарщину и убожество во всем, чем бы мы ни занимались. Так что же, нам лучше не соваться? А ведь и на Западе иные люди, которым, в отличие от нас, есть что терять, — прекрасно обеспеченные, кормленые, хорошо промытые, разодетые, веселые от избытка благ, — пускаются через океан в ореховой скорлупке, лезут на смертельно опасные десятитысячники, задыхаются в извилистых ходах пещер, летают чуть ли не на помеле над ущельями, прыгают с высоченных скал в пучину, преодолевают вплавь реки, кишащие крокодилами и пираниями, и все это не корысти и славы ради — об их подвигах зачастую никто

не знает, а и знают, это не приносит ни денег, ни наград, ни почестей, ни даже долгой известности. Отважный, самоотверженный мореходец Бомбар после своих невероятных подвигов, всеми забытый и брошенный, пытался покончить самоубийством. Нет, жизнь ставится на карту в неистребимой жажде познания и самопознания, в стремлении утвердить человеческое в человеке. Бескорыстием подвига искупается привилегия быть человеком на земле.

В этом ряду стоит поступок Бедуиновых, взявшихся вырастить льва в таких условиях, в каких, по западным меркам, и самому-то непросто выжить. И потому слава им, они оплатили собственной кровью деяние мужества и доброты.

К сожалению, есть и другое, коренящееся в нашем бедственном существовании, в слепом желании урвать свой ошметок счастья. И нищие Бедуиновы не устояли перед соблазнами мира сего. Но кто осмелится кинуть в них камень?

Лишь милицейский фрейшютц вышел из этой истории с прибылью. Помните сказку о храбром портняжке, который уложил семерых одним махом? Но то были мухи, а тут люди и звери. Дорогой ценой оплачен научный взлет. Впрочем, сам ученый не виноват, он-то хотел как лучше.

Не нам судить Бедуиновых. Да не избудутся рискующие и гибнущие люди. Без них не выжить человечеству. А льва жалко.



## НЕДОДЕЛААННЫЙ

Мы встретились в парке старого бывшего подмосковного санатория. Почему бывшего? Потому что прежде между Москвою и помещичьей усадьбой, где располагался вскоре после революции санаторий, находились три большие деревни. А потом, неуклонно расширяясь, Москва впитала в себя эти деревни, продвинулась еще дальше в глубь пейзажа и превратила огромную территорию княжеского поместья с парком, каскадом прудов, домом-дворцом и многочисленными флигелями, конюшнями, церковью барочно-малороссийского стиля исхода семнадцатого века в часть города, далекую от его нынешних границ.

Здесь отдыхают, пестуют свои недуги заслуженные ученые, среди них бывают такие, что не решаются в морозы выйти на улицу и создают себе иллюзию зимней прогулки: надевают длинную шубу на лисе или хорях, ушанку, теплое кашне, валенки, перчатки на меху и, прочно упакованные, прогуливаются по длинному, устланному красной ковровой дорожкой коридору с окнами в узорчатой наледи.

Меня, семидесятилетнего, считают тут мальчишкой-шалопаем и чужаком. Последнее — справедливо: ученый я никакой. Но я мирюсь с малым моральным дискомфортом ради духа старинного барского дома, пропитывающего чуть тленный воздух, картин французских художников восемнадцатого века, обрамленных

золотым багетом в гостиной, бильярдной с высокими диванами, живописью Кустодиева, Рябушкина, Остроумовой-Лебедевой на стенах и легенды, что в этой бильярдной, бывшей хозяйским кабинетом, умер в одночасье, схватившись за сердце, философ Владимир Соловьев, хотя все знают, что он умер не так эффектно — от уремии.

Когда темнеет, небо на западе, в стороне большой московской магистрали, становится исчерна-красным, и я до сих пор не разгадал этого явления. Может, скрытый лесом закат шлет свой отсвет в электрическое небо города? Щемяще-тревожен предночной час старого парка.

В этом парке с угольно-черными в воспаленном небе липами и случилась наша неожиданная встреча. Он жил рядом, сюда ходил гулять. Мы не виделись пятьдесят лет, но я сразу узнал его, едва он обратился ко мне. В том, что он узнал меня, не было ничего удивительного, мое старение он наблюдал по телевизору. Он же изменился за полвека в пределах почти мгновенного узнавания. Сколько нужно, чтобы отпрянуть, округлить глаза и шумно выдохнуть:

— Блешка?!

Он засмеялся, совсем так, как смеялся полвека назад: вздохнул, во весь белый рот, заходясь до незащитности, ибо отдавался смеху без остатка. Все такой же маленький, — нет, он, конечно, подрос с тех четырнадцати своих лет, но для взрослого мужчины остался маленьким, — ладный, плотно сбитый, круглолицый, черноглазый; исчерна-коричневые радужки — черные глаза бывают только в романах — сохранили удивительный блеск, которому он и обязан своим прозвищем. Это прозвище дал ему я — нечаянно, ослышавшись. Товарищи называли его без затей «Олежка», что в скороговорке звучало «Лешка». Но блеск его глаз, сверк белых зубов навязали мне это «б». Я думал, что повторяю утвердившееся за ним прозвище, оказывается, стал его крестным отцом.

— Знаешь, я так и остался Блешкой для всех знакомых, — сказал он со смехом. — Твоя коктейбельская оговорка разнеслась со сказочной быстротой. Только у нас во дворе кличка не прижилась. У нас право на прозвище имел лишь один парень, ты его знаешь — Тимка Б-в. Его звали Цыпа, а мелюзга, не имевшая права на такую фамильярность, величала почтительно Цеппелин.

Есть люди, хорошие и содержательные люди, за плечами которых нет ни пейзажа, ни обстава — какая-то экзистенциальная пустота. А Блешка сразу распахнул мне два щемящих душу пространства: довоенный Коктебель с каменным торчком Серрюккая, с тамарисками и сухими колючими акациями, горьковатым черствым воздухом, блеском разноцветных камешков на песчаной дуге бухты после прибоя, с волошинским профилем, утопившим бороду в море, доверчивым бесстыдством коричневых обнаженных тел на диком пляже, с египетской тайной дремотных глаз и эбеновым загаром моей первой любви, с красивыми строгими мальчишками из пионерлагеря, ставшими жатвой близящейся войны, и московский двор знаменитого Дома Герцена, что на Тверском бульваре, с приветливым садом, рыжим теннисным кортом за металлической сеткой, где неутомимо мелькали женственные веснушчатые плечи мужественного поэта Уткина и чугунные бицепсы зверобоя Пермитина; здесь, в низеньких флигелях, образующих каре, обитали писатели, в одном нашел недолгий приют Мандельштам, в другом терпел свою немилосердную жизнь Андрей Платонов, и завивала горе веревочкой пулеметчица гражданской войны Дубенская, отпулеметившая на стареньком «Ундервуде» повесть своих пламенных лет; отсюда черный «воронок» унес в гибель Константина Большакова, Ивана Жигу, Артема Веселого...

Но если Коктебель я знал в его тайне, то этот двор у стен Камерного театра был мне знаком лишь сражениями на корте и двумя не очень близкими приятелями, сделавшими для меня доступным местный теннис. Они не открыли мне глубинной жизни своего двора, не приоткрыли крышки Кошечева ларца, который хранился тогда в каждом старом московском доме. Такая редкость — сад во дворе, но мои приятели и вся дворовая вольница были к нему совершенно равнодушны, туда же, где они осуществляли свое земное назначение, мне не дано было заглянуть.

Оказывается, их главная, самая ценная жизнь творилась на чердаках и под землей. Подвал длинного одноэтажного флигеля, расположенного справа от главного корпуса, если смотреть от Тверского бульвара, являл собой громадное подземное озеро, не замерзавшее и в зимнее время. Сколотив плот, ребята выплывали на середину подземного озера, чтобы распить бутылочку

сладкой запеканки «Спотыкач» и под хмельной звон в башке грохнуть волжскую ватажную удалую песню. Озерко кишело крупными жирными крысами, водная жизнь превратила их в ондатр с перепончатыми лапами.

С чердака двухэтажного флигеля — во дворе налево — можно было по пожарной лестнице попасть в туалет Камерного театра, расположенный вопреки театральной традиции не в подземелье, а в небесах. А из уборной, обманув сонную бдительность ленивых билетерш, проникнуть в антракте на галерку. Ребята с десятков раз пересмотрели весь дивный таировский репертуар, но без первого действия.

Среди тех, кто плавал по крысиному озеру и пробивался к феерии «Жиروفле-Жиروفля» сквозь карболовую вонь уборной, у меня были два приятеля: Тимка и Юра. Олешка-Блешка был слишком юн для общения, это сейчас нас подравняла старость. Юра — сын пулеметчицы-романистки и легендарного комполка гражданской войны — являл внешнему миру отполированную до блеска гладь доброго малого, и ничего больше. На самом же деле добрый малый составлял лишь частицу куда более сложного комплекса глубокой и затаенной личности, приоткрывавшейся лишь изредка — в теннисе. Обычно он играл красиво и чисто, но без воли к победе, без азарта и напряжения. Его привлекала эстетическая сторона игры. Но порой что-то с ним случалось — всегда в игре против более сильного и слишком уверенного в себе теннисиста. Лицо его будто запиралось на замок, глаза суживались в темные щелки, губы сжимались, скулы рдяно костенели, и он беспощадно ломал противника. Юра благополучно прошел войну и после смерти матери уехал к отцу на Украину, где и канул — для нас.

Моим постоянным теннисным партнером был его друг Тимка, которого в нашей летней компании, — а мы отдыхали однажды вместе, в Долгой Поляне под Тетюшами, в глубине невероятного барского фруктового сада, — прозвали заглазно Недоделанный.

Это был странный парень: очень молчаливый, хотя с таким видом, будто вот-вот заговорит — он часто и бессмысленно открывал рот, как дети, страдающие аденоидами, но не издавал ни звука. Быть может, он готов был что-то сказать, но как-то пропускал момент. А может, ждал полной тишины, чтобы уронить свое царское слово, но такой тишины никогда не наступало в

болтливой, шумной молодежной компании, где все перебывали друг дружку. Перебывать он не умел, как и смеяться, лишь слабое подобие улыбки изредка трогало его узкий рот. Безынициативный, он всегда делал то же, что и другие, но с опозданием на полтемп, и непонятно, поступает он так по собственному желанию или из равнодушного подражания. Его участие в наших «утехах и днях» не окрашивалось ни радостью, ни азартом. В охотку ему был лишь теннис, он мог играть с утра до вечера без передышки, но опять-таки ждал, когда его пригласят. Хоть бы раз услышать от него горячее: сыграем?!. Играл же очень хорошо, даже лучше Юры, но еще менее заинтересованно в результате. У Юры, как говорилось, случались моменты игрового ожесточения, желания наказать самонадеянного соперника; Тимка, с кем бы ни играл, как бы ни складывалась игра, оставался вареным судаком. У него была от природы поставленная техника игры, как бывает от природы поставленный голос у певца: никто не учил его пушечной подаче, изящнейшим смэшам, мощным и точным драйвам. Но он никогда не тянулся за трудным мячом, не покидал задней линии, хотя в парных играх, где это неизбежно, виртуозно действовал у сетки. Ему нравился звук удара, чувство мяча на ракетке, старенькие белые брюки, всегда тщательно отутюженные, аккуратно заштопанная тенниска, тугость золотых струн, свободная красота игры и выключенность из обыденности. А выиграть-проиграть — какая разница?..

Хорошего роста, длинноногий и узкобедрый, с точными скупыми движениями, он вне игры казался неловким. Слишком прямил позвоночник, слишком тянул длинную шею, слишком широко разводил носки туфель при ходьбе, казалось, у него плоскостопие. Комически надменно горбился его большой слабый нос, неизменно разбиваемый в самом начале драки. Он не был драчлив, но первым кидался на защиту любого обиженного. Получив кровавое увечье в самом начале схватки, он недоуменно, словно такое с ним случилось впервые, покидал поле боя и начинал старательно заниматься своим кровеобильным носом, высмаркивая его, охлаждая водой и разными металлическими предметами. Ничего не помогало, нос продолжал сочиться, затем круто пунцовел и распухал в пол-лица.

Однажды в Долгой Поляне мы распили — впервые в жизни — бутылку перцовой водки. Тимка тоже вы-

пил — не больше других, но окосел в дугу. Он шатался, падал, орал, потом облевался. Взрослые тут же решили, что он тайный пьяница, хотя напрашивалось прямо противоположное: его организм не принимает алкоголя.

Никогда не высовываясь, он выпадал из компании и тем невольно привлекал недоброжелательный интерес: всякая особость, даже ущербная, раздражает окружающих. Его душевная жизнь оставалась скрытой. При всей тихости, пассивности, серости он производил впечатление человека, знающего себе цену. Мы же этой цены не знали да и знать не желали. Он был очень беден, даже на фоне всеобщего тогдашнего безызытка, ветошно одет, белые резиновые тапочки воняли потом, но он принадлежал к высокой державе герценовского двора, и гордость перла из него... нет, не перла, совсем не перла, лишь угадывалась тончайшим аппаратом нашего подросткового демократизма. Плевать мы хотели на его знаменитый двор и его фанаберию. Строит из себя невесть что, а сам просто недоделанный. И, решив так без всякого сговора, мы успокоились в пренебрежительном расположении к нелепому, но в общем-то не вредному, компанейскому парню, которому Бог малость недодал.

Это удобное и легковесное представление о Тимке перестало меня удовлетворять, когда я сделался завсегдаем теннисной площадки и увидел его в родной стихии. Двор лучше знает своих героев, чем случайная летняя компания. И вскоре я почувствовал, что Тимка здесь — фигура.

В чреде долгих лет эти подробности подзабылись, но в уголке памяти теплился образ незадачливого, нелепого, но чем-то симпатичного парня по кличке Недоделанный. Почему-то я числил Тимку среди не вернувшихся из боя. Он казался нежизнеспособным и для мирных дней со своим символически слабым носом, готовым истечь субстанцией жизни от малейшего ушиба, с птичьей поступью, длинной и незащищенной шеей и тупостью точных, но беспобедных отмахов у белой черты корта.

Разговаривая с Олегом, я вспомнил в числе других и о Тимке.

— А что, Недоделанный тоже не пришел с войны?

Он пристально посмотрел на меня:

— Ты о ком?

— О Тимке Б-ве.



— А где его так называли?

— В нашей компании, в Долгой Поляне.

— Любопытно... У нас его так не звали. Вообще-то наш двор обходился без кличек, но у Тимки была — Цыпа.

— Ты так говоришь, будто его звали Принц или Викинг.

— Цыпа — это от Цапы, а Цапа — сокращенное Цапля. Помнишь, как он ходил, вернее, выступал: ноги прямые, носки врозь, шея вытянута, нос торчит. Вылитая цапля — самая гонористая птица.

— По-моему, журавль гонористее.

— Жаль, мы с тобой не посоветовались. Мы, видать, плохо журавлей знали. И прозвали — Цапля. А малыши Цеппелином величали.

— А какая у него судьба?

— Знаешь, у него действительно была судьба. А ведь она не у каждого бывает. У меня была жизнь, а была ли судьба — не уверен.

— А что такое судьба?

— Понятия не имею! — он засмеялся. — Слышал такой перл казенного велеречия: судьбоносный? Его очень любят высокопарные и низкопробные чиновники от искусства и литературы. Но это не по делу. Судьба в моем представлении — жизнь с поворотами, смелыми решениями, с неожиданностями, провалами и подъемами, с приходом к чему-то, не заложенному заранее в ячейку твоего времени. У меня был один-единственный поворот в жизни, когда из радиожурналистики меня волей ленинского комсомола перебросили в разведку. Это было в стороне от моих планов и надежд, но отказаться я не мог. И отрубил там, кстати, весьма романтично, до пенсии. Я вышел в отставку на другой день после своего шестидесятилетия еще перспективным полковником, но генеральские лавры меня не манили. И теперь наслаждаюсь свободой ничегонеделания. Можно ли применить ко мне слово «судьба»? По-моему, нет.

— А у Цыпы?

— У Недоделанного?

Мы обменялись Тимкиными прозвищами. Я понял, что Олега оскорбило слово «недоделанный», которым я оговорился, и он нарочно стал его применять — с ироническим подтекстом в адрес мой и других недоумков, превративших гордого Цыпу-Цеппелина в дурачка. Теперь я тщетно пытался исправить свою ошибку.

— У него была жизнь с такими крутыми поворотами, с такими безднами и вершинами, что хватило бы на троих... в подъезде.

— Он что окончил?

— Ничего. Ушел из восьмого класса на завод.

— Почему?

— Он считал, что вуз ему не светит. Ты же знаешь, его дядю посадили в тридцать восьмом и тогда же расстреляли.

— А я был уверен, что писатель Б-ков — его отец.

— Нет, брат отца. А родного отца он не помнил. Был отчим, но где-то потерялся к тому времени. Может, тоже посадили. Они все жили у Тимкиного дяди: Тимка, его мать и кровная сестра.

— А дядя был женат?

— Нет. Он считал их своей семьей. А донжуанствовал на стороне. Весьма энергично. Но в доме бабы не появлялись. Тут он был строг.

— Превосходный прозаик! Стихи были куда хуже.

— Ты будешь смеяться, я его не читал.

— Как это может быть?

— У нас в доме жили Платонов и Мандельштам, так я их тоже до войны не читал. Когда же начал читать всерьез, книжек Тимкиного дяди было не достать. Его хоть переиздали в безумии нынешних свобод?

— Кажется, что-то переиздали. Не уверен. У меня есть его старые издания.

— Вспомнил! Тимка пошел на завод, чтобы помогать матери. Она работала врачом в районной поликлинике. Сам понимаешь, какие там заработки.

— И где он работал?

— На «Серпе и молоте». Очень скоро получил первую рабочую квалификацию — формовщика. У него были хорошие руки да и головешка варила, хотя он казался недоделанным. А потом он попал на финскую войну, прошел ее благополучно, даже не обморозился. Вернулся на завод, ну а вскоре — Отечественная. Его призвали буквально в первый день, но не на фронт — послали в школу радистов-разведчиков. Видать, не разобрали, что он недоделанный.

— Может, хватит?

Олег сделал постное лицо.

— В этой школе Тимку постигла первая любовь. Будущий разведчик полюбил будущую разведчицу, а она полюбила его. Все время обучения в школе они

были неразлучны. У Тимки впервые появились свободные деньги, которые он размахисто прокучивал с Нюсей в «Арагви», «Москве», «Коктейль-холле» — эти кабаки работали на всю железку в прифронтовом городе, каким Москва оставалась почти до самого конца сорок первого. И, похоже, опять стала сейчас. Во всяком случае, она производит куда более разрушенное и гибельное впечатление, чем в пору немецких бомбежек и военных очередей. А потом, как поется в песне: «Дан приказ: ему на запад, ей в другую сторону». Ну, не совсем в другую, тоже на запад, но на другой участок фронта. Их пути во время войны больше не пересеклись. Остались добрые воспоминания, остался вздох. Ни тому, ни другой не вспало на ум, что это вовсе не конец, а начало, вступление к тем отношениям, которые растянутся на всю жизнь.

Ни о чем таком не думали молодые разведчики, а занимались своей боевой работой, требующей большой собранности, сосредоточенности и самоотдачи. Ты помнишь Тимку. Вот уж кто не был Паганелем. Его самоуглубленность, таинственность — меня почему-то всегда на языке это слово, когда о нем идет речь, — не приводили к отрешенности, рассеянности. Делая что-либо, он целиком концентрировался на своем занятии, допуская в поле зрения лишь нужное для дела. В цехе он видел глину, форму и стержни. Играя в шахматы — доску и соперника, в теннисе — площадку, противника и судью. Когда менялся марками, видел марки, того, с кем шла мена, и окружающих, ибо по ним можно понять: надувают тебя или нет. Когда гоняли голубей, Тимка охватывал небо, мечущиеся стаи, ловушку с откидной дверцей и гулюкающую возле нее голубку-заманщицу. Надо полагать, умение видеть необходимое сослужило ему добрую службу на фронте. Он не давал себя отвлекать ложной тревогой, мнимыми опасностями, сомнительными преимуществами и прочим мусором беспокойного, разбросанного сознания. Считалось, что он удачлив. Нет, спокоен, остроглаз, расчетливо-нетороплив.

— А ты не можешь рассказать о каком-нибудь боевом эпизоде?

Олег долго метал в меня из темноты, павшей на осенний парк, быстрые взблески глаз.

— Ты это серьезно?

— Да... Что тебя удивляет?

— Ничего. Поздно вечером радист-разведчик Тимофей Б-ков в очередной раз пересек линию фронта. Он устроился в полуразвалившемся сарае на краю спальной немецко-фашистскими захватчиками деревни К. Когда-то тут находился цветущий колхоз имени XVII партсъезда, а ныне лишь остовы сожженных изб сиротливо чернели под хмурым небом. Отсюда отлично просматривался вражеский передний край. Опытный разведчик быстро разобрался в огневых точках противника, которые надо было подавить нашей артиллерии перед штурмом стратегической высоты. «Ну, погодите, фрицы проклятые,— прошептал молодой лейтенант, отличник боевой и политической подготовки,— ужо спросится с вас за наши порушенные села и города...»

— Хватит! Я все понял.

— Тимка говорил, что это нудная и тягомотная служба. Я, впрочем, думаю, что резидентом быть еще тоскливее. Единственно интересное, это переход линии фронта или заброс самолетом в тыл. Тут чувствуешь напряжение, все остальное — рутина. Нравилось ему, когда его отправляли к партизанам, у них всегда было свиное сало. При этом он любил свою работу, она отвечала его характеру: несуматошному, обстоятельному, не любящему быстрой смены впечатлений. Разведка, как и служение муз, не терпит суеты. Помогало и то, что он лишен был воображения при крайней добросовестности и честности. Он никогда не передавал липы или приблизительных сведений, в штабах знали, что этому разведчику можно верить. За два с половиной года он схватил четыре ордена, медаль «За отвагу» и дослужился до капитана.

Неожиданно его отозвали в Москву для подготовки к новой, весьма ответственной работе. Ему пришлось пройти курс обучения, включавший легкое знакомство с «аргентинским» языком, как он потом говорил то ли в шутку, то ли всерьез. Впрочем, так можно сказать: аргентинский вариант испанского наверняка чем-то отличается от коренного языка, хотя бы произношением. Недаром Оскар Уайльд острил, что у англичан и американцев все общее, кроме языка. Тимкина бабушка по матери была обрусевшей немкой, он из дому знал немецкий, во всяком случае, нахально писал в анкетах, что знает язык. Возможно, это и навело на мысль переквалифицировать армейского разведчика. Юный

полиглот обладал сильной механической памятью и без труда запомнил несколько «аргентинских» фраз.

У него была сложная и, на мой взгляд, малоубедительная легенда: бывший советский гражданин с оккупированных территорий после долгих странствий оказался в Аргентине, где ему повезло — вошел в бизнес по экспорту свежемороженого мяса. Прибыл в Бухарест для заключения сделок. Сейчас это звучит бредом, но в то взбаламученное время и не такое сходило. Исчез, видать, засыпался и попал за решетку наш резидент в Бухаресте, а с ним рухнули налаженные еще до войны связи. Тимка должен был все разведать и восстановить агентуру. Задание будь здоров, особенно для зеленого новичка. Что это — безграничное доверие, которое Тимка сумел внушить к себе, нехватка профессиональных кадров или просто бардак? Или, что более вероятно, сочетание всех трех факторов? Тимка не задавался лишними вопросами, у него было дело поважнее: сшить себе настоящую двубортную офицерскую шинель. Ты, наверное, помнишь: к этому времени весь средний комсостав, кроме немногих уцелевших кадровиков, носил солдатские шинели на крючках, кирзовые сапоги и зеленые ремни из какого-то эрзаца. А Тимке хотелось офицерского шика.

В Москве имелись старые портные, насобачившиеся шить шинели и кители. Тимка не постоял перед расходами и со сказочной быстротой стал обладателем великолепной офицерской формы: приталенная шинель с золотыми пуговицами, китель по фигуре из грубого габардина, к этому фуражка с лакированным козырьком, хромовые сапоги и скрипучие ремни. Коровьим колокольчиком звякали ордена. Было отчего закружиться голове. К сожалению, ему не пришлось покрасоваться в этом армейском великолепии. Его одели во все штатское — с иголочки — от узконосых туфель до фетровой шляпы. Тимка уверял, что и костюм, и рубашки, и пальто, и шляпа были с аргентинскими наклейками. После этого новоявленному джентльмену и мясоторговцу-оптовику предложили жениться.

Тимка было заупрямился, он не чувствовал себя готовым к семейным обязанностям, но, увидев невесту, сразу заткнулся. Ведь известно, что «там в далекой Аргентине все женщины, как на картине». Трудно было поверить, что это изысканное, томное, трепетное существо, рожденное для танго и кофе глясе, наша развед-

чица, к тому же со стажем. Выглядела она на восемнадцать, хотя была года на три старше Тимки. Бракосочетания не было, оно состоялось раньше, в далекой Аргентине, как явствовало из паспортов. К большому Тимкиному удовольствию, фиктивность брака не распространялась на супружеские отношения. Они не только не возбранялись, напротив, предписывались, иначе липовую пару в два счета разоблачат. Словом, в шпионской работе оказалось много приятного. Тем более что для вживания в роль им предстояло провести десять дней в гостинице, в одном номере с общей постелью. Сладкая жизнь обеспечивалась толстой пачкой денег. Пришел Тимкин звездный час.

Завтрак им подавали в постель, обедали и ужинали они в ресторане. Там к шашлыку полагалось «кинзмараули», а к осетрине-фри — «динандали». Тимка на всю жизнь приобрел вкус к хорошим винам. Он научился танцевать, особенно преуспел в аргентинском танго.

В общем, молодожены не теряли даром времени, отпущенного им на адаптацию. И так вошли в роль, что Тимка готов был до конца дней притворяться мужем Люды, и та, похоже, не возражала против такого варианта.

В положенный срок их благополучно переправили в Бухарест. Не спрашивай как, я этого не помню, если вообще знал. У Тимки была своеобразная черта: неторопливо обстоятельный в рассказе, он не выносил вопросов, сразу замыкался с надменным видом и становился цаплей в кубе. То ли за вопросами ему мерещилось недоверие, то ли еще что-то обидное для его чести.

Они поселились в гостинице, и Тимка принялся завязывать деловые знакомства по мясному экспорту, на деле же прощупывать оборванные связи. Хотя до хлопковых эшелонов Рашидова было далеко, очковтирательство уже набирало силу, и Тимке стало казаться, что мощная агентурная сеть существовала лишь в пылком воображении исчезнувшего резидента, который, поднакопив московских деньжат, попросту смылся.

«Аргентинский мясопромышленник» недолго занимался своим бизнесом. Не прошло и недели, как его взяли, прямо на улице. И сделано это было идилично просто: подошли двое, зажали с боков, втолкнули в машину — приземистого «Хоря» и повезли по оживленным улицам Бухареста, не заметившего, что одним прохожим стало меньше.

Ехали молча, только раз один из сопровождающих — оба были в штатском — обратился к Тимке на каком-то непонятном языке. Поразмыслив, Тимка решил, что это аргентинский, и с обиженным видом преподнес ему по-немецки свою легенду, снабдив для убедительности описанием красот приютившей изгнанника латиноамериканской страны, почерпнутым из знаменитого танго. Тот выслушал небрежно, усмехнулся и одобрил Тимкино произношение. После чего на чистом русском попросил его не строить из себя полиглота, обходиться родным языком.

Тимка замолчал и остальной путь мучительно думал о Люде, утешая себя сомнительной надеждой, что опытная разведчица сумела избежать расставленных сетей.

Наверное, ты мысленно готовишься к описанию допросов, избиений, пыток и нечеловеческого мужества Цыпы, который, проливая потоки крови из своего слабого носа, не проговорился ни единым словом. Читай шпионскую литературу, там ты все это найдешь, здесь же было иначе: никто его пальцем не тронул, вежливо и терпеливо просили рассказать все, как есть, и Цыпа так же терпеливо, тупо, не теряя самообладания — у кого совесть чиста, тому нечего бояться, — лепил горбатого про горькую судьбу беженца, Аргентину и мороженое мясо.

Ведущий допрос офицер — штатский костюм не скрывал военной выправки — тоже отличался завидной выдержкой. Он душевно просил Цыпу не тратить времени на пустое вранье: им отлично известно, кто он и с какой целью прибыл в Бухарест, так что допрос носит чисто формальный характер, а настоящие дела ждут их, когда кончится докучная, но необходимая официальная часть. Если он не настроен на серьезный разговор, то может ограничиться простым «да», подтверждающим сведения, которыми они располагают. А сведения их отличались абсолютной точностью: ФИО, воинское звание, боевые награды, фронты и части, в которых проходил службу, специальные учебные заведения, цель засылки в Бухарест — ни одной ошибки не было в этом формуляре. Тимку покорило, что его семейное положение было определено как фиктивный брак с Крошиной Людмилой Петровной, капитаном, шпионкой, кавалером двух орденов Красной Звезды. Было ясно, что их заложили еще до приезда сюда, хватит ли у Люды

сил, если ее возьмут, все отрицать? Думать об этом было страшно...

Я удивительно хорошо представляю себе Цыпу в эти далеко не лучшие минуты его жизни. Задумчиво-недоуменное лицо, приоткрытый рот, шея, ставшая длиннее на три позвонка, обиженный нос — что-что, а придураться он умел. Впрочем, я не уверен, что это умение, иногда мне кажется, что дурак, особый русский дурак, который поумнее и похитрее иного умника, всегда сидел в Цыпе. Наверное, потому он и казался тебе недоделанным. Но офицера его вид не мог ввести в заблуждение, поскольку он знал всю Тимкину подноготную. И похоже, не без удовольствия наблюдал театр одного актера. Во всяком случае, не раздражался, не орал, не стучал кулаком, ибо знал, что этому лицедею деваться некуда.

Цыпа гнул свою линию. Он даже позволил себе горький упрек:

«Я думал, что кончились наши страдания, и ехал сюда с открытой душой накормить свежемороженым мясом союзников Германии».

«Напрасно вы думали, что ваши страдания кончились,— мягко сказал офицер.— Они только начинаются. Если, конечно, вы не перестанете валять дурака. Я думал, вы разумнее. В конце концов, от вас не требуется ничего фантастического, это неизбежный путь каждого провалившегося шпиона. Вы сохраните свою легенду и будете делать то, что вам поручили в Москве. Информацией мы вас обеспечим. Это не только сохранит жизнь вам и вашей очаровательной подруге, но поможет вашему устройству в том миропорядке, который мы установим, после победы».

«Меня вполне устраивает торговля свежемороженым мясом,— нудно сказал Тимка.— А передавать какую-то информацию я не буду, просто не умею, да и почему большевики должны меня слушать? Кто я такой? Они сразу поймут, что это фальшак».

«Не прибедняйтесь,— сказал офицер,— они знают ваш почерк. И хватит притворяться. Мы все равно вас заставим».

«Будут бить!» — понял Тимка и настолько превратился в цаплю, что чуть не взлетел.

Но бить его не стали, а угостили сигаретой и куда-то повезли в том же низко сидящем, расслабляющем «Хорхе».



Они подъехали к воротам в кирпичной стене, поверх которой тянулась колючая проволока. Тюрьма. Его долго вели по длинному сводчатому коридору, мимо камер с зарешеченными окошками. Время от времени сопровождающий их надзиратель отпирал одну из камер, и офицер, кивнув на вытянувшегося в струнку узника, бросал небрежно: осведомитель вашего резидента номер такой-то. Тимка вполне равнодушно смотрел на худых, небритых, казавшихся на одно лицо узников, он не знал их да и не был уверен, что они действительно те, за кого их выдает гестаповец.

Наконец они подошли к камере, которую открыли не то чтобы торжественно, но со значением. С койки поднялся тощий седо- и вислоусый старик, похожий на гоголевского сечевика.

«Вот тот, кого вы искали,— Илие Бучану, в миру Тарас Петрович Саенко. Прошу любить и жаловать»,— офицер осклабился, ввернув этот русский оборот. Он явно гордился своим чистым, чуть подмороженным, как мясо аргентинского негоцианта, русским языком. Тимка и сечевик глядели друг на дружку без особого интереса. Сечевик, скорей всего, не понял, кто перед ним, Тимка же вел свою роль.

«Налюбовались? — спросил офицер.— Саенко оказался куда сговорчивей вас. Мы думали, что вы можете поработать в паре».

«Мне не нужен компаньон»,— пробормотал Тимка. Теперь он понял, что влип безнадежно.

Кто его заложил? Неужели они взяли Люду, и она раскололась? Непохоже на опытную разведчицу. Но почему они ее взяли? Легенда дурацкая, ему с самого начала казалось, что шефы перемудрили. Русский беженец из Аргентины, торговец мясом его лет — отдает бредцем. Но ведь жизнь полна бреда, неестественных ситуаций, чудовищных закрутов, диких совпадений; подозрительно по-настоящему, когда слишком гладко и правдоподобно, когда все швы сходятся. Так не бывает в нынешнем взбаламученном мире. Могло, могло занести русского парня в Аргентину, и мог он пристроиться к торговому делу. «А зачем я себе-то морочу голову? — спохватился Тимка.— Растерялся, пустил сок? Это уж последнее дело. Пустить сок можно, когда тебе выбьют зубы, но лучше до этого не доводить, а выкручиваться. Почему же Люда не выкрутилась? Неизвестно, что с ней

делали, есть мера человеческому терпению. Она все-таки женщина... А почему я так уверен, что Люду взяли?..»

В общем, Тимка заметался, хотя на челе его высоком не отразилось ничего. Неожиданно быстро офицер прервал лишнюю теплую встречу двух провалившихся шпионов.

Они долго шли по внутренним переходам, поднимались на лифте, спускались на лестничный пролет, опять подымались, шли дальше, и Тимка понял, что они покинули тюрьму и теперь двигались другим помещением, похожим на обычный офис. Вдоль коридора были расстелены синтетические ковровые дорожки, глушившие шаги, по правую руку широкие незашторенные окна позволяли видеть небо и городские крыши, по левую руку мелькали безликие двери кабинетов. Им попадались военные в черной форме и фуражках с низким козырьком и штатские — все, как один, в темных роговых очках. Что это — сигуранца или гестапо?.. Тимка любил звучные, щекочущие небо слова: сигуранца, коза ностра, абитуриент, гверильясы, аркебуза, Трокадеро...

Офицер толкнул дверь и сделал знак, чтобы он входил. В кабинете было три одинаковых письменных столика, три одинаковых шкафа с папками, на столах — зачехленные пишущие машинки «Рейнметалл». За дальним столиком работала, низко склонившись над бумагами и уронив волну светлых, чуть завитых волос молодая женщина в черном кителе. Тимку пронзило какой-то большой нежностью — у Люды была такая же пепельно-золотистая копна. Женщина подняла голову, резким движением откинула волосы: «Ну вот, явился не запылится. Чего рот-то открыл?..»

...— Тут откроешь! — сказал я. — Она была раньше завербована?

— Ну да! Засыпалась еще в начале войны. И работала на немцев.

— А он что?

— Ничего. Хоронил мысленно женщину, которую успел полюбить и которой верил как самому себе. Зато она проявила большую активность. Предлагала сохранить все, как есть, только поменять службу. Уверяла, что очень привязалась к нему, не хотела бы его терять. Понимаешь, эту страницу своей биографии Тимка всегда пробегал скороговоркой. По-моему, тут у него так и не зарубцевалось. В общем, разговора у них не

получилось. Тимку снова куда-то повезли. Едва отъехали, началась бомбежка. Машину опрокинуло, хрустнуло, Тимку выбросило наружу. Он был весь в крови, но ран глубоких не оказалось, посеколо лицо, шею осколками стекла. Его спутники не подавали признаков жизни. Тимку перебинтовали прямо на улице, от госпиталя он отказался и, как библейский пророк, побрел неведомо куда. Уже на окраине он потерял сознание, а очнулся в постели, в доме каких-то пожилых людей. Он упал возле их крыльца, они подобрали его.

Хозяин, фельдшер на покое, заверил Тимку, что с ним все в порядке, просто он потерял много крови. Говорили хозяева на ломаном русском, и Тимку удивило, как догадались они о его национальности. Ты же помнишь, в нем не было ничего характерно русского: продолговатый череп, длинное узкое лицо, большой горбатый нос, бурые увядшие волосы, глаза цвета расплавленного олова. Он счел нужным сообщить этим милосердным людям, что он прямиком из Аргентины, торгует свежемороженым мясом. Старики попросили его не волноваться: если бежавшему из плена русскому хочется считаться аргентинским торговцем, пусть так и будет.

Поступок этих старых людей остался для Тимки какой-то щемящей тайной. Они выхаживали, как родного, солдата вражеской армии, зная, что рискуют жизнью. А ведь они скрывали не солдата — шпиона, и эта мысль была так невыносима, что, едва окрепнув, Тимка поспешил оставить гостеприимный дом. Он ушел ночью, когда хозяева спали, и поплелся к фронту, избегая больших дорог и обходя населенные пункты. Все эти предосторожности не помогли, он нарвался на немецкий патруль. Его приняли опять же за беглого пленного, в чем он «честно» признался, избили и отправили в лагерь.

Через три недели он бежал, добрался до прифронтной полосы и был снова схвачен. Немцы погнали колонну беглецов в тыл. За спиной слышался гул нашей артиллерии, и Тимкой овладела такая тоска, так захотелось к своим, что он принял невероятное по смелости и беспощадности к себе решение. Надо действительно быть недоделанным, чтобы додуматься до такого. Он заметил, что конвойные пристреливают упавших, если те подадут хоть слабые признаки жизни, в

противном случае лишь пристукивают — для верности — прикладом по голове. Берегут пули, видать, с боеприпасами у них неважно.

На марше Тимка хватил кулаком по своему большому, хрящеватому, слабому носу, размазал кровь по лицу, шее и груди и грохнулся навзничь на дорогу, закатив глаза. Через несколько минут на взлобье обрушился страшный удар, и черепушка разлетелась на куски.

Очнулся он в темноте. Чтобы открыть глаза, ему пришлось выгрести липкую массу загустевшей крови из глазниц. Голова трещала и гудела, но кости были целы. Он отполз с дороги, смыл кровь вонючей водой из лужи и попытался встать. Это ему не удалось. Он заполз в кустарник, свернулся калачиком и заснул. Когда проснулся, то оказалось, что он лежит в десятке метров от шоссе в засохшем, насквозь просматриваемом шиповнике. Почему его не обнаружили — непонятно. Пешеходы на шоссе были редки, но воинские грузовики и легковушки проезжали то и дело. Ему так долго не везло, что должно же было наконец повезти.

Вскоре он убедился, что действительно попал в полосу удач. Пока он пробирался к фронту, его с десятков раз могли схватить. Раз он устроился на сеновале заброшенного сарая, куда завернул на ночлег немецкий отряд. Солдаты варили на костре кулеш, жрали, пили, горланили песни, играли в скат, потом спали впокат с храпом и свистом, под утро ушли. Остатки кулеша они вывалили на пол. Тимка выбрал куски баранины и съел их. Уходя из фельдшерского дома, он взял лишь две кукурузные лепешки да грудочку мамалыги, у них самих было не густо. Его мучил голод, но зайти в деревню и попросить еды он не решался.

Другой раз он чуть не напоролся... Слушай, ты помнишь у Шкловского, кажется, в «ЗОО»: небо было такое же, как в рассказе А.П.Чехова «Степь». Я неточно цитирую, возможно, он привел другой рассказ, но ты понимаешь, что я имею в виду. Тимка выходил из плена, как бесчисленное число героев нашей художественной литературы об Отечественной войне. Поэтому не будем тратить на это время, которого у нас с тобой осталось так мало.

Стоит сказать вот о чем: вблизи фронта в полумертвом от потери крови, усталости и голода бедолаге проснулся разведчик. Он стал фиксировать мнемоническим

способом все, что могло представить интерес для нашего командования: долговременные огневые точки противника, заправочные, склады, скопления техники. Тимка шел к фронту, а фронт накатывался на него. Встреча состоялась без цветов и поцелуев: на последнем рывке его обстреляли и чужие и свои.

Цветов не было и потом. Он, видимо, исчерпал куцый лимит удачи. Первое, что он услышал, оказавшись среди своих и слегка отдышавшись, был радостный возглас молоденького бойца:

«Шпиёна поймали, товарищ старший лейтенант!»

«Отправьте меня в особый отдел», — попросил Тимка.

«А ты думал, тебя куда отправят? — с непонятной злобой отозвался старший лейтенант. — На концерт самодеятельности?»

Особист выслушал Тимкино донесение, велел изложить все в письменной форме, после чего подверг его придиричивому допросу. Тимка сказал твердо, что остальное он доложит в Москве. Больше всего Тимку удивило, что ему даже кружки чая не предложили. Это оказалось не самым большим его разочарованием. Вскоре он убедился, что «свои» перестали считать его «своим». Подобные превращения удивляли людей куда менее прямолинейных и бесхитростных, нежели Тимка. Представляешь, каково было ему с его простотой и недоделанностью убедиться, что объективной реальности не существует?

Тимку отправили в Москву, а оттуда после нескольких вялых допросов — в проверочный лагерь. Тех людей, которые засылали его в Бухарест, он не увидел, хотя просил свести его с ними. Что тут произошло — сказать трудно. Операция провалилась, проглядели девку, завербованную немцами. Естественно, Тимка тут ни при чем — он не выбирал себе напарницу. Может, его наказали за связь с врагом народа? Я, конечно, шучу, но случались шалости и похлеще. Если же всерьез: кому-то было выгодно избавиться от Тимки и поставить крест на провалившейся операции. Не исключено и другое, в том числе обычный бардак. Лень было разбираться в сложной, неординарной ситуации, куда проще стряхнуть неудачника в проверочный лагерь и забыть о его ненужном существовании.

Тимка никак не мог взять в толк, что ему не верят. Неужели он не заслужил доверия за все годы своей

безупречной службы? Но я думаю, еще страшнее было бы для него узнать, что никто его ни в чем не подозревал и уж давным-давно не считал врагом. А будь на нем хоть малая вина, его давно бы расстреляли. Именно потому, что у него все чисто, он пользовался преимуществами проверочного лагеря, включая легкую, непыльную работу: клеивать пакетики с презервативами.

Он клеил их чуть больше года, а в лето победы был отпущен на волю. Звание с него сняли, отобрали все награды, но Москвы не лишили. «Вернулся он домой без славы и без злата», в засаленном ватнике и тяжелых котках. Конечно, не так рисовалось ему возвращение воина-победителя, но ведь могло быть еще хуже.

Первое, что он сделал: забодал на Тишинском рынке свою роскошную шинель с золотыми пуговицами, китель и ремни. Сапоги оставил, самому пригодятся. Я ходил с ним на рынок и злился, что он, не торгуясь, отдал превосходные вещи в первые попавшиеся руки. Деньги же сразу потратил, купив матери шерстяную кофту, теплый вязаный платок, а сестре платье и босоножки. «Солдат не может приходить с войны без трофеев», — сказал он, дернув губой, и тем подвел итог своей войны.

Жизнь продолжалась, надо было помогать матери тянуть дом. Сестра кончала школу, хотелось дать ей высшее образование. Тимка прикинул разные возможности и получилось: самое выгодное — работать истопником в котельной по месту жительства. Должность была вакантной, и, несмотря на множество претендентов, у Тимки имелись преимущественные шансы, поскольку за него был Степаныч, наш легендарный дворник саженного роста, с раздвоенной, как у Александра III, бородой. Истопник — это мизерное жалованье и большой навар. Все очень нахлодались за войну, и, чтоб держался добрый жар, разве постоит кто за поощрением: денежным, продуктовым, водочным — хозяина домового тепла? Кроме того, в те давние времена в старых домах истопник был и сантехником и слесарем.

У Тимки было одно замечательное свойство, возможно коренящееся в его недоделанности, которую ты тонко подметил: он сразу и полностью обретал ту форму, которую предлагали ему жизненные обстоятельства. В детстве он был олицетворением нашей дворовой вольницы, в юности стал образцовым пролетарием: пропил с

бригадой первую получку, стал что-то выносить с завода и обмазывать солью край пивной кружки; в армии заделался военной косточкой, офицером не советского даже, а старого образца, как в фильмах о гражданской войне: оттягивал мизинец, беря стопку, и — локоть, поднося ее ко рту; представляясь дамам, щелкал каблуками, держал выправку, словом, форсил офицерщиной; здесь он быстро стал классическим истопником: грязным, нетрезвым, ленивым и необязательным. Он без стеснения брал трешки, пятерки и десятки, опрокидывал стопку на кухне, заедая корочкой в будни, блинцом на масленицу, куличом на пасху, не брезговал старым пиджаком или штанами, весь двор звал его душевно Никонычем.

Тимка имел столько от своих невдохновенных трудов, что его часто прихварывающая мать могла бы спокойно отказаться от грошовой зарплаты участкового врача, но она была из породы вечных тружениц. Семья жила в достатке, Тимкина сестра поступила в университет; и старая и молодая женщины были очень прилично одеты, ходили в театры и на концерты, но, конечно, мать Тимки, человек старых правил и воспитания, не была счастлива, видя, как опускается ее сын. Все эти рюмочки и кружечки, подношения от жильцов, грязная и тупая работа, отчуждение прежних товарищей — с ним стало скучно — не могли не расшатать нравственный ствол его личности. Он был гордым по природе своей человеком, но сейчас отрухлявилась сердцевина.

Всякая профессия заслуживает уважения, только не в нашей стране. Где-нибудь в Германии истопник — это фигура. В спецовке, рукавицах, в кожаной фуражке, он опрятен, энергично деятелен, свято соблюдает часы завтрака и обеда, окружающие испытывают к нему почтение и считают за честь распить с ним бутылочку рейнского в соседнем кабачке после рабочего дня. А у нас истопник, водопроводчик, домашний слесарь — персонажи полукомические при всей их роковой важности в нашей непрочной жизни. Недаром их так любят эстрадные юмористы.

Тимка имел дело с каменным углем, поэтому был черен, как вельзевул, его ватник, с которым он не расставался ни зимой, ни летом, пропитался угольной пылью и каким-то смрадными техническими маслами, этот аромат хорошо сочетался с сивушно-селедочно-

луковым выхлопом уст, «пьяных, как дикий хмель». Он никогда не отличался красноречием, но был прекрасным собеседником, потому что умел слушать: он жил общими интересами, волновался за друзей, а сейчас ему все стало до лампочки. Я давно переехал из этого дома, но часто навещался сюда, сохранив дружбу с ребятами. Хоть бы раз Тимка спросил, как я живу, что делаю, а на мои расспросы отвечал односложно: «Все нормально». Иногда мне казалось, что это и не Тимка вовсе, а какой-то самозванец, забравшийся в его шкуру. Как-то раз я видел, как он обслуживал пивом Шолохова.

Михаил Александрович время от времени появлялся в нашем дворе; он навещал умирающего от туберкулеза Андрея Платонова, которого нежно любил. Когда-то он помог Тошке<sup>1</sup>, актированному по болезни, остаться в Москве, то был поступок не только милосердный, но и отважный по тем временам. Шолохов приезжал на сессии Верховного Совета или по другим государственным делам, но вместо заседаний шел к Платонову. Они выпивали, пока Платонов еще мог пить, в дальнейшем Шолохов или выпивал заранее, или под видом перекура — во дворе, чтобы не раздражать больного друга. Иногда он «давил малыша», но чаще пробавлялся пивом, за которым посылал Тимку, а сам беседовал с дворником Степанычем, отъявленным вралем, производившим впечатление правдивого, как сама земля, народного человека. Шолохов — это неожиданная черта в нем — обожал сплетни. Впрочем, не исключено, что он любил сплетни только о писателях и писательских женах, а все другие на дух не выносил. Степаныч по роду своих занятий был кладезем всевозможных слухов, которые сам же придумывал. Попыхивая сигаретой, Шолохов жадно спрашивал:

«Ну а она что?.. Дальше-то что было?..»

«Что дальше?.. — лениво тянул Степаныч, старательно заплывывая искуренный до фильтра чинарик, — он уже забыл, о чем врал. — Она ведь об этом не думала. Нешто могла она знать, что такой оборот выйдет?.. — Надсадный кашель сотряс богатырскую грудь. — Плесни-ка пивка, что-то в горле першит».

Но пиво кончилось. Шолохов достал из кармана мятую десятку и протянул маячившей рядом долговязой фигуре:

---

<sup>1</sup> Сын Андрея Платонова, арестованный в 1938 году.



«Давай, родной, одна нога здесь, другая там».

Степаныч меж тем собрался с мыслями и, пока Тимка бегал за пивом, благополучно довел историю до конца.

Тимка невероятно ловко срывал зубами пивные закрывалки. Стакан имелся только для сказителя, Шолохов и Тимка тянули из горла.

«Ну, а Орест как? Неужто затих?» — интересовался Шолохов, промокая рукавом усы.

Орест М.— половой гигант дома. Каждую неделю в его однокомнатной квартире происходили бурные сцены с криками, визгами, мордобитием, серной кислотой. За этим следовали доносы в партком СП. Редкое партийное собрание происходило без обсуждения половой жизни Ореста М.

«Орик-то?.. — соображал Степаныч. — Нешто такой затихнет? Намедни с четырьмя взаимодействовал».

«Брось, Степаныч, как можно с четырьмя?» — ужасался и восхищался Шолохов.

«Варфоломеевская ночь!.. Да что такому кобелю четыре сюжета? У него эта штука с городошную битую».

«Не лепи горбатого, Степаныч, так не бывает».

«Цыпа не даст соврать. Цыпа, будет у Орика с городошную битую?»

«Никоныч» для всего двора в глазах Степаныча, холившего его детство, оставался Цыпой.

«Ага», — подтвердил Тимка, думая о чем-то своем. Вот что странно. Шолохов великолепно изображал человеческие характеры, значит, присматривался к людям. А ведь Тимка не был рядовым истопником: слишком утонченная внешность, да и молод он был для своей должности, достающейся бойцовым людям, умудренным годами и борьбой за существование. Это сейчас в привычку, когда на месте лифтерши сидит бледнолицый бородатый философ с томиком Бердяева в нервной руке, а уборную чинит кандидат или доктор наук, нацелившийся покинуть свою неисторическую родину. В ту пору прочен был социальный тип: истопник, как и дворник, — это судьба, а не просто род занятий. Тимка так вызывающе не подходил к своему месту, что должен был бы заинтересовать ловца человеков. Но Шолохов не сосредоточил на нем внимательного взгляда да и вспоминал о его существовании, лишь когда кончалось пиво.

Мне долгое время казалось, что Тимка настолько привык к своей работе, образу жизни, вернее сказать,

опущенности, что ничуть не страдает в образе котельного вельзевула, мол, все путем. Но однажды я крепко усомнился в этом.

Я уже говорил, что мы с матерью перебрались на новые квартиры. Прелесть новизны и несколько лучших жилищных условий вскоре минула, я свирепо затосковал по своему старому двору и ринулся туда со всех ног. Сентиментальное путешествие оказалось малоудачным. Из сверстников я не застал никого: «одних уж нет, а те далече», во дворе копошилась незнакомая мелюзга. Я облазил чердаки, даже в уборную бывшего Камерного театра проник, потолковал с дворником Степанычем, охотно рассказавшим мне обо всем, чего не было в пору моего отсутствия, затем пошел глянуть на подземное озерко.

Я забыл старые ходы и с большим трудом проник в подвал. Озерко было на месте, освещенное, как и прежде, таинственным, неведь откуда проникающим светом; посреди застыл наш разошедшийся плот, на нем сидел Тимка, погруженный в думу, он даже не заметил моего появления, а с края плота примостилась большая крыса, спокойно, мудро и благожелательно глядевшая на него. Было в этом что-то такое грустное и безысходное, что я не окликнул Тимку и тихо ушел. Да и что я мог сказать ему? Что-нибудь из «Мойдодыра»: «Надо, надо умыться по утрам и вечерам, а немытым трубочистам стыд и срам, стыд и срам». Если не можешь помочь делом, лучше помолчать.

Но нашелся человек, умевший делать, а не трепать языком, — Нюся — бывшая радистка-разведчица, первая Тимкина любовь. Она прекрасно отслужила войну, получила много боевых наград, в том числе высший польский орден, демобилизовалась, кончила театральный техникум и сейчас заведовала гардеробом в одном из главных московских театров. Она случайно услышала о Тимке, и в ней разыгралось былое чувство. Так, во всяком случае, я думал, плохо зная Нюсю. Когда же узнал лучше, то мотивы ее поведения несколько усложнились, но об этом в своем месте.

Нюся — незаурядная женщина. Увидев вместо молодого, справного лейтенантика старого спившегося истопника (Тимка выглядел лет на десять старше своих лет), Нюся не только не отступила, а прямо-таки возгорелась спасительным пламенем. Может, у них ничего бы и не вышло, но в Тимкиной душе зазвучали давно умолкшие

струны, и он не колеблясь пошел за своей избавительницей.

У Нюси не было жилплощади, не заслужила смелая разведчица и кавалер многих орденов хотя бы щели в общей квартире. Она то скиталась по общежитиям, то ютилась у подруг, то «гноила» угол у старушек. Сейчас одна ее приятельница уехала в длительную командировку, и «молодожены» поселились у нее. Прежде всего Нюся отмыла Тимку, постригла, одела во все чистое, затем свела в загс и, наконец, забрала из котельной, устроив его на весьма выгодную работу в бюробин<sup>1</sup>. Помогли театральные знакомства и Тимкины остатки немецкого языка. Кажется, он вписал в анкету знание испанского и румынского. За полиглота ухватились.

С этого времени Тимка перестал пить водку. Только сухие вина, иногда настоящее «порто» — бокал после обеда.

Он подошел ко второму, главному пику своей жизни. Первый подъемный момент, очень кратковременный, был отмечен пошивом офицерской шинели, которую он даже не успел надеть, второй растянулся на много-много лет. Он вобрал в себя и тот долгожданный час, когда ему было возвращено воинское звание и все награды с добавлением двух медалей: «За победу над Германией» и «За взятие Бухареста», хотя не Тимка брал Бухарест, а его там взяли. И тут Тимка вторично справил себе шинель — уже из генеральского сукна, китель и брюки из серого габардина, купил на толкучке офицерскую фуражку, ремни и кобуру от ТТ. Не только в День Победы, но и по обычным воскресеньям он надевал форму и в таком блистательном виде прогуливался по улицам. То была полная компенсация за все муки. Я часто виделся с Тимкой и всегда испытывал радость при виде по-настоящему счастливого человека. До чего хорош он был, когда, угостив меня прекрасным обедом, приглашал к маленькому круглому столику попить кофе по-турецки из крошечных фарфоровых чашечек. Мне полагались коньяк и ликер, Тимка обходился стаканом «порто».

Для него не было большего удовольствия, чем хорошо угостить друга. И опять он с удивительной пластичностью применился к новым обстоятельствам. Теперь это был отставной офицер какого-то привилегированного полка и крупный хозяйственник в тонком деле

<sup>1</sup> Бюро обслуживания иностранцев.

обслуживания иностранцев. Изыщные, отточенные гвардейские движения, благоуханные кольца «кента», нанизываемые на стержень, — я так и не освоил этого искусства, — многозначительное молчание с узкой неразвернутой улыбкой доброты и убогостворенности. И удивительный взгляд любви, благодарности и доверия, который он время от времени обращал к Нюсе. Неужели это тот самый человек, который сидел с потухшим взором на плоту посреди подземного озера в компании мокрой крысы?

Желая воздать Тимке сполна за незаслуженные беды и несправедливости, жизнь подносила ему все новые подарки: у него родился великолепный сын, и возросшая семья переехала в двухкомнатную квартиру на Сретенском бульваре.

Он едва не вступил в партию. Но на собрании, когда его принимали, он взял обязательство воровать вдвое меньше и призвал к тому же всех коммунистов бюробина. Сам понимаешь!.. Он едва не вылетел с работы с «волчьим билетом». Что с него взять — недоделанный...

— Стоп! Я уже покался. Это мы недоделанные по сравнению с Тимкой.

— Только не надо его преувеличивать. Он был вполне бытовым человеком без каких-либо высших запросов. При своей физической храбрости, хладнокровии, исполнительности он мог сделать военную карьеру. Скажем, дослужиться до полковника. Дальше его не пустили бы. Для преуспевания в мирной жизни его боевые качества были ни к чему. Другими он не располагал. Но и не стремился выделиться. Лишенный честолюбия и каких-либо творческих тревог, он хотел лишь одного, чтобы его близкие жили спокойно и достойно. На это его способностей хватало. К тому же он опять начал играть в теннис и стал желанным партнером для клиентов бюробина. Он ведь играл не только хорошо, но строго по-джентльменски, без оголтелого желания непременно выиграть. И это еще более укрепило его положение на службе. Но видно, в горних сферах решили, что он еще не испил своей чаши до дна, да и вообще умиротворенное блаженство смертных раздражает богов.

Удар пришел с той стороны, где он считал себя наиболее защищенным: Нюся бросила его, ушла к другому. Этот другой был старинный Тимкин приятель, да и мой тоже, бывший сосед по Тверскому бульвару,

огненно-рыжий парень Гошка, любитель современной музыки и сам немного музыкант — играл на тромбоне в каких-то второсортных джазах. Они с Нюсей были знакомы лет сто и вдруг обнаружили, что жить друг без друга не могут.

— Мне бы хотелось знать об этом подробнее. И ради бога, не отсылай меня к «Мадам Бовари»...

— Я как раз хотел это сделать. Ну, скажи на милость, что я могу знать о таком интимном деле? Что нам вообще известно друг о друге, кроме грубых очевидностей? Я обалдел, когда услышал об этом. А Тимка обалдел давно. У него надолго стал такой вид, будто его поместили под Царь-колокол, а потом дали по гулкой меди из Царь-пушки. От чар любви никто не застрахован. Но Нюся любила Тимку, как только можно любить творение своих рук. Она же в самом деле собрала его нацельно из мелких осколков. А он ее не просто любил — молился на нее, на редкость благодарная душа. У них был чудесный сын, дом полная чаша, прочный, но неотяжеленный быт, о чем еще мечтать? И ведь она столько лет знала Рыжего и разве что терпимо относилась к его веснушчатой роже, плоской веселости, постоянной озвученности легкой музыкой и неопрятной безытности. Но, может, как раз этим он ее и достал. Нюся — жертвенная натура. Ей надо кого-нибудь спасти, иначе нет напряжения жизни, и любить надо только несчастенького. Таким был Тимка в пору, когда она вытащила его из котельной Дома Герцена, но таким он давно перестал быть: довольный жизнью обыватель с запасливыми бурундучьими щечками от пересытости. Конечно, она была привязана к нему, спокойным сердцем любила сына и дом, но все это не давало утоления жаждущей подвига самоотверженной душе. Другое дело — Рыжий, заброшенный, одинокий, неухоженный, некормленный, печальный тромбон. Надо сказать, что он всегда так жил, с тех пор как умерли вскоре после войны его родители, и ничуть не тяготился своим холостяцким разором. Вечно народ, вечно пьянка, музыка, треп, менялись девчонки, но не менялись простыни и наволочки, со стола сроду не убиралось, полы не мылись, а солнечный свет едва проникал сквозь заросшие пыльной шубой стекла. Все это его вполне устраивало, пока играла молодость, но на пятом десятке он захандрил: испарились надежды на славу и деньги, побаливала печень, в глазах появилась собачья грусть.

Словом, он вполне созрел для спасения. Нюся приняла свой порыв к обездоленному за любовь и сожгла мосты. Она была искренна и всерьез верила, что силой своего чувства вернет любимому веру в свой талант и будущее.

Прошло немало времени, пока она поняла, что спасать-то некого. Ее страстный порыв был порывом в пустоту. У Рыжего действительно была увеличена печень, как у всех пьяниц, у него легко портилось настроение — обычная черта неудачников, считающих себя гениями, но в целом он был доволен своим безалаберным, пустым, не обремененным никакой заботой существованием. Все участники этой семейной драмы готовили на сливочном масле, кроме Рыжего, он жарил на маргарине, к тому же испорченном. Роман с Нюсей был нужен ему для самоутверждения, да и приятно сделать гадость заевшемуся приятелю. Тревожный рыжий пламень его волос над собачьей грустью нездоровых глаз долго морочил Нюсе голову, но в конце концов ей открылись правда и полное банкротство спасательной миссии.

Тимке было очень трудно без Нюси. Помог ему уцелеть сын, которому он себя целиком посвятил. Когда спасаешь другого человека, то и сам спасаешься им.

Посвятив себя целиком сыну, Тимка подорвал свое служебное положение. Слишком велика там конкуренция, слишком много желающих попасть на твое место, чтобы работать с прохладцей. Надо не только выкладываться до конца, но и быть осмотрительным, как слеза на реснице. Иначе скатишься. А Тимка и теннис забросил, чем нанес непоправимый ущерб своей репутации в дипломатических кругах.

Все свободное время он проводил с сыном. Помимо всего прочего, ему не хотелось, чтобы образ матери померк в его глазах, что вполне могло случиться, если б Тимка не стоял на страже. Повадившаяся в дом бабушка Бориса была тяжело оскорблена поступком Нюси и при всей своей сдержанности и тонком дореволюционном воспитании слишком красноречиво поджимала губы, когда речь заходила о грешной экс-невестке. Тимка бдительно следил, чтобы ее негодование не переступало этой черты.

Если ты когда-нибудь познакомишься с Борисом, то поймешь, что ничто еще не пропало, раз есть на свете такие молодые люди. Доброта, благородство, бескорыстие, сознательное нежелание признавать, что жизнь не

подарок, при ясном, спокойном уме, видящем низкую правду, но отвергающем ее ради правды высшей,— как это создалось и как сохранилось в нашей кромешной действительности? Воспитал его Тимка. А самого великого воспитателя вырастил двор и подвал с крысами — ни у дяди, ни у матери не было на него времени. Откуда бы взяться воспитательской мудрости? А она была. Но может, это не мудрость вовсе, а естественная жизнь хорошей души, невольно, без искусственных усилий помогающей росту другой — юной и здоровой души? Словом, экзамен на отца он выдержал на пятерку.

На ту же отметку он сдаст экзамен на сына, когда тяжело, смертельно заболеет его мать. Побоку пойдет вся остальная жизнь, он станет сиделкой, нянькой до самого последнего ее вздоха, отстранив сестру от всяких хлопот. Но это случится много позже, а пока ему пришлось решать другую задачу.

Он узнал, что Нюся с Рыжим рассталась. Финал оказался куда более жестоким, чем заслуживала слабая драматургия — из-за ничтожности одного из главных действующих лиц — этой житейской истории: Нюся попала в больницу с опасным заболеванием, требовавшим срочной и тяжелой операции. Когда я его спросил, что с Нюсей, он ответил коротко: «Нижний этаж».

Нюся на операцию не решалась. Фиаско с Рыжим лишило ее обычной воли и уверенности в себе. Она лежала в палате, никто ее не навещал, и ей казалось, что она слышит, как вытекает из нее жизнь. И, презирая себя за слабость, беспрерывно сочилась из узких глаз, как скала. Однажды сквозь слезный дым она обнаружила возле изголовья полú короткого белого халата, выше — китель с орденскими планками и ленточкой «за ранение», а еще выше — знакомый профиль с гордым носом и редко моргающие глаза цвета расплавленного олова.

Ты знаешь, Тимка был не речист, он не знал, как уговорить Нюсю на операцию, и надел военную форму и знаки регалий, чтобы напомнить бывшей разведчице о ее боевой молодости и бесстрашии. И эта наивная выдумка сработала. Нюся взяла себя в руки, согласилась на операцию, которая прошла успешно. Через три недели Тимка привез ее домой. Здесь ее ждало много цветов и возмужавший сын. Никаких объяснений по поводу случившегося не было, ни полслова, ни намек. Жизнь продолжалась, как в разбуженном поцелуем

принца царстве спящей красавицы — с того движения, на котором когда-то оборвалась.

Старые связи помогли Тимке устроиться проводником на поезда, ходившие заграничными маршрутами. Это позволило ему продолжать изящную жизнь в промежутках между рейсами. И хорошие вина, и виски, и заграничные сигареты были по-прежнему к услугам его друзей. В домашних условиях ему не пришлось отказываться от тех аристократических замашек, которым научил его бюробин. Конечно, в рейсах, подметая веником вагонный коридор, прибирая в санузлах и разнося пассажирам чай в тяжелых подстаканниках, он вел более демократический образ жизни. Вновь неплохо наладившийся быт едва не рухнул, когда заболела мать и Тимка уселся к ее изголовью.

Но, видимо, он успел завоевать авторитет на железной дороге, его не только приняли назад, но стали усиленно продвигать, совсем как Ивана Полозкова, с той разницей, что Тимкино возвышение никому не принесло вреда. Года через три он уже стал начальником поезда. Тимка не задрал нос, остался столь же доступен для старых друзей. Я, конечно, шутю, как говорил толстовский Ерощка, а вот нешуточное: на заре туманной старости у Тимки появилась любовница, проводница международного вагона — по-неученому, спального вагона прямого назначения — по железнодорожной науке. Комсомолочка, тогда еще был комсомол, на тридцать лет моложе Тимки.

Эта связь тянулась много лет и в конце концов стала известна Нюсе. Случайно, потому что ничего в поведении Тимки не давало повода для догадки. Супружеских отношений между ними не было, но вел он себя как безукоризненный муж: никогда не опаздывал, никуда не исчезал, отпуск проводил дома, не являлся подшофе со следами помады и запахом чужих духов. Она спросила, действительно ли у него есть женщина. Тимка это спокойно подтвердил. «А как же я?» — спросила Нюся. «Ты сама сделала наш брак свободным». — «Мне что — уйти?» — «Тебе решать». — «Кому я нужна?» — «Сыну... семье». — «Ждать, когда ты меня бросишь?» — «Я тебя не брошу». — «А ту женщину это устраивает?» Он пожал плечами. Ту женщину это устраивало до самой Тимкиной смерти...

Как это ни дико, но только сейчас дошло до меня, что я слушаю историю человека, которого уже нет.



— Так Тимка умер?

— Полтора года назад. Его похоронили на Введенском кладбище. Две женщины носят цветы на его могилу.

— Вот не думал, что ты рассказываешь мне историю покойника.

— Я рассказываю тебе историю не покойника, а живого человека, по-своему полно прожившего жизнь. А не сказал я, что Тимка умер, потому, что до сих пор думаю о нем как о живом.

— Признаться, финал твоей истории меня озадачил. Пропала цельность образа. Запоздалое галантное похождение что-то разрушило.

— Галантное похождение не может длиться пятнадцать лет. Связь пожилого человека, потом просто старика с женщиной из другого пласта времени заслуживает уважения. Тимка не простил Нюсе ее измену, душой не простил. Тут он был максималистом: за свою верность требовал такой же верности. Не заболел она, он никогда бы не вернулся к ней. Но сострадание, а главное, благодарность осилили нравственную догму, которая конечно же была и сильным, живым чувством. Он был человеком правил, но не моральным истуканом. Я уже говорил о его готовности подчиняться велениям жизни. Когда его бросили в грязь, он слился с этой грязью; любящая женщина привела его в чистый мир, он стал достоин ее усилий, она растоптала его скромное мужское достоинство, и он, расплатившись с ней за добро, счел себя внутренне свободным. Но он был нужен ей и сыну и не стал рушить семью. Пластичный человек, но не безвольный, не тряпка. А сыну своему он вскоре очень понадобился, жизнь еще раз решила проверить Тимку на прочность.

Боря окончил педагогический институт и пошел работать в интернат для брошенных детей. Вскоре он обнаружил среди них четырнадцатилетнюю девочку с таким милым и застенчивым личиком, что при виде нее у него обрывалось сердце. Она не была несчастнее других — такой же брошенный ребенок, не знавший ни матери, ни отца, с первым проблеском сознания обнаруживший свое полное одиночество в мире. Одиночество среди людей — ни единой родной, близкой души, одиночество среди вещей — ни об одной нельзя сказать «моя». Вообще-то она заслуживала сострадания не больше, а скорее меньше многих своих подруг: некраси-

вых, угрюмых, неуклюжих, обобранных той привлекательностью, которая дарила ей симпатии окружающих. Эта девочка с узким личиком, огромными глазами и улыбкой чистой благожелательности к людям растапливала даже замороженные сердца низкооплачиваемого задубевшего персонала.

Нехорошо было выделять большеглазую девочку среди других, Боря мужественно носил маску полной беспристрастности, а наедине с собой мечтал: если б она была его дочерью!

Вскоре он обнаружил среди воспитательниц родственную душу — молодую женщину примерно его лет. Они часто разговаривали на профессиональные темы, и однажды речь зашла об избирательной симпатии, на которую воспитатель не имеет права. Надя, так звали воспитательницу, призналась, что к одной из девочек старшей группы испытывает материнское чувство. И невозможность реализовать это чувство причиняет ей настоящую муку. И тут их осенила смелая мысль: соединить судьбы и удочерить девочек, которых они любили. Процедура удочерения чрезвычайно громоздка и длительна, словно кому-то нарочно хотелось усложнить это благое дело, куда проще взять на воспитание. Так и решили сделать: пожениться, взять к себе девочек и подать на удочерение.

Никаких препятствий задуманному не оказалось: девочки дали согласие. Боря с Надей расписались, путем сложных обменов превратили Надину однокомнатную квартиру в двухкомнатную, девочек полностью экипировали, к чему была привлечена легкая промышленность Бельгии — мобильный дед совершал в это время рейсы Москва — Брюссель и обратно.

Конечно, были разные опасения: сдружатся ли девочки, которые в интернате принадлежали к разным возрастным группам и не общались друг с дружкой, получится ли семья или будут четыре человека, искусственно сведенные под одну крышу. Но девочки удивительно легко нашли общий язык, Борька привязался к Надиной дочке, а Надя — к Борькиной, и если что-то смущало, так это настороженное отношение девочек к родителям. Жизнь не могла научить их чрезмерной доверчивости, и Борька с Надей понимали, что им предстоит завоевать их души.

Нюся с самого начала была против этой смелой затеи и полностью устранилась от забот новой семьи. Она

считала, что нельзя ставить телегу перед лошадей: сперва создать семью, потом вработаться в любви друг к другу. Зато Тимка оказался на высоте в качестве двойного деда. Его умение соответствовать обстоятельствам помогло и сейчас. К тому же его трогало слово «дедушка», срывавшееся с двух детских уст. Он сразу стал обслуживать внучек и, возвращаясь из очередного рейса с подарками, сразу спешил к ним. Они любили подношения, особенно старшая — модница и сластена. Младшая была как-то отвлеченной. Она всегда полуотсутствовала, погруженная в свои грезы. В ней шел непрерывный внутренний диалог: она улыбалась застенчиво-жеманно, изгибая длинную шейку, надувала губы, словно сердилась, вдруг становилась хмуро-обиженной, и непонятно было, как эта сложная эмоциональная жизнь связана с окружающим. Она перестала быть тихой и печальной мышкой. Борька считал, что в ней пробуждается личность, устанавливается контакт с собственным прежде задавленным «я», это важный и благой знак созревания человеческого существа.

Однажды дедушка явился к ним прямо из Брюсселя, нагруженный дарами, как Санта-Клаус (если б дары были отечественные, я сказал бы, как Дед Мороз). Входная дверь оказалась незапертой. Смущенный этим обстоятельством, Санта-Клаус раскрыл нож с фиксатором и осторожно проник в квартиру. Из комнаты девочек слышались голоса, какая-то возня... Ты как-то говорил, что знаешь наизусть куски прозы Марселя Пруста. Помнишь сцену, где Рассказчик подглядывает в окна мадемуазель Вентейль?

— Помню, — сказал я, — только не наизусть... Боже мой!..

...Когда мы расстались с Олешкой, я пошел в библиотеку и взял первый том прустовской эпопеи: «В сторону Свана». Вот эта сцена:

«М-ль Вентейль вдруг почувствовала в вырезе своей красивой новой блузки укол поцелуя подруги; она слегка вскрикнула, вырвалась, и обе девушки стали гоняться друг за дружкой, вскакивая на стулья, размахивая широкими рукавами, как крыльями, кудахча и издавая крики, словно влюбленные птицы. Беготня эта кончилась тем, что м-ль Вентейль в изнеможении упала на диван, где ее заслонила подруга...»

— Тимка тоже вспомнил Боженку и опрометью кинулся из квартиры под издевательский хохот девчо-

нок. Они слышали, как он вошел. Более того, они нарочно не закрыли дверь, чтобы их застали. Позже Тимка говорил, что удар автоматом по черепушке был детской шалостью по сравнению с этим потрясением. Ко всему еще он не знал, как поступить. Но ему не пришлось делать выбор. Через несколько дней сын вернулся домой. Оказывается, и он и Надя уже давно все знали, но рассчитывали на свой великий воспитательский опыт. А девчонки, смекнув, что их не выгонят, разнуздались окончательно. Возникла мысль расстаться со старшей, хоть маленькую спасти, но именно она оказалась закоперщицей. Ее в десятилетнем возрасте растлила методистка детдома. Пришлось девчонку отправить назад, и тут обнаружилось, что Борю с Надей ничего не связывает, кроме общего семейного эксперимента.

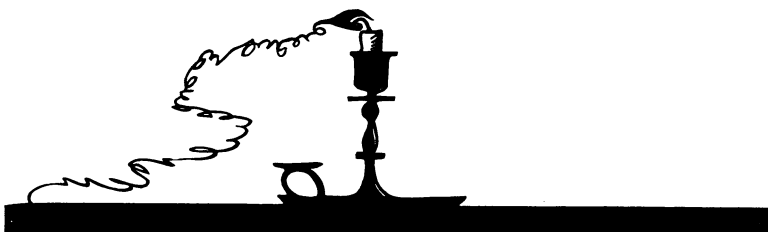
Борис ушел с работы. Месяца два он просидел дома в тяжелой депрессии. Тимка тоже бросил работу и, как в давние времена, стал сторожем сыну своему — звучит по-библейски, ты не находишь? Было пущено в ход все его красноречивое молчание, шахматы и пожухшие альбомы с марками. Он затащил Борьку назад в детство и как бы сказал: начнем сначала. И Борька начал: очнулся и опять пошел работать воспитателем, только в другой детский дом. Тимка потерял свое выдающееся место, но особо не тужил, устроившись бригадиром поездных электротехников на тех же рейсах.

Он исчерпал лимит горестей и закончил жизнь почти по Некрасову: «Безмятежней аркадской идиллии Закачтятся преклонные дни: Под пленительным небом Сицилии, В благовонной древесной тени», конечно, на советский лад. Сицилии не было, благовоний тоже, но покоя и радости он достиг. Борька женился на красивой, доброй девушке, родил отменного парня — Тимка стал дедушкой без дураков; сын не делал карьеры, скромно и деятельно служил своему единственному призванию, и милая умница жена не грызла его, что он не Кобзон. Тимка вышел на пенсию и наслаждался ролью патриарха, в которой был трогательно серьезен. Потом его разбил левосторонний паралич без потери зрения и речи. Сыну он сказал: «Не беда, битая посуда два века живет». Жене сказал: «Это конец. Никого ко мне не пускай. Не хочу, чтобы меня видели перекошенным». И замолчал. И через месяц его не стало, ушел во сне.

Но вот что выяснилось: не случайно он казался близко его знавшим человеком таинственным. У него была тайна. Помнишь, после изгнания Врангеля в Крым было расстреляно три тысячи белых офицеров?

— Как я могу это помнить? Я под стол пешком ходил.

— Я оговорился. Знаешь ли ты об этом? Нет? Так знай. Среди расстрелянных был Тимкин отец. Эту тайну он хранил даже тогда, когда все стали орать о своих белогвардейских предках. Из странной гордости. Это была его память, его боль, его любовь к придуманному им прекрасному человеку: воину, храбрецу, аристократу, герою, сложившему голову за Русь святую. Он вжил в образ отца и как бы продолжал его судьбу. Отсюда его значительность, молчаливость, тяга к светскости, хорошему вину, изящному застолью, отсюда его бесстрашие, твердость, мужество. Он даже опустился в свой час по-офицерски — гордо ушел на дно, чтобы потом воскреснуть. Он — из этой замечательной и дурацкой песни: «Поручик Голицын, набейте патроны, корнет Оболенский, налейте вина», где в одной части смешались корнеты и поручики, кавалеристы и пехотинцы и где офицер набивает патроны, как нижний чин, — такой разор, такой предгибельный перепут, такое великолепное и хладнокровное отчаяние и готовность погибнуть за Веру, Царя и Отечество...



# МОСКОВСКОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Что-то случилось, а я проглядел, упустил и выпал из положенной мне ячейки времени. Но и с пространством у меня тоже неблагополучно — похоже, я и здесь лишился своего места. А может, с окружающим миром ничего не произошло, просто я по какой-то непонятной причине, приезжая с дачи в Москву, стал проваливаться в зазеркалье.

Когда я впервые ощутил неблагополучие? Не так давно, но когда, затрудняюсь сказать. Старость по-разному влияет на людей, меня она лишила четкого ощущения времени. Мы, старики, постепенно впадаем в детство, я же впал не в свое собственное детство, а в детство человечества: теперь я соотношусь со временем, как древние греки, они тоже не могли сказать, когда что было. Для них событие двухлетней давности и Троянская война находились в одном временном пласте: не сегодня, не вчера, даже не позавчера, еще раньше. Геракл стоял к людям, скажем, века Перикла куда ближе, чем к нам — Керенский. Этот присяжный поверенный для нас, сегодняшних, почти мифология, а для греков мифологический Геракл был свой в доску — сильный и добрый богатырь, хотевший помочь другу-неудачнику Тезею похитить Елену Прекрасную, благоухание туники которой еще ощущалось в воздухе.

В общем, не сегодня, не вчера, не даже позавчера, раньше, но совсем недавно, я отправился в «Литера-

турную газету». Затрудняюсь назвать время года: это могло быть и осенью, и зимой, и весной, у нас ведь сбились все времена года, только лето сохраняет стойкие приметы зелени и непрерывных грозовых дождей. Остальные времена года на один лад: слякоть, лужи, снег, грязь и копоть, свинцовый цвет неба, воздуха, лиц и смертельная печаль. Короче говоря, Москва была в своем самом типичном образе.

Перед выездом жена сказала мне:

— Имей в виду, с Садовой ты не заедешь, там все перерыто. Надо ехать по Сретенке, ближе к Колхозной свернуть направо и — до самого Костянского переулка.

— Понял, — сказал я.

К сожалению, склероз внес роковую поправку в это понимание, и когда мы оказались на Сретенке, а впереди открылась Колхозная площадь, я сказал своему не знающему Москвы водителю, чтобы он повернул на лево.

У меня не было сомнений в своей правоте, тем более что переулки по правую сторону были изрыты и перегорожены, а по левую руку мы нашли переулок если не сквозной, то ловко притворившийся сквозным. И ошиблись-то мы всего ничего: вместо Малого Головина свернули в Большой. Машина весело катилась под крутой уклон, но метров через полтора пришлось затормозить — какие-то строительные работы велись и тут. Посреди мостовой, занимая всю проезжую часть, высилась рыжая горка крупнозернистого песка, к ней притулился брошенный на произвол судьбы бульдозер.

— Прорвемся штыками! — бодро сказал шофер, великий ерник.

Он въехал на тротуар и почти впритык к обшарпанной стене дома объехал препятствие, не повредив машину, но повредив бампером водосточную трубу. Теперь на этой флейте уже не сыграешь ноктюрн.

Мы оказались на Цветном бульваре и взяли вправо. Разыгрывая из себя этакого дядю Гиляя, старожилка и знатока столичных достопримечательностей, я сказал шоферу, что это место некогда приютило крупнейшие и дешевлешие в Москве публичные дома. Шофер с чувством глубокого удовлетворения принял мое известие, но скис, узнав, что это было до революции.

— А сейчас тут небось агитпункт? — сказал он со злостью.

Клаустрофобия всегда заявляет о себе заспанным холодом. Ты вроде еще не догадываешься об опасности и уверен, что мир распахнут во все концы, а ледяной палец уже пересчитал позвонки. Трудно поверить предупреждению, когда ты не в помещении, а на воле, пусть и под низким серым небом, да ведь не под потолком, готовым тебя раздавить; когда позади Бульварное кольцо, а впереди — широченное Садовое, слева Цветной бульвар с рынком, цирком и службами «Литгазеты» — все такое родное, привычное... Ан, нет, к Садовому не пробиться — там чудовищный затор: грузовики, краны, густотища людей, а толпа для меня страшнее запертого помещения. Так и нечего нам делать на Садовой, надо вернуться на Сретенку тем же переулком, которым мы сюда спустились со сретенского взлобка, я уже понял, что перепутал маршрут, и теперь знаю, как нам следовало ехать. Но из этого ничего не выйдет: за нашей спиной висит «кирпич», тут одностороннее движение, значит, и на Бульварное кольцо нам путь заказан. Черт с ним, вернемся на Сретенку по другому переулку. Ишь, чего захотел: они все перерыты, больше подходит — взорваны, и над безднами крелятся ржавые механизмы, мертвые стрелы кранов, все это железо охраняют пушечные жерла штабелями наваленных труб. Без паники, выедем на Цветной бульвар и начнем сначала.

Но ближний переулок, ведущий к Цветному, тоже перерыт. А следующий — не поймешь, то ли перерыт, то ли закупорен сгрудившимися, вернее, спекшимися в гигантский клуб машинами и подводами. Тут сшиблись два МАЗовских гиганта, бились друг о дружку груженные ящиками платформы, запряженные ошалелыми огнедышащими битюгами; над ними опасно нависал подъемный кран на гусеничном ходу, а непременный бездействующий бульдозер предлагал всем расшибиться о его чугунные ребра. И было много мужиков в крысиных шапках, они жестикулировали, орали, матерцинили, но ничего не делали, жадно, в провал щек, затягиваясь куревом. Что их пригнало сюда? Почему столько людей и машин скопилось в этом малом, безнадежно искореженном пространстве? Казалось, они нарочно притащились сюда, чтобы застрять и тем усугубить мировое отчаяние.

Мы подались немного вперед, до следующего переулка, чудом разминувшись с «Волгой», ринувшейся от



безнадеги против движения. Переулок был разворочен словно бомбовыми ударами в обе стороны, пути нет ни вправо, ни влево, ни взад, ни вперед. Мы закупорены.

Я вылез из машины. Надо было найти нерв происходящего, возможно, это подскажет выход. Поражал контраст между кладбищенским покоем великой стройки или великого ремонта во весь стретенский регион и невероятной активностью людской массы, запрудившей развороченное пространство. За границей такое столпотворение бывает на кладбище в день поминовения усопших. Но неужели все эти люди пришли помянуть испустившую дух могучую технику? Нет, они варили тут какой-то свой суп. Преобладали мужчины в куртках из плащевки и крысиных шапках, женщины в ватниках и резиновых сапогах, с лилово покрашенными губами. Но не у них была поварешка, которой помешивают закипающий суп. Водоворотики страстей заверчивались вокруг зашельцев иного обличья: юноши со смуглым профилем испанского жиголо, в черной коже и темных очках, седого джентльмена в элегантном плаще на подстежке, жизнерадостного гривастого старика, похожего на профессора музыки, но не профессора музыки. Что за коммерция возможна на мерзости запустения? Что тут продают и покупают? Материалы и механизмы чудовищной мертвой стройки: песок, щебень, кирпичи, листовое железо, пиломатериалы, трубы, лопаты, носилки, тачки, бульдозеры, краны, грейдерные машины? Или мертвые и полумертвые здания, или целые улицы и переулки? А может, все это и что-то еще, что должно явиться и вдохнуть жизнь в угрюмое место, но уже никогда не явится, на корню скупленное и перепроданное испанским жиголо, джентльменом в плаще на подстежке, гривастым профессором музыки?..

И хотя все это никак меня не касалось, ужасная тоска легла на душу. Я подумал: если бы сюда привели Моцарта, он сразу бы умер. Но я не Моцарт, я должен выжить и не поддаться клаустрофобии. Все машины: частные, государственные и левые, грузовые и легковые — не будут тут зимовать, а разъедутся по своим базам. Значит, выход есть, только мы не знаем, где его искать.

А что, если бросить машину и уйти отсюда пешком? Но шофер не выберется. Он навсегда останется здесь. Он не знает города, и у него нет доверенности. Если он

останется здесь, машину продадут — вместе с ним. Или разберут на части, оставив ему сиденье, чтобы было на чем сидеть, и руль, чтоб было за что держаться.

И тут на меня накнулись какие-то бородатые люди. Они что-то кричали, похлопывали меня по плечам и спине, как цыган лошадь на ярмарке. Может, они меня тоже кому-то продавали? Не меня, как такового, а мою одежду, часы, браслет от гипертонии, нательный крест, но, может, и меня самого: на мыло или шашлыки или в рабство?

И дернул же меня нечистый выйти налегке! Со мной не было ни газового баллончика, ни ножа с фиксатором, ни кастета. Я не собирался сегодня ни в Дом литераторов, ни в Союз писателей РСФСР и все оставил дома. В «бардачке», правда, лежала хорошо заточенная стамеска, но я отрезан от машины. А молодцы прыгали вокруг меня, скакали, и, если б не безулыбчивая серьезность глаз, я, наверное, поверил бы в их добрые намерения. Вернее, в отсутствие всяких намерений.

— Да мы же с телевидения! — сказал главный — при черной клочкастой бороде у него были крошечные дремлюще-пристальные медвежьи глазки.

— Да что я, не знаю? — шумно и фальшиво обрадовался я. — Неужто своих не узнал? А я заплутался. «Литературку» потерял. Как туда проехать?

— На Цветной? — подозрительно спросил медвежьеглазый.

— Да она сто лет как оттуда съехала!.. Она в этом... как его?.. Вот черт, никак не могу запомнить название!..

— Понятия не имею, — сказал он холодно, отчужденно, и опасные медвежьи глазки сузились в булавоочную головку.

А товарищи его вдруг перестали прыгать и скакать, повернулись ко мне спиной, как будто им не было до меня никакого дела. И чтобы овладеть положением, озадачить их, явить свою неустрашимость, я заорал на ломаном китайском:

— Так какого ю-хеня вы тут болтаетесь, если ни черта не знаете? И где ваша камера, коробки с кассетами и магнитофон? Что вы собираетесь снимать, когда тут ни ю-хеня нету?..

Я зря надрылся: они исчезли, растворились в воздухе, как воробьи. А может, их и не было? Дух места,

дух зла, которому едино быть об одной или многих головах, обернулся тремя телебормотами, чтобы прощупать чужака, проникшего в запретную зону, и, коли надо, уничтожить. Я вдруг понял, что вся здешняя путаница распутается, разберется, единственная помеха во мне, застрявшем тут, как рыба кость в горле.

Я вскочил в машину.

— Гони!

— Куда гнать-то?.. — спросил шофер, и я понял, что он тоже испуган. — Вперед не поедешь.

— И не надо!

Он тронул, и мы чудом разминулись с огромным старым «мерседесом».

— Налево! — вскричал я и сам крутанул баранку, потому что у моего водителя замедленные движения, как под водой.

Мы пронизали низкую темную подворотню и оказались в обширном захламленном дворе. Впереди на свалке играли дети. Под старым мертвым вязом мощно мочился старый человек в меховой шапке с ушами до колен; такие шапки носили первые полярные летчики. Желтый бурливый поток уносился из-под его ног к подворотне, стремясь, как все реки, к морю. Было много ржави кругом, картонных коробок, разошедшихся бочек, облупившихся стен, выбитых стекол, много печали забывшей о себе жизни.

Теперь водитель крутил баранку, не ожидая моих панических команд, подчиняясь структуре двора. Он направлял машину туда, где был просвет, и я с ужасом ждал, что впереди вырастет стена, забор, сарай или помойка и придется задом ползти назад, туда, где прочно обосновался дух клаустрофобии. Но нет, мы всякий раз находили просвет и мчались дальше, пока нас не всосала другая подворотня и не выбросила в освобождающий простор Цветного бульвара.

Мы выехали на Садовую и без приключений добрались до Костянского переулка, отделенного от улицы глубоким рвом. Через ров были перекинуты мостки. На этих склизких мостках я и разбился...

Так кончилась моя поездка в «Литературную газету», но это все присказка, сказка впереди.

Прошло сколько-то времени, и настало лето, нами не заслуженное. Давно залечив ушибы и вновь почувствовав вкус к авантюрам, я решил совершить бросок в

столицу и опять с литературной целью: передать статью в только что созданный журнал со странным названием «Их». Статья была заказана мне по телефону, причем основной упор делался не на статью, а на условия величайшего благоприятствования свободному выражению своих взглядов, который обеспечивает авторам журнал «Их». Вы можете писать о чем хотите: о политике, культуре, собственной душе, о прошлом, настоящем, будущем (только не о светлом), об отношении к женщине и смертной казни, природе и детям, гомосексуализму и религии, музыке, росте преступности, о живописи, СПИДе, литературе, сексе, театре, археологии, приватизации, интеграции и рыночных отношениях. Но можно ни о чем этом не писать и вообще не писать, важно, чтобы вы испытывали то полное раскрепощение, которое отличает истинную свободу слова от сомнительной гласности. Журнал недаром называется «Их». Он не выражает своего мнения, ибо просто не имеет его, как не имеет вкусов, пристрастий, точки зрения, выстраданных и невыстраданных идей, короче говоря, ничего, за что можно было бы отвечать. Всё — их. Эпиграфом журнала являются пушкинские строчки: «Сколько их! куда их гонят?» За статью до десяти страниц платят 1000 рублей (одну тысячу руб.).

Мне очень хотелось получить тысячу рублей за десять откровенных страниц, и я с энтузиазмом согласился. Мне назначили срок сдачи и попросили приехать лично подписать договор. «Какой еще договор?» — «Мы на каждую статью подписываем договор».

Через неделю я отправился по указанному адресу. Я никогда не слышал о такой улице, не знал даже, что она есть в Москве, к тому же находится в самом что ни на есть центре. За мою долгую жизнь я, наверное, сотни раз бывал возле этой улицы, ни разу не ступив в нее и не заметив дощечки с названием на угловых домах. В адресе настойчиво подчеркивалось, что мне надо будет найти «5-е строение», не корпус, что привычно, а именно строение. Это меня обеспокоило: всякая новь у нас чревата подвохом. Мой водитель, который со времен сретенских странствий не доверял Москве, разволновался до подскока давления. Поездка едва не сорвалась. Но с помощью сильных югославских лекарств давление удалось сбить, и мы отправились в путь.

Пробирались мы туда с Бульварного кольца по маленькому переулочку, тесному, как склерозированный

сосуд, от трехрядной очереди за котлеткой «Макдональдс». Эта очередь тугими кольцами анаконды обвиняет зеленый пустырь на месте чудесного особняка, одной из самых милых достопримечательностей столицы, принесенной в жертву злому гению Москвы.

Дальше мы покрутились в переулочном лабиринте, напомнившем сретенский капкан, натываясь то на горы песка, то на дощатые шлагбаумы у края бездны, то на уснувшие вечным сном дорожные машины, и вдруг оказались на углу искомого переулка, у того самого углового дома, который был нам нужен.

Тут царила странная пустыньность, выключившая коротенький переулок из суматошного московского центра. Пешеходы и машины исчезли, старый кирпичный, почерневший от времени дом с заветным номером и названием улицы казался необитаемым.

Я вылез из машины и вошел в подъезд, с усилием оттолкнув глухую дверь на ржавой тугой пружине. Подъезд не был освещен, но откуда-то сверху сочился тощий, бледный, нездоровый свет. Когда глаза привыкли, я обнаружил лестницу, металлические перила и пошел вверх по обшарпанным ступеням, опирая руку о ледящий холод перил. Второй пролет подвел меня к темному коридору. И опять таинственная световая сочь позволила углядеть двери: высокие — деревянные, низенькие — обитые жостью. Последние были без ручек и, похоже, никуда не вели. Сердце молчало, не тревожимое предчувствием тайны. Первая же деревянная дверь со старинной медной ручкой легко поддавалась нажиму и впустила меня в холодную смрадную щель со стеллажами, заставленными папками. Несло плесенью и сопревшей бумагой. Мне вспомнилась шутка Лескова: у польского сомнительного дворянина герольд непременно сгорел, а у русского — сопрел. Здесь сопрело герольдов без счета, их хватило бы на весь мушкетерский полк, который развеселая императрица Елизавета в сильном подпитии произвела всем скопом в дворяне. Неприятный живой шорох наполнял спертый воздух хранилища. Я настраивал себя на крепкий бодрый испуг, но ко мне подкрадывался какой-то гадливый ужасик. Я выскочил в коридор.

Я толкнулся в двери еще двух-трех пустующих смрадных помещений и вдруг попал в населенность и свет. Я вздрогнул не только от неожиданности. Мне

показался, будто я вселился в аллегорическое полотно Вермеера Дельфтского «Ученый». Скажу честно, я не уверен, есть ли у Вермеера такое полотно или это плод моей фантазии, хотя он писал аллегии, которые я люблю гораздо меньше его жанровых картин, да какой это жанр — нет более таинственной живописи. Конечно, можно отыскать монографию, посвященную Вермееру, и установить название картины, но в наших условиях даже такой малый поиск станет кошмаром и отымет часть жизни, которой и без того осталось кошке на лизок. Да и не в этом дело, замечательно, что странный человек дельфтского тайнописца предстал передо мной в яви и в том самом окружении, как на картине. Дубовые столы, заставленные микроскопами, колбами, ретортами, горелками с трепещущим сиреневым спиртовым пламенем, секстанты, угломеры, кронциркули, светлый, как улыбка, глобус и непрменный череп — символ мудрости. Был и стеклянный кубок на медной треноге, в котором Нострадамус вычитывал свои предсказания. И повсюду мерцали, сверкали, сияли, маслянисто тускнели всевозможные минералы — крупными уломками, мелкой россыпью на ватной подстилке палисандровых ящичков. В густоте вещей казалась бесплотной тощая, сутулая фигура молодого ученого, рыжекудрого и лупоглазого, с вздернутым готическим носом. Он был то ли в ученом халате, то ли в рясе, остроконечная шапка на рыжих кудрях напоминала клубок. Он повернул ко мне свое аскетическое лицо с выражением приниженного высокомерия и заинтересованной отчужденности.

— Простите за беспокойство, — сказал я, — вы не знаете, где находится пятое строение?

— Пятое строение... пятое строение... пятое строение... — забормотал он, словно приучая себя к непривычному словосочетанию. — А что такое пятое строение?

— Я и сам не знаю. Мне дали адрес. Там указано: пятое строение.

— Пятое строение... пятое строение... пятое строение... — забормотал он, словно подманивая кого-то незримого на подмогу, но, судя по всему, тщетно.

— А что там находится? — спросил он бытовым голосом.

— Редакция журнала «Их».

— «Их»? Разве есть такой журнал? Разве он может быть?

Я пожал плечами.

— Есть журнал «Онъ» через ять. Его издают монархисты. Есть журналы «Я», «Ты», «Мы», «Вы», а «Их» нет. Есть «Андрей» — советский «Плейбой», после указа президента — без секса.

Этот отшельник, алхимик, звездочет был осведомлен о молодой советской прессе куда лучше, чем я.

— «Их» еще только создается. Я принес материал для первого номера.

Его взгляд приклеился к моему лицу:

— Для «Их»?

— Для «Их».

— Пойдемте! — сказал он решительно и запахнул халат.

Мы спустились по лестнице и через черный ход вышли во двор. На пустыре торчали пятиэтажные кирпичные коробки, похожие на административные корпуса дореволюционных фабрик.

— Раз, два, три, четыре... пять, — пересчитал он корпуса. — Это должно быть пятым строением.

— Но там нет жизни.

— А где она есть? Но если «Их» существует, хотя бы силится стать, то лишь в этом доме. Видите, наверху хотели вымыть окно, это знак человеческого обитания. Все остальное мертво.

И, сказав эти зловещие слова, человек, которого я вынул из старой голландской картины, исчез в тьме дверного проема, как в черном рембрандтовском лаке.

Водитель, которого я известил, что пятое строение найдено, не пожелал заехать во двор. Он запер машину и пошел со мной. То ли он хотел меня охранять, то ли боялся остаться один. После Сретенки он потерял доверие к городу.

Огромный двор походил на кладбище ушедшей цивилизации. Его заполняло чудовищное месиво из битого кирпича, искореженной арматуры, деревянных стропил, ящиков, останков всевозможных механизмов и домашней утвари, стеклотары, консервных банок и всякой невообразимой дряни. Я убежден, японцы охотно взяли бы эту восхитительную помойку взамен Курильских островов, без которых нам не обойтись. Впрочем, у советских своя гордость, и я не уверен, что, зайдя разговор о продаже японцам помойки за двадцать пять миллиардов долларов, наши люди пошли бы на такую сделку с совестью. Нет, мы не отдадим за чечевичную похлебку то, что создано свинством многих поколений.

Мусор кишел крысами. Непонятно, какое пропитание они находили там. Быть может, вывелась особая порода, способная пожирать бумагу, картон, железный лом? И еще было много ворон, усеявших сухие сучья мертвых вязов. Другие расхаживали с развальцем по земле, заложив руки за спины. По-моему, их волновали крысы, но не было ни одной попытки нападения, и крысы на них плевать хотели.

Людей в этом девственном мире не водилось, а дом, где, по мнению естествоиспытателя, должен был находиться «Их», с приближением к нему, обретал все более нежилой вид, дыша из подвалов ледяной остудью и тленом.

Мы обошли его кругом, обнаружив за другим торцом странную спящую жизнь. Здесь находился квадрат зеленой травы в обрамлении пыльных кустов давно отцветшей ржавой сирени и две скамейки. На них дремали, свесив головы в соломенных шляпах, очень старые люди в чесучовых пиджаках, сбежавшие со страниц журнала «Смехач» исхода нэпа. Так выглядела на карикатурах предприимчивая нечисть, на самом же деле люди, сумевшие в баснословно короткий срок поднять рухнувшую экономику. Неужели возвращается этот, казалось бы, навсегда исчезнувший тип сметливого, умелого, чуть наивного, не прибегающего к мимикрии дельца?

Мы идем к рынку неохотно, спотыкаясь, как Подколесин к невесте, с тайной надеждой в последний момент выпрыгнуть в окно. Но подслепые глаза старых «оптиков», как шутливо-почтительно называли их в пору рыночной примаверы, видят дальше и зорче, и чесучовая боевая форма извлекается из нафталина, и полосатая шелковая ленточка нашивается на прохудившуюся соломку канотье.

На зеленой траве то ли дремали, то ли замерли выжидательно дети, погасив в себе всякое движение жизни. А что, если дети совсем не случайно расположились у подножия последних могилок частного предпринимательства? Дремлющие, такие непрочные с виду старички сильнее танков и БТР, сильнее «калашниковых», «черемухи» и хорошо заточенных лопаток в руках пустоглазых кровопусков. И молодая жизнь тянется к ним, ведь так хочется хлеба и зрелищ, движения, песен и хорошей большой любви. Фигуры



ископаемых поникли, склонились, как плакучие ивы над рекой, их сон подобен смерти, но это обманчиво, они проснутся в должный час для решающего броска в светлое рыночное будущее...

Мы вернулись к дому.

— Надо подняться наверх, — сказал водитель, углядевший живой глаз тронутого мокрой тряпкой окна.

— А лифт тут есть?

Он засмеялся.

— Ишь, чего захотели! Хорошо, коли лестница цела.

— Мне ее не осилить.

— Ладно. Я сам подымусь и пригоню их вниз.

— Весь «Их»?

— Всех их, — поправил водитель и с отвагой японского искателя жемчуга нырнул в подъезд.

Я не успел соскучиться. Из темной страшноватой дыры подъезда с дверью, висевшей на одной петле, появилось шествие. Впереди не шло — даже самая легкая поступь груба, отдает мускульным усилием, — а туманно перетекало дивное удлиненное существо все из лунного серебра; невесомые боттичеллиевы волосы долгими прядями обрамляли узкое лицо, ниспадая до осиной талии. Она словно по проволоке двигалась, ставя ноги в одну линию, это создавало ощущение непрочного равновесия, казалось, она может сорваться с той узкой полоски, которую так скромно выгадала себе во вселенной, как цирковая канатоходка, сделавшая неверный шаг в подкупольной выси, и рухнуть в околосемную бездну. «Господи, коли это случится, пошли ей два белых крыла!»

Ко мне вернулась давно утраченная острота зрения. Я издали разглядел ее всю: от носков туфель до раздвоя пепельно-золотистых волос над выпуклой смуглотой лба, от нежных колен до ресниц, отягощенных тенями, которые они то опускали на высокие скулы, то взвевали выспрь; проблуждав взглядом по благодатному ее облику, я сосредоточился на серых в синь глазах, готовых излиться слезами, как у Сепфоры, но не от томной слабости, а от безмерного сострадания к убожеству окружающего.

За ней шел пятнадцатилетний мальчик, невысокий, стройный и гибкий, с милым петушком на макушке. Все выглядело на редкость ладненько на его грациозной фигурке: и серый клетчатый пиджачок, и легкие беже-

вые брюки, и синяя в полоску рубашка, позволяющая видеть в распахе ворота тонкую незащищенную шею.

«Какой славный у нее сынок!» — полыхнуло из глубины склероза, но я сразу перехватил дурацкую мысль, не дав ей развиться в дурацкий поступок: отечески потрепать подростка по затылку. Как может он быть ее сыном, когда ей самой лет двадцать пять? Даже при тех ранних браках, которые практикуются в нашей школе, у нее не могло быть такого большого сына. Наверное, младший братишка, зашедший проведать сестру, а может, принесший ей завтрак в узелке, словно кусочек дня, и захотевший взглянуть на еле живого писателя.

— Я — Оля, — сказала девушка. — Вы говорили со мной по телефону. А это наш главный редактор.

Глупо улыбаясь, я протянул пацанку руку, он ответил мне крепким мужским пожатием.

— А рукопись? — как-то славно всполошилась Оля.

Милая, хотелось мне сказать, ну какая еще рукопись? Разве есть тебе дело до наших жалких игр, до всей пустой суеты, которой земная персть подменяет жизнь? Ведь это не Богово, да и человеческое — едва ли. А ты от Бога, ты последний Его привет миру, который он так вдохновенно создавал, а создав, одобрил и доверчиво подарил человеку. И во что тот превратил божий подарок! Зачем ты здесь, среди этих темных кирпичных коробок, ржави, каменной слизи, крыс, чесучовых старцев и оцепенелых надежд на лавочное чудо? Ты же из другой вселенной, там хрустальный воздух и серебряная вода.

Она ждала, улыбаясь и перебирая двумя руками то правую, то левую прядь, чтобы не застили свет. Но истинный смысл жеста был в другом — в отвлечении собеседника, в ней шла какая-то душевная работа, никак не связанная с бедной очевидностью происходящего, то ли ускользающая мысль, то ли навязчивое воспоминание, то ли какая иная тревога туманили ей взор, но она не хотела, чтобы неполнота ее присутствия среди нас стала заметна. И жестом, имеющим якобы практический смысл, она подчеркивала свою озабоченность интересами «Их».

Я протянул ей свернутую в трубку рукопись. Она сделала что-то похожее на книксен, но не обычный грубый подсед, а некое смиренное опадающее движение, будто оскольз на лунном луче, и бумажная трубочка

перешла в ее руку. Плавный поворот, и вот уже рукопись у милого отрока, с ломоносовской упрямкой притворяющегося главным редактором.

— Вы подпишете договор? — В руке ее оказались какие-то листки.

О, если б я мог подписать договор Фауста с Мефистофелем: душу за молодость.

— На чем?..

— На капоте моей машины,— баском произнес главный редактор, листая рукопись.

Оля положила договор на капот «Жигулей». Теперь я поверил, что он взрослый человек, а коли так, то ничто не мешает ему быть главным редактором «Их». Нельзя владеть машиной, равно и получить шоферские права до совершеннолетия.

Я расписался на трех экземплярах договора. Главный редактор, не переставая листать рукопись, взял не глядя шариковую ручку и отметился ловким завитком.

— У него кассеточное устройство глаза,— шепнула Оля.— Он видит, как оса: во все стороны.— И она вручила мне третий экземпляр.

— То!..— сказал главный редактор, скручивая рукопись в трубочку.— Вполне то. Спасибо.— Он строго взглянул на Олю.

Та подняла руки над головой и несколько раз сомкнула ладони, словно начиная восточный танец. Наверху, там, где мы предполагали местонахождение «Их», распахнулось окно и выглянуло женское лицо.

— Сейчас с вами расплатятся,— сказала Оля и добавила в ответ на мой удивленный взгляд: — Главный редактор принял статью.

— Как принял?..

— Прочел и принял. У него фотографическое зрение. Он не читает по словам и строчкам, а вбирает сразу целую страницу. Сейчас прибудет главный бухгалтер.

— Леокадия Нестеровна неисправима,— сказал с легкой досадой главный редактор.

Я проследил за его взглядом: Леокадия Нестеровна, журнальный бухгалтер, летела с пятого этажа, держа в одной руке круглый столик, в другой — ведомость, чернильницу и перо. Ветер колоколом вздувал ее юбку, были видны красивые штаны сочного цвета лиловой сирени.

Она приземлилась. Перепуганные крысы кинулись врассыпную, вороны подпрыгнули раз-другой, хлопнули крыльями, но не взлетели, у них были крепче нервы.

— Вы зря взяли столик,— укорил летунью главный редактор.— Проще воспользоваться капотом моей машины.

— Да ведь стараешься как лучше,— покраснела Леокадия Нестеровна, одергивая юбку.

Чувствовалось, что редактор сердится не всерьез, ему импонировала ретивость его служащей. Послышался долгий, жалобный, с перебоем вздох, похожий на стон птицы в ночном лесу. Оля опустила пепельно-золотистый занавес на лицо. Вон что! Как это пели узники Консьержери в дни французской революции?

А между этих черных стен  
Любовь царит без перемен,  
Любовь царит, любовь царит  
Без перемен!..

До чего же полной, взволнованной, раскованной жизнью живет держава «Их» над крысино-вороньей свалкой!.. Может быть, это тоже начало чего-то нового, незнакомого или забытого нами и ничуть не менее важного, чем псевдорыночные страсти по Михаилу?

Леокадия Нестеровна разложила свои ведомости на круглой, обтянутой голубым атласом столешнице изящного французского столика в стиле рококо, поставила маленькую старинную бронзовую чернильницу, напоминающую пороховницу, в которой еще есть порох, и протянула мне гусиное перо.

Я спохватился, что не взял с собой свидетельство участника войны — очарованный странник вспомнил о налоге.

— У «Их» это не требуется,— не без гордости сообщила летучая бухгалтерша.

Я боялся, что не сумею расписаться гусиным пером, но получилось замечательно: где надо с жирным нажимом, где надо с волосяной тониной, и я в который раз пожалел о том, чего мы лишились с появлением шариковых ручек. Умер почерк — один из признаков личности, выражающий характер и душевное состояние пишущего. К тому же исчезло дивное искусство — каллиграфия, и ради чего? Чтобы выиграть время, которого и так некуда девать. Теперь я понял; журнал «Их» борется против нивелировки человечьей сути, за индивидуальность. Он поощряет свободу самовыявления и в своих сотрудниках: они летают, скользят по лучу, видят задом...

Но вот и все. Мы попрощались. Лунная Оля припала долу в глубоком реверансе, пустив по земле пепельно-зо-

лотистый поток, молодчага редактор сделал мужественный жест — что-то среднее между «рот-фронт» и «хайль», Леокадия по-старинному поклонилась верхней частью туловища. Я думал, она вернется в редакцию кратчайшим путем — по воздуху, и я опять увижу ее красивые штаны спелого цвета лиловой сирени, но она чинно отправилась пешком следом за другими, неся в одной руке французский столик, в другой — чернильницу и перо, а ведомость зажав под мышкой.

Наверное, стоило немного задержаться во дворе и получить сверху авторские экземпляры журнала, но я почувствовал, что шоферу все это надоело. Он и вообще вечно спешил, хотя с личным временем ему так же нечего было делать, как человечеству — с тем суммарным прибытком, который накопили ему шариковые ручки.

Возникшие было пустота и тишина заполнились вернувшимися крысами. Мы только повернули назад, как перед нами выросла длинная, гнутая фигура в рясахалате и клобуке-колпаке — вермееровский естествоиспытатель. В усталом порыжелом солнце ржавь его волос стала красной с вкраплениями оттенков бордового.

— Вам! — сказал он, мучительно стесняясь, и капли пота со лба смешивались со слезами на впалых щеках отшельника. — Возьмите! Прошу вас! Горный хрусталь!..

Он протянул мне сероватый полупрозрачный брус, и едва я взял его в руку, исчез, как исчезает мандельштамовский щегол:

В обе стороны в глаза он смотрит, в обе,  
Не посмотрит — улетел.

Иногда мне кажется, что ничего этого не было, все-то мне приснилось, и тогда я достаю из ящичка письменного стола, всякий раз опасаясь, что там ничего не окажется, прекрасно изданный в Финляндии — разумеется, откуда и яркий многоцветный глянец обложки, и стройный шрифт, и атлас бумаги, и великолепные фотографии — первый номер журнала «Их» с моей статьей, или достаю из шкафа тусклый гладкий уломок горного хрусталя. Эти вещественные доказательства неопровержимы.

...Лежат и пылятся в иностранной комиссии СП приглашения во Францию и Италию. Как заманчиво звучат имена этих стран! Но мне туда не надо. Куда притягательнее и таинственнее московское Зазеркалье. Жаль, что у моего водителя слегка поехала крыша от переживаний, и все труднее становится заставить его покинуть берег Десны подмосковной. А сам я давно уже не вожу...



## ПАША-ЛЕВ

Этот бледный рыжеволосый худенький мальчик с зелеными глазами и навощенной горбинкой носа, нервный, хрупкий грозной хрупкостью Мандельштама, грассирующий, словно в горле у него вибрирует горошина, удачно существует в собственном мире, где и проводит большую часть времени, и крайне неудачно в мире внешнем, упорно отторгающем его. Во дворе и в школе его дразнят «жиденком», даже тихие интеллигентные дети, чуждые каких-либо расовых предрассудков, присоединяются к хору дразнил, ибо в его пародийной внешности и раскатистом «р», переходящем в «г», есть что-то вызывающее и бесстыдное. Но сильнее всего заводит мальчишек его неизменная яростная вспышка в ответ на прозвище, вспышка, которую он не может удержать, сколько бы врагов его ни окружало. Более проникательные мальчишки догадываются, что он и не хочет сдерживать себя, хотя отлично знает, чем это кончится. У Паши, так зовут рыжего картавого мальчика, ответ на оскорбление не задерживается: он тут же бьет в рыло. Правда, если обидчик младше его, Паша заменяет удар каким-нибудь унижительным наказанием: зажимает его голову между ног и дает шлепки или делает «вселенскую смазь» — большим пальцем через все темечко. Но одноклассники и старших по возрасту бьет в рыло, не в скулу, не в челюсть, не в лоб, не в глаз, а именно в рыло. В ответ Пашу бьют куда ни попадя, а он

лишь беспомощно отбивается. Паша вовсе не слабак, он так старательно и безжалостно тренирует свое хилое тело, что накопил какие-то мускулишки, к тому же он ловок, стоек и на редкость терпелив к боли. Но он всегда имеет дело с превосходящими силами. Бить Пашу скопом считается в порядке вещей, иначе с ним не справиться. Ведь он Паша-лев. Прозвище это он дал сам себе, никто больше так его не называет, но львиную сущность Паши сознают и принимают меры к укрощению.

Представляясь, он так и называет себя: Паша-лев, а потом начинает смеяться. Он как-то странно смеется, не поймешь, над самим собой или по-мандельштамовски — над изначальной нелепостью бытия. Любопытно, что мне снова попадается на перо Мандельштам, в этом имени незащищенность и вечность; первое, несомненно, применимо к Паше, неужели в нем проглядывает и второе?.. Кстати, Мандельштам его любимейший поэт. Когда два года назад ему прочли воронежские стихи, он наморщил лоб и сказал: «А я знал, что такой поэт должен быть». Почти то же самое он сказал, познакомившись с творчеством Клее: «Я так и знал! Уверен был, что кто-нибудь так уже рисует». — «Что ты имеешь в виду, Паша?» — «Он рисует, как хотел рисовать я. Но он опередил меня, — без всякой рисовки ответил Паша. — Пока я тут валандаюсь, меня все обгонят. О моих рисунках в... (тут он назвал журнал, страдающий природе, где несколько раз помещали его графику) говорят, что это вылитый Макс Эрнст. Ну, вылитый — едва ли, я никогда не видел его работ, но, наверное, похоже. Если б не было Макса Эрнста, им стал бы я. А так еще неизвестно, смогу ли я стать кем-нибудь другим». Как страшно: люди все-таки заменимы. Ученик мог бы стать учителем; если б первого на было, последователь — предтечей.

— Постой, Паша! Выходит, нечего благодарить Творца, что он создал Пикассо, Кандинского, Врубеля, Шагала? Не будь их, то же сделали бы другие?

— А откуда вы знаете, сколько других Пикассо, Врубелей, Татлиных, Шагалов умерло в детстве, погибло на войне, в лагерях? А иные просто не догадались о себе и сгнули, ничего не создав, или отчаялись пробиться. Мы очень жалеем о них? Пикассо уже был, поэтому другой Пикассо стал Браком, а мог бы стать тем

первым. Тогда Браком стал бы Гир или Зигмунд Кочевряжский.

— Кто такой Кочевряжский?

— Никто. Хотите — Блез Шанталь, Аллен Занфан.

— Не ломайся. Это ужасная теория. Отдает фашизмом.

Казалось, веснушки осыпятся с побледневшей кожи.

— Я ненавижу фашизм!.. Но почему?..

— Если уж о Пикассо и Шагале нечего жалеть, то что говорить о простых смертных? Убивай, режь, жги — появятся другие, ничуть не хуже, а и хуже — не беда. Это фашизм.

— Но ведь мы так и живем! — маленькое лицо совсем перекосилось. — Никому никого не жалко, даже самих себя. Неужели нельзя людям объяснить, что быть фашистом гадко?

— А можно объяснить тигру-людоеду, что жрать людей гадко? Он так не считает. И ему не в пример, что все остальные тигры воздерживаются от человечины. Кроваядца остановишь только пулей.

— Правильно, — убежденно сказал Паша, — так и надо.

— Это не для тебя, Паша. Не твое.

— Я — лев.

— Ты очень слабенький лев, а связываешься с очень сильными шакалами.

— Я сейчас сильнее, чем был, и стану еще сильнее, когда вырасту.

— Если вырастешь.

Он засмеялся своим беззащитным, немного сумасшедшим смехом.

— Вы думаете, меня убьют раньше?

— Если не образумишься.

— Когда я был маленький, мама рассказывала, что Ахиллеса спросили: хочет он жить долго, но бесславно, или коротко, но со славой. Он сразу ответил: коротко. Он был совсем молодым, когда погиб от стрелы Париса.

— Погибнуть от стрелы Париса — куда ни шло, но погибнуть от хорошо заточенного напильника какого-нибудь подонка — противно.

— А Парис тоже был подонком, — задумчиво сказал Паша. — Увел жену у бедняги Менелая. Тот голый бежал за ними до пристани, а прохожие улюлюкали. На войне Парис не кидался на врага, а стрелял издали из



лука. Не то что его старший брат Гектор. Вот герой из героев!

— Как, не Ахиллес?

Папа энергично замотал головой.

— Он был неуязвим, кроме пятки, — хорош героизм!

— А Гомер славит его как величайшего героя Троянской войны. Гектор от него бежал.

— Гомер был грек и врал, как грек, в пользу греков.

— А Марина Цветаева? «Ахеи лучший муж...»

— Так — Ахеи! Конечно, лучший. Троя не Ахея.

— Ты трудный спорщик. Умеешь цепляться к словам. А почему она хотела соединить Елену с Ахиллесом, а не с Гектором?

— Как почему? Гектор был женат и любил Андромаху.

— Но Цветаева и сама была влюблена в Ахиллеса.

— В порядке вещей. И так по-женски, — сказал тринадцатилетний мудрец. — А Гектор — это то, что женщины больше всего ненавидят: верный муж, влюбленный в собственную жену. Он даже Елену не заметил, когда Парис ее привез. Троиц — младший брат — сразу влюбился, а Гектору взгляд коровьих глаз Андромахи был куда милее всех прелестей «сладостнейшей Спарты».

У Паши была своя мифология, да похоже, и все было у него свое. Он не дрожал перед авторитетами. И сколько апломба! Мне вдруг захотелось дать ему подзатыльник. Как же он должен раздражать своих сверстников, если у старого, усталого, покладистого человека зачесались руки? Маленький самоуверенный всезнайка и наглец — вот в чем его проблема. Но что-то мешало примириться с этим выводом. Он не задавался и не форсил. Он не сознавал, что для своих лет, а тем более для лица, в котором безмятежно расцветает, он знает слишком много, и отнюдь не гордился этим. У немцев есть презрительное определение: бюхервурм. Но он не книжный червь, ибо многое знает со слуха, по разговорам окружающих по материнским рассказам, а не из книжных страниц. Он все время слышит мир, видит мир и находится с ним в постоянном обмене. Конечно, он много читает, но дело не в количестве прочитанного, а в том, что оно становится для него живым, как природа, прорастает в его вещество. Это рисунки — это не обычный радостный детский отзыв окружающему, а

размышление над ним. Бюхервурм отгорожен от действительности, Паша-лев в острейших с ней отношениях.

«Он живой и светится» — придумал мой покойный друг о светлячке. До чего же подходят эти слова к мальчику с зелеными глазами, светящимися то из багровых, то из лиловых и, наконец, из желто-синих фингалов.

Я задумался о его родителях. Каково им? Что ни день, сын возвращается домой избитый. В том повальном и возрастающем озлоблении, которое охватило нашу среду обитания, все может кончиться трагически. А они и в ус себе не дуют. Живут, работают, ходят в гости, в театры, сами принимают друзей, куда-то ездят. Что за этим — не мне судить, я их совсем не знаю. Говорят, что они обожают своего сына. Но, видимо, не считают возможным в чем-либо ограничивать его свободу, право выбора.

И в клетке можно родиться свободным. Так случилось с Пашей. Родители берегут его тонкую душу и чувство собственного достоинства, с ними ему не нужно бороться, а внешнему миру Паша дает в рыло. Так что же, Паша — подопытный кролик природы, желающий узнать, что будет с такой особой в условиях крайнего неблагоприятствования всему, что составляет его сугь: чувству чести и гордости, благородству, бесстрашию, самостоятельности мнений и выражения себя в словах, поведении, поступках, в творчестве? Да, я не боюсь сказать столь высокое слово. Пашины рисунки — это творчество. Я и заинтересовался им по его рисункам. И тогда меня удивило, что на всех автопортретах юного художника, у которого жадный пушкинский интерес к собственному облику, то под левым, то под правым глазом — черное пятнышко. Когда я увидел Пашу-льва, то понял, что он отнюдь не преувеличивает на рисунках своих увечий, фингалы расплываются в половину худенького лица, но Паша не хочет провоцировать жалость к себе и вместе с тем остается верен правде: подбитый глаз — его фирменный знак, и потому обязан быть на автопортрете.

А потом я познакомился с самим Пашей, и состоялся тот разговор, который приводится в начале, и другие разговоры, и во мне все нарастало чувство тревоги за мальчика, такого смелого и такого незащищенного. И невольно я стал выискивать в разговоре с ним что-то такое, что дало бы ему, если уж не защиту, то хотя бы

опору в превратной судьбе. При всей своей ребячливости он сильно опережал свой возраст и мог бы иметь друзей куда старше себя, способных взять над ним опеку. Но Паша не оставил мне тут никаких надежд. У него было всего два друга — Давлик двенадцати лет и десятилетний Гундик. Паша их очень любит.

— За что ты их так любишь?

— Они не дразнятся.

Ах, вот что!.. Да, эти мальчики не станут дразниться.

— Какие странные у них имена. Давлик — наверное, Давид, а Гундик?.. Или это клички?

— Не знаю. Я их сам выдумал.

— А они откликаются?

— Попробуй не откликнуться!.. Вы меня не поняли, — вдруг спохватился он. — Я не имена придумал, а их самих.

— Зачем?

— С ними интересно. Я их защищаю, как лев. И знаете, гораздо удачнее, чем самого себя. Они любят то, что и я люблю: читать, рисовать, танцевать ламбаду и Мандельштама. А я люблю, что они любят.

— А что они любят?

— Мороженое и орехи. Гундик еще любит черный изюм, а Давлик — песню Сольвейг.

— А какие они из себя?

— У Давлика ужасно большой, длинный нос, он ходит всегда с подставкой для носа, иначе тот перевесит. А у Гундика огромные уши. Когда он ими хлопает, звенит люстра. Я их вам покажу.

Он положил передо мной два рисунка. Все так и было: чудовищный нос Давлика покоился на треноге, а у Гундика были слоновьи уши. Это подсказало угадку: Паша скроил их из смешного индийского божка Ганеши — мальчика с головой слоненка. И я подумал: в каком страшном одиночестве возникли эти маленькие чудовища — друзья Паши-льва!

И опять мысль скользнула к родителям Паши. Почему они безучастны к гибельным играм сына? А что тут сделаешь? На чужой роток не навесишь замок. Пришить его к материнской юбке — стыдно. Пытаться сломать характер, сделать из него тихоню, раба, из льва — трусливую шавку? Они, видать, тоже гордые люди. Иначе и Паша не стал бы львом. Есть один выход — увезти.

Оказывается, путь, открытый Давлику и Гундику, заказан Паше. Он обречен этой земле. Это выяснилось, когда при новой встрече я спросил его:

— Все ратоборствуешь за малые народы?

— Какие малые народы? — не понял Паша и наморщил лоб. — Ах, вот вы о чем! Я ратоборствую за большой народ. Я вообще ужасный националист. Помоему, лучше России нет на свете. И дураки, которые орут, дразнятся, унижают ее. А за Россию — в рыло! Что сделаешь, — вздохнул он, — кровь предков.

Паша принадлежит к стариннейшему княжескому роду, идущему от легендарного Гедимина и прочно вписавшему свое громкое имя в историю России. Он Гедиминович по отцу. А по матери — вовсе Рюрикович. Наверное, древности своего рода обязан он сходством с расхожим типом древнейшего на земле народа. Это не вырождение, а утонченность, полное очищение генотипа от того, что заложил в него наш косматый предок.



# БЕЗЛЮБЫЙ

Поражало его спокойствие. Ненаигранное, без сцепленных челюстей, скрученных напряжением мускулов, сбивающегося дыхания и опрокидывающихся глаз. Он был естественно, раскованно спокоен, с легким налетом усталости и скромной удовлетворенности, как студент, сдавший трудный экзамен строгому и капризному профессору. Но и ни малейшего гонора, высокомерия, сознания своего превосходства не было в нем. Без тени позы он подчинялся заведенному несложному порядку. Деловито съедал невкусную еду, которую ему приносили трижды в день, позволял врачу осматривать поверхностную, но болезненную рану в предплечье, а санитару — перевязывать. Тот делал это неумело и грубовато, наверное, не по злобе, просто плохие руки.

Понаблюдав его в течение двух недель, врач сказал коменданту крепости: «Неужели возможно такое самообладание? Или это моральная тупость? Непроницаемость ни для физической, ни для душевной боли?» «А может, преданность идее?» — задумчиво сказал комендант. Врач с сомнением пожал плечами. Узник был приговорен к смертной казни через повешение. Неужели преданность идее избавляет от страха перед такой смертью?

Казнь уже давно следовало привести в исполнение. Узник наотрез отказался от подачи прошения на высочайшее имя. Он сделал это твердо, жестко, но без

вызова. «Я не вижу никаких оснований для подобной просьбы, — сказал он спокойным, чуть насмешливым голосом. — Я не юнец, не ведающий, что творит (ему было двадцать шесть лет). И не чувствую раскаяния. Если бы пришлось, я бы все повторил сначала».

Корягин — так звали осужденного — не понимал, почему они канителият с приведением приговора в исполнение. Неужели они ждут, что он изменит решение и пошлет слезницу на имя государя? А для чего? Даже сделай он это против своей совести, ему все равно откажут. Он срубил едва ли не самое мощное дерево в романовском саду. Никто не был так авторитетен в августейшем доме, так крепок и непреклонен, как великий князь Кирилл. Так чего же они ждут? Может, их бесит его хладнокровие и презрение к царской милости? Хотят помучить ожиданием, спровоцировать на жалкий поступок, подразнить надеждой, а потом убить вторично? С них станется. Все Романовы ублюдки, но самым ублюдочным ублюдком был уничтоженный им великий князь. Реакционер из реакционеров, душитель свободы, на войне — чума для солдат, нестигаемый стержень режима, длинновязый высокомерный истукан и к тому же мужеложец, растлитель молоденьких курсантов.

У Корягина не могло быть прямой обиды на великого князя, их пути не пересекались, но ненавидел он его с остротой и едкостью личного чувства.

Корягин происходил из мещан уездного нижегородского Ардатова и в Москву перебрался за полтора года до своего покушения, когда в нем вызрела и до конца определилась единственная цель жизни. К этому времени скончалась его долго болевшая, полупарализованная мать, развязав ему руки. Особой любви к ней Корягин не испытывал, но был во всем человеком порядка. Плохо ли, хорошо ли, мать его кормила, поила, одевала, дала кончить не только приходское, но и три класса уездного училища. Отца своего, маленького канцеляриста уездной управы, Корягин не помнил. А мать всегда служилаходящей прислугой в довольно зажиточном доме третьегильдийного купца, имевшего в городе несколько лавок и маслобойку. Купец за все годы не прибавил ей ни полушки, не сделал ни одного подарка, кроме обязательных грошовых праздничных гостинцев. Однажды в этом богатом доме вспомнили о сыне прислуги и позвали на рождественскую елку. Он

полюбовался красивым, украшенным серебряной канителю и стеклянными шариками деревом со звездой на островершке и белобородым дедом-морозом у комеля, нарядными горластыми детьми, не обратившими на него внимания, получил картонную коробку со сладостями и был возвращен в руки поджидавшей под дверью матери. Волшебная сказка, так быстро кончившаяся, осталась в нем легкой печалью, но повзрослев и приохотившись к чтению с помощью одного ссыльнопоселенца, он обнаружил, что был участником классического и тошнотворного сюжета рождественской литературы: кухаркин сын на елке в богатом доме. И тогда он люто возненавидел и хозяев матери, и всех богатых на свете. То было рождением социального чувства, возможно, и рождением будущего бомбиста.

В Ардатове со времен польского восстания 1863 года жили ссыльные поляки, а также их обрусевшие потомки. Один из них, Сосновский, дал четкое направление той ненависти, которую пробудила в Корягине рождественская елка в купеческом доме. Сосновский объяснил, что ненавидеть в первую очередь надо царя, потом его близких и приближенных, а также министров, сановников, генералов и жандармов всех рангов.

Единственным способом борьбы этот тихий, болезненный, мухи не обидевший человек считал террор. Он потряс юный разум Корягина очень простым подсчетом: если каждый террорист уничтожит всего одного врага, то на всю царскую фамилию и на тех, кто поддерживает трон, понадобится не более тысячи человек. Неужели в России не окажется тысячи смелых и самоотверженных молодых людей, готовых положить жизнь за народ? И не нужно никаких тайных организаций, каждый должен действовать в одиночку, на свой страх и риск. Организация — самый верный способ провалить любое дело. Обязательно окажется или засланным охранкой шпион, или предатель по слабости духа. Или чего-нибудь не поделят: власть, приоритет, бабу. Неудача Каракозова не должна обескураживать. Надо быть предусмотрительнее, тщательнее готовить покушение, а в себе воспитать самообладание. И главное, не торопиться, надо хорошенько изучить клиента, его манеры, привычки, жестикуляцию, даже нервные тики, почувствовать его изнутри, более того, стать им, тогда не будет нечаянной ошибки. Столь же основательно должно быть подготовлено оружие, к пистолету надо пристреляться,

а бомбу — пустую, разумеется, но равную по весу заряженной, — научиться безошибочно метать в цель. Очень важно правильно выбрать место покушения, желательно безлюдное. Прохожие опасны: патриотический и бдительный мещанин отнял у Каракозова подвиг, а там и жизнь. Гальени стрелял во французского президента почти в упор возле слоновьего вольера и промахнулся лишь потому, что слон взмахнул хвостом и президент отшатнулся. Зверинец, цирк — плохие места для покушения, в театре лучше использовать антракт. Другое дело, когда высокопоставленное лицо отправляется к месту службы — это выверенный ритуал, — оно будет с математической точностью повторять привычные движения, что сводит к минимуму возможность промаха. Хуже нет пытаться использовать якобы благоприятный момент, связанный с экстраординарными событиями в дневном распорядке клиента, тут возможны любые случайности. Привычность, обыденность порождают автоматизм движений, что уже служит гарантией успеха. Бомба обладает несравнимо большей поражающей силой, чем пистолетная пуля, но не надо на это слишком полагаться. Первая бомба, брошенная в Александра II, разметала все вокруг, а царю не причинила даже малого ущерба.

И надо твердо знать: тебя схватят, осудят и повесят. Идти с надеждой на спасение — значит обречь себя на провал. Как бы ни был ты смел и решителен, невольно станешь прикидывать вариант спасения, а это отвлечет от прямого дела.

Чувствовалось, что Сосновский рассуждает о террористическом акте не умозрительно, а на основе собственного практического опыта. Спрашивать о таком не полагалось. Он находился под надзором полиции, но если бы за ним числилась хотя бы неудачная попытка покушения, то давно бы гнил на каторге. Значит, полиции неизвестно о причастности Сосновского к терроризму. Он сам рассказал свою историю Корягину незадолго до смерти от чахотки.

Не только полиция не знала о несостоявшемся покушении на харьковского полицмейстера, но и сам полковник Хлудов не догадался, что был на волосок от смерти, когда его рассеянный взгляд скользнул по лицу прохожего человека, вдруг опустившего руку в карман долгополой шубы на волке.



Хлудов был далеко не худшим из жандармских офицеров, от природы незлобивый, к тому же остуженный годами, неудачами, усталостью и старыми ноющими ранами (бывший боевой офицер), он нес свою службу лишь внешне исполнительно, надеясь выйти в отставку генералом. Вдовец с двумя великовозрастными дочерьми-вековухами, он куда больше был озабочен устройством их судьбы, нежели своей докучной службой. При нем Харьков стал Меккой для террористов; здесь они могли расслабиться, передохнуть, спокойно обдумать будущие отважные мероприятия. Харьковская тюрьма славилась мягким обращением, хорошей пищей и богатой библиотекой.

Сосновский, потомок одного из сподвижников знаменитого Домбровского, учительствовал в уездной школе под Харьковом и, не будучи связан ни с какой террористической и вообще революционной организацией, разрабатывал свое покушение в одиночку. Он, конечно, знал о репутации Хлудова как мягкого человека, но это его мало трогало. Хлудов был частицей преступной системы полицейского государства и, следовательно, подлежал уничтожению. А его служебная лень и расхлябанность, принимаемые за прекраснородушие, Сосновского не трогали.

Он хорошо подготовил свое покушение, несторожкость Хлудова облегчала задачу. В назначенный день и час он чуть не вплотную сблизился с Хлудовым возле церкви Нечаянных Радостей, куда полицмейстер ходил к ранней обедне. Было одрожливо промозглое утро с жестяным инеем и пронзительным ветром, дующим от земли вверх. Замерзший Хлудов притопывал и по-извозчицьи охлопывал себя руками крест-накрест. Скользнув по Сосновскому рассеянно-жалобным взглядом, он проговорил отвердевшими губами: «Ну и холодняшка!» Сосновский в добротной волчьей шубе и гамашах физически ощутил, как зябко этому пожилому человеку в шинели тонкого сукна и узких сапогах. В беглом взгляде Хлудова не было ничего от полицейского, но так много — от бедного брата в человечестве: замороженного жизнью неудачника, — и он оставил руку в кармане на ребристой рукоятке пистолета.

Сосновский не разочаровался в терроризме, по-прежнему считал это единственной формой борьбы, он разочаровался в себе, поняв свою дряблую непригодность к настоящему делу. В молодом, сдержанном,

молчаливом, со слабо развитой душевной жизнью Корягине он видел осуществление несбывшихся чаяний. Он понимал, что, признавшись в своем фиаско, заслужил от Корягина лишь презрение, без тени хотя бы брезгливого сочувствия. Это хорошо. Пусть зарубит себе на носу: не заглядывать в глаза жертве. Впрочем, Корягину это едва ли грозило. И однажды Сосновский сказал сквозь мучительный кровавый кашель: «У тебя получится. Ты безлюбий».

Задолго до признания Сосновского в своей несостоятельности Корягин догадывался о его сути слабака и не испытывал к нему ни симпатии, ни уважения. Но тот многое знал, и Корягин изо всех сил старался высосать из него максимум сведений. Он запоминал и обдумывал каждое его замечание. Не пропустил он и вскользь брошенной фразы о «безлюбости». Он в самом деле никого не любил. Лишь к матери испытывал слабое чувство признательности. Но мать вскоре умерла. Он был сильно смущен и озадачен, когда в спокойную, целенаправленную и прохладную его юность вторглось влечение к женщине. Он вдруг стал замечать женщин, думать о них, видеть во сне.

Надо отдать ему справедливость, он быстро справился с недугом. На маслобойке работало несколько молодых женщин. Он легко сговорился с одной из них, безошибочно угадав ее большую доступность. Без всяких осложнений, хлопот и волнений она сделала из него мужчину. Он был настолько неопытен и наивен, что поверил в свое полное освобождение от докучной телесной заботы. Не тут-то было. Оказалось, в этой области человеческих отношений правит афоризм житейской мудрости: аппетит приходит во время еды. Встречи участились, хотя жалко было расходовать время и силы на собачьи радости. Вскоре случилось непредвиденное, хотя совершенно естественное, но почему-то никогда не учитываемое молодыми олухами,— партнерша, рыдая, сообщила, что «попалась». Впервые он растерялся и пал духом. В его расчеты никак не входило творить новую жизнь, цель была прямо противоположная. По счастью, пронесло, она ошиблась, просчиталась в днях, а может, все придумала, чтобы проверить его намерения.

Проверка не обнадежила, из него явно не сделать мужа и отца. Молодая женщина стала избегать Корягина, что причиняло ему сперва беспокойство, потом боль.

Последнее никуда не годилось: страдать из-за юбки было непозволительно, так можно пустить под откос дело жизни. Он поступил простейшим образом: завел другую, куда более опытную и менее требовательную подругу. Но физическое облегчение не избавило его от тоски по той, оставленной. И тогда он понял, что всей мерихлюндии должен быть положен конец. В этой сфере перестают действовать разум и расчет; короткое, острое, чисто телесное удовольствие, дающее недолгий покой, обрекает на иную, длительную обремененность. Это не для него. Ум, сознание, преданность единой цели бессильны перед возней разгоряченной крови. С некоторым отвращением обратился он к простейшему способу избавления от плотских атак. Как только возникала тоскующая тяга, он тут же отыскивал укромное место и освобождался от мутной субстанции, обладавшей такой подлой властью. По ощущению это почти не отличалось от близости с женщиной, но обладало рядом преимуществ: никакой подготовительной возни и последующей потери времени, просто, быстро, опрятно, а главное, ты ни от кого не зависишь. В любое мгновение можешь собственноручно изгнать беса.

Корягин успокоился, перестал обращать внимание на существ иного пола, да и необходимость в освобождающей разгрузке стал испытывать все реже и реже. Словом, он вернул себе былое равновесие, не позволив грубой физиологии распоряжаться собой.

Вновь полностью сосредоточившись на своей главной, точнее, единственной идее, Корягин полубессознательным усилием заставил Сосновского дать ему мишень. Не хотелось повторять сомнительных подвигов тех бомбистов и стрелков, которые убрали безвредного, даже в чем-то полезного конспираторам, добродушного генерала Мезенцева, или растяпу-полковника Гнеушева, или мнимого предателя студента-химика Дробязко, снабжавшего боевиков взрывчаткой. Ему хотелось серьезного и полезного поступка. Конечно, ему не повторить подвига народовольцев; чтобы убить царя, нужна мощная организация, какой располагали Желябов и Перовская, но ликвидировать нового Плеве или губернатора-вешателя было ему по плечу. И Сосновский назвал имя: великий князь Кирилл, двоюродный дядя ныне царствующего монарха, вдохновитель всех реакционных акций правительства.

Служившие под его началом в русско-турецкую войну солдаты и офицеры помнили его как непреклонного, надменно храброго и беспощадного к подчиненным генерала. Вся его стратегия сводилась к забиванию вражеских стволов солдатским мясом. Он топил противника в русской крови, не щадя собственной голубой струи. Ни один военачальник не получал столько ранений, сколько великий князь Кирилл, весь изрубленный, прошитый пулями и осколками. Видимо, это освобождало его от всякой жалости к чужой плоти.

Он был из породы длинных Романовых, к числу которых принадлежали Петр Великий, братья Александр и Николай, московский губернатор великий князь Сергей, застреленный Каляевым. Кирилл был вылитый Сергей, но, пожалуй, еще выше, худее, суше, еще жестче и беспощадней, еще откровенней и гротескней в нем совмещался религиозный ханжа, образцовый семьянин и неутомимый педераст. Он так возбуждался от присутствия молоденьких румяных офицериков, что при всей своей хваленой выдержке, проверенной в кровавых боях под Плевной и штурме Шипки, не стеснялся публично щипать их за ляжки, похлопывать по круглым попкам на разводах, маневрах и всяких эскерцициях, до которых так оочи были все Романовы, за исключением поэта-переводчика, президента академии и полного неги гомосексуалиста К.Р.

Романовых можно было ненавидеть уже за одно то, что династия эта по уши в крови, но названная троица вызывала особую ненависть сочетанием мерзких личностных свойств. Среди них Кирилл выделялся по всем статьям. Прежде всего ростом за два метра и породистостью, выпиравшей острыми углами из его худого, как у борзой, крепкого, мускулистого тела. Он был фанатиком английской гимнастики, ледяных душей и всех известных физических упражнений: бегал, прыгал, плавал, скакал на лошадях, гонял на велосипеде, правил автомобилем и парусом, играл в теннис, метко стрелял из ружья, пистолета и лука, отменно дрался на саблях и эспадронах, был мастером штыкового боя, ходил с рогатиной на медведя и при всей тощине отлично работал с гириями. Его фотографии в спортивном трико, купальном костюме, белых теннисных брюках, скаковых бриджах, охотничьей куртке и сапогах постоянно появлялись на страницах иллюстрированных журналов.

Его самоуверенность, чувство превосходства над окружающими, почти не скрываема порочность, никак не влиявшая на репутацию в высшем обществе, поза сверхчеловека, недоступного мирскому суду, аристократическое хамство окрашивали социальную неприемлемость в теплые тона личной ненависти. Это победительное существование было оскорблением, плевок в лицо каждому порядочному обитателю несчастной страны.

Корягин знал о великом князе достаточно для нанесения удара: это враг — жестокий, беспощадный, деятельный, не знающий отступления, большой монархист, чем сам государь, моральная опора полусгнившего рода, надежда династии. Убить его — значило нанести сокрушительный удар всему дому Романовых.

Не обременяя себя психологическими изысканиями, Корягин хорошо изучил распорядок дня великого князя, его привычки, манеры, жесты, все мелкие подробности бытового поведения, потому что неудачу может принести нечаянное движение, даже нервный тик. Так случилось с Приходько, стрелявшим почти в упор в воронежского генерал-губернатора. Покушавшийся забыл о военной контузии генерала, в момент выстрела тот мотнул головой, как укушенный слепнем конь, и пуля лишь оцарапала щеку.

Когда начинаешь цепко приглядываться к человеку, то обнаруживаешь много неожиданностей, разрушающих уже сложившийся образ. Поначалу великий князь представлялся Корягину деревянным истуканом — прямой, негнувшийся, минимум движений, голова будто впаяна в жесткий воротник; ходит, как кабан, только вперед и, как кабан, только вперед смотрит. Очень удобная мишень. Так, да не совсем так. Куда бы ни направлялся Кирилл: к подъезду, экипажу, человеку, воинскому строю, — он шел прямо и быстро журавлиным шагом своих длинных ног и вдруг замирал, будто зацепившись за что-то незримое. Через несколько мгновений он энергично завершал движение. Корягину казалось, что великий князь сам не замечает этих внезапных остановок. Изредка на его застывшем лице дергался какой-то мускул. Grimаса варьировалась, иногда ею управляла щека, иногда кончик хрящеватого носа. Его свинцовые глаза казались то слепыми, то всевидящими — и вдаль, и вкось, и назад, и насквозь. И это было страшно. То ли самозащиты ради, то ли в бессознательном влечении к мужской плоти князь

всегда был облеплен адъютантами, служителями, военными и штатскими чиновниками, гвардейскими офицерами. Вероятно, окружающие знали, что ему приятна сутолока, вокруг него не стихал людской водоворотик. Никакой ценности эта искательная шушера не представляла, но зачем лишняя кровь? Другое дело, подловить его в паре с каким-нибудь выдающимся мерзавцем и разделаться с обоими, но, потратив уйму времени на добавочное трудное и крайне опасное наблюдение, Корягин от этого намерения отказался.

Обнаружилась еще одна неожиданность: казавшийся аккуратным до педантизма, великий князь был склонен вносить известную пестроту в заведенный порядок. Вдруг в самое неподходящее время являлись его сыновья: два длинных мальчика в узких мундирчиках, белокурые, с пятнистым румянцем. Они обещали вытянуться в такую же версту, как их отец, но в остальном не были на него похожи: миловидные мелкие черты лица, синие глуповатые глаза. Убивать их тоже не хотелось. Они чинно прогуливались рядом с папенькой, почти не открывая ртов, а люди, явившиеся по делу, и лошади, поданные для дела же, терпеливо ждали, пока великий князь не потрафит своему отцовскому чувству — поддельному, как думал злившийся на это разбазаривание государственного времени Корягин.

Скупой на жесты, если исключить пощипывание и похлопывание крутозадых адъютантов, с сыновьями великий князь становился размахист. Этого требовало мужское воспитание. Он щупал их мускулы, демонстрировал собственные бицепсы, каждую фразу, касающуюся обычно охоты и спортивных упражнений, выразительно иллюстрировал: вскидывал ружье, целился из пистолета, наносил противнику косой сабельный удар, посылал губительный смэш, бросал коня в галоп. Нечего было и думать стрелять в него, когда он был с сыновьями. Дергается, как балаганный Петрушка, не возьмешь на мушку ни лба, ни сердца.

Впрочем, стрелять в великого князя Корягин никогда всерьез не собирался. Но с присущей ему тщательностью рассмотрел и эту возможность. Он с самого начала выбрал бомбу, хотя это лишь профанам кажется, что бомбу метнуть легче легкого. Черта с два, если хочешь сделать это наверняка, без ненужной крови. Положительных примеров почти нет, зато есть яркие отрицательные примеры: два покушения на Александра II.

Самое примечательное — последнее, оно могло бы войти в учебник терроризма как образец бездарной и грязной работы. Двое наиболее опытных засветились и были взяты полицией до акции, а всю операцию проводила нервная до истеризма молодая женщина, омороченная влюбленностью и страхом за любимого, загремевшего в тюрьму, внезапно свалившейся на нее ответственностью, ненадежностью оставшейся команды, жаждой мести и величием собственной роли. Все шло наперекосяк: один метальщик просто ушел с поста, другой бросил бомбу так неудачно, что нанес ущерб всем окружающим: казакам, городовому, кучеру, лошадям, только не царю, третий все-таки довел дело до конца ценой собственной жизни и то лишь потому, что царь в необъяснимой утрате осторожности сам пошел на него, вместо того чтобы сразу смыться. И акция приобрела характер самоубийства, а не возмездия.

Корягин все сделал, как надо. Он точно рассчитал те мгновения, когда великий князь в своей ежедневной прогулке останется совсем один и можно будет максимально приблизиться к нему, имея для самозащиты толстый фонарный столб. Он уже проверил, что столб надежно прикрывает метателя. Он не думал о бегстве, но и не хотел погибнуть вместе с великим князем. Вариант Гриневицкого его не устраивал. Надо было осознать и пережить в душе случившееся. Такую награду он себе установил.

И сработал почти безукоризненно. Секунда в секунду, как было рассчитано, они сошлись у старого, на толстой ноге фонаря; великий князь только что отпустил адъютанта, шлепнув его по заду, и адъютант со всех ног кинулся к дворцовому подъезду, а навстречу ему выбежал другой адъютант. Но поздно, стекольщик со своим хрупким товаром в узком деревянном ящике уже освободился от ноши, извлек бомбу и спокойно уложил ее прямо под ноги князя.

Корягин не думал, что взрыв будет таким мощным и оглушительным. Великого князя разорвало на куски. Какой-то ошметок шлепнулся рядом с ним. Он глянул и захохотал, мгновенно вспомнив строчку из пушкинской «Гавриилиады», которую любил за безоглядное кощунство: «...надменный член, которым бес грешил».

Он хохотал, не замечая, что ранен. Кровь из левого предплечья, невесть как настигнутого осколком, заливала ему грудь и бок. Он еще весь был в своем поступке.

Совершенное им оставалось в плече, хранящем силу размаха, в кисти правой руки, помнящей тяжесть бомбы и последующее облегчение, во всем нутре, больно и сладко екнувшем в ответ на взрыв. И наступившая глухота свидетельствовала об удаче. Сейчас все происходило, как в синематографе, только без дребезжащего пианино, хотя глухота обладала какой-то своей озвученностью: что-то надувалось и лопалось в ушах, будто пробки вылетали. От этого голова была, как чужая, и он не вмещал в себя всего окружающего.

Наиболее отчетливо он видел куски тела, ну и разбросало же этого долговязого, а сколько в нем кровищи! Худой, как скелет, будто вовсе бескровный, а все залито кровью, словно откормленного борова резали. Красные ручейки бежали по швам брусчатки, и вообще, в разобранном виде великий князь неимоверно увеличился. Повсюду куски мяса, кости, внутренности, груды окровавленного сукна, там плечо с жирным эполетом, там мосол локтя с обрывком рукава, там кисть с ухоженными ногтями, там нога в щеголеватом сапоге, рука в перчатке, еще нога — почему-то голая, — впечатление такое, что взрыв прикончил огромное членистоногое, и до чего же много всяких предметов: курительная трубка, записная книжка, цепочка с брелочками, бумажник, обручальное кольцо, дамский браслет, стелька, бандаж, перочинный ножик, останки карманной луковицы. Корягин не успел перебрать взглядом все мелочи, окружавшие останки князя, когда на него накиннулись и с ненужной грубостью стали скручивать, вязать, потом куда-то поволокли. И тут только он почувствовал боль в раненом предплечье и удивился, как мог настичь его кусочек металла за фонарным столбом. И еще он увидел блестящее крошево, в которое обратились стекла.

Много времени спустя он постоянно возвращался к этому ничего не значащему обстоятельству: искрошенному стеклу. Деревянная стекольная рама лежала на мостовой за фонарем, осколки прошли над ней. Он сам раздавил стекло, да и не просто раздавил, а топтался на нем. Он этого не помнил, как не помнил и своего ранения. Значит, был у него короткий провал сознания? Странно, ему казалось, что он все время контролирует происходящее и точен в каждом движении. В момент взрыва надлежало стоять недвижно, вжавшись в столб,



а он высунулся, схватил рану, отпрянул и раздавил стекло.

А ведь как скрупулезно было все рассчитано! Ему хотелось доказать Сосновскому — ну, хотя бы самому себе, — что он может быть сильнее любых обстоятельств. Необъяснимая поправка унизила его в собственных глазах, она наталкивала на мысль, что он ничем не лучше тех истериков с бомбой или пистолетом, которых он так презирал. Раз он не смог исключить случай, так чего же он стоит?

А почему он все же высунулся? Неужели просто нервы? А может, дело в князе? Не там встал, не так повернулся. Он обязан был учесть все возможные отклонения, даже в технике существует понятие «допуск». Его план был рассчитан на двух автоматов. Но князь не был автоматом, им владели с мощью всепоглощающей страсти монархическая идея и мужеложество. О каком автоматизме тут может идти речь? И он, Корягин, не был автоматом, ибо вкладывал в свой поступок слишком много личного, а тут нужна полная отрешенность от себя. Два живых человека разрушили красивую схему. Князя тут нельзя винить, а вот он сплеховал и не создал того шедевра, на который вправе был рассчитывать.

Человек всегда как-то договаривается с собой, и Корягин сумел в конце концов запрятать испытанное разочарование в тот дальний уголок души, где оно почти не мешало. А вообще ему хотелось, чтобы скорее все кончилось. Надоела боль в руке, злая грубость санитаря, бессмысленное сидение в камере: приговор был вынесен, просить о помиловании он наотрез отказался, так какого дьявола они канителият?.. А потом появилась эта женщина.

Она возникла из сна. Ему редко снились сны, особенно новые, так что не составляло труда запомнить их все с дней детства. Тогда ему раз за разом снилось, что он летает. Мать говорила: растешь. Летал он с ветки на ветвь рослых деревьев, каких — он не знал, но чувствовал прикосновение трепещущей листвы к щекам. Деревья эти росли, скорей всего, на городских улицах или в скверах, потому что полеты происходили прилюдно. И окружающие были странно равнодушны к его птичьему таланту. Эта безучастность ранила, можно было подумать, что всем дано летать. А люди из снов летать не умели, так почему же ни один не удивился, не восхитился, не похва-

лил летуна? И обида на непризнание была так горька, что отравляла пьянящее чувство радости. В первые секунды после пробуждения он чувствовал в лопатках тающий след этой радости, но обида на тупость окружающих проникала в явь и становилась злостью.

В юности все редкие сны были стыдными. И очень схожими между собой. Он был с какой-то девушкой, иногда он угадывал во сне ее черты. Обычно то оказывались полужнакомые, а то и вовсе незнакомые соседские лохмушки, которые в яви не вызывали в нем и тени желанья. Но сон наделял каждую из них томительной притягательностью и трогательной готовностью пойти навстречу его желанию. Неведомо, почему это происходило тоже посреди толпы, на восточном базаре, которого он сроду не видал. Он был совершенно голый, чего при своей дневной стыдливости вовсе не стеснялся, как не стеснялась и его деловито обнажавшаяся подруга. И почему-то им никак не удавалось устроиться, все время что-то мешало: то простыня, то какая-то тесемка, то откуда-то взявшаяся пола халата или пояс с кистью, или подушка. Наконец, когда исчезали помехи и должно было начаться блаженство, он просыпался на вздрог, успевая поймать лишь последнюю судорогу наслаждения, провалившегося в щель беспамьятства меж сном и пробуждением. Потом долго лежал опустошенный, разочарованный, с тоской по девушке, которую мог бы без особого труда отыскать вживе, но это было ни к чему — очарованием ее наделял только сон.

Став взрослым, он совсем разучился видеть сны, пока не обрел цель. Тогда, обычно под утро, перед ним возникало что-то смутное из бормотания, криков, воплей и чего-то медленно рушащегося. Иногда это казалось подобием гигантской человеческой фигуры, иногда монастырской стеной, иногда небывало громадным деревом — оно падало кроной вперед, прямо на него, и он с захлебным воплем вскакивал с кровати.

За все дни его заключения ему ничего не снилось. Сон его был на редкость спокоен и глубок, как бывает, когда всласть наработаешься, выложишься до конца, и нет в тебе никаких желаний, беспокойств — великая умиротворенность и тишина.

И вдруг появилась эта женщина. Она сидела у его изголовья и вязала, у нее было немолодое, приятное, терпеливое лицо. Обычно ему нравились такие люди, ну, это, пожалуй, слишком, люди ему вообще не

правились, от них не было никакого толка, лишь помехи, дерганье и раздражение. Но поскольку без них все равно не обойтись, то он предпочитал тихих, скромных, незаметных, от которых нечего ждать.

Спицы ловко двигались в руках женщины. Это были маленькие руки с тонкими, длинными пальцами и миндалевидными ногтями. Аристократические руки, которым не шло вязальное крохоборство. Такой руке пристало подносить ко рту кофейную чашечку из прозрачного фарфора, листать страницы французского романа, предельное усилие — поставить букетик фиалок в китайскую вазочку. Корягин усмехнулся: при его знании светской жизни он легко найдет достойное применение рукам аристократической вязальщицы.

Но он занимался этой чепухой неспроста, ему надо было собраться с мыслями и решить довольно странную задачу: дело в том, что он чувствовал эти руки на себе, знал их осторожное прикосновение, ласкающую прохладу пальцев. Это могло присниться, значит, женщина возникла из его сна, материализовалась, так сказать... Что за чушь собачья!..

Отгадку подсказало раненое предплечье. Оно не болело, туго схваченное свежим, умело повязанным бинтом. Его раной кто-то занимался, пока он спал, но так бережно и нежно, что он не проснулся и не только не испытал боли, но едва не увидел юношеский сон с восточным базаром, мешающими тканями и покорным существом, прорывающимся к нему сквозь все преграды.

Не надо мистики. Эта женщина перебинтовала его, пока он спал, с отличным профессиональным умением, а потом присела к изголовью и стала вязать чулок. Наверное, она из этих... дам-благотворительниц, патронесс или как там их называют? Но откуда у нее такая умелость? Да ведь у них в моде со времен наполеоновского нашествия играть в сестер милосердия, толкаться в госпиталях, щипать корпию. Это так же обязательно для аристократки, как революционный кружок для курсистки, и так же не соответствует сути.

Противно, что ему отвели роль в этом шутовстве. Впрочем, перевязала она его на славу. Что хуже: мучиться болью или терпеть ее присутствие? Так она и будет рукодельничать над его головой, заслуживая себе спасение души? Не избежать тошнотворной проповеди покаяния и примирения с Господом Богом. Глядишь, начнет канючить, чтобы он прошение о помиловании на

высочайшее имя подал. Черт их знает, чего они там напридумывали. Власть уже знает, что простейшие способы подавления не самые верные в нынешнее время. Он действовал один, без сообщников, они в этом убедились, так что хватать кого ни попадя и бросать в тюрьмы — бессмысленно. Ничего, кроме озлобления, это не вызовет. От публичных казней они отказались, после того как Михайлов дважды сорвался с виселицы. Рылеев — пророк: бедная Россия так и не научилась опрятно вешать. А разделаться с ним втихую — никакого навару. «Диктатура сердца» Лорис-Меликова была ловко придумана, но что-то у них не заладилось. Похоже, великий князь сыграл главную роль в падении Меликова, ему претила даже видимость послаблений. Его меры: решетка, петля, пуля. Он даже каторгу находил слишком либеральной для «бунтовщиков» — мыслил категориями пугачевщины. Великого князя, при всем пиетете, недолюбливали многие в доме Романовых. Его безжалостность, негибкость, тупая неуступчивость и открытая безнравственность претили царской чете, исполненной семейных добродетелей. Было у него немало и других влиятельных врагов. Освобожденные от чувства личной скорби, они могут использовать его гибель для жеста милосердия, открывающего двери к примирению с уставшим терпеть народом. Если это так, а чем иным можно объяснить задержку с казнью, то явление этой вязальщицы вполне объяснимо. Надо поскорее развеять ребяческие иллюзии пославших ее и турнуть старуху.

Из-под опущенных век он присмотрелся к милосердной даме. Она вовсе не старуха, ей не более сорока пяти. Ее старили бледность, круги под глазами, скорбно поджатый рот и проседь в темных волосах. Маленькие ловкие руки были моложе лика. Привыкший наблюдать и делать выводы Корягин уловил, что наружность дамы как-то сбита, смещена, можно с уверенностью сказать, что совсем недавно она выглядела иначе, куда лучше, и, скорей всего, вернет со временем прежнюю наружность. Прочная лепка лица и головы не соответствовала увядшим краскам щек и губ, а вот глаза, светло-карие, с чуть голубоватыми белками, не выцвели, были сочными и блестящими. Она то ли перенесла недавно тяжелую болезнь, то ли какое-то душевное потрясение. Голова ее на стройной шее вдруг начинала мелко трястись. Она тут же спохватывалась, распрямлялась в спине и плечах

и останавливала трясучку, но через некоторое время опять допускала жалкую старческую слабость.

Корягину надоело безмолвное созерцание. Он потянулся с койки, взял стоявшую на полу кружку с водой и стал пить. Женщина так ушла в работу или в собственные мысли, что проглядела его движение и откликнулась лишь на звучные глотки.

— Вы проснулись? — сказала она и улыбнулась.

— Как видите, — отозвался Корягин.

Утерев тыльной стороной кисти рот, он вернул кружку на место. Он ждал, что она объяснит свое присутствие, но женщина молчала, ласково глядя на него, и спицы продолжали мелькать в ее пальцах.

— А другого места вы не нашли? — грубость была сознательной.

— Это вас раздражает? — Она тут же перестала вязать и убрала работу в сумочку. — Говорят, что вязанье успокаивает...

— ...тех, кто вяжет, — как бы закончил ее фразу Корягин. И тут же вспомнил слышанное от Сосновского. — Парижские вязальщицы.

— Простите, вы о чем? — не поняла она.

— Французская революция... — голос звучал лениво. — Гильотина... Старухи-вязальщицы. Не пропускали ни одной казни. Все время вязали и не упускали петли, когда падал нож.

— Господь с вами! — дама быстро перекрестилась. — Государь милостив.

— Я не просил о помиловании, — сухо сказал Корягин и слегка озлился на себя, потому что во фразе тайлся гонор.

— Я знаю, — сказала дама. — Я подала сама. Государь мне не откажет. Не может отказать.

— Я не знаю, кто вы, — тягуче начал Корягин, понимая тайным разумом, что он знает, но не хочет знать, кто эта женщина. — Но я никого не уполномочивал вмешиваться в мои дела. Слышите? И уходите. Слышите? Я вас не знаю и знать не хочу! — это прозвучало плохо, истерично.

— Да нет же, — с кротким упорством сказала женщина. — Вы меня знаете. Я Варвара Алексеевна, вдова Кирилла Михайловича.

В ее голосе был добрый упрек: как можно не узнавать старых знакомых, с которыми так много связано!

Он молчал, и она добавила с улыбкой:

— Какой беспамятный!.. Вы же прекрасно знали моего мужа.

О, еще бы! Он мало кого знал так хорошо. Знал не только снаружи, но и снутри. Потроха его знал, требуху, кости, даже длинный бледный член с пучком рыжеватых волос на лобке имел честь знать. Ни самые близкие люди, ни мальчишки-адъютанты не знали князя так досконально. Прозектор, или как там называется медик, который сшивал останки для похорон, и тот не может с ним сравниться в знании князя. Он тело знал, а Корягин то, что глазом не ухватишь да и на ощупь не попробуешь... «А она что? — вдруг спохватился он. — Издевается над ним, над покойником, над собственным горем? Или у нее помутился разум?»

— Извините, — сказал Корягин, — я не имел чести знать вашего супруга. Не был даже представлен ему.

— За что же вы его тогда?.. — как-то очень по-домашнему удивилась Варвара Алексеевна.

Он едва не расхохотался:

— Можно не объяснять?

— Как хотите, — сказала она. — Но Кирилл Михайлович был очень хороший человек. Если б вы знали его ближе, вы бы его полюбили.

Не может она быть такой дурой! Обе столицы, вся страна издевались над сиятельным мужеложцем. Старо как мир, что жена последней узнает об измене мужа, равно и муж об измене жены, но ведь тут не измена, а образ жизни. В каждом жесте, взгляде, движении, интонации высывался перевертень. «А почему я все время возвращаюсь к этой мерзости? — одернул он себя. — Какое мне дело до его грязных амуров? Можно подумать, что я казнил его по приговору общества «В защиту нравственности». Да нет, напротив, что таким извращенцам достаются хорошие, порядочные женщины и любят их вопреки всему».

И, подумав о Варваре Алексеевне добро, Корягин вдруг испытал острое желание задеть ее, обидеть. Наверное, его разозлила ее тупая, нерассуждающая преданность мужу, слепота к его пороку, впрочем, не меньше раздражали и смирение перед потерей, и неумение держать зло.

А правда ли, она не держит зла? Как-то не верится в подобное всепрощение. Люди, стоящие над толпой, исполнены безмерного себялюбия, чувства собственного

превосходства и презрения ко всем, кто ниже их. Именно в силу этого они любят играть в чужие игры: смирение, всепрощение, милосердие, теша собственного беса. Чтобы все изумлялись: какая доброта, какая высота души, какое смирение... ах, Аннет, при чем тут? — она же Варвара, ну, ладно: ах, Бабетта — воистину святая, она все простила этому извергу, облегчила его страдания, христианка, самаритянка, ее возьмут живьем на небо!..

— Знаете, — сказал Корягин, — вам бы лучше уйти.

— Я вам мешаю?.. Ах, простите, вам, наверное, надо по нужде. Вы не стесняйтесь, я работала в лазарете. Где ваша «утка»?.. Сейчас подам.

Она опустила на колени и заглянула под койку.

— Не трудитесь, — сказал Корягин, злясь и веселясь. — Это не лазарет, здесь, «уток» не положено. Да мне и не надо.

— Но вы же ранены! — сказала она с возмущением. — Я добьюсь, чтобы вас перевели в лазарет.

Ее назойливость перестала развлекать.

— Я никуда не пойду. Какой еще лазарет? Меня не сегодня завтра повесят.

— Нет, нет! — вскричала Варвара Алексеевна. — Вас помилуют. Кирилл не вернуть, зачем же отнимать еще одну жизнь? Такую молодую! — По щекам ее катились слезы. — Ваше раскаяние умилюет тех, кто может карать и миловать.

— Кто вам сказал, что я раскаиваюсь? Да я бы, не думая, повторил все сначала. Мне не нужно помилование, я не приму его. Каждому свое.

— За что вы так не любите бедного Кирилл? — удивилась она. — Он же милый...

— Возможно, для вас. И то сомневаюсь. Спросите повешенных, спросите гниющих в тюрьмах, спросите замордованных солдат...

— Солдаты его любили! — не выдержала Варвара Алексеевна.

— Охотно на водку давал?.. Отец-командир!.. Гнал на верную смерть, для него человеческая жизнь — тьфу! Жестокий, хладнокровный, безжалостный тиран!.. — Он чуть не плюнул, разозленный словом «тиран», невесть с чего сунувшимся на язык.

Варвара Алексеевна смотрела на него с доброй, сочувственной улыбкой.

— Как все это непохоже на Кирилл! Вы бы посмот-

рели на него в семейном кругу, среди друзей, на дружеских попойках с однополчанами...

— А вы бы посмотрели, как он подмахивает смертные приговоры.

— Вы что-то путаете, — сказала она тихо. — Приговоры — дело суда, при чем тут мой покойный муж? А на войне я его видела, была с ним под Плевной. Он подымал роты в атаку и шел первым на турецкий огонь. А ведь он был командующий. Самый бесстрашный человек в армии. Может, он и не берег солдат, как другие, — она улыбнулась, — застенчивые командиры, но и себя не берег. У него было восемь ран на теле, больше, наверное, чем у всех остальных генералов его ранга, вместе взятых. Я не хочу оправдывать Кирилла, да он в этом и не нуждается. Он все искупил своей смертью. Он был администратор старой школы — прямолинейный, жесткий, не отступающий от цели, от того, что считал правильным. Но он был честен и справедлив. Он ничего не выгадывал для себя: ни славы, ни почестей, ни богатства, ему все было дано от рождения. Он служил России... так, как понимал.

— Плохо понимал! — крикнул Корягин. — Такие, как он, замордовали страну, превратили в рабов прекрасный, умный, талантливый народ. Всех надо истребить, до одного!..

— Ну, ну! — сказала Барвара Алексеевна таким тоном, будто призвала к порядку распалившегося мальчугана. — Успокойтесь. Возможно, я чего-то не понимаю, не знаю. Я же не политик, не государственный деятель и, к сожалению, не народ. Мне нельзя об этом судить. Но я женщина, мать, жена... была, любила отца моих детей. Он был такой добрый и терпеливый со мной. Я не хватаю звезд с небес, часто говорю глупости, он никогда не сердился, ни разу не повысил голос, не позволил нетерпеливого жеста...

— Был виноват перед вами, вот и не рыпался.

Корягин тут же пожалел о своих словах. Он не понимал, как это вырвалось. Он ударил наотмашь, в грудь — за что?.. «Плебей, — сказал он себе, — мстительный плебей...» Конечно, она полезла не в свое дело, ему не нужны ни ее заботы, ни заступничество, ни ханжеское нытье. А если начистоту, то это подлость, вельможное хамство — врываться без спроса к смертнику. Она думает, что им позволено лезть с ногами в чужую душу. И небось еще ждет благодарности. Накось, выкуси!



Он едва не показал ей кукиш.

— Кирилл Михайлович ни в чем не виноват передо мной, — сказала она, чуть поджав губы, и впервые в ее кротком голосе звучали строгие нотки.

Надо было остановиться, что это за дешевая игра у гробового входа? Но, видать, человек живет до последнего выдоха всем, что в нем есть: крупным и малым, хорошим и дурным, высоким и низким, добрым и злым. Во всяком случае, Корягин не мог замолчать, как себе ни приказывал.

— Меня это не касается, — сказал грубо. — Но репутация у вашего мужа была аховая.

Она молча смотрела на него, хлопая глазами, и не могла взять в толк сказанного.

— Как же так? — проговорила наконец недоуменно. — В том кругу, где мы вращались, его считали рыцарем без страха и упрека.

— Я не говорю, что он крал столовые ложки или передергивал в картах. — Корягин раздражался все сильнее. — Но как военачальник он признавал лишь один маневр — с тыла.

Она, в самом деле, не отличалась сообразительностью и вновь погрузилась в размышления. Корягину показалось даже, что она уснула. Неужели правда она не знает? Да быть того не может, это же притча во языцах...

За узким лобиком совершался непосильный труд мысли. Она то вскидывала на него доверчивые глаза, то потупляла и вдруг рассмеялась — легко и молодо:

— Ах, какая чушь!.. Я даже не поняла сразу. Как люди недобры! Это глупая сплетня. Кирилл Михайлович был эстет, он любил все красивое: женщин, лошадей, молодость во всех проявлениях, китайские вазы, севрский фарфор, английский пейзаж. Он был, как бы поточнее выразиться, человеком очень сильной жизни. Каждый кубок осушал до дна. Так он воевал, так любил, так играл в теннис, охотился, скакал на лошадях. Он, кстати, был лучшим всадником среди Романовых, а уж что-то, а это они умеют. Он перепивал всех молодых офицеров, но никто не видел его пьяным. Он стал чувствовать возраст в последнее время и потянулся к молодым. Ему нравилось прикосновение к свежей юной жизни. Боже мой, и Лев Николаевич Толстой восхищался глупой гусарской юностью и завидовал ей. Впрочем, молва не пощадила даже великого писателя... Вы простите, что я

так долго говорю, но кто же защитит честное имя Кирилла Михайловича, если не я? И вы должны знать, что убили безукоризненного человека. На вашем подвиге — вы ведь считаете это подвигом? — нет никакого пятна.

Корягин был ошарашен. Она не дура, не курица, она куда страшнее. Потеря мужа вышибла ее из разума. Он не хотел такого дуплета, но поразил двоих. «Нет, нет, нет! — тут же перебил он себя. — Она, конечно, лукавит. Даже самая влюбленная женщина не может быть настолько слепа. Она все знала, но прощала. Наверное, когда люди так притерлись друг к другу, прожили вместе целую жизнь, вырастили детей, любой грех списывается. Но как искусно она играет! Этот искренний взгляд, эта доверчивая улыбка, этот пытающийся наморщиться вспоминающим усилием лобик! Великая актриса. Только для чего ей это нужно? И чего она хочет от меня?»

Корягин почувствовал усталость. Скорее бы она ушла. Как хорошо быть одному! Но он догадывался, что прежнего одиночества уже не будет. Она пробралась к нему внутрь.

Когда он вновь услышал ее теплый, вкрадчивый голос, прошла вечность. Варвара Алексеевна лопотала что-то о пристрастии ее старшего сына к духовой музыке. От афедрона до геликона немалый путь, надолго же покинул он свою собеседницу. И какое ему дело до ее сыновей? Она хочет познакомить его со всей семьей, как бы приручить к дому или эта тема как-то связывалась с предыдущей и служила к вящему обелению погибшего? Он попытался вникнуть в ее лепет, но ничего не получилось, он так и не ухватил связи.

— Вы устали? — спросила Варвара Алексеевна с виноватой улыбкой. — Отдыхайте. Я скажу, чтобы вам принесли питье.

Она подхватила свою довольно поношенную сумку, поправила на нем одеяло.

— Не падайте духом, все будет хорошо. Я скоро вас навещу.

Он взял себя в руки и не послал ее куда подальше. В конце концов, не стоит хамить женщине, мужа которой ты убил.

После ее ухода он долго спал, потом ел какую-то бурду и пил вкусный фруктовый сок, который ему, очевидно, подали по ее распоряжению. Хоть какой-то толк был от этого визита...

Она, конечно, нарушила ту сумрачную тишину, в которую было погружено его усталое сознание. Видимо, в нем происходила некая внутренняя работа приручения себя к скорой смерти. Он ни о чем не думал, кроме покушения, без устали прокручивал в уме все его подробности. Он сравнивал свое покушение с другими: лишь один Каляев сработал так же чисто, как он. Случайное ранение он уже не ставил себе в укор, это мелочь. И он и Каляев нанесли равно безошибочный удар, а затем холодно отказались от подачи на помилование. Остальные боевики хоть в чем-то сплеховали. Теперь ему оставалось по-каляевски презрительно-спокойно уйти<sup>1</sup>.

Готовясь к покушению, пропуская в уме все варианты и последствия, он оставлял возможность нечаянного спасения, чтобы оно не застало его врасплох, но не играл с надеждой уцелеть ни в какие игры, это только сбило бы с прицела. Если б и свершилось непрошеное чудо, что за жизнь ждала бы его? Вечно в бегах, в поисках логова, укрытия, ямы. Притворяться до конца дней каким-нибудь пасечником, лесорубом, сплавщиком — какие еще существуют угрюмые промыслы, где человек не привлекает внимания? Будь он членом кружка, тайного общества — дело другое, ему нашлось бы новое место в общей борьбе, но он одиночка, за ним никого, пустота.

Все-таки намусорила чертова старуха в его душе. Помилование!.. А кому оно нужно? Остаток жизни таскаться с тачкой на каторге или греметь кандалами на руднике? Нет уж! Надо уйти спокойно и чисто, а не размазывать слезь уже состоявшейся, исчерпавшей себя судьбы.

Корягину стоило немалых усилий вернуться к прежнему ясному и умиротворенному состоянию.

После бездарной, позорной казни народовольцев публичное повешение отменили, виселицы ставят на пустом крепостном плацу, присутствуют лишь конвой, исполнители, два офицера, врач и долгогривый. И никаких сомнений в том, что веревка будет прочна, помост крепок, палач спор и сноровист. Хорошо и живо представлялось: бодрящий ознобец раннего утра, бледное небо, свежий ветерок, дробь барабана (кажется, барабанов нет, а жаль!), небрежный жест, каким он отстраняет священника, упругий, легкий набег на помост, отказ от мешка на голову, насмешливый взгляд сверху вниз на ничтожных подручных смер-

<sup>1</sup> Корягин не располагал теми сведениями о последних днях Каляева, которые стали известны позже.

ти и тот таинственный миг, когда он перестанет быть.

Скорее бы уж наступило утро его ухода. Надоела камера, надоела боль в руке. Не ровен час гангрена начнется, тогда в лазарет положат, станут лечить. По их гнусно-лицемерным правилам вешать можно только вполне здорового человека. Гуманисты, мать их!.. А тут еще вдова убиенного высунулась со своим доброхотством. Вот уж воистину — пустые хлопоты!..

Варвара Алексеевна явилась на третий день, когда он дремал, и сразу принялась перебинтовывать ему руку.

Она принесла папиросы. Табак припахивал медом. Он стал разминать папиросу в пальцах, чтобы лучше курилась, и посыпались табачинки, набивка оказалась слабая, ручная.

— Самонабивные? — спросил он.

— Да. Муж всегда сам набивал. Он очень много курил. Я ничего в этом не понимаю, но табак должен быть хороший.

Корягину хотелось курить, но было противно брать в рот папиросу, хранящую прикосновение длинных бледных пальцев убитого.

— Это из экономии? — с усмешкой спросил он.

— Да! — простодушно вскинулась Варвара Алексеевна. — У мужа был принцип: не бояться экстраординарных трат и экономить на повседневном. Он мог выбросить уйму денег на арабского скакуна или английское ружье, но у нас был очень простой стол, скромный гардероб, мальчики сами себя обслуживают. Мы держали одну прислугу за все, я перешиваю платья, вяжу теплые вещи, штопаю, латаю.

— Но у вас же имения, — удивленно сказал Корягин. — Романовы самые богатые помещики России.

— Не самые богатые, — улыбнулась она. — И не все. Мы жили на жалованье мужа. Теперь на пенсию. Он отдал почти все состояние младшим сестрам — у них не сложилась жизнь, а на остаток содержал вдовьи дома. Там живут солдатские вдовы и сироты. Вы не думайте, — сказала она с поспешной деликатностью, — в их судьбе ничего не изменится. Муж сделал необходимые распоряжения на случай своей смерти. А я на мои средства поддерживаю приют для брошенных детей и небольшой женский монастырь. Конечно, мы не бедняки, но и далеко не такие богатые, как может показаться.

— Вам ли жаловаться! — сказал Корягин, забыв, что обращается к вдове убитого им человека.

Он тут же вспомнил об этом и затек со лба на скулы тяжелой темной кровью.

Барвара Алексеевна вроде бы не заметила ни его неловкости, ни смущения.

— Я не жалуясь. Просто объясняю наши обстоятельства. Люди очень плохо знают жизнь друг друга и не стараются узнать. Милее самому придумать.

Это было справедливо, но неинтересно Корягину, как и прочая житейщина, которой он уже не принадлежал. У него не было точек соприкосновения с Барварой Алексеевной, кроме одной: ее убитый муж.

Похоже, она расположилась тут надолго. Достала вязанье, удивительно ловко устроилась на шатком табурете, приткнув его к стене, и всем видом показывала готовность к хорошей, проникновенной беседе, что никак не отвечало желаниям Корягина. Он поступил простейшим способом: заснул. Вернее, очень неискусно сделал вид, что спит. Заботясь о правдоподобии, он несколько поспешно захрапел, да еще с присвистом. Но доверчивость Барвары Алексеевны была непробиваема.

— Бедный мальчик! — вздохнула она, поцеловала его в лоб и на цыпочках вышла.

А на другой день пришла снова...

«...Для чего приходит сюда эта несчастная женщина, у которой я отнял смысл жизни? У нее остались сыновья, дом, какие-то внешние заботы, но стержень ее жизни сломан. Она же любила этого уroda... А черт его знает, может, он и не такой урод, каким он мне казался? Она верно сказала, что мы ничего не знаем о жизни других людей да и не стараемся узнать. Много безответственной болтовни, льются и льются словесные помои, особенно на тех, кто выше, у кого власть, деньги, положение. Я готов допустить, что среди своих, в своей среде, он был не из худших — хороши же остальные! — внимательный муж, добрый отец, компанейский мальч, может, и солдат по-своему любил, хотя и не жалел их крови. Вон дома вдовья построил...»

Но все эти рассуждения не прибавили Корягину симпатии к великому князю. Он так привык ненавидеть его долговязую фигуру, всос бородатых щек, выпученные глаза, противные, какие-то собственнические жесты, журавлиную походку и нервный вскид головы, что уже не мог увидеть другими глазами. К тому же его раздражала зашоренная преданность Барвары Алексеевны настырной тени, и мерзко было думать, что между

ними существовала близость. Его удивляло, злило и обескураживало то простодушие, с каким она то и дело заговаривала о покойном. Она никогда не говорила столько о своих сыновьях и всей прочей, довольно многообразной жизни. Ей было приятно вспоминать о всяких мелочах, с ним связанных, о ничтожных подробностях его поведения, словечках, шутках, охотничьих подвигах, чудачествах: он играл на английском рожке и разводил турманов. Однажды, когда она вновь принялась восхвалять достоинства своего мужа, Корягин оборвал захлебное словоистечение:

— Зачем вы все это говорите? Хотите внушить мне, что ваш муж замечательный человек? Чтобы я пустил покаянную слезу? Вы этого не дождетесь.

Последовала долгая пауза, как и всегда, когда ее что-то озадачивало.

— Наверное, я хочу, чтобы вы его простили.

Он с трудом сдержал смех:

— Мне его прощать? Скорее наоборот.

— Но он там... Он, конечно, простил. Ну и вы его простите. Зачем жить с ненавистью в душе? Это же плохо.

— Жить! — повторил он. — Вы серьезно думаете, что я буду жить?

— Да! Мне не могут отказать. Не посмеют. Мы оба просим за вас. Наш суд высший.

— Не расписывайтесь за других, — криво усмехнулся Корягин...

Вскоре он понял, что спорить с ней бесполезно. Очень внимательная к его настроению и поведению, она тщательно следила за тем, чтобы не утомить его, не наскучить своей предупредительностью; могла быть разговорчивой, когда он снисходительно терпел ее болтовню, и тихой, как мышка, когда он проваливался в собственные мысли, но в чем-то была непоколебима. Да не «в чем-то», а во всех своих убеждениях это мягкое, женственное существо являло крепость скалы. Даже в болтовне о разных житейских мелочах она не теряла четкую моральную позицию, которая зиждилась на вере в добро. Тут ее не сбить ни доказательствами, ни сарказмом, ни насмешками, ни эмоциональной бурей. В ее целом мирочувствовании не было прорех, швов и пустот.

Но чего-то он все-таки не понимал. Однажды в своей кроткой манере она обмолвилась чудовищной фразой:

«...вы же последний видели моего мужа». И не поперхнулась, не спохватилась, как будто так и надо.

Звучит дико, но он так прочно связался в ее сознании с мужем, что она перестала делать различие между ними. Оба были замешаны в трагедию, срыв ее жизни, что наделяло их равной значительностью, почти родностью. При ее понимании греха и прощения так и в самом деле могло быть.

Корягина не удовлетворяло это искусственное, хотя и не лишнее крупницы смысла объяснение, другого он не находил и потому не мог избавиться от чувства настороженности. Что так притягивало ее к нему? Не могла же она из отвлеченного милосердия и прочих натужных христианских благоглупостей чуть не каждый день приезжать в крепость, сидеть часами у его изголовья, возиться с неаппетитной раной, закармливать шоколадом — любил сладкое — и выслушивать грубости. Первый визит можно объяснить мучительным любопытством к человеку, сыгравшему роль рока. Не каждая вдова способна на такое, все же это объяснение допустимо. Но, потрафив своему больному чувству, надо было опрометью бежать отсюда, а Варвара Алексеевна стала его сиделкой. И она действительно подала на помилование, иначе бы его давно вздернули. И как изменилось отношение к нему хамов-тюремщиков!

Корягин не заблуждался на свой счет, он знал, что неприятен окружающим: резкий, колючий, никогда ни к кому не подлаживающийся. А с Варварой Алексеевной он вел себя вовсе непотребно, особенно поначалу. Но это ее не отпугнуло. Она даже привязалась к нему, он кожей чувствовал исходящее от нее тепло. Материнская жалость тут ни при чем, у нее были собственные осиротевшие дети, да и слишком молода она для такого взрослого сына. Это было бессознательное расположение — не по хорошему мил, а по милу хорош,— на которое накладывались ее доброта и сердечность.

Ей хотелось больше знать о нем, но его жизнь была так бедна поначалу, так пуста и плоска, а потом так выострена к одной цели, что ему нечего было ей сказать. Впрочем, разговора как обмена соображениями и сведениями между ними почти не бывало. Обычно говорила она, а он слушал или не слушал, но как-то отзывался нутром на тихое журчание голоса, который был к нему бескорыстно ласков. Иногда она гладила его по волосам своей легкой, нежной, проникающей рукой.

Она уходила, а он продолжал чувствовать корнями волос ее прикосновения. Однажды ему показалось, что он понял ее цель в отношении него. К ней приезжала мать-настоятельница той малой женской обители, которую она поддерживала. Девяностолетняя старуха, а сколько в ней доброго ума, понимания людей, до чего же ясный, незамутненный дух!.. Как только повеяло ладаном, он отключал слух, но в глухоту проникали умиленные речи о тишине затерянной в глухом еловом бору обители, о мечте по завершении мирских дел окончить там свои дни, остаться наедине с собственной душой, а через нее — с Богом, и прочей душеспасительной белиберде. Потом он услышал ее выжидательное молчание и спросил с усмешкой:

— Вы что, хотите примирить меня с Богом?

Он ждал постного взгляда, поджатых губок, обиды за ханжеской кротостью, но она ответила милой шуткой:

— А разве вы ссорились?

— Но я же преступник... в ваших глазах. А преступник не может быть в хороших отношениях с Богом.

— Кто это знает?.. Кто, кроме Бога, знает тайное в человеке? Может, в глубине души вы ближе к Богу, чем я. Я хожу в церковь, совершаю все обряды, молюсь, забочусь о бедных. Я, как говорится, тепло верующая. Но Христу были дороже заблуждающиеся, сбившиеся с пути, отвергающие его... Какое у вас кислое лицо! Вам скучно?

— Скучно. Скажите честно, неужели вы верите во второе пришествие, Страшный суд, во весь этот омерзительно живодерский бред?

— Геенну огненную я уже получила, — тихо сказала она. — Как же мне не верить? Но хотите честно, так честно, как никогда и никому? Для меня все христианство в Нагорной проповеди. Я как-то не могу представить себе Христа в гневе, Христа карающего, Христа, возвращающего мертвых, чтобы вновь ввергнуть их в преисподню. В Священном писании есть места, которые мне непонятны. Немногие войдут со Спасителем в Царствие небесное и сядут за пиршественный стол Небесного Отца. А как же с искуплением грехов? Ради чего взшел Христос на крест? Ведь он же искупил грехи человеческие. Он подарил нам свободу праведности. Тогда при чем тут «в страхе Божиим»? Вы знаете, мне иногда кажется, что Христа допридумывали. Ведь после Нагорной проповеди ничего больше не надо. Держать людей под угрозой расплаты — это



плохо даже для земных судей, а для Небесного вовсе никуда не годится. Видите, я богохульствую. Но Нагорная проповедь — это такая прелесть, такое благоухание духа!.. Можно, я вам немного почитаю?

«Я так и знал, что этим кончится! — о досаде подумал Корягин. — О чем бы такие ни болтали, все кончается проповедью и Боженькой. Уходя, она оставит мне молитвенник, и перед смертью я сдам экзамен по закону Божьему».

Из-под края юбки торчал острый мысок ее ботинка, подъем ноги был крут, натянувшаяся юбка сохраняла контур ее красивой, какой-то щеголеватой ноги.

— Валийте, — разрешил Корягин.

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство небесное... Блаженны плачущие, ибо они утешатся... Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю... Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся...»

А он прослеживал ее ногу от ботинка до изгиба бедра, а потом вниз от бедра до ботинка. Это была увлекательная игра.

Странно, она казалась ему худощавой, но как обманчиво это впечатление: она плотная, упругая, крепко сбитая, только руки маленькие, но сильные и ловкие. Она находилась в самом женском расцвете и еще родить могла бы. Он как-то ложно увидел ее поначалу, а потом с непонятым упорством держал в себе образ пожилой женщины. Она не могла испытывать к нему материнского чувства. А какое? Христианское, то, которое изливалось на него сейчас словами Нагорной проповеди?.. Нет, она была слишком живым и горячим человеком, а небеса холодны. Конечно, их связывает что-то вполне человеческое. Хотелось бы понять что?..

Он не заметил, как вработался в постоянные мысли о ней. Мысли — это не совсем точно, вернее, совсем не точно. Ее присутствие в нем не было связано с думанием. Он мог думать о чем-то другом, вполне житейском, сегодняшнем, или вовсе отвлеченном от насущных забот, мог уйти в воспоминания, последнее случалось нечасто, она все равно присутствовала в нем, лишь перемещаясь с переднего на задний план. Она была то субъектом, то фоном, четким или размытым, всех движений его внутренней жизни. Вот он проснулся и думает: что лучше — выкурить папиросу или встать, умыться, потом выкурить, а она уже в нем, он насыщен ее теплом и светом.

Он не знал, что такое бывает: ты один, а всё вдвоем. Она не оставляла его и ночью во сне. Он всегда думал о ней, засыпая, думал подробно: о ее лице, глазах, губах, волосах, шее, груди, руках, бедрах, ногах, думал сильно, с каким-то даже ожесточением, впиваясь зубами и ногтями в подушку, вжимая тело в твердый матрас, улавливая запах ее духов на себе, она ведь перебинтовывала его, гладила по волосам, а уходя, пожимала руку и целовала в лоб. Он вынюхивал ее из себя, проникался ею до кишок, так что создавалась иллюзия присутствия. И, засыпая, он не расставался с ней, ибо она подчинила себе его сны.

Это были непонятные сны, ни к чему не имеющие отношения и как-то бессмысленно-волнующе завязанные на ней. Раз она явилась в грубом фартуке сапожника, и они вдвоем приколачивали набойки к старым, сношенным сапогам с короткими голенищами. И почему-то это доставляло острую радость. В другой раз она настойчиво обещала накормить его супом, приводя его в странное возбуждение, но так и не начала готовить. Сон придавал значительность и тайный смысл несусветной чепухе. Было и такое: они куда-то собирались, долго, озабоченно, бестолково, теряя то один предмет одежды, то другой, не застегивались пуговицы, обрывались застежки, сон иссяк в тот момент, когда она разорвала юбку, а он потерял запонку. Он потом долго ломал голову, куда они намеревались пойти. Общее в этих снах, кроме их физической отчетливости, резкой, ничуть не сдвинутой, не замутненной, насыщенной мелочами жизненности, были неосуществленность намерения: набойки, несмотря на все ликование, так и не были прибиты, суп не сварен, сборы не закончены, но ощущение важности пустых хлопот и возникающей из совместных усилий близости оборачивалось пронзительным и долгим блаженством.

Проснувшись впервые в мокрых простынях, он поразился, что блаженство вовсе не было умозрительным. А затем подумал о том, что влажный след любви, высохнув, останется постыдным плесеневым пятном, иззубренным, как очертания европейского материка. А какой может быть стыд у приговоренного к смерти? Плевать он на все хотел. Его уже ничем не прошибешь...

Он мог проверить это в утро своей казни, вернее, в те минуты, когда его вели через тюремный двор к виселице и он понял, что не увидит Варвару Алексеевну и не простится с ней хотя бы кивком.

Известие об отказе о помиловании он выслушал спокойно, ибо ни на минуту не заблуждался в тщетности попыток Варвары Алексеевны. Только при ее наивности и вере в добро можно было рассчитывать на милосердие власти. Крайние утверждения всегда ложны. Конечно, раз-другой мелькнула у него слабодушная мыслишка: а вдруг?.. Но подготовленность к смерти была настолько прочна, что эти оскользы в чужую надежду не могли поколебать ее. Он не дрогнул, и он и это видели.

Если же стиснулось сердце, то не из жалости к себе, а к ней, она-то всерьез верила... Он отказался от исповеди, но ждал последнего свидания. Он не собирался говорить о своем раскаянии, которого так и не испытал, и слюнявиться благодарностью не думал, он чувствовал совсем иное, о чем нельзя было сказать, да и не нужно. Он просто хотел увидеть ее лицо, глаза, рот, волосы, всю ее увидеть и унести с собой.

Разве это так много: дать умирающему увидеть в последний раз человека, который был добр к нему? Единственного человека. У него никого больше не было на свете. Много, очень много для того, кого убивают, и ровным счетом ничего для тех, кто убивает. Или им мало зрелища содрогающегося в петле тела?

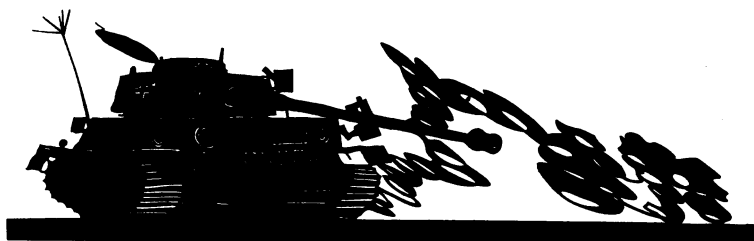
Ее должны были пустить даже не ради него, а ради нее самой. Она больше нуждается в ободряющем жесте. В кивке, улыбке, взмахе руки, ей стало бы легче. Это важно, очень важно для всей ее последующей жизни.

Но ее не пустили. Даже для овдовевшей женщины не нашлось у них капли жалости.

И все же он верил, что она появится. Не может не появиться. Уже в тени помоста все еще верил, что увидит ее. Но когда его подтолкнули к ступеньке, он понял, что надежды нет, и душа в нем сорвалась с колков. Он закричал, пытался бежать, но, схваченный конвойными, забился в их руках и окончательно потерял себя. Он дрался, царапался, кусался, его опрокинули на землю и, воющего, окровавленного, с мокрыми штанами, поволокли к виселице. Всякое видали на этом плацу, но такого срама — никогда.

Когда Корягина втащили на помост и палач накинул петлю, сидящая в карете за караулкой дама в черном поднесла к глазам медальон с чертами дорогого лица и сказала голосом невыразимой нежности:

— Ты доволен, любовь моя?..



# ВОЙНА С ЧЕРНОГО ХОДА

## I

Для меня, в моей судьбе, война делится на несколько периодов. От июня 1941 до января 1942-го я тщетно пытался попасть на фронт. С января 1942-го до октября того же года служил на Волховском фронте, был инструктором-литератором газеты для войск противников «Soldaten-Front-Zeitung» с двумя кубарями, месяц провел на Воронежском фронте, куда меня перевели по закрытии немецких газет, затем изживал последствия двух контузий и в марте 1943-го вернулся на фронт уже в качестве военного корреспондента газеты «Труд» — до конца войны.

Может показаться странным, что мне так трудно было «устроиться» на фронт. Пошел бы добровольцем — и вся недолга. Ан нет. Когда ВГИК, где я учился на третьем курсе сценарного факультета, эвакуировался в Алма-Ату, я решил поступить в школу лейтенантов, объявление о наборе висело на дверях покинутого института.

В школе меня приняли на редкость тепло. Прощание было не менее сердечным: мне долго жали руку и настоятельно советовали закончить институт, благо у меня на руках студенческая отсрочка, получить диплом, а там видно будет. «Не торопитесь, на ваш век войны хватит», — загадочно сказал симпатичный капитан с полоской «за тяжелое ранение» на кителе. Имел ли он в виду затяжку Отечественной войны или какие-то буду-

щие батальи, осталось неясным. Зато я понял другое. После первых приветствий мне предложили заполнить анкету. На этом все кончилось: сыну репрессированного по статье 58<sup>10</sup> не место в школе, готовящей средний командный состав. Говорили, что продолжительность жизни лейтенанта на фронте — одна неделя. Даже на одну неделю нельзя было подпустить меня к боевым действиям. В те патриархальные времена десять лет по политической статье давали при полном отсутствии вины. Отец получил еще меньше: семь лет лагеря и четыре поражения в правах, это могло считаться свидетельством высочайшей лояльности, примерной чистоты перед законом. Свой срок отец получил после того, как отпало обвинение в поджоге Бакшеевских торфоразработок, где он работал начальником планового отдела, — он был в отпуске в Москве, когда загорелся торф. Для семилетнего заключения оказалось достаточным одной фразы: он корпел над квартальным отчетом в канун какого-то праздника, и к нему в кабинет вломился вешать портрет Кагановича. Через некоторое время пришли снова и поменяли портрет железного наркома на портрет Молотова. Отец не оценил чести и раздраженно сказал, что портретами квартальному отчету не поможешь. Эта острота, возможно, спасла мне жизнь, но тогда я не думал об этом.

Человек в юные годы на редкость законопослушный, я собирался эвакуироваться с институтом в Алма-Ату, но мама, кусая губы, сказала: «Не слишком ли далеко от тех мест, где решается судьба человечества?» И лишь тогда ударом в сердце открылось мне, где мое место...

Несколько потерпевший в своем патриотическом чувстве, я выбрал наипростейшее: пошел в Киевский райвоенкомат — по месту жительства. Там шло непрекращающееся переосвидетельствование мужчин призывного возраста, но меня не тревожили, и моя героическая инициатива вызвала раздражение. Военком стал кричать, почему я не эвакуировался с институтом. Я ответил словами матери.

— Выходит, государство учило вас, тратило средства — все зря?

— Почему же? Я вернусь и доучусь.

Он усмехнулся и вдруг спросил:

— Немецкий знаете?

— С детства.

— Говорить можете?

— Свободно.

— Идите на освидетельствование.

Мать честная, не иначе — в тыл врага!..

Покрутившись голым перед врачами, на более близкое знакомство с моим крепким в ту пору спортивным организмом они не посягали, я быстро прошел ушника, прочел самую мелкую нижнюю строчку в глазном кабинете, шустро дернул ногой, когда невропатолог стукнул меня молоточком под коленку, и без труда коснулся указательным пальцем носа с закрытыми глазами. После этого я хотел вернуться к военкому, но меня к нему не пустили, а велели ждать в коридоре. Я прислонился к стене и стал прокручивать в воображении романтические картины моего лихого будущего. Потом меня позвали в канцелярию, и прыщавый писарь сказал с добрым, чуть завистливым смешком:

— Играй песни, парень, освободили подчистую.

И вручил мне «белый билет». Я машинально взял его, машинально развернул: не годен по статье 8-а.

— Что это за статья?

— Психушная.

Пахнуло Швейком, но меня эта ассоциация не развеселила.

Я был здоров, как бык, теннисист, лыжник, значкист ГТО второй ступени. Никакой анкеты я не заполнял... Да в этом не было нужды, здесь имелось мое дело. Значит, я не годился даже в качестве пушечного мяса низшего сорта. Мое патриотическое чувство потерпело второй, нокаутирующий удар. Пусть мама подсказала мне то, что было естественным, хотя и необязательным, юношеским поступком, я пошел с открытой душой, но дорогая Родина дважды показала мне зад. Отныне я исключаю ее из своих душевных расчетов, но на фронт попасть должен любой ценой. Ради самого себя, моей собственной судьбы.

Я не могу жить с клеймом неполноценности, не хочу быть изгоем. У меня не было никаких планов, никаких возможностей, но какое-то злое чувство убеждало меня, что я непременно окажусь там, куда меня не пускают. Не пускают за то, что отцу помешали работать профкомовские бездельники, и он огрызнулся. Преступник века, мать их!.. Безобидная шутка сломала ему судьбу, теперь ломают жизнь мне.

У многих моих однокашников сидели отцы — наша школа находилась между домом командного состава Красной Армии на Чистых прудах и домами политкампаней по Машкову переулку. В 1936—1938 годах эти дома были почти полностью очищены от взрослого мужского населения. Так вот, один наш парень пробился — в буквальном смысле слова — на фронт, желая искупить кровью вину отца. Его кровь ничего не искупила, ибо вины не было. Другой считал, что своей гибелью он докажет невиновность отца. Он погиб на Волховском фронте, но ничего никому не доказал: палачи и без того знали, что осудили невиновного; отец пережил сына и умер в лагере после войны.

К моему случаю оба посыла отношения не имеют. Я знал, что отец ни в чем не виноват, что он жертва омерзительного насилия, значит, ни о каком искуплении речи быть не могло. А доказывать его невиновность собственной жертвой — сама мысль была мне оскорбительна. Я просто ступил на предназначенный мне путь: не признавать ни за кем права на мою дискриминацию. Пусть сейчас мне отказали всего лишь в праве на гибель, это мое личное дело, я хочу сам распоряжаться своей жизнью. Но до чего же трогательно старалась наша власть уберечь детей «врагов народа» от фронта!

С юношеским романтизмом было покончено раз и навсегда. Мне надо попасть на фронт ради самоутверждения, кроме того, писатель не может прокладывать между собой и войной тысячи километров, наконец, мне пора выйти из-под слишком надежного, плотного материнского крыла, если я не хочу на всю жизнь остаться недорослем.

Я был согласен на любую войну, но та, которую я получил, оказалась самой неожиданной. По протекции друга нашей семьи Николая Николаевича Вильмонта меня призвали под знамена ГлавПУРа. Без всяких формальностей и анкет мне дали назначение инструктором-литератором в газету для войск противника только что созданного Волховского фронта. Навесили кубари, что произвело на меня чарующее впечатление, но обмундирование выдали почему-то солдатское с кирзовыми сапогами, правда, с кожаным ремнем и командирской дерматиновой сумкой. Ушанка с ярко-рыжим поддельным мехом наводила на тревожную мысль, что мне предназначена — по совместительству — роль движущейся мишени.

До этого мне устроили маленький экзамен: я должен был написать святочный рассказ для немецких солдат — дело было под сочельник. Я успешно справился с заданием. Хуже прошло немецкое собеседование, мой язык оценили на три с плюсом. Видимо, сказалась растренированность.

Так или иначе я отправился на Волховский фронт с офицерским удостоверением и направлением в одном кармане, с паспортом и «белым билетом» в другом. Зачем я взял с собой свидетельство своего штатского позора? Мать сказала: если тебе окончательно осточертеет, пошли их всех подальше, они не имели права тебя брать. Это было дико, ибо впереди мне мерещилось святое фронтовое товарищество, я уже заранее всех и все там любил. Но и послушаться материнского совета не мог.

Внутренне я готовился к другой войне, но выбирать не приходилось. Все-таки я еду на запад, а не на восток, к войне, а не от войны. Будь что будет...

На Волховском фронте я вел регулярные записи, похожие на дневник, на Воронежском, куда меня перевели по закрытии газет для войск противника, я марал бумагу по-иному: дневниковые записи вскоре заменил наметками будущих рассказов.

## II

*Ноябрь 1943 г.*

...Кажется, эта идея принадлежала самому Черняховскому, командующему нашей 60-й армией: предвзять наступательный удар по воронежской группировке противника ударом по мозгам. Немцы, во всяком случае рядовой состав, ни черта не знают о сталинградском разгроме. Мы спрашивали пленных, они пожимали плечами и застенчиво улыбались: мол, врите, врите, наше дело подневольное.

Решено было использовать все радиосредства и обычные рупоры. На радиомашине работает постоянная команда, на остальную технику кинули жребий. Конечно, при моем везении мне достался рупор «из скоросшивателя». Это придумал Ильф: рупор сделан из тонкого канцелярского картона, а не из скоросшивателя, но разницы особой нет. Скоросшиватель — смешнее. «Хорош был старик Варламов с рупором из скоросшивателя» — из дневника Ильфа.



Раздали нам листочки с программой передачи: минут на десять. А с рупором от силы минуты три проболтаешь, потом каюк. Я сказал об этом начальнику 7-го отделения ПО Мельхиору. «Бойтесь за свою драгоценную жизнь?» Я что-то пробормотал. А если серьезно: почему я должен терять свою единственную жизнь из-за чиновничьей дури? Можно подумать, что Мельхиору не терпится заткнуть ж... амбразуру. Только во втором эшелоне на это мало шансов, а на передний край его не тянет...

---

Немцы отпустили мне больше трех минут. Видать, заинтересовались, а потом дали из минометов. Я лежал в ничьей земле, в старой неглубокой бомбовой воронке, метрах в пятнадцати от наших блиндажей, ветер дул в немецкую сторону. После двух четких выстрелов я решил, что это вилка — ни черта в этом не понимаю — и сейчас они накроют меня. Рядом была другая воронка, я заметил ее, когда полз сюда, хотя темнота — глаз выколи.

Я перекатился в эту воронку, но осколком меня задело по каске. После я нашел на металле вмятину и царапину. А в тот момент ничего не понял. Был короткий противный визг, и каска повернулась на голове.

Очухался в блиндаже. Ребята вытащили меня из воронки, когда немцы перестали стрелять.

— Чем вы их так раздрочили, товарищ лейтенант? — спросил сержант, как две капли воды похожий на Вадима Козина: то же смуглое цыганское лицо, спелые глаза, бачки. — Никак утихомириться не могли.

В моей тяжелой башке шевельнулось: о Сталинграде почему-то молчат. И я ничего не знал до вчерашнего дня, и никто в отделе не знал, кроме Мельхиора, а ведь мы политработники. Почему из победы делают тайну? Или просто очередная липа, обман, чтобы ошеломить противника? Нет, чувствуется, что это правда. У Черняховского, когда он заглянул к нам в отдел, сияли глаза и раздувались ноздри, охота скорее в драку, завидует сталинградцам. Что-то неладно у меня с башкой. Но не настолько, чтобы проболтаться. Я сказал сержанту, что травил обычные байки, портил фрицам нервы.

Мне дали выпить разведенного спирта. Меня вырвало. Жрать я тоже не мог — мутило. Потом сержант спросил:

— Что это вы все подмаргиваете, товарищ лейтенант? И головой кидаете, как конь?

До его слов я ничего такого за собой не замечал, а тут заметил, но мне это не мешало. Вместо ответа я запел:

— «И кто его знает, чего он моргает, чего он моргает, чего он моргает!..»

---

Похоже, в отделе не знают, что со мной делать. Меня прислали на должность инструктора-литератора, но эта должность занята. Правит бал старший политрук Бровин, красивый, стройный, подтянутый парень, в котором Мельхиор души не чает. Он выпускник института иностранных языков и знает немецкий куда лучше меня. Голову даю на отсечение, что он был прислан сюда в качестве переводчика, но Мельхиор как-то переиграл его на инструктора-литератора. Это престижнее, и зарплата (денежное довольствие) на двести рублей выше. В ПУРе об этом перемещении не знали, поэтому и послали меня на вакантное место. Мое преимущество перед Бровиным: писатель, член СП, занимал ту же должность, но в Политуправлении фронта. Эфемерное преимущество. Мое «золотое перо» никому не нужно. Листовки тут выпускают редко, кустарным способом, очень локальные по содержанию. Бровин сочиняет их прямо по-немецки и сам размножает на ротаторе. Я этого не умею. Мельхиор долго не давал мне сделать листовку, боялся, что я забью Бровина. Но в конце концов рискнул и усадил меня в калошу. Брезгливо, двумя пальцами держа мою писанину, он ораторствовал на весь отдел: «Мы так не работаем. Бровин так не работает. Он обращается к нашим воронежским немцам, а не ко всей немецкой нации, и говорит на солдатском языке, а не на языке газетных передовиц. У вас набор высокопарных штампов, официальное пустословие. А у Бровина: «Милый Карл! К тебе обращается твой старый окопный друг Вилли Штрумф. Ты, наверное, думаешь, что я погиб. А я в плену, сижу и ем жирный мясной суп...» — слезы помешали Мельхиору закончить чтение.

Я знаю этот стиль вранья, могу и посолонее пустить соплю, но думал, что поражу их риторикой. Я бездарно промахнулся, и Мельхиор прав, играя моими костями.

Смешав меня с грязью, Мельхиор милостиво предложил мне на другой день должность переводчика. Это было унижительно. Я десять месяцев на фронте, и мало того, что не прибавил в звании, еще понижусь в должности на две ступени. Я не карьерист, но обидно. А крыть нечем. Я согласился.

Отработав так удачно диктором, я превратился в машинистку. Мельхиор спросил простодушно: «Вы, наверное, здорово печатаете на машинке?» Обрадованный, что хоть в чем-то могу показать свое умение, я сказал со скромной гордостью: «По-писательски: двумя пальцами, но быстро». И тут же прикусил язык. На кой ляд я снова высунулся со своим писательством, ведь это сразу напомнило Мельхиору, что Бровин узурпировал мое место. Он и правда притуманился, теплота ушла из голоса: «Мне надо, чтобы вы перепечатали протоколы опроса пленных. В четырех экземплярах. Страниц пятьдесят. За ночь справитесь?» «Думаю, что справлюсь. А почему не Ася?» Он жестко оборвал: «У Аси болит рука».

Это тоже была фаворитка Мельхиора: секретарь-машинистка нашего отдела, девятнадцатилетняя здоровенная, кровь с молоком, деваха. Она и в самом деле с утра жалостно кутала руку в шерстяной платок, что не мешало ей пить водку за обедом с Мельхиором, Бровиным и старшим инструктором Набойковым, а вечером обжигаться в сенях с рыжим замначем АХЧ Свербеевым.

Мое постоянное место — на кухне, вместе с диктором Костей и прикомандированным к отделу бойцом из выздоравливающих, хотя этот тюлень, по-моему, никогда ничем не болел, кроме лени. Мельхиор и его команда занимают чистую половину избы. Они там работают, гуляют и спят. У Мельхиора есть крошечный кабинет, выделенный из горницы, а у Аси — закуток, где она изредка, медленно и сбойчиво печатает на машинке.

Мой волховский ординарец Васька Шведов любил выражение «варфоломеевская ночь». Так называл он ночь любви, ночь газетного аврала, ночь кутежа с картами. У меня была варфоломеевская ночь. Я потянул короб не по силам. Особые хлопоты доставляли мне четыре экземпляра, хоть одну закладку я непременно путал. А хваленая моя скорость падала с каждым

десятком страниц. От этого расходились нервы, я отплясывал пляску святого Витта на месте.

Под утро появился Мельхиор с красными кроличьи-ми глазами, сильно на взводе и вручил мне плитку трофейного шоколада. Я поймал себя на мысли, что ненавижу его меньше, чем он того заслуживает. Эта толстая блядушка Ася разлагается за стенкой с начальством, а я, как-никак писатель, офицер политслужбы, тарабаню за нее на разболтанном «Ундервуде». И все-таки меня трогает преданность Мельхиора Бровину.

К девяти утра, усталый, обалделый, издерганный, я кончил эту никому не нужную работу и сдал ее Набойкову (Мельхиор спал), забрался на печь и уснул...

---

Я становлюсь необходим. Вчера Мельхиор дал мне новое боевое задание: съездить в Усмань за водкой. «Больше послать некого, — сказал он с тем проникающе добрым выражением, с каким говорит и делает гадости, — все при деле». Я мог бы спросить, при каком деле толстая Ася, повязавшая руку платком и пустившаяся в безудержный загул. По-моему, она обслуживает не только лидеров нашего отдела, но и агитпроп, отдел кадров и АХЧ. Если это считать делом, то она занята сверх головы. Да и вообще неудобно посылать за водкой девушку, к тому же с больной ручкой. Я мог бы спросить, при каком деле наш ленивый, разлопавшийся до того, что в штаны не влезает, выздоравливающий боец. Он топит по утрам печку и больше вообще ничего не делает, только жрет и курит. Но, очевидно, бойца нельзя посылать за водочным довольствием, да еще левым. Я мог бы спросить, чем занят аккуратный, всегда озабоченный, хмуроватый Набойков. Он начисто не знает немецкого языка, русского даром не расходует, особист он, что ли, тайный? Такого человека, конечно, за водкой не пошлешь. Я мог бы спросить, наконец, а что делает сам Мельхиор, кроме неустанного раздобывания в хозчасти ПО продуктов, спирта, бумаги, канцелярских принадлежностей, меховых жилетов, ватных штанов, ремней, настольных ламп и лампочек, но не пошлет же он самого себя за водкой. К сожалению, я не мог спросить, при каком деле находится Бровин, единственный реальный работник отдела: он то опрашивает пленных, то тачает листовки, то составляет бюллетени о моральном состоянии войск противника, то корпит над

радиопередачами, материалы для которых присылает постоянно находящийся в частях инструктор Чижевский. Я не знаю, всегда ли так было, но сейчас Бровин работает за троих, что подчеркивает мою ненужность. Диктор Костя находится в командировке, на армейском жаргоне «убыл в часть».

Выходит, ехать, кроме меня, действительно некому. Но все равно противно. Если б они хоть раз пригласили меня к столу, поездка стала бы жестом компанейства, товарищества. А так — в чужом пиру похмелье. Я привезу водку, они там запрут, будут пить, закусывать нахапанными Мельхиором в АХЧ американскими консервами и лапать Асю, а я — вертеться на узкой скамейке. Я плохо сплю не только из-за приглушенного галдежа за стеной, разладился сон. Какая-то тоска во мне, почти до слез.

Короче, поехал я в эту Усмань попутным грузовиком. Уже в городке, отыскивая какой-то хитрый склад, заметил базарчик и заглянул туда — варенца захотелось. Деньги тут хождения не имели, но у меня в ушанку была воткнута отличная иголка с ниткой. За нее мне налили маленький граненый стаканчик розовой, с коричневой пенкой благодати. Я взял стаканчик двумя пальцами, поднес ко рту, и тут случилось непонятное: меня чем-то накрыло, сдавило, сплющило, я задохнулся и перестал быть.

Сознание вернулось испугом: что с варенцом? От него осталось зубристое донышко стакана, которое я продолжал сжимать большим и средним пальцами. Пережив гибель варенца, я разобрался и в остальном: я лежал в мешанине из снега и глины, вокруг — небольшая толпа. Рядом со мной бойцы стройотряда в изношенных ватных костюмах и башмаках с обмотками копали землю.

Мне помогли встать, отряхнуться. В толпе оказалась молоденькая санитарка с испуганным лицом. Она велела мне поднять руки, опустить, присесть, встать, пошагать на месте, повернуть головой.

— Порядок, товарищ лейтенант. До ста лет жить будете.

Оказывается, это сработал горбыль «дорнье» — медленный немецкий разведчик. Он часа два висел над городком, на него никто внимания не обращал. Зачем он скинул бомбу на этот жалкий базарчик — непонятно, тут и военных было — раз-два и обчелся. Никто не

пострадал. Снесло пустой ларек, вышибло стекла в ближайших домах, пробило бидон у молочницы да меня засыпало землей. Рядом стройбатовцы тянули какую-то траншею, они и пришли на помощь.

— Ну, парень, ставь Богу свечку, с того света вернулся! — весело сказала тетка, у которой я выменял варенец.

Я думал, она вернет мне иголку, но ограничилось сочувствием.

— В могиле-то уж точно побывал! — подхватила другая, у которой варенец был в опрятных махотках.

Плеснуть малость ожившему покойнику ей в голову не пришло.

Я пошел своей дорогой, в левом ухе щекотно зуммерил комар.

Водки на складе не оказалось. Местные жулики сделали вид, что все они члены общества трезвости. Что-то у Мельхиора не сработало, или я не вызвал доверия.

Вечером я сидел в избе у печки и перечитывал — в сотый раз — верстку своей первой книжки. Вошел с улицы Мельхиор.

— Почему не доложили о выполнении задания? — оказывается, он не всегда добрый.

— Какого задания? — не слишком вежливо спросил я — верстка подняла во мне чувство самоуважения. — Вы о водке, что ли?

В его красноватых, будто исплаканных глазах была такая ярость, что мне показалось: сейчас ударит.

Но он резко отвернулся и прошел к себе.

---

Ночью со мной случилось странное происшествие. Мне захотелось, как говорили в старину, по малой нужде. Скворечник находится за огородом, лень было туда идти, да и темно, я пристроился рядом, за сараюшкой. Только двинулся назад, как сразу и больно наступил на какую-то железяку и начисто потерял и сараюшку, и дом, и всякое представление, где нахожусь. Никакого ориентира, земля и небо слились в сплошную черноту. Сунулся туда, сюда, набил шишек, а прохода нигде нет. Заблудился в двух шагах от избы. Сперва мне было смешно, а потом стало страшно. Я накинул шинель на спальную рубаху, босые ноги сунул

в сапоги, а мороз был под десять градусов, так и замерзнуть недолго.

— Кто там? — раздался железный голос Набойкова.

— Это я. Заплутался.

— Что с вами происходит? — спросил Набойков.

Я бы сам хотел это знать. Он нашел меня в темноте, взял за руку и привел в избу.

---

Я опять завшивел. А ведь всего неделю назад я был в поезде-бане и на мне шелковое белье. Есть правило: вши не водятся в шелковой ткани. Им, наверное, скользко. Жаль, что они не знают этого правила.

Весь наш отдел маленько почесывается, здесь сложно с мытьем. В деревне есть одна только действующая домашняя банька — для начальства. Конечно, приближенным дают попользоваться остывшей водой, остальным полная хана. Поезд-баня приходит на полустанок раз в месяц, все другие способы мытья никакого впечатления на вшей не производят. Как-то раз нам запретили ходить через сени — там мылась Ася над корытом, согрев себе воды в чугушке. И тем не менее я не раз замечал, как она скреблась толстой спиной о косяк.

---

Вчера опять ездил в знакомую часть дочитывать немцам сообщение о сталинградской «конфузии». «Вы слишком рано прервали сообщение», — без тени упрека, просто констатируя факт, сказал Мельхиор. Но откуда ему стало известно? Что еще он знает о соло на трубе из скоросшивателя? Его вечно простуженное лицо было непроницаемо. «Я успел сказать главное», — пробормотал я. «У вас будет радиоустановка, вы скажете текст до конца». Конечно, это не за водкой ездить, и все же... «Для диктора у меня недостаточно хорошее произношение». — «На переводчика вы тоже не тянете». — «Конечно. Я тяну на инструктора-литератора, меня сюда прислали на эту должность...» — «Вы не подчиняетесь приказу...» Вот чем хороша для многих армейская служба: не надо ломать голову над доказательствами.

...Почему-то я попал в тот самый блиндаж, что и предыдущий раз. Пока мы сюда добирались — мне дали в полку провожатого, — немцы все время вели пальбу: мины чиликали, пули рикошетили, будто дергали

басовую струну, иногда деревянно стучал пулемет, рвались снаряды.

— Оживленный у вас участок,— сказал я провожатому.

— Хреновый пятачок,— боец плюнул. Он сказал, конечно, не «хреновый» — жестче.

— Почему «хреновый»? — я тоже сказал жестче.

— Потому что у нас самое хреновое место. Мы в низине, а фрицы на взлобке. И у них элеватор — всё как на ладони. Лейтенант говорит: когда наступление будет, нас штрафниками заменят. Коли отсюда идти, Савур-могила — черный гроб.

— А где этот элеватор?

— Близо. Сейчас не видать ни хрена. Торчит дуля, и никак ее не сшибить. И бомбили, и тяжелой били — как заговоренный.

В блиндаже меня встретили без особого восторга. Солдат наша деятельность раздражает. Они считают, что это пустая трата времени и сил, дешевая игра людей, которые не хотят воевать по-настоящему. Только на Волховском фронте — до моего инспекционного полета на бомбежку — хорошо относились к нашей продукции: листовкам и газете. Летчикам мешал докучный груз, и они сбрасывали всю контрпропаганду над нашими позициями. Бойцы использовали бумагу для самокруток и «козых ножек». Они утверждали, что наша бумага лучше курится, чем бумага центральных газет или «Фронтowej правды».

Штатному диктору полагается боец-рупорист, но я не был штатным диктором, надо было самому вынести рупор в ничью землю. Заползть далеко нет нужды: радио достаточно горласто, чтобы фрицы услышали, но после ночного приключения я боялся заблудиться. А потеряться тут — это не то, что между избой и уборной. Потом я сообразил, что легко найду дорогу назад — по шнуру...

Сейчас немцы стреляли трассирующими пулями — для порядка, в никуда. Но стоило начать передачу, огонь оживился, а через минуты две они лупили из всех калибров. Блиндаж здорово трясло. Все было, как в первый раз, стоило для этого ехать.

Что-то серьезное они подключили, земля посыпалась со стенок. Я тем не менее с армейской тупостью продолжал брусить никому не слышный текст. В блиндаж ворвался разъяренный комвзвода.



— Кончай свою фигню! — он выразился крепче. — Все равно они ни хрена не слышат.

— Уже кончаю... кончил,— сказал я, призвав, как положено, фрицев к сдаче в плен с посулом жирного супа, прекрасного обращения, интересной работы по специальности и скорейшего возвращения домой после нашей победы. Не жизнь у нас в плену, а масленица, вот бы нашим гражданам так!

— Что ты несешь, если их так раздражает? — спросил лейтенант.

— Что и всегда,— пожал я плечами.

— Не загинай! Что я, пальцем сделан? Фрицы хрен положили на вашу трепотню, а сейчас как с цепи сорвались.— Он иначе назвал то, с чего сорвались фрицы.— Знаешь, не ходи сюда больше. Ну тебя на хрен. И без тебя тут хреново, хреновей некуда.

— Вам же лучше: я расшатываю фрицам нервы.

— Ты нам расшатываешь нервы. А себе уже расшатал. Что ты рожи корчишь?

— Хочу тебе понравиться.

— Слушай, а ты не поехал малость? Какой-то у тебя глаз мутный.

— Ладно. Пойду за рупором.

— А чего за ним ходить? Сам придет, если что осталось.

Он сказал бойцам, и они подтянули за шнур искалеченный рупор.

Я не испытывал к нему такого отвращения, как к его собрату из скоросшивателя, но легко сдержал слезу при виде печальных останков.

---

Два дня меня не трогают. Если б не вши, я просто не знал бы, чем себя занять. А так скребешься и чешешься дома, потом бежишь в уборную и даешь этим гадам большое сражение. Главные их силы располагаются по резинке моих несравненных шелковых подштанников. Бьешь их до посинения от холода, в уборной дует из всех щелей, и, похоже, истребляешь всех до единой. Но через несколько часов опять чешешься, как шелудивый пес. И пиретрум их не берет, хотя я потратил весь мой немалый запас.

Сегодня я поймал себя на том, что привык к ним. Во всяком случае, они досаждают мне чисто физически, а не морально, что при моей брезгливости невероятно. На

Волховском я психовал из-за каждой несчастной вши, а сейчас отношусь к ним со спокойствием эскимоса.

Я все время о чем-то думаю, но сам не могу понять толком о чем. Думаю, тревожусь, тоскую, но все как-то без четкого содержания. В башке мешаются воспаленные глаза, сопливый нос Мельхиора, Асина жирная спина, скребущаяся о косяк, пустое озабоченное лицо Набойкова, наш спящий на ходу боец — и все это исходит смрадом тревоги. А потом в башке теснятся московские виды: трамвай, бульвар, булыжник нашего темного переулочка, обитая дерматином дверь, шарк знакомых шагов — и я начинаю глотать слюну — по старому совету еще школьных дней, — чтобы не разреветься.

Только этого не хватало. Через кухню то и дело шляются с озабоченным видом Мельхиор, Набойков, Ася. Их мнимая деловитость раздражает. Они тоже почесываются, но этим не исчерпывается их существование. Каждый служит своей темной, большой или малой, тайне. Я же только чешусь и жду чего-то недоброго. Что еще измыслит деятельный и праздный ум Мельхиора? Впрочем, почему праздный? Все, что он придумывает, весьма целеустремленно: хреновый пятак, ундервудная ночь, усманская командировка — звенья одной цепи. Я перестал ходить в столовую, но не потому, что мне не хочется жрать. У меня такое чувство, что если я выйду из дома, то уже не вернусь назад. Куда я денусь? А черт его знает! Не найду своей избы, ее не окажется на старом месте. А и найду, меня не пустят, скажут, все места заняты.

А что такого плохого произошло? Диктором меня и на Волховском фронте не раз посылали, я даже с радиомашинкой ездил под Спасскую Полисть и Мсту, и на пишущей машинке сколько раз печатал, когда были затруднения с машинисткой, правда, по своей инициативе. За водкой, правда, не ездил. Но дело не в водке, не в машинке, а в том, что за этим скрывается. А вдруг ничего не скрывается и я сам загоняю себя в бутылку? Все как-то образуется. Начнется наступление, повалят пленные — опросы, собеседования, бюллетени о настроении солдат и офицеров противника, работы будет навалом, Бровину одному не справиться. И неужели мне так важна должность инструктора-литератора? Должность у меня одна до конца дней: писатель, все остальное не стоит выеденного яйца. Чего я так развалился?

Не знаю. Меня преследует чувство, будто я чего-то забыл. Очень важное забыл, и если вспомню, то все будет в порядке. Я ищу это в ближней и дальней памяти, но никак не могу найти. И мне смертельно хочется домой, хоть на один день. Там я непременно вспомню, что меня мучит, и начну сначала. Пусть меня вернут сюда, все пойдет по-другому. Дело не в них, а во мне.

Вечером все куда-то ушли — с пакетами, сумками. Наверное, смычка с соседним отделом — агитпропом. Меня оставили дежурным. Боец сонными движениями подкинул в печку полено, другое и вдруг испарился.

Воспользовавшись одиночеством, я устроил вшивое аутодафе. Водил тлеющей лучиной по швам моего замечательного шелкового белья, прожег его в нескольких местах, но, как вскоре выяснилось, не истребил этого жизнестойкого племени. Торквемада из меня не получился, впрочем, и он, кажется, не смог известить всех еретиков, как ни старался.

Потом я долго пытался придумать что-нибудь смешное. Это моя старая игра, я много раз выдергивал себя таким образом из дурного настроения, грусти, даже отчаяния. Самое лучшее — вспомнить что-нибудь смешное про окружающих или самого себя и, утрируя, рассказать в уме кому-то из близких, понимающих юмор. Казалось бы, легче всего высмеять нашу юную толстую Мессалину с ее почесываниями о косяк, крайней нужностью во всех точках политдержавы армии, симуляцией, омовением в сенях в духе библейской Сусанны, но что-то у меня не срабатывало. И Мельхиор годился для моих целей — до чего же хорош алчный оскал снабженца на постной mine контрпропагандиста! Нет, не получается. Вспомнился клоун из «Артистов варьете», которого гениально играл Борис Тенин. Он никак не может рассмешить публику. В нем заложено что-то непоправимо печальное, и чего он ни придумывает, получается жутко, трагично, а не смешно. С удивительной, щемящей интонацией произносил он: «Не смешно!»

И вдруг я всхлипнул. Этого еще не хватало. Я легко плачу над страданиями книжных героев, а так из меня дубьем слезы не выжмешь. Совсем развалился.

Я дождался возвращения бойца и завалился спать. Наверное, мне следовало бодрствовать, пока не придет наша гулевая компания, но мне расхотелось сторожить их пьянство.

Ночью я проснулся оттого, что кто-то тряс меня за плечо. Открыл глаза — Набойков. Что-то часто я с ним сталкиваюсь.

— Вам плохо?

— Нет. А что случилось?

— Вы кричите, стонете, воете. Всех перебудили.

— Это во сне. Простите.

---

Утром все встало на свои места. Мельхиор пригласил меня в кабинет. Смотрел он с такой добротой, что у меня душа ушла в пятки.

— Вам нужно показаться врачу.

— Зачем?

— Вы не в порядке. Очевидно, вы не замечаете за собой, но со стороны это очень заметно.

— Что заметно?

— Вы дергаетесь, хмыкаете, разговариваете с самим собой, ночью кричите, плохо ориентируетесь.

— Мне это не мешает.

Доброту его как рукавом стерло.

— А окружающим мешает. У нас тут не госпиталь и не богадельня. Нам нужны полноценные работники. Я не знаю, что с вами. Надеюсь, ничего серьезного. Это решат врачи. До их заключения место остается за вами.

— А какое может быть заключение? Я здоров.

— Тем лучше. Вернетесь в отделение. Набойков вас проводит.

---

Набойков все время порывался нести мой рюкзак. Не знаю, какие ему даны были инструкции, возможно, он должен был проводить меня до Анны, где находились ПУ и фронтовой госпиталь, возможно, до Графской, откуда шел прямой поезд на Анну, но ни то ни другое путешествие его не привлекало. Излишней услужливостью он компенсировал свое предательство. Ведь они-то считали меня больным.

От разъезда до Графской должен был отправиться короткий состав из двух теплушек и нескольких платформ, груженных песком.

— Доберетесь? — бодро спросил Набойков.

— О чем разговор? — так же бодро отозвался я.

Мы обменялись крепчайшим мужским рукопожатием. Он даже хотел поцеловать меня, но в последний момент удержался. Зато не поскупился на прощальные бесценные советы. Я знал всему этому цену, но все же с некоторой печалью смотрел ему вслед.

Набойков избрал благую участь. Весь день протомился я на разъезде. Товарняк на Графскую пошел лишь вечером. В теплушку меня не пустили, и я проделал весь путь на открытой платформе...

---

На этом обрываются мои дневниковые записи. Обрываются надолго — на пять с лишним лет. Лишь в исходе сорок восьмого года заведу я себе новую тетрадь. Я не знаю, почему перестал записывать свою жизнь, да это и неважно. В оставшиеся мне воронежские дни я делал затеси, о которых упоминал выше.

Лесков говорил, что каждую вещь надо писать вдоль, а потом поперек. Затеси — это рассказы, написанные только вдоль. Я, правда, уже в московские дни пытался написать их и поперек, но по ряду причин не осуществил этого намерения до конца. Может быть, оно и к лучшему, сохранилась подлинность переживания, оно не стало литературным. До последнего времени мне оставалось непонятным, как мог я в своем тогдашнем состоянии корпеть над этими почти что рассказами. Куда естественнее было бы продолжать дневниковые записи или отложить возню с бумагой до лучших времен. И лишь недавно открылся мне довольно простой смысл моих литературных усилий: это было самоспасение. «И форму от бесформия мы лечим», — сказал поэт. Я бессознательно лечил свой распад, утрату душевной и физической формы попыткой создать литературную форму и тем самому собраться нацельно.

Рванина блокнотных записей напоминала мою внутреннюю расхристанность. Бессознательно я нашел эту душевную терапию, когда переводил в литературу (ну, пусть в полуфабрикат литературы) свои мытарства меж явью и бредом.

Каждый умирает в одиночку, но и каждый спасается в одиночку. Я занимался последним, сам того не ведая. Две избитые истины: человек ничего о себе не знает и человек знает о себе все — равно справедливы. Полная слепота к себе и высшая пронизательность могут сосуществовать в одном переживании. Я не знал, что со

мной, в те черные воронежские дни, но в тайной сознательности обременял рассудок самым важным и спасительным для него делом. Вот эти затеси.

## ЖЕНЩИНА В ПОЕЗДЕ

В Графской я пересел на поезд до станции Анна, где находилось Политуправление фронта. До этого я километров двадцать ехал на открытой платформе и так заоченел, что совсем не чувствовал своего тела, кроме поясницы, которую намял и согрел спустившийся рюкзак. Я едва отыскал дверь вагона из-за темноты проклятого воронежского ветра, который содрал с наста снег, сухой и колючий, как песок, и швырял им в глаза.

Я никогда не чувствую себя более жалким и беззащитным, чем при посадке на поезд. Мне всякий раз кажется, что меня почему-либо не посадят, поезд уйдет и я останусь один на пустой платформе, и так день за днем, в холоде, голоде и щемящей пустоте. В такие минуты я беззащитен, как ребенок, и как ребенок могу привязаться к человеку, который поможет мне, спасет от этого страха.

Но я сел в поезд без посторонней помощи, в вагоне были свободные лавки, я скинул мешок, расстегнулся и на мгновение отдался чистому, нежному и самому настоящему, беспримесному счастью, какое только есть на свете.

Это был обычный дачный вагон, но посередине скамейки были сняты и стояла железная печурка. Вокруг нее на дровах сидели бойцы. Березовые мерзлые дрова оттаивали и приятно попахивали осенней пожухлостью леса. От дыма печки и самокруток, отсветов пламени воздух в вагоне был багряно-сумрачным и чуть дрожащим. Бойцы о чем-то негромко разговаривали и курили. И мне захотелось курить. Я достал начатую пачку «Кафли», скрутил папироску и глубоко затянулся. С этого первого желанья кончилась безмятежность моего счастья. Возбуждение, связанное с посадкой, улеглось, и я почувствовал во всем теле страшный зуд. словно мириады крошечных грызунов впились в меня своими малюсенькими острыми зубками. Вши, поуспнувшие от холода, когда я ехал на платформе, оттаяли и оживились в тепле.

Вшей я делил по участкам тела, у каждой были свои особенности: шейные, подмышечные, паховые, ножные, поясничные, грудные и ручные. Их не было только на горле, спине и заднице. Наиболее гнусными были шейные и ножные. Шейные были самыми болезненными, они кололись, как толстые грубые иглы; ножные были неприятны тем, что их нельзя было утихомирить почесыванием. Трение сапога о сапог не помогало, чуть легче становилось лишь при втягивании ступни в голенище, когда нога освобождалась из тесноты; но это далеко не всегда можно было сделать. К паховым вшам я относился почти с нежностью, они только щекотались и успокаивались от простого поглаживания. Остальные были злы в большей или меньшей степени, поясничные хуже других, потому что узкие в поясе подштанники не давали к ним доступа.

Началось, как обычно: крошечный клювик щипнул меня где-то на шее. Я поймал владелицу клювика, крупную и твердую, как горошина, и бросил на пол. И сразу же зачесались ноги, щекотно зашевелилось в паху, засвербило на пояснице. Я долго терпел, но потом перешел в контрнаступление. Я не щадил ни их, ни себя, раздирая кожу ногтями. Кое-где струйками потекла кровь. Боль от царапин, более сильная, но и более спокойная и переносимая, заглушала зуд, и, пока она не пройдет, можно быть спокойным.

Зуд утих, но теперь жажда взяла меня за горло сухими шершавыми пальцами. Я говорил себе, что нужно выйти из вагона и набрать воды на станции. Я злился на себя за эти мысли, снова толкающие меня в ночь и страх. Я грезил сперва баком в душной, грязной комнате ожидания, затем краном водокачки, обвитой по бокам буграстыми зелеными обледенелостями, похожими на замерзшие сопли, затем черной, пахнущей жезью и гарью водой на паровозе. Мысли мои, страстные и бессильные, как и все мои желания в эту пору, были прерваны звонким и громким женским голосом:

— Ох, всёжки села!

Голос был удивительный. Необычайной прозрачности, свежести и молодости, хотя по некоторым признакам угадывалось, что он принадлежит не девушке. Налитость, установленность да широта диапазона обнаруживали его зрелость.

— Нынче села, завтра легла,— обрадованно сказал один из бойцов.

Тон был дан. Последовало еще несколько непристойностей. Женщина хорошо парировала. Она делала вид, что понимает сказанное буквально, и тем слова бойцов обесмысливались. Затем, словно желая положить конец этой болтовне, она сказала:

— Ну, ребятки, у кого хлебушек есть? У меня молочко...

— Да ты что, кормящая?..

— Бросьте, я серьезно...

— У нас колбасы есть,— сказал один и грубо захохотал.— Хочешь попробовать?..

— Сосиски! — взвизгнул другой.

Произошло то, что я не раз наблюдал в солдатской среде, когда тяга к женщине, становясь невыносимой, приобретает оттенок ненависти. Грубость и двусмысленность имеют целью не привлечь, а оскорбить. Я ждал, что ответит обладательница красивого голоса, судя по всему, не робкого десятка. Мне казалось, она сумеет постоять за себя. Но она сказала тихо и огорченно, и в голосе ее возникла хриплая трещинка, он словно постарел:

— Зачем же так?..

Мне стало жаль ее и очень хотелось выпить молока, я крикнул:

— Кончайте хамить, бойцы!

В то время армии было еще чуждо понятие офицерской чести. От моего окрика разговоры не прекратились, но продолжались уже вполголоса, а смех перешел в хихиканье. И на том спасибо...

— У меня есть сухари,— сказал я женщине,— они чуточку заплесневели, но еще годятся.

— Конечно, сгодятся,— душевно сказала женщина,— давайте их сюда, товарищ командир.

Я прихватил мешок и пересел к ней. В багрянодымчатом воздухе, какой бывает на пожаре, я не видел ее лица, я даже не мог решить, молода она или стара, красива или безобразна. Темнота позволяла мне видеть только ее движения. И движения, какими она доставала из корзины бутылку молока, были женственны и упруги. Она взболтала молоко.

— Стаканчика у вас нет, товарищ командир?

— Нет, но я достану.

Я подошел к бойцам. Обозленные моим окриком и тем, что женщина больше не разговаривала с ними, они угрюмо буркнули: нет.



— Что ж, придется из горлышка пить,— сказала женщина.— Я думаю, ни вам, ни мне бояться не надо?..

Она сказала это серьезно, с легкой тревогой в голосе, и я ответил столь же серьезно:

— Вам бояться нечего...

Она протянула мне бутылку. Я отпил долгим глотком и вернул ей. Она старательно грызла сухари и запивала маленькими глоточками. Так мы выпили все молоко, и пустую бутылку она спрятала в корзину. Потом разговорилась. Я узнал, что она работает на дороге, родом из Воронежа, муж ее не то пропал без вести, не то убит, словом, затерялся где-то на путях войны, что в Анне у нее есть комната на улице со странным названием Африканская. Она узнала, что меня послали в госпиталь показаться врачам — легкая контузия, что родился я и живу в Москве, недавно развелся с женой, пересадку делал в Графской. Словом, мы многое узнали друг о друге, но только не то, самое главное, из чего возникает близость: чем каждый из нас несчастен. Это произошло позже, когда мы переселились на мою скамейку. «Там ближе к огню», — сказал я, и она согласилась. Я положил руку на спинку скамейки, и она прижалась не к скамейке, а к моей руке. Мне хотелось увидеть ее. Крупные искры, время от времени снопом вылетающие из трещины в трубе, выхватывали из мрака то прядку светлых, не очень густых волос, то нос, примятый в переносье, ухо с оттянутой серьгой мочкой и крупной удлиненной дыркой прокола. Руки добавили к этому осязательные ощущения: теплой, чуть дрябловатой кожи, легкой сальности волос, грубого головного платка и жесткой ткани жакета.

Но из всего этого не складывался облик, и все мои усилия представить себе женщину были тщетны. Потом я понял почему. Я искал какой-то характерности в ее лице, резкой индивидуальности черт, того своеобразия, какое было в ее грудном чистом голосе. А этого-то и не было. Теперь, когда я встречаю на улице женщин наиболее распространенного, среднего русского типа — с простыми бледноватыми лицами, худыми и не очень ладными фигурами, тонкими ногами и слабой растительностью бровей и ресниц, — я думаю: вот такой была женщина в поезде. Из-за этой будничности, которую я не признавал в ней тогда, я и не мог сложить для себя ее образ. Мне все казалось, что какая-то главная черта, делающая ее притягательной, остается от меня скрытой.

Я мнял ее плечо и пухлоту верхней части руки, подбираясь к груди. Немножко я был противен себе в этот момент, я становился похожим на бойцов у печки, но она сама избавила меня от этого чувства. Верно, что-то резко отделило меня от них, и что бы я ни делал, все воспринималось ею иначе. Она доверчиво прижалась, положила голову мне на плечо, дыхание ее упиралось мне в шею.

Она снова стала расспрашивать, почему меня послали в госпиталь. Мне не хотелось развивать эту тему, но она была настойчива. Она слушала внимательно и только раз перебила меня. Рука моя коснулась ее груди, вернее, чуть ощутимого вздутия жакета над грудью, женщина была худа. Она осторожно и твердо отвела мою руку, задержала в своей, сухой, с грубоватыми подушечками пальцев.

— Какая маленькая рука,— сказала она, вернула мою руку к себе на грудь и крепко прижала.

Я рассказал ей, как меня разок задело и как засыпало. Товарищи решили, что мне надо показаться врачам. Что-то в моем поведении им не понравилось: я мыкаю, дергаюсь, ору во сне... И вдруг, перебив меня, она горячо, вполголоса, заговорила:

— Нет, это не годится, могут не отпустить тебя. Знаешь, каких сейчас берут... Да ничего, мы с тобой сделаем. Я знаю средство одно, вреда с него никакого, а забракует навсегда. У нас так уж двое освободились...

Я был поражен тем, что это говорит жена, а может, вдова пропавшего без вести фронтовика. Она принимает меня за симулянта, но не возмущается этим, а хочет помочь освободиться от армии. Далековато это от расхожих патриотических представлений. Как же осточертела война нашим женщинам!

— Ты меня не так поняла. Я просто не в форме...

— Нельзя на это полагаться,— перебила она.— Мы всё сделаем. Ты придешь ко мне, и мы всё сделаем. А когда тебя освободят, ты поживешь у меня с недельку. Поживешь?..

— Поживу.

— Правда поживешь? Одну недельку. У меня водочка есть. А потом поедешь домой, и с женой помиришься, и все хорошо будет.

— Я с женой мириться не стану.

— Помиритесь. Так уж заведено. На фронте вы все гордые, а как свидитесь, пожалеете... Так ты поживешь у меня?..

— Да,— говорю я, волна острой физической нежности охватывает меня.

— Здесь негде, милый,— говорит женщина. Снопик искр выхватывает в этот момент светлую прядь на ее лбу, я прижимаюсь губами к этой пряди. Запах не очень чистых волос кажется таким милым и близким. Мне очень хорошо с ней. С тех пор как я разошелся с женой, мне ни с кем не было так хорошо... и вдруг тело мое словно судорогой прохватывает чудовищным зудом. Он, верно, начался давно и постепенно вошел в теперешнюю свою силу, его лишь оттеснили другие ощущения. Но сейчас он стал сильнее всего на свете, сильнее жизни, я ничего не могу с ним поделать. В первые минуты я только ерзаю, корябаю спину о скамейку, бью ногой о ногу, трюсь о ее грудь, и она принимает это за нетерпение нежности.

— Ну какой ты, ей-Богу, тут негде. Вот будем у меня...

Все равно она все поймет сейчас. Мне стыдно, я начинаю высвобождаться из ее рук, она не пускает. Меня душит злоба на мою неудачливость, мне так не хочется потерять эту женщину. Но ничего не поделаешь, и со стоном я запускаю руку за пазуху. Разрывая рубашку, пальцы стремятся к телу, впиваются под мышку. Я слышно скребусь, ноги трутся одна о другую, как жернова, плечи ходят с неистовой силой; чуть отстранив лицо, она смотрит на меня в темноте. «Дура,— хочется мне сказать ей,— сообразила, наконец, дура!..»

— Чего только в этих вагонах не наберешься,— вздыхает она и снова утыкается лицом в мою шинель...

Так и ехали мы до самой Анны. Я тесно прижался к ней, дышал ее запахом, ставшим мне таким милым, почти родным. Я дремал и в дреме, спокойно, не скрываясь, почесывался. Хорошо мне было, и верилось, что все устроится по-хорошему.

В Анну мы прибыли до рассвета. Она хотела, чтобы я сразу пошел к ней, но я решил дожидаться утра в вагоне, чтобы собраться с мыслями перед посещением Политуправления. Она согласилась со мной.

— Давай встретимся на базаре,— предложила она,— в девять часов. Успеешь?

— Ровно в девять я буду.

— И пойдешь ко мне?

— Да.

Я помог ей вынести вещи. Воздух уже утратил плотность темноты, и я бы мог рассмотреть ее, но мне казалось, что я ее хорошо знаю. Большие чесанки и короткий жакет мелькнули раз-другой и скрылись за деревьями. Кусок неба у горизонта был желтым, ветер пробегал по снегу. Я особенно тяжело переживал в те времена предрассветную пору, но сейчас мне было так хорошо, что обычная тревога не сщемила сердца. Я вернулся в вагон.

Я был совершенно спокоен и уверен в себе до той минуты, пока не вошел в людскую гущу базара. И тут ко мне подступил страх: она так нужна была мне!.. У меня не было сомнений, что она придет сюда и что я узнаю ее. И она была, конечно, была и, подобно мне, продиралась сквозь гущу людей. И как же мог я не узнать ее, когда так близко был с ней всю ночь. Когда так хорошо знал и доброту ее, и дрябловатость ее кожи, и запах чуть солевых волос, и худобу тела, прощупываемую сквозь одежду, и незабываемый ее голос. Десятки баб в валенках и коротких жакетах, с светлыми волосами и вздернутыми носами проходили мимо меня. Десятки раз мне казалось: вот она! И я впивался взглядом, и, бывало, мне отвечали тем же, но искра не пробегала между нами, и мы расходились...

Если бы я мог искать ее на ощупь, или голос ее прозвучал бы в базарном гомоне!

Я поймал себя на том, что из того примерного типа, к какому я ее относил, я произвольно обращал внимание на самых привлекательных. Тогда я изменил тактику: я глядел на тех, что похуже, я мирился с тем, что она, может быть, некрасива, ведь и другой ее красоты хватило бы мне с лихвой. Затем я стал отбирать еще худших, старших, лишь самых старых и некрасивых, но радость и разочарование оставались теми же, когда я узнавал ее и вновь убеждался в своей ошибке. Я представил себе, что она так же вот ходит среди бочек с рассолом, среди возов сена, сонных волов, кринок с варенцом, так же ищет меня, стремясь угадать меня своей жалостью. Но сколько тут лейтенантов, таких же непримечательных, как и я, с такими же грустными лицами, как и мое, и таких же, хотя на свой лад, несчастных, как я. И еще я представил себе, что,

измучившись в бесплодных поисках, она выбрала одного из них, такого же молодого, как и я, небольшого, жалкого, одинокого, приняла его в свое большое сердце и ушла с ним...

Но я не хотел этому верить.

Я бродил по базару до самого закрытия, когда бабы ударами ноги под живот выводили из спячки тупомордых волов и сани, скрипя, трогались, увозя остатки поплескивающего рассола, клочья сена, пустые кринки из-под варенца. Еще какие-то мужики и бабы задержались здесь по своему делу, но никто не подошел ко мне. И я пошел прочь. Тело мое свербило, но я даже не чесался. Мне было все равно.

## ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Городок с нелепым названием Анна лежал передо мной. В нем не было ничего женственного. Он был колючий, неприятный, весь пронизанный ветром, который беспрепятственно бродил по его широким, как реки на разливе, улицам, злобно набрасываясь из всех просветов между далеко отстоящими друг от друга домами. Во всем городе не было защищенного места, спокойного, укромного уголка. Он не оказывал ни малейшего сопротивления стихиям, которые творили с ним, что хотели. Как последняя девка, был он измызган и растрепан: плетни завалились, соломенные крыши взъерошены, скворечни поникли, ничтожный прудишка, не замерзающий от стока барды с винного завода, и тот вышел из берегов и затопил прилегающую улицу.

Я направился на базар и долго бродил среди нагло обнаженной жратвы: искрящихся инеем шаров сливочного масла, жухлых, едва удерживающих сок, соленых огурцов, кринок с топленным молоком, задернутым толстой коричневой коркой, кусков свинины, пронизанных жилками, хрящами и увенчанных бордюром желтого жира. Голодная слюна заполняла рот, меняя свой вкус: то кисловато-соленая, когда взгляд мой падал на огурцы, то вязко-сладковатая, когда я дразнил себя видом затянутых коркой кринок... Наконец, вызвав в себе настоящую желудочную бурю, я истратил последние десять рублей на стакан простокваши.

Колики прекратились. Не занятый физиологией, я мог собраться с мыслями. Я знал, чего хочу: домой,

любой ценой домой, а дальше начнется другая жизнь, о которой рано загадывать. Я получу новое назначение, куда — неважно, хуже, чем здесь, быть не может.

Тут я поймал себя на том, что мне стыдно идти в Политуправление. Невыносимо стыдно это бесславное возвращение. Три недели назад я уезжал отсюда бодрый, самоуверенный, всезнающий ветеран контрпропаганды, на которого с восторгом и завистью смотрели новобранцы политслужбы (мы приехали сюда из Москвы большой группой). Я много разглагольствовал о Волховском фронте, о разных лихих делах, хвастался и фанфаронил, но расплата оказалась все же слишком жестокой. Что подумают обо мне? Я здоров, недаром женщина в поезде приняла меня за симулянта. Не могу же я им сказать, что мне не надо притворяться, достаточно вынуть из кармана «белый билет» — и я свободен. У меня один выход: уверить их, что я действительно болен. Не им решать мою дальнейшую судьбу, а врачи прекрасно во всем разберутся. Мне нужна передышка, глоток московского воздуха, нужно хоть на день оказаться с теми, кто меня любит и верит в меня, чтобы вернуть и себе эту веру.

Буду симулировать тяжелое нервное расстройство. Я ничего не стану объяснять, пусть за меня говорят мои тики, хмыки, корчи, заиканье (я правда что-то стал запинаться), усиленные до размеров бедствия. Лучше казаться психом, чем слабаком, трусом, растерявшимся недоноском, вяло и неумело симулирующим болезнь. А ведь именно таким видела меня женщина в поезде, но она пожалела меня, пустила к себе в душу, а другие жалеть не станут. И когда я принял такое решение, мне стало неизмеримо легче внутри, раскрепощенней. Придурочная личина вдруг стала удобна, как собственная кожа.

Мне не надо было спрашивать, где находится Политуправление. Расположенный неподалеку от базара район казался лысиной города. Оголенный, пустой, он так и вещал о строгости военной тайны. К тому же туда вела сосновая аллея, по которой взад-вперед бродил часовой с винтовкой. Далее виднелись барачного типа дома, отделенные от остального города, словно феодальный замок рвом, огромным буераком...

Собравшись с духом, я ступил на ужасающий сквозняк аллеи, и двинулся вперед, обдуваемый со всех сторон ледяным ветром.

Что город оказался таким безуютным, освобождало меня от коротких радостей, способных в моем положении заменить длительное счастье. А всякий, пусть минутный, покой был бы губителен для меня. Мне нужно полное отторжение, чтобы не раскиснуть и довести дело до конца.

Ветер гнал меня по аллее, как сквозь строй, и я, словно наказуемый солдат, слепо стремился к концу пути, не задумываясь над тем, ждет ли меня там избавление от страданий или от самой жизни. И с каждым новым ударом делал я поспешный и бессильный шаг вперед.

7-й отдел занимал две комнаты большой избы. Я попал в обеденный перерыв, в первой комнате застал лишь старого, унылого инструктора. Тем лучше. Дверь в кабинет начальника была полуотворена. Я заглянул и увидел черное крыло бурки, красное дно папахи, лежавшей на столе, золотую стрелку луча на крутом выгибе орлиного носа. Я ожидал увидеть спокойно-сухое чиновничье лицо Хрисанфова и был неприятно удивлен.

— Кто этот черкес? — спросил я инструктора.

— Какой еще черкес? Это заместитель Хрисанфова. Начальник в отъезде.

Из-за косяка двери я стал рассматривать этого лихого зама. Он что-то писал, перо мелко и резко прыгало в его гладкой, смуглой руке, тонкий указательный палец, словно надламывающийся при нажиме, был украшен кольцом в виде двух пожирающих одна другую змей. Мне представилось, что эта тонкая, нервная рука, рука музыканта и садиста, подписывает чей-то смертный приговор. Но, приподнявшись на носки, я разглядел, что она всего-навсего переносит корректурные значки с одного оттиска листовки на другой. Контраст подействовал освежающе. Уже более спокойно спросил, как фамилия черкеса.

— Рубинчик, — ответил инструктор, не отрываясь от своих бумаг.

Я вновь обрел форму. В кабинет я входил со спокойной развязностью тяжелобольного. Когда сам играешь, лучше иметь дело с актером. Мы оба играли, вернее, оба фальшивили. В дуэте, где фальшивят оба, диссонанса не больше, а меньше. И меня не смутило, когда в ответ на мое обращение зам резким движением вскинул голову, сверкнул черными навывкате глазами и, прихватив острыми белыми зубами змеисто-тонкую

нижнюю губу, воззрил на меня пронизывающий взгляд. Движением руки, словно рассекающим призрачной саблей незримого врага, он указал мне на стул.

Я остался вполне доволен этим рубакой. Все вышло по-моему. Он написал мне направление в госпитальную комиссию и до времени разрешил ночевать в избе седьмоотдельцев за буераком. Вначале он предложил мне отправиться в резерв, где бы меня зачислили на довольствие, но я отказался. Я знал, что своим отказом обрекаю себя на голод, но поступить иначе не мог. Меня пугало всякое отклонение от прямого пути: Анна — Москва. Резерв находился километрах в десяти от города: это оторвало бы меня от железной дороги, близость которой я ежеминутно ощущал, как залог освобождения.

Вместе с тем какое-то сложное, но верное чувство мешало мне тотчас же отправиться в госпиталь. Не пошел я туда и на следующий день, и на третий. Очевидно, меня удерживало смутное ощущение неготовности. Я не понимал, как сделать врачей моими союзниками...

Ожидание всегда мучительно, и время выкидывало со мной удивительные штуки: то оно двигалось с удручающей медлительностью, доводя меня до полного душевного изнеможения, то вдруг делало резкий скачок и разом подводило меня к концу дневного пути, к ночи. Но вскоре и я научился играть с ним. Я выработал в себе изумительную неторопливость, я умудрялся так растягивать любое, самое короткое движение, что урывал у времени значительные куски. Я достигал этого не простым, чисто физическим растяжением жестов, грубым замедлением их, нет, я создал в себе особый, медлительный мир. Слово начинала медленнее течь в сосудах и сердце реже биться. Обычные человеческие сутки составляли не более половины суток, выработанных замедленным ритмом моего организма. Это было одно из тех особых переключений моего психического аппарата, которым я в то время овладел.

Замедлению внешних движений соответствовало замедление психических ритмов, в силу чего я не мог ощущать искусственности первых в момент их свершения. Возвращаясь к обыденному состоянию, я замечал резкий скачок времени.

...Я просыпаюсь на своей шинели. Бросаю взгляд на часы: половина восьмого. Весь предстоящий томительно



долгий день — четырнадцать часов голодного, холодного и зудливого бодрствования — вырастет передо мной чудовищной глыбой. Нет сил его прожить. И тут хитрое подсознание делает трюк: мною овладевает медлительное спокойствие, весь мой организм переходит на совершенно иной временной ритм.

Я ворочаюсь, натягиваю штаны, вылавливаю с пояса вошь, смотрю, как она шевелит ножками у меня на ладони, давлую ее двумя пальцами, поднимаюсь и снова опускаюсь на шинель, чтоб выкурить папиросу. Все это я делаю со скоростью человека, находящегося под водой. Я выкуриваю папиросу, затем поднимаюсь на колени, затем встаю в рост, подбираю с пола шинель и вешаю ее на гвоздь.

Почесываюсь старательно и долго, затем подхожу к печке, расстегиваю штаны, начинаю ловить вшей. Я швыряю их на раскаленную загнетку, некоторые вспыхивают зеленым огоньком, другие только чернеют, обугливаются. Мне хочется, чтобы побольше было зеленых огоньков, для этого нужны самые крупные и твердые экземпляры. Такие находятся на пояснице. Но поймать вошь на пояснице нелегко — надо изогнуть руку, почти до вывиха.

Зуд постепенно слабеет. Вши умны, как собаки: они научились применяться к моим привычкам и характеру. Они знают, что сейчас лучше смириться, и ведут себя тихонько, как ручные.

Заправляю рубашку, натягиваю штаны. Взгляд на часы: прошло сорок минут. Но я ощутил свой подъем не более длительным, чем человек, который вскакивает с постели и двумя-тремя движениями натягивает одежду.

Поздравляю себя с маленькой победой: сорок минут, выкраденных у утра. Они стоят двух часов дневного времени, обладающего более быстрым ходом...

А впереди ждет не менее длительный этап: ополаскивание рук, уборная. Достаяю мыло и полотенце. Мыло хранится в обрывке газеты, и когда я пытаюсь развернуть его, бумага рвется и плотно прилипает к мылу. Отдираю бумагу, мыло забивается под ногти. Вот и хорошо — надо вычистить ногти...

Выхожу на морозный, ветреный двор. Ветер обдувает тревожной шумящей прохладой, будит тоску, напоминает о доме и семье. У меня наворачиваются слезы. Пережить эту минуту — одна из самых трудных задач утра. Но мне всегда удается это: ведь после мытья —

уборная, а кому неизвестен тот чистый, трепетный подъем духа, какой испытываешь, усаживаясь на стульчак.

Между дверью и крышей уборной — просвет, в нем открывается небо, бледно-изумрудное, сияющее. Красоту небесной лазури особенно остро ощущаешь, когда тебе виден лишь клочок неба. Я начинаю верить, что все будет хорошо. Выход из уборной дарит меня новой радостью: стрелки часов показывают ровно одиннадцать...

Голод также сокращал время, ужасны лишь совершенно пустые часы. Часы голода насыщены разумной и острой борьбой с желанием есть. Длительность их не входила в муку ожидания, а вычиталась из нее. Я знал, когда станет совсем невтерпеж, я пойду к хозяевам избы седьмоотдельцев, и они накормят меня. Не могу понять, как это случилось, но они безвозмездно стали кормить меня обедами. Мне кажется, хозяева удовлетворяли этим сразу два своих чувства: жалостливую доброту и глубоко запрятанное презрение к нашему брату, оставившему их без жилья. Во всяком случае, если знаешь, что любимая тебя ждет, то, затягивая свой приход к ней, испытываешь скорее удовольствие, нежели страданье. Ценность обещанного и неизбежность наслаждения возрастают в твоих глазах с каждым часом, отбрасывая милую тень на часы добровольной оттяжки.

Когда же тень блекла и слюна становилась сухой, как сильно газированная вода, я натягивал шинель и выходил на улицу. Мой путь шел по дну буерака. Ветер был здесь еще злее. Как бы заключенный в сосуд, он бесился, метался, с размаху ударялся о пади буерака, рикошетом отлетал назад. Мне казалось, он дует одновременно с двух сторон.

Хозяйка ставила передо мной миску серебряного, от густоты наваря, супа. Его простор казался бесконечным, в нем плавали острова, складывались и растекались материки. Мутно-мерцающая его глубь была таинственнее глубин океанских. Когда я дерзновенно погружал в него ложку, разбивая серебряную пленку поверхности, я испытывал трепет доктора Марракота, проникшего на дно океана. С волнением вылавливал я драгоценные куски мяса, жемчужные шарики жирка, а то вдруг высывала острое ребро полая кость, в пещерной глубине которой посверкивал мозг.

За супом следовало мясо. Прекрасное, ободранное с костей мясо, не униженное никакой приправой, гарниром, жирное, сочное, со струйками будто живой крови, сладкое свиное мясо. Я впадал в настоящий желудочный транс. После тарелки пшенки на тыкве, залитой розовато-коричневым варенцом, я несколько приходил в себя, но еще долго испытывал головокружение и легкий жар, как при опьянении. Глупо улыбаясь, я разворачивал толстый, зачитанный комплект «Синего журнала» и с умилением читал некрологи, посвященные пионерам русской авиации. За моей спиной, на широкой кровати, играли две девочки, дочери хозяев. Старшая была тоненькой, хрупкой, с просвечивающей кожей, тонкость ее болезненная, но с оттенком аристократизма. Меньшая — скучное круглое существо с расплывчатыми чертами. Для старшей девочки игра служила лишь предлогом для издевательств над сестрой: она то и дело дергала ее за волосы. Когда же та особенно разнюнивалась, старшая толкала ее пяткой в толстый бесформенный нос, движением, не лишенным какого-то хищного изящества. Намучившись, меньшая скоро засыпала, сидя, в разгар игры. Подобно всем тонким и нервным детям, старшая боялась сна, она начинала упрашивать родителей лечь вместе с ней. Это служило для меня сигналом. Покачиваясь, я выходил на улицу, в ночь. Я шел сквозь ветер, улыбаясь: как-никак, а день был скраден...

Четвертое измерение переставало быть для меня лишь научным постулатом, я орудовал им почти столь же свободно, как другие люди с тремя координатами своего бедного пространства.

Не следует думать, что я был всевластен в борьбе со временем: оно все же было сильнее меня, ведь ранимым был один я.

Бывали часы, когда между мной и моей болью не оставалось ничего. Страшные, обнаженные часы. Но самыми тягостными были не они, а то, что шло им на смену. Моим расслабленным, утомленным борьбой мозгом овладевали глупые, пошлые и вредные мысли; что есть какая-то иная, хорошая, чистая, настоящая жизнь, есть чистые, добрые и ужасно нежные женщины, есть мир всеобщего согласия и прощения, трогательности и простоты. Глаза вспухали от слез, с трудом возвращал я себе свою серьезность.

...В жизни, как в плохой пьесе, всегда оказываются лишние персонажи. Предстоящий жизненный шаг репетируешь всегда с меньшим числом партнеров, чем их оказывается на деле. Берешь во внимание лишь самого себя да тех, с кем предстоит прямая борьба. Остальных считаешь толпой, безмолвными статистами. Это грубая ошибка. Если решаешься на какой-либо шаг, бери в расчет соседей, близких и дальних родственников, прислугу, дворника, сослуживцев, словом, всех, кто хоть сколько-нибудь связан с тем, с кем тебе предстоит бороться.

В жизни не бывает статистов. Каждый способен на удар, на реплику, на предательство.

Я не избежал этой ошибки, а слишком упростил схему: я — начальник 7-го отдела — врачебная комиссия.

Но вскоре понял, что далеко не все звенья присутствуют в этой схеме и что более мелкие из них отнюдь не самые слабые.

Политотдельцам смутно мерещилась фальшь в моем поведении.

Почти безотчетно усматривали они в нем какой-то трюк и столь же безотчетно пытались помешать его осуществлению. Чем иначе можно объяснить старания политрука Гулария найти для меня какую-нибудь работу? Он то и дело твердил Рубинчику:

— Давайте поручим это Нагибину. Он же совершенно свободен.

Дергаясь и заикаясь, я выражал свое согласие. Конечно, я готов, я рад, но я не ручаюсь, что не напутаю, — провалы памяти и все такое... Это действовало. Рубинчик был только замом и боялся ответственности. Но однажды Гуларий, этот юный политрук с красной, как клюква, бородавкой посреди лба, добился все же того, что мне дали поручение допросить пленного и составить протокол для еженедельного обзора: «Морально-политическое состояние противника».

Они хотят вернуть меня к ясности обыденного сознания — хорошо же!

Я сунул за пазуху стопку бумаги и отправился в другой конец города, к баракам разрушенного пивного завода, где помещались пленные. Потирая от радости руки, комендант сообщил мне, что только прибыла

партия свеженьких фрицев. Клад для 7-го отдела: матерые эсэсовцы из дивизии «Мертвая голова», голово-резы из штрафного офицерского полка и уж совсем редкость — два летчика! Любой наш инструктор при этой вести просто б заорал от восторга. Но я не гнался за карьерой. Из всех имевшихся представителей хищного фашистско-немецкого империализма я отобрал для выявления «морально-политического лица» венгерского еврея из строительной команды. Я заметил его большой грустный нос и печальные иудейские глаза, когда, задыхаясь от чудовищной вони, вместе с комендантом обходил камеры. Оказывается, каждая нация имела свою особую вонь. Возможно, вонь, источаемая этими пленными, была не сильнее той, какую развели бы славяне, оказавшись в подобных условиях. Но моему русскому носу наша вонь не так отвратительна, она как-то мягче. Умаленная в несколько тысяч раз, она, верно, соответствовала бы запаху кислого хлеба, немецкая же вонь — запаху куриного пера, а я не знаю ничего противнее.

Меня поразила мертвенная бледность лиц всех этих пленных, они походили на призраков. Комендант поторопился дать объяснение: оказывается, утром пленных снимали для листовки «Рейхлихе кост унд гуте ферпфлегунг» и для этого на скорую руку побрили. Лица их казались такими бледными по контрасту с намывами грязи у висков, ушей и шеи...

Тут я заприметил моего еврея и велел привести его в комендатуру. На нем болталась жалкая полувоенная, полугражданская одежонка: узенький мальчишеский пиджачок, обмотки, штаны из седого немецкого сукна и башмаки с корявыми носами. Мы уселись перед керосиновой лампой, и я с удовольствием начал задавать ему вопросы, руководствуясь «Памяткой для инструкторов 7-го отдела».

— Зачем вы напали на нашу страну?

— Я и не думал нападать, господин офицер, — возразил он испуганно. — Я был в строительной команде.

— Значит, вы считаете, что война против Советского Союза — несправедливая война?

— О конечно!

— Считаете ли вы, что виновник войны Гитлер?

— О да!

Я заглянул в «Памятку» и спросил:

— Так почему же вы не уничтожили вашего Гитлера, если знали, что он послал вас на несправедливую войну?

Пленный даже привстал со стула.

— Как же мог я, бедный еврей из Сегеда, уничтожить такого важного человека?

Я старательно записывал его ответы, наслаждаясь идиотизмом положения. С каждым вопросом пленного все сильнее охватывал ужас. Вопросник составлен таким образом, что опрашиваемому начинает казаться, будто он и есть главный виновник войны, конечно, после Гитлера. Под конец допроса также согласно «Памятке» я предложил пленному написать обращение к его товарищам с предложением сложить оружие, кончать эту несправедливую войну.

— Простите меня, господин офицер,— сказал он, молитвенно сложив тонкие музыкальные руки,— но о каком оружии идет речь? У моих товарищей нет ничего, кроме заступов. Ди юден волен гар кейнен криг!

— Вы солдат германской армии, ну и пишите своим немецким товарищам.

Он застенчиво посмотрел на меня:

— Немецкие солдаты не считают нас товарищами, они не совсем любят евреев.

— Делайте, как вам говорят! Не забудьте проставить номер части, ваше воинское звание, награды, ордена.

Отпустив пленного, я бережно свернул листки бумаги и пустился в обратный путь.

Была моя погода. Ветер рвал полы шинели, бил в лицо, слепил, валил с ног. Затерявшаяся где-то на краю неба луна едва освещала дорогу, я то и дело сбивался на целину. Хрустко продавливая снежную корку, я проваливался по грудь, затем, обжигая руки, с трудом выкарабкивался на дорогу. И случилось, что в один такой момент я обронил две странички из драгоценного протокола.

Совершенно ошалевший, добрался я до 7-го отдела и вручил протокол опроса Рубинчику. Он принял его, словно депешу о капитуляции противника, развернул, но прежде чем успел прочесть хоть строчку, я выхватил протокол у него из рук и, лихорадочно перебирая, стал лепетать, что «кажется, я обронил две странички».

— Такой ветер... я падал... у меня куриная слепота... Я совсем теряюсь в темноте... Днем у меня отличное зрение, но в темноте!..

Рубинчик кусал губы, я чувствовал, как закипает в нем раздражение. Я пойду, я найду эти две странички! Не дав ему вымолвить слова, я бросился вон из кабинета.

Конечно, я преспокойно мог бы отсидеться где-нибудь на завалинке с подветренной стороны. Но я не работал так мелко. Я не поленился проделать заново весь путь. Я с полной искренностью убеждал себя, что за потерю этих листочков мне грозит расстрел. Я гмыкал так, что заглушал голос ветра, я дергался с такой силой, что выкрутасы метели казались вялыми, как бы охваченными сонной болезнью. Самое важное — эти минуты сумасшествия наедине с самим собой, проверка качества. Если этого нет — ты не более чем жалкий, невежественный симулянт, которого не стоит ни малейшего труда разоблачить. Оловянная монета, которую не к чему даже бросать на пол, чтобы услышать ее глухой, фальшивый звук.

Я во что бы то ни стало хотел найти утерянные странички и доставить их Рубинчику. Но что делать, их, верно, давно унес с собой ветер...

Вернувшись назад, я стал что-то невнятное бормотать Рубинчику про постигшую меня неудачу. Гадливо запахнувшись в бурку, Рубинчик прервал меня:

— Ладно... Ладно... Не волнуйтесь. Оформляйте поскорей свои дела и уезжайте в Москву.

При последнем слове я вздрогнул. Меня охватила глубокая нежность, я готов был сейчас все открыть Рубинчику. Какое счастье, что импульсы наших добрых чувств куда неторопливее злых...

Но разве возможно настолько опуститься, чтоб не нашлось доброй души, готовой обонять твой смрад, как фиалку? До какого бы падения ни дошел мужчина, всегда найдется женщина, готовая разделить его с ним. У Наденьки, машинистки 7-го отдела, было совершенно отшиблено обоняние. Она была безгранично сострадательна и прилипчива, как пластырь. Она прилагала невероятные усилия, чтобы под ее теплым крылом я вернулся к обыденной ясности сознания. Мое равнодушие только разжигало ее, мои попытки предстать в ее глазах еще более отвратительным, чем я был на деле, она воспринимала, как нежность. Я бы мог отвернуть при ней пожелтевший пояс моих штанов в млечном бисере вшей и вызвать у нее лишь умиление. Я не знал, как избавиться от нее. Каждый мой жест отращения

или протеста лишь усиливал в ней тягу к интимности. Она не допускала, что я могу быть таким плохим. Во всем виновата моя жена. Но ее, Наденькина, дружба вырвет меня из этого состояния...

— Тебе надо только забыть ее,— уверяла она меня при всяком случае,— и ты перестанешь нервничать.

Тщетно пытался я убедить ее, что я вовсе не «нервничаю». Просто я поражен наследственной психической болезнью, усиленной войной и контузией. «Ты сам себя убеждаешь»,— говорила Наденька. Она лишала меня уверенности в себе, я действительно начинал «нервничать».

И все же не это было самым опасным. В отделе пронесся слухок: у Нагибина роман с машинисткой. Хороша репутация для сумасшедшего!

Наденька пользовалась каждым случаем, чтобы поцеловать меня. Однажды она поймала меня в общежитии седьмоотдельцев, куда я зашел по ошибке, перепутав двери. Она обняла меня и стала целовать в губы. Я не находил в себе решимости быть до конца грубым с женщиной, которая меня обнимает. Я только не отвечал ей, и когда она, после поцелуя, заглядывала мне в глаза, я суживал зрачки и отрицательно качал головой. Она совсем не нравилась мне. Она мне мешала, она была мне опасна, каждый миг кто-нибудь мог войти. Но пошлое слабодушие заставляло меня сопровождать кивки загадочной улыбкой, намекающей на какую-то тайну, мешающую мне соединиться с ней. Тогда она просто перестала заглядывать мне в глаза и целовала, не отнимая губ. Странно, я начинал чувствовать даже какое-то облегчение от закипавшей во мне огромной ненависти. Но прежде чем родился жест, дверь распахнулась, и с порывом ветра в комнату влетела черная бурка, орлиный нос и баранья кубанка подполковника Рубинчика. Я грубо отстранился от Наденьки. Черное крыло прочертило воздух, задев меня прохладной струйкой ветра. Я заметил, как прозмеились тонкие губы Рубинчика: он все видел.

Мне не нужен был жест, я только посмотрел на Наденьку. На ее курносом блеклом лице, таком невыразительном, что даже доброта была бессильна сообщить ему что-либо, впервые что-то дрогнуло. Все черты сместились, потеряли очертания, как плохо заквашенный крендель, расплющился нос, потекли куда-то губы. Мне показалось, что лицо ее вот-вот утратит всякую



форму, но непривычно трудная работа продолжалась, в бесформенно-текучей массе появились какие-то новые образования, и постепенно на лице ее сложилась гримаса боли...

С тех пор все оставили меня в покое. Началась череда огромных, пустых, сияющих, словно залитых расплавленной фольгой, дней. Земля казалась с овчинку, все состояло из сплошного, громадного неба. Солнце не имело своего места на небе, оно целиком растворилось в бледной, сияющей лазури. Стало невообразимо трудно протягивать клочок дурной материи — свое тело — сквозь то чистое, прозрачное, невесомое вещество, каким стали дни. Да я и сам превращался в полупризрак.

Единственной точкой соприкосновения с жизнью стала для меня семья хозяев, где я получал обед. Но отсюда и последовал первый тревожный сигнал. Я заметил, что дети стали меня презирать. Напрасно пытался я убедить себя, что причиной тому детская жадность: ведь я поедал их хлеб. В глазах старшей девочки было слишком много пронизательного, тонкого лукавства. Однажды я застал их за странной игрой.

— Я не хочу воевать, я контуженая! — нарочито капризным голосом говорила старшая, дрыгая ногами. — Ну же!.. — повелительно бросила она сестре и пяткой надала ей под подбородок.

— Вы не волнуйтесь... — как заученный урок отвечала та. — Покушайте кашу...

— Я хочу кашу с маслом! — захныкала старшая, еще сильнее дергаясь.

Портрет был довольно точен — настолько, что даже добрая, глупая хозяйка, которой почти полная глухота придавала некоторую отрешенность, пряча улыбку, замахнулась на девочек тряпкой...

На другое утро я пошел в госпиталь. Туда было километров шесть, мимо базара, мимо торчащей на краю города колокольни, затем пустым полем, через лес, снова полем до разрушенного сахарного завода, где и разместился в одном из уцелевших корпусов фронтовой госпиталь.

Впереди меня бежала моя голубая тень. У меня никогда не было такой жалкой тени. Верно, сам того не замечая, я как-то скрючился, сжался в эту пору моей жизни от вшей, от холода, от голода, от неутихающей душевной боли. А тут еще ветер! Нет ничего страшнее

здешнего ветра. От него никуда не укроешься, не защитишься, ему нипочем одежда: мне казалось, я голый шагаю через поле. Но где-то в глубине я знал, что мне на благо сейчас этот злой ветер, приближающий меня к самому краю отчаяния...

Вблизи леса меня нагнали розвальни, запряженные парой волов. В розвальнях, на соломе, сидел человек в шинели без ремня и погон, в старенькой ушанке с облупившейся звездочкой. Видно, демобилизованный боец. Я раздумывал, попросить ли его подвести меня, когда человек сам крикнул:

— Присаживайтесь, товарищ командир!

Я упал на солому. Буграстые загривки волов прикрыли меня от ветра, только ноги продолжали стыть, а рук я вовсе не чувствовал. Я предложил вознице вытащить из моего кармана табачок и скрутить по одной.

— Понимаешь, пальцы у меня совсем обмерли.

— Тпру! — крикнул человек, повернулся и как-то неловко стал вытаскивать у меня из кармана кисет. — Вот потеха-то, товарищ командир, — говорил он, улыбаясь. — У вас пальцы не гнутся, а я вовсе без руки!

Тут только я заметил, что у него из рукава торчит гладкая чурка. Мне стало стыдно. Я достал кисет и, просыпая, скрутил две папиросы. Мы закурили. Лицо человека приняло детски счастливое выражение.

— Хорошо! Слабоват только малость. У нас в части, бывало, тоже «Кафли» выдавали. А только мы больше махорочку почитаем.

Он причмокнул на волов, и те послушно-тяжело зашагали, встряхивая заиндеветшими загривками. Дым приятно согревал рот. Мы молча курили, но человек то и дело радостно и многозначительно мне подмигивал, словно мы с ним тайком украли какое-то запретное наслаждение.

Сани спустились под бугор, и вот уж стелются под полозья голубые тени сосен. Дорога шла совершенно прямо и лишь в одном месте делала едва заметный поворот. Возница отвлекся, занятый папиросой и тем сложным глубоким удовольствием, которое получал от нее, и, воспользовавшись этим, волы и поперли прямо по целине.

Они выбивались из сил, но с каким-то тупым упорством не желали видеть дороги, которая пролегла рядом.

— Батюшки! — воскликнул человек, вываливаясь из саней. Он заковылял к мордам волов и повис на оглобле. По первому же его движению я понял, что вместо правой ноги у него протез: живая нога не проваливается в снег так глубоко. Какое-то сложное и недоброе чувство мешало мне прийти ему на помощь. Я внимательно и безучастно следил за всеми его беспомощными и смешными движениями. Наконец, он как-то изловчился и вывернул морду одного из волов в сторону дороги. Волы с той же спокойной тупостью круто повернули, едва не опрокинув розвальни.

— И упрямый же народ эти волики! — сказал человек, не упав, а рухнув в сани, как дерево. Да он и был наполовину деревом...

«Не волики, а гнусные скоты, которые мучают тебя, сукин ты сын! Схвати свою деревяшку здоровой рукой и лупи их по мордам, бей их под живот, туда, где у них опалено серым. А потом бей меня, бей всех, кто тебе попадется под руку. Хоть на это пригодятся твои деревяшки!..»

Разумеется, я ничего этого не сказал, я как-то оцепенел вдруг.

— Знаете, товарищ командир, — заговорил вдруг ездовой, — неспособный я человек. С полгода, поди, прошло, как из госпиталя выписался, и все никак к деревяшкам не приобыкну. Чудно, ей-Богу! Наполовину из живого тела, а наполовину из дерева. Даже к жене вот ехать совестно, мы-то не здешние, с-под Вышнего Волочка, чего ей с чуркой спать — срамотно! — И, совсем развеселившись от разговора с хорошим человеком — похоже, возница считал меня хорошим человеком, — он с отчаянным жестом, словно решаясь на великую нескромность, даже не сказал, а радостно и любовно всхлипнул: — Эх, товарищ командир, свернем еще по одной!..

Этот смиренник совсем доконал меня. Я вылез из саней еще более деревянным, чем он сам...

В госпитале я нехорошо растерялся. Я представлял себе строгую, чинную больничную тишину, куда я внесу решительный диссонанс. Но здесь все были сами какие-то сумасшедшие. Здесь былолюдно, шумно и бестолково, как на рынке. Раненые мотались по лестницам и коридорам среди намазанных девок в белых халатах. Я присел около «титана», чтобы немного освоиться с обстановкой.

Раненые то и дело снимали с гвоздя огромный тяжелый ключ, словно бы от монастырских дверей, и ковыляли в уборную. На лестнице к раненым присоединялась сестра. Ключ визжал в замке, и высокая готическая дверь скрывала парочку. Казалось, весь госпиталь страдает недержанием мочи: ключ ни минуты не висел спокойно на гвозде. Ну и сестры в этом госпитале! Стоило посмотреть, что можно сделать из простого полотняного халата и пары кирзовых сапог для придания себе соблазнительного вида.

Я охотно верю, что это не мешало сестрам дежурить по трое суток кряду, не спать ночей, до полного изнеможения возиться с градусниками и уточками. От усталости глаза у них были красные, как у кроликов. Ничуть не мешало, напротив: не будь уборной с ее кратким счастьем, немногие смогли бы выдержать такую жизнь...

Решив, что мне не освоиться в этом монастыре, не свершив его сокровенного обряда, я снял со стены ключ, тяжело наполнивший ладонь. На лестнице я уловил робкую мольбу чьих-то голубых и печальных глаз, но у меня не хватило смелости ответить на их молчаливый призыв. Я исполнил обряд, вытравив из него содержание веры, и потому остался столь же чужд этому миру, как и прежде. Меня хватило лишь на то, чтобы узнать дни приема главного психиатра фронта.

Я медленно брел по дороге, слабо освещенной луной. Во мне что-то шевелилось, складывалось, распадалось и соединялось вновь. Мозг оставался безучастен к этой смутной, тревожной и властной работе подсознания. Вдруг я с острой болью шарахнулся от какого-то черного предмета. Это был куст можжевельника. Не то чтобы я укололся о его иглы, он рос обочь дороги. Нет, это был первый предмет, который я обнаружил, выйдя из странного своего состояния, и он причинил мне боль. Это была боль от ненужности. Зачем мне этот куст, эта дорога, зачем мне все, что наполняет этот чуждый, враждебный мир?

Смутная работа подсознания завершилась сломом, смысл которого я осознал лишь на другой день.

Я достиг своей цели. Теперь все причиняло мне непереносимую, удушающую боль. Я готов был кричать при виде серебряной, в голубом ореоле, луны; я в ужасе шарахался от телеграфного столба; звук человеческого голоса вызывал гримасу страдания на моем

лице. И все это было непроизвольно, без всякого участия воли. Я достиг последнего края отчужденности от мира, я даже перестал обращать внимание на вшей. Я думаю, что подобное состояние охватывает души великих практиков накануне их главного свершения: уже знаешь, что не можешь не сделать того, что начертал себе. Только сейчас понял я, до чего несобранны, легкомысленны и слабы окружающие меня люди. Моя душа испытывала давление в сто тысяч атмосфер — что же могли противопоставить они человеку, сжавшему в себе такую силу боли? Эти люди, для которых ночь — это просто тьма, а не крошечный бред; луна — это луна, а не нежный и тоскующий лик матери, склонившейся над больным сыном; печь — это просто тепло, а не тоска по утраченному теплу семьи. Люди не спотыкающиеся о тени, как о железные брусья, а спокойно ступающие по ним; для которых сон и явь четко разделены, а не перемешаны болью до той степени, что уж не знаешь, что приснилось тебе, а что свершилось наяву. Рассеянные, нищие люди, наделенные ничтожным дневным сознанием!..

Больной, несчастный, сильный, уверенный в себе, шел я на другой день в госпиталь. Я верил, что это последний мой шаг в сторону от прямого пути к дому, к семье...

## ЖЕНА БРИГВРАЧА

— Садитесь, — сказал главный психиатр-невропатолог фронта, полковник медицинской службы, крупный, глыбистый человек с дореволюционным земским лицом. — Ну-с, на что вы жалуетесь? — спросил он с уютной, тепло-иронической интонацией.

Я посмотрел в добрые, голубые, чуть насмешливые глаза, на седоватые усы щеточкой, на большие, склерозированные, располагающие к доверию щеки, но подсказки не получил.

— Я ни на что не жалуюсь.

Улыбка исчезла на миг краткой оторопи и снова затеплилась на умном и слишком понимающем лице врача. Он пошевелил какие-то бумаги на столе, одну из них поднес к глазам и сразу отбросил.

— Так что же мы будем делать?

— Не знаю. Меня послали...

Улыбка сползла с его губ, на этот раз окончательно.

— Разденьтесь до пояса и снимите сапоги,— сказал он, хватаясь за докторский молоточек — бессильное оружие ученых слепцов, претендующих на знание тайного тайн человека.

Последовал ряд ритуальных действий: удары под коленку, кресты — пальцем — на груди, полоски бумаги на вытянутых вперед руках и прочая бессильная чепуха. И глубокомысленное:

— Мы должны вас комиссовать.

— Что это значит?

— Решить — годитесь ли вы к продолжению службы в армии.

— С какой стати? Я здоров.

— Это и решит комиссия.

Признаться, я ждал от него большего. Для такого примитивного решения не нужна была столь прекрасная старинная внешность. Или я так заигрался в свои придурочные игры, что потерял над собой контроль и ввел в заблуждение даже этого старого, опытного врача?

— Но я-то себя знаю. Со мной все в порядке.

— Почему вас послали сюда?

Он запутывал меня, я не знал, что ему ответить, как себя вести. Вот не ждал, что он так круто возьмет быка за рога. Мне казалось, он должен постараться понять сидящего перед ним человека. Он сбил меня с толку. Я не хочу и не могу быть запечным сверчком в Мельхиоровом царстве, не хочу быть изгоем, третьим лишним, от которого надо любым способом избавиться, но лучше вернуться туда, чем идти на комиссию. А чего мне, собственно, бояться, я-то за себя спокоен! Но я боялся и ничего не мог поделать с собой. Я вдруг почувствовал, что мое притворство, как бы сказать, не совсем зависит от меня. Похоже, меня доконали. Но как сказать ему, что мне нужна лишь маленькая передышка, а не демобилизация? Я рассчитывал на человеческое общение, а столкнулся с канцелярией. Он ждал ответа.

— А вы их спросите,— сказал я грубо.

Плевать я хотел на его четыре шпалы. Если ты врач, то и будь врачом, а не занимайся допросом.

— Почему вы не хотите быть искренним? — сказал он совсем не начальственным и даже не докторским голосом, а каким-то огорченно человеческим.

Я промолчал.

— У вас был инцидент на передовой,— это было утверждение, а не вопрос.

Господи, какой я дурак! Ведь ему все известно из письма Мельхиора. Кем же он меня все-таки считает? Психом? Но он врач и понимает, что я нормален. Симулянтом, как моя поездная подруга? Но чего я добиваюсь, если не хочу комиссоваться? Не могу же я ему сказать, что хочу в Москву, домой, к маме. Это было бы той единственной правдой, какой он от меня не услышит. Почему простые и естественные мотивы человеческого поведения должны быть скрыты, а взамен их выдвинуты искусственные, опирающиеся на какие-то якобы обязательные для всех нормы? А я хочу к маме. Да, взрослый человек, писатель, муж, уже оставленный женой, автор книги, офицер, участвовавший в бою и вышедший из окружения, и вовсе не слабак, не сопля на заборе, я хочу к маме. Но вместо всего этого я сказал:

— У меня не сложились отношения в отделе. Это долгая история. От меня не прочь избавиться. Вот почему я у вас.

— Это не ответ на мой вопрос.

Он вышел из-за стола, взял мою голову в большие теплые ладони, пошевелил ее и вдруг сжал. Был острый укол боли, я сумел не вскрикнуть, но вздрогнул.

— Осколок, пуля? — спросил он.

Конечно, в самое непродолжительное время он все из меня вытянул, даже то, что я нарочно придуряюсь, чтобы меня не приняли за симулянта. Об этом лучше было бы умолчать.

— Вы знаете, что в психиатрии вместо «симуляция» принят термин «агровация» — сознательное усиление болезненных симптомов. Это тоже признак болезни.

— Но я...

— Вы не в форме,— перебил он меня.— Давайте возьмем это за основу. Психиатрия — не точная наука. Я вполне допускаю, что вы можете продолжать службу, и это полезнее для вас, чем вакуум покоя. Но мы с вами люди в шинелях. Я не могу ни отослать вас назад, ни оставить здесь. Я должен вас комиссовать. Возможно, вас не демобилизуют.

— Где эта комиссия?

— В Саратове.

— Я туда не поеду. Направьте меня в Москву. У меня хорошие отношения в ПУРе. Я уверен, обойдется без всякой комиссии.

— В Москву мы не имеем права посылать.— Он долго и пристально смотрел на меня.— Но я нарушу инструкцию. Дальше фронта не пошлют,— он усмехнулся.— У вас интересный случай. Я уверен, что перегрузки, в том числе душевные, для вас благо. Но сейчас тележка слишком перегружена. Я не знаю, как вы справитесь, но уверен — справитесь. Хотелось бы в этом убедиться.

— Я напишу вам.

— Вы писатель — молодой, начинающий. Я вас не читал, не слышал вашего имени. Если когда-нибудь услышу, значит, не совершил ни должностной, ни врачебной ошибки.

Он достал из ящика письменного стола госпитальный бланк и стал что-то писать...

Я не мог обнять и поцеловать этого доброго, умного, совестливого земца с четырьмя шпалами, не мог ничем выразить своей слезной благодарности. Уходя, я козырнул, приложив руку к пустой голове (армейский ум, как известно, находится в шапке), затем еще раз козырнул и, как последний дурак, в третий раз вскинул руку к виску. Но уверен, что он все понял.

...Получив ключи от Москвы в запечатанном конверте, я вышел из госпиталя.

Не знаю, чем объяснить, но короткая эйфория погасла, едва за мной захлопнулась госпитальная дверь. Мне вдруг стало жаль терять здешнюю жизнь, в которой мне ничего не светило, и людей, чьи пути пересеклись с моим. Это было бы понятно, если б речь шла о враче-психиатре, о женщине в поезде, о бойцах, вытащивших меня из воронки, о стройбатовцах, извлекших из земляной могилы, о полудеревянном ездоном, о хозяйке избы, кормившей и терпевшей меня, даже о глупенькой Наденьке, даже о черкесе Рубинчике, но в сознании на равных с ними скользили тени работяги Бровина, Набойкова, толстой Аси, сонного дневального и даже Мельхиора. Они все чем-то нужны мне, хотя я им совсем не нужен, а вдруг тоже нужен и тоже промелькиваю видением сна или яви?..

День был еще ясен, но все предметы резко очертились в пространстве, налились тенями, недоверчиво ушли в самих себя, как это бывает под уклон дня. Над



горизонтом легла фиолетовая тень земли. Я, конечно, не успею домой дотемна. Дорога лишь казалась короткой: до леса рукой подать, за ним сразу околица с колокольней, от колокольни видна моя изба, а в ней теплая лежанка и кусок сала, который я вчера предусмотрительно не доел. Дорога обманывала, она была волнистой: горбина — провал, вверх — вниз. Когда смотришь отсюда, провалов не видно, горбины же складываются в короткую линию. Я попаду в ночь, а с некоторых пор я не доверял ночи. Решено: я заночую здесь.

Химическая грелка, которую я налил водой перед тем, как покинуть госпиталь, жгла руку сквозь варежку, но тепло не передавалось телу. Я сунул грелку за пазуху. Она тут же прорвалась, из нее посыпался какой-то черный порошок. Маленький участок груди под грелкой быстро погорячел, и я почувствовал, как, ожившая, по нему просеменила вошь.

Ветер, шатавший скворечни, спустился вниз, стригнул, словно птичьим крылом, по снегу и студию полыхнул под шинель. Я прижал одежду там, где ударил холод, и не дал ему обнять меня всего, но ветер загудел и накинудся на меня, ожесточенно, без передышки...

В первой избе, куда я сунулся в поисках ночлега, мне отказал военный в синем галифе и матросском тельнике. На мой стук он приоткрыл дверь, заполнив щель своим большим сытым телом, и стал молча проверять засов и ход задвижки в петлях, словно я стучал специально для того, чтобы указать ему на их ненадежность. Не спеша и основательно притворил дверь и наложил запоры.

В другой избе мне даже не открыли двери. Хриплый мужской голос спросил:

— Кто таков?

— Из госпиталя... Пустите переночевать.

— Раненый, что ли?

— Контуженый. На комиссии был...

— Места нет, — сказал человек и равнодушно зашлепал прочь от двери.

Я подождал зачем-то и пошел к следующей избе. Меня сразу впустили. Здесь были одни женщины: старуха, молодая солдатка с младенцем у груди и уродливая бабенка с вытянутой конусом и приплюснутой сверху головой.

— Ранетый? — с состраданием спросила старуха.

Я объяснил что и как.

— Раздевайтесь, товарищ командир,— сказала старуха.— Я вам валеночки дам.— Она достала с печки пару разношенных драных чесанок.— Нехорошие, а всё тёпше будет.

Я с наслаждением сунул ноги в их колючее сухое тепло. Распотрошившийся вконец химобогреватель бросил в поганое ведро. Но тепло, наполнявшее комнату, не пронимало тело, по-прежнему холод мозжил кости, и всего меня трясло от озноба. Старуха заметила это.

— Вот пройдите туда, товарищ командир, там печка топится,— сказала она, распахнув дверь в другую комнату. Коричневый, грациозный, как цирковой конь, доberman-пинчер выскочил из комнаты и забегал, вскидывая плоскую, змеиную голову с длинной острой мордой.

Откуда такой красавец в крестьянской избе? Это был аристократ высшей марки: дрожь волнами пробегала по его узкому нервному телу. Когда я захотел погладить его, он брезгливо фыркнул, обнажив мелкие острые зубы, и уклонился.

Еще более меня поразило вид комнаты. Полка с книгами, коврик, широкая тахта, письменный стол, заваленный бумагами, фотографии в рамках... Я не решался войти.

— Проходите, проходите,— сказала старуха, заметив мое замешательство.— Их нет...

Я понял, что «их» значит хозяев, и осторожно прошел к белой печурке. В комнате действительно было очень тепло. Плотный ласковый жар обкладывал тело со всех сторон, словно закутывал в нагретый мех.

Около печки лежал штабелек сухих березовых дров. Старуха открыла дверцу и, растревожив угли, сунула сухое полено, мгновенно занявшееся веселым треским пламенем.

— Здесь... у нас...— говорила она, шевеля огонь в печке,— бригаврач с женой живут... Тут всё ихние вещи...

Ничего себе — попал! Главное медицинское начальство фронта! Я не знал, в чем состоит опасность, но было ясно, добром это не кончится. Я почувствовал, что не имею права попирать ногами этот пол, греться этим теплом, дышать тем же воздухом, каким дышал бригаврач. Я не был подхалимом, но я стал осторожен и не

любил фамильярничать с судьбой. Я уже придумывал благовидный предлог для ухода, когда старуха сказала:

— Он сейчас в отъезде. За детьми своими в Торжок полетел. Он второй раз женившись, на молоденькой, вот и хочет деток ей привезть...

У меня отлегло от сердца, но все же я сразу поскромнел в этой избе.

Старуха рассказывала:

— Он строгий человек, справедливый. У них ни крику, ни ругани, ни-ни... А как она что не по его сделает, он ей объясняет. Спокойно так, чтоб она поняла. Терпеливый человек. Иной раз слышно, он ей объясняет и час и два, а голоса никогда не повысит. Она, правда, иной раз заплачет, а он обратно объяснит, что плакать не надо. И так всё ровно у него получается. Заслушаешься.

— Бывало, он ей всю ночь объясняет, — вмешалась баба с конусообразной головой. — Прямки удивление, сколько человек слов знает...

— Да, милая, образование-то у него какое! Что она перед ним есть! — вмешалась солдатка, которая с ребенком на руках подошла и встала в дверях. — Тьфу, и только! Приехала сюда с медицины своей и ничего не может. Кабы не он, ее бы на фронт послали. Я слышала разговор промеж них. Он ей объяснял...

— А уж живут богато... — вздохнула старуха.

Пес, проскочив мимо солдатки, беспокойно заметался по комнате и жалобно заскулил. Мое присутствие доставляло ему почти физическое страдание. Его длинный нос, верно, остро чувствовал тревожный запах дорог, идущий от моего тела и одежды, запах, столь противный и чуждый духу этой комнаты. Ко мне он не приближался, словно запах в своем средоточии был для него смертелен. Он только скашивал на меня круглый янтарный глазок, горевший ненавистью и отвращением. Я, наконец, не выдержал.

— Фу, отогрелся, — сказал я, перевел дыхание, словно мне душно, поднялся и неторопливой походкой направился к двери. По дороге я задержался у двух фотографий, на одной из висевших на стене был изображен сам бригаврач. Лицо его показалось мне знакомым. В мгновенье сотни виденных лиц мелькнули в воображении, но были отвергнуты. Затем пронеслись мутные блики каких-то лиц из раннего детства, вскользь замеченные из окна вагона, на улице, мельк-

нувшие на страницах книжек, лица начали путаться, обмениваться чертами. И вдруг я понял. Бригврач был копией своего пса, или наоборот. Подобное сходство не редкость, но здесь оно было поразительным. Та же плоская голова, вытянутое вперед тонкое сухое лицо, едва проложенное мясом под кожей, с той лишь разницей, что в тонкости черт бригврача не было породы.

Другое лицо было женское. По эмблемам на петлицах я догадался, что это жена бригврача. Совсем юная, года двадцать два, двадцать три. Чуть вздернутый нос, густые волосы, чем-то очень милая.

Я был в дверях, когда мне неудержимо захотелось еще раз взглянуть на карточку жены бригврача. Я помедлил, затем неуклюже повернулся всем корпусом и шагнул к стене.

Странное лицо. Казалось, его не вмещает рамка. Оно выходило из рамки и наполняло комнату огромной, доброй и беззащитной улыбкой. Большеротая и большеглазая, она была скорее некрасива, но, быть может, это и есть самая лучшая и настоящая красота, когда в каждой черточке светится хорошая душа. Я стоял, смотрел и уже не знал, как выйти из этого положения, когда старуха позвала меня: «Присаживайтесь кушать, товарищ командир». Я быстро прошел в первую комнату.

Тетка с головой конусом подала на стол дымящийся борщ. Мы стали хлебать из одной чашки. Хотя борщ был жидкий и, загребая тощий приварок, сотрапезники, в знак ли того, что не брезгают мной, заводили ложки к моему краю, мне показалось, что я никогда не ел такого вкусного борща. Потом бабка вытащила из-под стола кусок лепешки, помазанной чем-то розовым.

— Попробуйте нашего сладкого пирога, товарищ командир, — сказала бабка, — это из шелухи свекольной. У нас собачке свекольник варят...

Я быстро умял кусок, после чего меня потянуло в сон. Я с трудом удерживал потяжелевшую голову, чтобы она не упала на грудь. В этот период жизни все человеческие потребности возникали во мне в порядке строгой очереди. Интенсивность, с какой каждая из них приходила, поглощала все силы, исключала возможность сочетания.

Хозяйка заметила, что я клюю носом, и принялась стелить постель. Она накидала соломы, уложила сверху

два тулупа, а на укрытие дала толстое стеганое одеяло. Я натянул его на голову и сразу перешел в то состояние полудремы, полуяви, которое со времени моего завшивления заменяло мне сон. Едва я лег, как все животное хозяйство на моем теле разом пришло в движение и тысячи буравчиков впились в кожу. В то время, как часть сознания погрузилась в трепетный мир сновидений, которым непрерывный зуд сообщал печальный и томительный оттенок, другая часть отчетливо фиксировала очаги поражения, направляя туда для утишения руки. Я грезил и чесался, и чем печальнее и трепетнее сиял мой сон, тем больше приходилось работать руками.

Я очнулся от бьющего в глаза света. Подобно некоторым животным, которые в момент опасности притворяются мертвыми, я не подал виду, что проснулся. Я хотел выяснить сперва, что угрожает мне. Я слышал немного встревоженный голос старухи:

— Вошли... попросились на ночь. Говорят, на комиссии были... Ну, я пустила, человек больной всёжки...

— Надо было документы спросить, — произнес женский хриповато-разнузданный голос.

— А чего ж спрашивать? — отвечала старуха. — Попросились на одну ночь, сказывают, больные...

— Опустит фонарь, — произнес чей-то тихий голос.

Пятно света качнулось на моем лице и отошло в сторону.

— Надо его растолкать и выяснить... — сказала обладательница разнузданного голоса.

Я не стал дожидаться толчков и открыл глаза. Надо мной стояли две молодые женщины. В позе женщины, склоненной над спящим, есть всегда нечто материнское, на меня пахнуло двойным обаянием молодости и материнства. Это длилось не более секунды. Я быстро сообразил, что их молодости нет до меня никакого дела, о материнстве и говорить не приходится. Полуослепленный фонарем, снова уставленным мне в лицо, я все же мгновенно уловил различие их черт: одна была полная, некрасивая женщина с красноватой кожей, серо-зелеными глазами навывкате — пристальные и недовольные, они не выражали никакой души, зато коричневые с голубыми белками огромные глаза второй были прекрасны. Единственно в расчете на эти глаза, в которых с поразительной быстротой в момент встречи наших взглядов промелькнуло любопытство, смущение, удив-

ление, брезгливость, сострадание, решил я бороться за свое место в избе. Я, конечно, сразу узнал тонкое, нежное, дерзкое, доброе лицо жены бригаврача. Решив заговорить, я прекратил чесаться. Все время, что длилось наше взаимное разглядывание, я не переставая скребся. Я делал это бессознательно, и, чтобы прекратить постыдные движения, мне нужно было специально подумать об этом. Победа над психикой, которую я научился включать и выключать по своему усмотрению, далась мне ценой потери ряда простейших рефлексов, не существенных для тогдашней моей борьбы.

Сейчас мне непонятно, как не умер я в тот момент от стыда. Но тогда у меня с удивительной точностью работал инстинкт самосохранения. Он давал мне ту хорошую грубость, которой мне так не хватало всю жизнь, она словно корка грязи на моем теле облегла защитным слоем все чувства. Я дочесал какое-то место, вынул руки из-под одеяла и, приподнявшись на локте, объяснил им, кто я и как сюда попал. Я сказал им о своей болезни, не скрыл, что я писатель и вообще не простой побродяжка-инвалид, а нечто более сложное и трагическое. Краснолицая подруга хотела потребовать документы, подтверждающие истинность моих слов, но жена бригаврача сказала:

— Оставь, не надо.

Ворча, краснолицая опустила фонарь, и обе молодые женщины ушли в свою комнату. Я слышал, как они там раздевались, смеялись, пили чай. Хотя все сошло благополучно, я решил закрепить успех. Я встал и, постучавшись, слегка приоткрыл дверь. Женщины были в халатах.

— Простите, у вас не найдется немножко табаку? Не могу заснуть, не покурив. Привычка к отраве...

— Мы не курим,— грубо сказала краснолицая.

— Пойдите,— сказала жена бригаврача. Поискала в столе и вытащила пачку «Кафли». Я было шагнул вперед, чтобы принять дар, но она испуганно закричала: — Нет, нет, не подходите! Я вам сама дам!

Издали, вытянув руку с наголубевшими жилками на локтевом сгибе, она протянула мне табак. Будь это сказано иначе, я бы оскорбился. Но у нее это вышло так искренне — естественное отращение чистого человека к грязи, что я не почувствовал обиды. Она в самом деле была такая чистая, прямо сияла. Я взял табак, вернулся

на свое ложе и закурил, немного взволнованный близостью молодых женщин.

Утром, в полусне, я видел, как толстая краснощекая подруга мылась над ведром. Она мылась удивительно тщательно, лицо, уши, подмышки, шею, грудь, запустила мочалку во все извивы тела, скреблась с ненасытной жадностью. Меня слегка замутило. Казалось, она никак не может смыть какую-то застойную нечистоту. Затем она прошла через горницу совсем одетая, в трухе и ватнике, и хлопнула входной дверью. Теперь дверь стала хлопать непрестанно, дыша морозным воздухом. Хозяева готовили горячее пойло для коровы, выносили корм птице. В просвет мелькнул кусочек голубого морозного утра, петух с поджатой ногой, парок, идущий от чего-то теплого, выплеснутого во двор. Одеало защищало меня от стужи, привыкнув к хлопанью двери, я снова ненадолго заснул.

Проснувшись окончательно, я сел на своем ложе, и когда кровь отлила от головы, на краткий миг притушив и снова вернув сознание, я понял, что мне трудно продолжать жить. Как будто кончилось горючее...

Оттягивая время, я сворачивал папиросы одну за другой, но самокрутки выкуривались страшно быстро, и я отчетливо представлял себе, сколь быстротечны будут все остальные оттяжки: одевание, наворачивание портянок, выход на двор, где все хрустело от стужи, и еще одна папироса, самая последняя... И тут я заметил, что жена бригаврача, лежа в постели, следит за мной сквозь неплотно притворенную дверь. Следит — нехорошее слово: смотрит, внимательно и задумчиво, и лицо у нее совсем не такое, как на карточке, невеселое, усталое лицо.

Пес с неодобрением наблюдал этот пристальный взгляд хозяйки. Человеческое боролось в нем с животным: он то и дело прерывал свое занятие, чтобы уничтожить какую-то нечисть на своем теле. Лязгая зубами, зарывался длинной мордой между ляжкой и брюхом. И снова, словно вспомнив, вперял в хозяйку недобрый осуждающий взгляд. Коричневая его шкура золотилась...

Может быть, меня повело безотчетное чувство, стремившееся найти оттяжку, большую, как жизнь. И когда я думаю о своей смелости, не той смелости, что пришла потом, — потом было мгновенное острое чувство тоски и доверия, догадка, порожденная огромной

искренностью, — но о той первой смелости, заставившей меня сделать первый шаг, я вижу, что источником ее была все та же утрата воли к действию жизни.

Пес отскочил, когда я вошел. Он заскулил с тоской и злобой, словно ему разом отдавили все лапы. Подошел к изголовью и, раздвоив взгляд янтарных глаз, уставился со злобой и страхом на меня, с жесткой угрозой — на хозяйку.

Солнце лежало золотыми квадратами на сверкающей упругой белизне подушек, пододеяльник искрился серебристой крупитчатостью крахмала. От ее головы на подушке лежала легкая тень. Вчерашние хлопья морозного румянца растекались по всей коже нежной теплой розоватостью. Она не удивилась, когда я вошел. Мне казалось, что глаза ее отделились и поплыли мне навстречу, таким близким стало ее лицо.

Я долго думал не так, как нужно, об этой встрече. Даже поняв кое-что сразу, я не хотел принять этот редкий, грустный дар жизни в его чистоте, дерзости, печали. Я находил только в себе причину всего случившегося, и это было смесью из униженности, трусливого цинизма и хитрой игры. Так хочется хоть изредка чувствовать себя хозяином происходящего...

Все, что ни говорил я ей о своей болезни, потерянности, отчаянии, что ни делал, якобы в хитром расчете и всплесках настоящей искренности, было не нужно или нужно в той мере, чтобы не разрушить создавшегося у нее образа. От меня повеяло на нее духом простора, утерянного ею, непримиренности, хотя и сказавшейся в бегстве. Я все-таки был в ее глазах если не бунтарем, то хотя бы человеком, не принявшим чужой игры, пусть жалким, несчастным, но оттого лишь более понятным и близким.

Смутно чувствуя, что все не так просто, я готов был удовольствоваться поцелуями. Я целовал ее волосы, щеки, глаза, лоб, грудь. Я подымал голову и глядел на нее сверху вниз. Нежная, сияющая, неразвернутая улыбка лежала на ее лице, словно тень другой огромной улыбки. Бессознательно угадывая во мне бóльшую грубость, чем она чувствовала сердцем, она сама захотела, чтобы я получил все. Это была благодарность, доставлявшая ей едва ли не бóльшую радость, чем мне. Она прижималась лицом к моей груди и вдыхала запах вагонов, вокзалов, тяжелый, душный и тревожный запах дорог, где холодно и неудобно, где огромные ночи,



где страшно и пустынно, грязно и многолюдно и где можно так хорошо потерять доброго справедливого мужа и всю благополучно-насильственную жизнь...

Пес тоже получил по заслугам. Он совсем изощел тоской и злобой у постели, когда она, выбросив тонкую обнаженную руку, не больно, но ласково-пренебрежительно сжала его уши на плоском затылке. Он заскулил и отполз, дрожа. Она засмеялась, и лицо у нее стало такое же, как на фотографии.

А потом, усталый и благодарный, я говорил жалкие слова о том, что надо бы записать адреса, не следует утрачивать связь.

— Не надо, дорогой, — сказала она. — Ни ты, ни я не напишем. Ты же сам знаешь, что мы не увидимся...

Она обняла рукой мою шею и поцеловала меня в рот так долго-долго, что мне прихватило дыхание.

Она дала мне две пачки табаку, хотела дать денег. Она ходила по комнате растрепанная, теплая и бесконечно милая. Я глупо заторопился, уходя...

Ветер охватил меня колюче, жестко и нехолодно. Я расстегнул ворот шинели и шел незастегнутый до самого дома. Дорога бежала вверх и вниз, накатанная до синевы, в желтых выбоинах лошадиной мочи. Я дал табаку хромоту бойцу, притулившемуся со своей котомкой и палкой у перил мостка. Я подсел на розвальни и сунул тридцатку вознице и почти сразу соскочил, потому что не хотел покоя. Я купил у бабы тыквенных семечек и отдал их мальчишкам. И только у леса, в низине, прикрытой тенями сосен, я остановился, вдруг схваченный невыносимой печалью. Словно кто-то больно сжал сердце в горсти. Это был миг острой физической боли, когда отчетливо, хоть не в словах, а в ощущении, мне открылось, что самый тяжелый и грязный период моей жизни, быть может, окажется самым лучшим, ценным и чистым на все годы...

---

В Москве все произошло идиллически просто. Меня внимательно-сочувственно выслушали в ПУРе и послали на комиссию. Поразило не столько их решение, сколько предательство фронтового психиатра — моего ангела-хранителя. Но по зрелому размышлению я понял, что он не виноват. Возможно, он и не писал ни о какой комиссии, но ведь как-то должен был объяснить причину откомандирования с фронта. А в ПУРе посту-

пили простейшим способом, возможно, у них тоже не было иного выхода. К тому же нигде не было сказано, что комиссия меня забракует. Поначалу и я думал, что все обойдется, тем более моя статья 8-а по нынешним нетребовательным временам означала всего лишь ограниченную годность. Но я нагулял себе другую, куда худшую статью — 9-а, по которой полагалась инвалидность. Слишком хорошо я притворился, как выяснилось, — на всю жизнь.

Меня отправили в больницу имени Кащенко. Даже сейчас, по простетвию жизни, мне не хочется об этом писать. Не те нервы. Я сбежал оттуда на следующий день, меня не искали, не пытались вернуть, психов и так хватало. Я лечился дома у двух московских светил. Слово «лечился» едва ли применимо для подобных случаев, вылечиться от этого нельзя, да я и не вылечился, тем не менее прожил жизнь нормального человека и даже вернулся на фронт, пусть в качестве военного корреспондента.

Я обязан этим матери, ее не менее ценному совету, чем в начале войны. Когда я совсем захирел в руках двух медицинских корифеев, она сказала: знаешь что, притворись здоровым.

И я притворился. У нас был близкий друг, видный журналист, он устроил меня военным корреспондентом в газету «Труд», где не требовалось ПУРОВского утверждения. Военкоры профсоюзной газеты не имели воинских званий и ездили на фронт в штатской одежде, но почему-то подпоясанные армейским ремнем поверх драпового пальто или прорезиненного плаща. Их постоянно арестовывали как немецких шпионов. Хорошее было представление о вражеском коварстве!.. Я имел перед ними то преимущество, что ездил в военной форме и даже с наганом, который не сдал.

Снова я попал на фронт по блату. А через два года после окончания войны я сел за руль собственной машины, хотя людям с моей статьей категорически отказано в шоферских правах. Я получил их по блату. Пришло время, и я стал ездить за границу, хотя состоял на учете в районном психдиспансере. Я получал там справки о своей годности к зарубежному туризму — по блату. Лет через тридцать меня сняли с учета — по блату, как всегда. А вот инвалидность я не стал оформлять, как, впрочем, и пенсию. Я не верю в

привилегии, которые государство дает добровольно. Другое дело, если бы по благу...

Я до сих пор храню благодарность главному психиатру Воронежского фронта, полковнику медицинской службы за подтверждение того, о чем я лишь смутно догадывался: мне надо жить с перегрузками, где-то возле допустимого предела. Я именно так прожил свою жизнь, невзирая ни на какие трудности, да и сейчас живу, уже перешагнув за семьдесят. Хочется верить, что он получил подтверждение своей правоты, для этого я достаточно известен.

А моя воронежская тетрадь с затеями рассказов неожиданно выручила меня много лет спустя.

Первым заморозком в сопливой хрущевской оттепели был разгром второго номера «Литературной Москвы» в 1957 году и закрытие этого хорошо заявившего о себе альманаха. То было приметное, печальное и многозначительное событие не только в литературе, но и во всей нашей жизни, поманившей веяни свободы и что-то уж слишком быстро обманувшей. Событием куда более важным, чем нашумевший скандал с детищем Василия Аксенова «Метрополем». В этой истории каждый знал свою цель: Аксенову нужен был громкий отъезд (говорю об этом не с осуждением, боже упаси, а с полным пониманием), кому-то хотелось его поддержать, кому-то — напечататься в престижной компании, кому-то — усложнить свой образ безопасным фрондерством, кому-то — просто повеселиться. «Метрополь» с самого начала задумывался как альманах одноразового пользования. Усилиями двух его молодых участников, людей громадной энергии, честолюбия, литературной жадности, неистовых борцов за писательский билет, провинциальное событие разгорелось в неистовый вселенский пожар.

Альманах «Литературная Москва» не преследовал никаких побочных целей, он хотел лишь конденсировать все здоровые писательские силы, еще остававшиеся в стране. И добился этого уже в первом номере. Успех его при благожелательном молчании начальства вселил надежду на создание воистину независимого печатного органа. Но уже на втором номере разразилась гроза сокрушающей мощи. Альманах уничтожили в лучших традициях тоталитарной беспощадности. И странно, что сейчас, когда так охотно роются в окаменевшем г... прошлого, никто не вспомнил о судьбе

смелого предприятия Эм.Казакевича и его сподвижников. А ведь и сейчас живы люди, создавшие этот альманах и мужественно бившиеся за него, но, тихие, щепетильные интеллигенты, они не хотят ни лавров мученичества, ни запоздалой гражданской славы. Жив и кое-кто из участников, я например. И коли меня вывело на эту тему обращение к далеким воронежским дням, я решил нарушить невесть когда, кому, кем и зачем данный обет молчания. Я имею на это право: в центре (сейчас непременно сказали бы в «эпицентре») разноса были рассказ А.Яшина «Рычаги» и Ю.Нагибина «Свет в окне». Уже в ходе проработки тринитарное мышление заставило присоединить к нам Николая Жданова с милым рассказом «Поездка на родину». Большой хуле подверглись театральные заметки А.Крона. Ругали И.Эренбурга и других, но несравненно тише.

Ко всем моим делам неизменно примешивается какое-нибудь недоразумение, тот вздор, до которого так охоч был фельдмаршал Суворов. Он и зятя своего, бездарного Хвостова, привечал лишь за то, что тот неведомо каким образом носил титул графа Итальянского. Очень это веселило мудреного старика. Разгром альманаха начался с истошно ругательной статьи И.Рябова в «Правде», где основной удар пришелся по яшинским «Рычагам» и нагибинскому «Хазарскому орнаменту». Все понимали, что долбить меня надо за «Свет в окне» — о бунте маленького человека, «винтика», восставшего против системы, и на двухдневном шабаше в ЦДЛ и во всех органах печати, кроме «Правды», так и делали. А «Правда» назвала невинный рассказ «Хазарский орнамент» — о том, как в Мещеру приезжает новый хороший секретарь райкома.

В чем тут дело? Это до сих пор остается для меня загадкой, одной из тех нелепиц, которыми так богата моя литературная жизнь. Единственно правдоподобное объяснение такое: бывший секретарь писательской партийной организации Владыкин некоторое время работал в «Правде» то ли зав литературным отделом, то ли редактором по этому отделу (возможно, его должность называлась как-то иначе, я не силен в партийно-бюрократическом жаргоне). Он попросил у меня рассказ. Я дал ему «Свет в окне», полагая, что публикация в газете не помешает его альманашной судьбе. Рассказ приняли, горячо одобрили, набрали, откорректировали и отложили. Может быть, Владыкин боялся, что я

подниму шум: почему же в органе Центрального Комитета мне ни слова не сказали, что рассказ порочный, вредный, очернительский, троцкистский наконец! И до этого договорились мои коллеги на писательском форуме. Еще там сказали, что рассказ звучит призывом к бунту рабочего класса в союзе с интеллигенцией против партийного руководства. В рассказе нет, даже в подтексте, ни одного интеллигента.

Вот почему «Правда» обрушилась на «Хазарский орнамент», не обмолвившись и словом о «Свете в окне». Меня необходимо было покрыть. Собрание оценило административную грацию руководящего органа: на статью в «Правде» ссылались все хулители — рябовский поклеп являлся как бы основополагающим документом, но молчаливым сговором было признано, что «Правда» прибегла к эзоповскому языку и, говоря «Хазарский орнамент», подразумевала «Свет в окне».

Эта подмена действовала и впоследствии, когда я преспокойно печатал разруганный «Правдой» «Хазарский орнамент», но до 1988 года не мог включить «Свет в окне» ни в один сборник. В названном году «Неделя» вернула к жизни «Рычаги» и «Свет в окне».

Оберегая свой слабый рассудок, уже дважды подвергавшийся нападению, хотя и в иной форме, я не явился на литературное судилище, но добрые души держали меня в курсе дела. Я знал, что за наши рассказы самоотверженно бились Маргарита Алигер и Вениамин Каверин. «Мы стреляем по нашим товарищам, которые вырвались вперед!» — говорила Алигер. Это не помогло. Высокое собрание заклеямило Яшина, Нагибина, Жданова, осудило Крона, Эренбурга, редактора Казакевича и всю редакционную коллегию. Было вынесено решение о закрытии «Литературной Москвы». Чем это лучше сталинско-ждановской акции в отношении «Звезды» и «Ленинграда».

С этого собрания пошли «черные списки». Попавших туда на какой-то срок переставали печатать.

У меня в «Знамени» лежал большой рассказ «Ранней весной», я наивно полагал, что он поможет моей реабилитации. «Не время», — жестко сказал главный редактор Вадим Кожевников. Я не обиделся: несколько газет уже успели вернуть мне принятые раньше рассказы. Наконец-то я понял, что вместе с Яшиным и Ждановым отлучен от литературы.

Почему-то мне не верилось, что это всерьез и надолго. Хрущевская примавера еще долго будет туманить нам головы вопреки всем грубым и печальным очевидностям происходящего. В какой-то мере эта вера имела смысл, мы все-таки пасли время, хотя часто не могли уберечь его от волков.

Последние сомнения в том, что дело закручено всерьез, отпали, когда мать понесла в ломбард свою жалкую кротовую шубу и остатки столового серебришка. Такого давно уже с нами не случалось, с уходом корифея всего и вся мои литературные дела неплохо наладились. Мне подкидывали что-то в «Знамени» для внутреннего рецензирования, но на это не проживешь с семьей, да и хотелось печататься, я уже привык к этому.

Как-то раз мой друг еще со вгиковской скамьи Л. Карелин пригласил меня пообедать в «Прагу». Перед десертом со слегка затуманенной головой я пошел в туалет. Глядя на свое мутное отражение в фарфоровой глади, я задумался о невеселом будущем и очнулся от тугого долгого альтового звука — кто-то рослый и тучный справа от меня победно упер золотистую струю в стенку писсуара. Так мочиться может только победитель, победитель на всех путях своих, человек отменного здоровья и душевного равновесия, бодрый, до ликования уверенный в себе хозяин жизни. Важный, освобождающий и очищающий процесс обеспечивался безотказными почками, образцовым мочевым пузырем, тугой мускулатурой, здоровой психикой и крепкой нервной системой. Мне даже пришлось отодвинуться, чтобы не попасть под брызги шампанского. А отодвинувшись, я смог проследить его стать от уровня писсуара до вершины, где находилась небольшая круглая голова. Я увидел императорский мясистый профиль, серые теплые глаза, седеющий ежик светлых волос — я увидел Анатолия Софронова.

И он меня узнал.

— Как дела? — участливо спросил он, не переставая мочиться.

— Дрянь дела!

— Денег нет?

— Нет, и не предвидится.

— Составьте сборник для «Библиотечки «Огонька» — двойной, листов на шесть. И приносите как можно скорей.

Меня много и охотно печатали в «Огоньке», недавно вышел очередной сборник в «Библиотечке».

— Вы меня только что издали.

— Неважно. Издадим еще. Случай особый. «Свет в окне» включать не стоит, хотя рассказ далеко не так плох.

Он улыбнулся и, словно корабль, отплыл в свою сияющую жизнь.

Ничуть не веря туалетному меценатству, я все же собрал рассказы и отнес в «Огонек». Через полтора месяца книжка вышла. Тогда хорошо платили, и жест Софронова не только расколдовал меня для литературы, но и обеспечил нашей семье полгода беспечальной жизни. В.Кожевников, увидев, что поле разминировано, тут же заслал в набор «Ранней весной» и пригласил меня для серьезного мужского разговора.

Суть разговора сводилась к тому, что надо выступить с таким рассказом, чтобы там поняли: нелицеприятная партийная критика вывела меня на истинный путь. Тогда история с «Литературной Москвой» будет исчерпана. В.Кожевников, хорошо знавший и меня, и мои обстоятельства, сказал: к сожалению, вы не такой человек, чтобы не попасть снова в дерьмо, но хотя бы переведете дух и выкупите ложки из ломбарда.

— А «Ранней весны» для этого мало?

— Мало,— серьезно и ответственно сказал Кожевников.— Прежде всего, он мрачноват. В нем нет той просветленности, какой от вас ждут. Я не призываю к халтуре, приспособленчеству, сладким соплям. Да это и не пройдет. Нужно творчество. Неужели у вас ничего нет в заглашнике?

— Кажется, есть... Но надо малость поколдовать.

— Не тяните. Сейчас самый момент...

Я не тянул. Через неделю принес ему большой рассказ «Путь на передний край». Здесь были использованы мои дневниковые записи и все три затеси: «Женщина в поезде», «Четвертое измерение», «Жена бригаврача». Тем, кто прочтет эти затеси, они вряд ли покажутся очень солнечными, способными убедить подозрительное начальство в моей перековке под влиянием принципиальной доброжелательной критики. Но за семь дней затеси решительно преобразились: никаких вшей — нервное почесывание на почве легкой контузии, никаких греховных игр с женой бригаврача — проникновенный разговор о смысле жизни, в результате кото-

рого она бросает деспота-мужа и уезжает на фронт. И вообще — ничего болезненного. В госпитальной сцене пациент дает военврачу урок патриотизма, и даже история с жалким полудеревянным человеком обрела под густым патриотическим соусом вполне радужный вид. Потрудился я и над общим колоритом, высветлив и осеребрив его муругий — серо-буро-коричневый с желтым выблиском — тон. Если затеси напечатать рядом с рассказом «Путь на передний край» — последний явит образцовый пример конформизма. Вадим Кожевников пришел от рассказа в восторг, не подозревая, что тут явлено то самое приспособленчество, о котором он меня предупреждал. Его смутило лишь, что жена бригаврача лежит в постели очень легко одетая. Я тут же нарядил ее в байковый халат, закутал в пушистый шерстяной плед, а голову повязал шелковой косынкой. Но и в таком виде она вызывала сомнения. Тут уж я заартачился, как та девица, что, подарив себя кавалеру, стыдливо отводит губы. «Ладно,— сказал он с видом отчаянного игрока,— будем вместе гореть!» Знал хитрец, что гореть мы не будем. На ближайшем пленуме МК Алексей Сурков, говоря о благотворном влиянии партийной критики на художника, привел в качестве примера мои военные рассказы, опубликованные в «Знамени». Препарированная по законам социалистического реализма история о завшивевшем контуженом бедолаге вытянула на буксире и мрачноватый рассказ «Ранней весной»...

В эти дни Александр Яшин обратился с письмом в ЦК: «Пусть я написал ошибочный рассказ, почему моя семья должна голодать?..»





# НИЧТО НЕ ВЕЧНО..

От издателя

*Минувшим летом я приобрел избу в деревне Вербово Калужской области, на берегу знаменитой Угры. «Стояние на Угре» — под таким названием вошла в историю освободительная война Ивана III, положившая конец двухсоттридцатисемилетнему татарскому игу. Странная война, где не сверкнул меч, не пролетело ядро, не прозвенела стрела, а исход ее был куда важнее самых блистательных битв, воспетых летописцами.*

*На тихих, поросших лозняком берегах быстрой и чистой речки, с просвечивающим на мелководье песчаным дном, с утренними и вечерними туманами, русалочьими играми в полнолуние, таинственными криками ночных птиц, решился великий спор. Степнякам все тутощнее крепко не нравилось: туманы, русалки, стоны выпи и уханье сов в подступающих к воде лесах, одрожливая стужь рассветов, оскудевшая кормами еще в исходе лета глинистая земля, молчаливое, недвижимое, непонятное русское войско. Его было много, куда больше, чем татар, почему же оно не нападает, почему не пытается прогнать нерешительных пришельцев? Не веря в победу, давно перегорев духом, татары хотели быть разбитыми, рассеянными, изгнанными, только бы кончилась эта неопределенность, эти дальние, изнурительные, бесцельные походы в холодную, голодную страну, переставшую подчиняться.*

*Их быстрота, удасть, бесстрашие перед смертью завязли в русском неповоротливом упрямом бездействии. Великий князь Иван III, первым принявший титул Великого князя всея Руси, никогда никуда не спешил. Можно подумать, что неким таинственным путем ему ведомы были ходы истории и обреченность прежде все- сильных врагов. Не надо ни помогать, ни мешать predeterminedенному ходу вещей. Он так поступал всю жизнь, и у него все получалось. Медленно, тяжело, неторопливо свершился поворот исторического руля. В одно туманное, седое утро задрожала земля под копытами татарской конницы, и, не потеряв ни одного человека убитым или раненым, не причинив и неприятельской рати даже малого ущерба, степняки унеслись в пустоту своей никому уже не интересной судьбы.*

*И, думая об этом по утрам в просквоженном солнцем деревянном щелястом домике деревенской уборной с краю небольшого огорода, поступившего в мое владение вкупе со всей усадьбой, я перекидывался мыслью к сегодняшним дням и спрашивал себя: когда же новая злая сила, покорившая Русь всего семь десятков лет назад, доконавшая куда сильнее татар, поймет, что ее историческое время истекло, и перестанет гадствовать, цепляться за призрак былой власти, мимикрировать, выворачиваясь наизнанку, и ускачет в свою пустоту? В дремотном бредемке мне представлялось, что я должен пересидеть ее здесь, в смрадной крепостце на берегу Угры, в мудром Ивановом ожидании, явив миру после великого угринского «стояния» столь же великое угринское «сидение». Возможно, после всех событий последнего времени у меня слегка поехала крыша...*

*Человеку, измученному крошечными и скверными городскими уборными, особенно в совмещенных санузлах, где ты зажат между холодной фарфоровой скулой умывальника и облупившейся стеной, балансируя на шатком, готовом рухнуть унитаза и почти всегда оторванном, сползающем, выдирающемся из-под тебя стульчаке, понятно будет то наслаждение, которое дарит утреннее посещение просторной, уже согретой солнцем, но приятно продуваемой ветерком деревянной смолистой наземной скворечни. Хотелось остаться там навсегда, независимо от социальных, политических расчетов, по-лермонтовски забыться и уснуть,*

чувствуя дремлющие в груди силы и свою тихо вздымаемую дыханием грудь.

Но, жертвы цивилизации, мы не можем перемогать жизнь в блаженной отключенности от той нервной, перенасыщенной информацией суеты, которая подменяет нам душевную жизнь. И я стал вытаскивать из ящика для бумаги — пепифакса, естественно, не было в деревенской глуши, как, впрочем, и посреди шума городского, — машинописные листы и читать их. Меня не удивила эта письменность — второй экземпляр рукописи, аккуратно перепечатанной на качественной финской бумаге, поскольку покойный хозяин избы был литератором. Во всяком случае, считался таковым, сотрудничая в патриотических изданиях: «Наш сопразник», «Молодая лейб-гвардия» и военной газете «Утро». Писал он все больше по национальному вопросу, столь дорогому для этих изданий, совершал экскурсии в историю, углублялся в классическую и современную литературу, исправно участвовал в митингах и культурных мероприятиях патриотов, вечерах с песнопением, водосвятием и преданием анафеме инородцев, но был мало приметен на общем сером фоне заединщиков. Лишь раз привлек он внимание общест-венности коротким бурным романом с одной из тех горластых литературных климактеричек, которыми почему-то богато русское движение; эти беспокойные дамы принимают свой половой дискомфорт за любовь к простому народу. Как положено в этом кругу, роман завершился мордобитием врезанием нового замка в дверь, доносами и разбирательством на парткоме — песнь любви была пропета до конца. Потерпев мораль-ный и материальный ущерб, кавалер вернулся к старой жене, на тихий берег Угры, но вскоре отбыл в лучший мир, чего в худшем никто и не заметил.

Словом, это был типичный представитель того, не умственного, не духовного, не социального, не политического, а чисто физиологического движения, суть которого в утробной ненависти к мифическим жидо-масонам.

Я, конечно, его не читал. Но, поскольку все патриоты пишут об одном и том же и совершенно одинаково, имел отчетливое представление о его литературе. И меня несколько не удивило, когда на первой же попавшейся странице я наткнулся на рассуждение о еврейских кознях, приведших ко второй мировой войне. Ни-

чего оригинального тут не было: буквальный пересказ «открытия» шизанутого историка Климкова, потеснившего со страниц «Нашего соотрапезника» крупнейшего теоретика погрома Запасевича. Климков «доказал», что войну развязали евреи руками евреев же: Гитлера, Геббельса, Гимmlера, Розенберга, Рибентропа, Бормана, Гесса, Кейтеля, Кальтенбруннера и, для отвода глаз, одного немца Геринга, правда, женатого на еврейке. Дьявольски коварный план состоял в том, чтобы геноцидом, печами Бжезинки, Освенцима, Бухенвальда, Майданека, Маутхаузена вызвать в мире сочувствие к евреям и на этой моральной базе создать государство Израиль.

Я прочел эту галиматью и с удовольствием использовал листок по назначению.

Другой раз я вычитал рассуждение — опять-таки по Климкову — на тему первой мировой войны. Ее развязали, естественно, все те же евреи, захватившие немецкий генеральный штаб и царское правительство. В России вообще все оказалось в руках евреев: царский дом, министерства, армия, флот, промышленность, сельское хозяйство, искусство, литература, журналистика, образование. Возле трона остался лишь один русский человек, старец праведник Распутин, но был зверски умерщвлен жидомасонами Эльстоном и Пуришкевичем. Листок был отправлен по назначению.

В очередной раз я обласкал свой зад, как выражался малыш Пантагрюэль в беседе со своим маститым отцом Гаргантюа об утреннем туалете, размышлением об Октябрьской социалистической революции, содеянной еврейским синедрионом во главе с Бланком и Бронштейном по прямому указанию Сиона. Все это были старые запетые мотивы. В который раз, знакомясь с сочинениями патриотов, я удивлялся, почему они так унижают великий народ. Если верить им, русские не были участниками собственной истории, так и просидели на скамейке запасных, пока инородцы гоняли мяч по их полю.

Обратило на себя внимание и то, что автор называет творцов и распорядителей бесовских акций не сионистами или жидомасонами, как положено, а Вечным жидом. Такой прием естествен в художественной литературе, но странен и не вполне корректен в научном исследовании. Впрочем, суть от этого не менялась, равно как и предназначение листка бумаги с

письменами. Непонятно было и само назначение трактата. Климов изложил свое учение настолько простыми, общедоступными словами, что ничуть не нуждался в адаптации, комментариях, расшифровке, переводе на какой-то еще более примитивный язык. Да этого и нет, слово автора из уборной гущи, плотнее и труднее прозрачной климовской хрестоматии для умственно отсталых.

Но следующий визит в отхожую читальню принес неожиданность. Случайно я выхватил из ящика первую страницу рукописи и с удивлением прочел заголовок: «Ничто не вечно...». С еще большим — идущее с отточия начало текста: «...даже Вечный жид». Я стал читать дальше и с каждой строкой все больше убеждался, что передо мной не научный труд, не публицистика, не популяризация, а художественная проза — большой рассказ, написанный весьма уверенной рукой, в манере обстоятельного, неспешного, едва ощутимо ироничного повествования. Проза художественная не только по намерению, но и по отчетливым беллетристическим способностям автора.

Я стал читать и зачитался настолько, что не обратил внимания на неоднократные попытки кого-то из домашних сменить меня на посту. Очнулся от мощного дробного шума на задах кабины. Это мой молодой шофер, не выдержав, справлял малую нужду, расстреливая, как из пулемета, тугие, гулкие листья лопухов.

Тогда, забрав рукопись и сожалея о произвольно сделанных купюрах, я покинул убежище.

Прочтя же рассказ, я перестал жалеть о потере нескольких страниц — то был непереваренный в горниле художественного творчества публицистический материал. То ли автор еще предполагал работать над рукописью, то ли специально не перевел в беллетристику рассуждения Климова для придания пародийного научного правдоподобия своей занятой ахинеи.

Но вообще говоря, это не пародия на историческое повествование, ибо тут нет намерения высмеять какую-либо литературную манеру, стиль, способ мыслить. Иногда кажется, что автор вполне серьезен, что он сам верит — дневному разуму вопреки — в то, что выводит его рука. Тогда это некий беллетристический юдофобский апокалипсис — порождение ужаса от явленного воочию будущего землян. А порой прогля-

*дывает откровенное издевательство над теми, чьи взгляды он разделял и поддерживал, над союзниками, братьями по духу и высоким истребительным целям.*

*Мелькнула и такая бредовая мысль: что, если начав в сатирическом тоне, с язвительной улыбкой в уголке тонких губ, он сам поверил в свою невероятную выдумку, испугался и кончил вполне серьезно? Пробедал путь от Ильфа и Петрова к св.Иоанну от антисемитизма? Пусть читатель сам судит об этом.*

*Я не мог восстановить уничтоженные куски, но, думаю, потеря невелика, и без них все ясно.*

## НИЧТО НЕ ВЕЧНО...

...даже Вечный жид. Однажды он нахамил Христу (он был тогда не вечным, а самым обычным смертным пошлым иерусалимским обывателем) и понес за это странное, невысказанное наказание: его приговорили к вечной жизни.

Вначале он не поверил: обычные фокусы самозванных пророков и предсказателей, которые пронзительно ясно видят, что будет через тысячу лет, но не знают, что случится завтра. Пойди проверь, действительно ли будет он жить вечно или по истечении положенного человеку на земле срока отправится к праотцам. Мужик он крепкий, сплошные мускулы, никогда ничем не болел, и к тому времени, когда отдаст концы, едва ли кто из свидетелей останется в живых, стало быть, и некому будет проверить предсказание, если вообще сохранится о нем память, что маловероятно.

По прошествии полутора года лет он начал думать: пусть насчет вечности Иисус и хватил лишку, но жизнь ему выпала и впрямь долгая. В сто пятьдесят он был свеж и подтянут, как на половине житейского пути. Он удивленно спрашивал себя: в чем наказание? Жить долго — приятнейшая штука, особенно когда ты отменно здоров и каждое утро с удовольствием приветствуешь солнце. Он всегда был хорошим ходоком и сохранил крепость колен, упругость икр, он не злоупотреблял вином, но по-прежнему любил услаждать небо и язык пряным самосским, он не был прелюбодеем, но мог весьма пылко приласкать не слишком алчную блудницу. Жадность юной жрицы любви, будь она прекрасна,

как Суламифь, убивала в нем желание, даже если он был при тугой мошне.

А надо сказать, Вечный жид не нуждался. Он умел делать деньги во все эпохи, при всех режимах, при любых, даже самых неблагоприятных для его нации поворотах истории, хотя начинал как скромный сапожник.

Тем памятным днем он стоял у своего домишки с колодкой в руках, в холщовом фартуке, волосы подвязаны кожаным ремешком, когда со стороны Делароза надвинулось шествие. Впереди, согнувшись под тяжестью креста, ковылял молодой человек с рыжей бородкой, за ним, по обыкновению, четко печатали шаг римские солдаты, дальше толкалась челядь и рабы первосвященника и бездельные жители Иерусалима, замыкали шествие плачущие и поддерживающие друг дружку женщины и несколько мрачных мужчин. Сапожник не сразу сообразил, что осужденный и есть тот Иисус из Назарета, который называл себя царем иудейским и проповедовал в храме. Шествие тянуло на лысый холм — Голгофу, где совершалась казнь способом распятия на кресте.

Иисус остановился у его дома, уронил крест на землю и сделал движение, словно хотел прислониться к стене. Агасфер увидел терновый венок у него на голове и капли засохшей крови там, где шипы впились в кожу. Он не питал ни зла, ни симпатии к этому молодому человеку, о котором говорили разно: одни прислушивались к его убежденным и туманным речам и даже допускали, что он пророк Илия, вновь вернувшийся на землю, другие пожимали плечами, а книжники и фарисеи люто ненавидели, ибо он посягал на их авторитет. В Иерусалиме слухи распространяются раньше, нежели возникнут. Агасфер уже слышал, что римский прокуратор Понтий Пилат, соблюдая закон, предложил толпе на выбор: помиловать безвредного самозванца — «царя иудейского» или разбойника Варраву, и все единым рыком выбрали последнего. Агасферу не к чему было идти против общественного мнения, тем более что он собирался сменить профессию. Надоело возиться с вонючими кожами и дратвой, режущей ладони, хотелось открыть меняльную контору. Он кое-что подкопил сам, сочетая трудолюбие с бережливостью, ловко давал деньги в рост, кое-что ему досталось от недавно умершего родственника — мытаря. То, что осужденный на позор-

ную казнь выбрал его домишко для отдыха, пришлось Агасферу не по вкусу. Еще подумают, что сапожник его последователь. А толпа, злая, как и всякая толпа, низко мстя за вчерашнее поклонение тому, кого сегодня предала, осыпала осужденного бранью и насмешками. Благо бы, прислужники Кайафы, нет, благонамеренные иерусалимские жители: торговцы, портные, плотники, пекари, шорники, жестянщики, ювелиры, писцы, сборщики податей. Иные из них станут клиентами новоиспеченного финансиста, и негоже ему с ними ссориться. И он сказал идущему на Голгофу:

— Ступай отсюда. Здесь не подают.

Осужденный на распятие поднял измученное, залитое потом лицо с провалившимися темно-карими глазами. Сухие, растрескавшиеся губы медленно разомкнулись;

— Нет, я остановлюсь. А ты пойдешь.

Агасфер не был ни палачом, ни злодеем, ни даже жестоким человеком. Он был обывателем, то есть приличным человеком рядовых чувств и поступков, но ради своего блага мог в какую-то минуту оказаться и злодеем и палачом. Сейчас на кон была поставлена меняльная контора, и он не знал колебаний. Да и какое ему дело до этого преступника, осужденного и римской и местной властью? Он громко, чтобы быть услышанным и стражниками и толпой, крикнул:

— Ты идешь на смерть, так иди!

И толкнул его двумя кулаками в грудь. Странно, что этот истомленный, худой человек не только не отлетел прочь, но даже не пошатнулся. Он сказал тихо:

— Я пойду. Но ты не умрешь раньше, чем я вернусь.

— Значит, я никогда не умру,— усмехнулся Агасфер, далекий от мысли, что в эту минуту стал Вечным жидом.

Свое затянувшееся пребывание на земле он считал игрой природы, пока ему не исполнилась тысяча лет, так долго еще никто не жил, за исключением библейских мафусаилов. Но они принадлежали легенде, а он был нормальным, из плоти и крови человеком, когда-то сапожник, после меняла. Давнее происшествие возле дома иерусалимского сапожника душным пасхальным днем обрело звучность и стойкость легенды. Несомненно, осужденный обладал волшебной силой и заколдовал Агасфера. Ведь ему и раньше приписывали разные чудеса: исцеление парализованных и бесноватых, даже



воскрешение из мертвых уже загнившего в склепе Лазаря. Почему же, обладая таким сильным и редким даром, он не воспользовался им для самого себя? Непонятно было и другое: в чем состояло наказание, наложенное им на Агасфера? Жить долго не плохо, особенно когда ты полон сил, желаний, любопытства к окружающему и, прожив десять веков, готов повторить все сначала.

Истомленный рыжеватый кареглазый бедолага раскрутил великую карусель: создал новую религию. Согласно этой религии он пошел на крест, чтобы искупить грехи человеческие, а потом вознестись на небо, в чертог отца своего Господа Бога и разделить с ним власть над всем сущим. Там, правда, был еще кто-то, третий, какой-то Святой дух, он же голубок, но тут крепкий, практичный разум Агасфера отказывал. Откуда взялся этот голубок и где он был раньше? А еще на небе находилась мать Иисуса, еврейка из Назарета Мария — целая мешпоха заправляла мирозданием. Привыкший иметь дело с деньгами, а следовательно, с цифрами, которые не лгут и не обманывают, Агасфер терялся перед расслабляющей сложностью христианской конструкции.

Насколько убедительнее, проще, цельнее и потому доступнее человеческому сознанию была еврейская религия с единым Богом — гневливым, сварливым, мстительным и вместе уютным Ягве. А христиане — это те же язычники: у них куча богов, только, в отличие от язычества, где существует полное разделение труда — есть боги по сельскому хозяйству, торговле, ремеслу, военному делу, искусству и любви, — в христианстве все перепутано, и непонятно, к кому обращаться. Ну, Мария ведает милосердием, а чем персонально занимаются Бог-отец, Бог-сын и Бог — дух Святой? И Агасфер, даже поверив в вечность, которой наказал его оскорбленный им новый Бог, не сменил религию, сохранил веру предков. Если же всерьез, то он вообще ни во что не верил, кроме денег, а религия сводилась для него к обрядам и обычаям. Он соблюдал субботу, справлял седер, ходил в синагогу, там, где синагога была; он очень много странствовал и часто оказывался в местах, где не имелось ни культового дома, ни даже кошерной пищи. Он не вкладывал в религию сердце. Этот чувствительный орган он вкладывал в деньги, в их приобретение, помещение и преумножение.

С годами, вернее, с веками, поверив в свое бессмертие, он стал бережнее относиться к далекому воспоминанию, заслуживающему попасть в историю, но размененному на недостоверные и противоречивые легенды.

Каждая эпоха, каждая страна имела свой вариант происшедшего. На его родине и в Греции, и вообще на востоке Европы были ближе всего к правде. Тут хотя бы называли точно его имя — Агасфер и профессию — сапожник. Сохранились в народной памяти слова, которыми они обменялись с Иисусом, и тычок, отпущенный им осужденному. Но дальше начинались небывицы. Потрясенный якобы исходом и преображением казненного, оказавшимся сыном Божьим, он крестился и принял имя Бутердей («бутер» — бить, «дей» — Бог), то есть Ударивший Бога. Надо быть полным и законченным идиотом, чтобы, поверив в божественность Иисуса, увековечить в своем имени позорный поступок. Агасфер не считал Иисуса сыном Бога и вообще вскоре забыл о встрече с ним, хотя до него доходили темные слухи о похищении из гроба тела убиенного, и ему не с чего было креститься и принимать новое имя взамен данного ему при рождении.

Затем его спутали с привратником претории Картафилом, который действительно обругал и ударил Христа, когда того прогоняли из дворца прокуратора. Но и другие челядинцы поступали так же, и непонятно, почему сомнительная слава досталась одному Картафилу. Он, кстати, крестился впоследствии и стал праведником. Может, за это ему подарили легенду?

Впоследствии путали Агасфера и с рабом первосвященника Анны Малком, которому апостол Петр отсек ухо в Гефсиманском саду, когда арестовывали Христа. Тот пришел по долгу службы, слова дурного не сказал, но попал под горячую руку слишком нервного апостола, и лишился уха. Оскорбил же Иисуса словом и делом Фалас, раб Кайяфы, чтобы выслужиться перед хозяином. Но в предании он обернулся сотником Лонгином, прободившем копьем Иисуса на кресте. А этого, в свою очередь, спутали с тем трясуном, которого Христос когда-то излечил, но тот не признал целителя в распятом на кресте и ударил его по ланите. Из этой троицы молва слепила Вечного жида.

Минули века, и Агасфер без остатка растворился в долгожителе Иоанне Девотра Деи (Иоанне, Преданном Богу) — оруженосце короля франков Карла Великого.

Славный оруженосец прожил двести пятьдесят лет, родился же он через восемь веков после Голгофы.

Испанцы присвоили этого уникама себе, переименовав в Иоанна — Надежду на Бога. Агасфер только презрительно сплевывал, слушая все эти байки, порожденные праздным и беспокойным человеческим умом.

И почему людям так угодна путаница? Даже арест Иисуса в Гефсиманском саду происходил прилюдно, а на всем крестном пути от претории до Голгофы его сопровождала толпа, не разошедшаяся до его последнего вопля и вздога на кресте. Так почему все было искажено, перевернуто, перевернуто? И началось это вранье чуть не на следующий день после казни. Но может, это не вранье, а бессознательное, неуклюжее творчество народных масс, не удовлетворяющихся грубой очевидностью происходящего? Истина не нужна людям, ибо она однозначна. Интересна лишь муть, дающая возможность поиска (так люди называют заморочивание головы себе и окружающим), угадок, предположений, споров, опровержений, всей той мелочной суеты мнимодуховной жизни, до которой падки не только книгогои, но и уличные торговцы, слуги и женщины.

Агасфер не был ни честолюбив, ни тщеславен, да и чем было тщеславиться: оскорбил и ударил беспомощного человека? — но историю надо уважать, и в песне важна каждая строка. Время само выбирает из человечьей несметы тех, кто должен сыграть на его подмостках. Христу положено было испытать еще одно унижение, наиболее для него горькое, ибо было нанесено не рабом, не челядинцем, не воином-латинянином, не слабоумным, а свободным гражданином в расцвете сил и соотечественником. Жест Агасфера обрел значение символа — Иисуса отверг коренной Иерусалим, который он вознадеялся обратить в свою веру.

Агасфер, никто иной, сделал это и был наказан бессмертием. Все остальные претенденты на роль Вечно-го жида — вольные или невольные шарлатаны.

Его наказание не ограничивалось бессмертием, он был обречен на постоянное движение. Вот что значили слова: «...я остановлюсь, а ты пойдешь». Он и пошел, стал скитальцем, вечным странником, без постоянного жилища, без семьи и привязи к чему-либо. Подобное должно быть мучительно тучному, задышливому

коротышке, ленивцу, лежебоке, преданному семьянину, домоседу, которому и за порог ступить боязно, но не поджарому атлету, перекаати-поле, начисто лишенному семейных добродетелей: ему ходьба всегда была в удовольствие, а перемена мест — в радость. Он и с ремеслом своим сидячим мирился до поры лишь потому, что тачал обувь, в которой человек искаживает землю. Но он всегда завидовал мытарям, ведь им по долгу службы надо много ходить, завидовал странникам и бродягам. Новая его профессия позволяла ему свободно перемещаться в пространстве. В меняльных лавках он оставлял надежных людей, а сам бродил по земле, при каждой возможности учреждая новую контору. Все были в выигрыше: сбывалось предсказание пророка, он вел здоровый подвижный образ жизни, финансы процветали.

Если в первые двенадцать-тринадцать веков дела заставляли его обуздывать охоту к перемене мест, то с умножением банков в Европе и странах Леванта он получил полную свободу. Конечно, он не пустил свою финансовую империю в свободное плавание, но при нажитом громадном опыте, безошибочном нюхе и легкой руке мог не перенапрягаться и вольно служить бродячей страсти. В его владении находился и капитал Иуды, отдавшего ему перед самоубийством тридцать сребреников — цену предательства — с правом распоряжаться ими по своему усмотрению. Правда, с одной оговоркой: деньги можно пускать только на добрые дела. Но, поскольку Вечный жид еще ни разу не столкнулся с таким делом, которое мог бы от чистого сердца считать добрым, — все происходившее на его глазах было двусмысленным и этически сомнительным — проценты росли на проценты, и тридцать монет давно превратились в миллионы. Словом, Вечный жид не нуждался в деньгах.

От всех невзгод, преследующих человека, Агасфера защищали бессмертие, железное здоровье и несметное богатство. Он не был мучеником страстей и неутолимых стремлений. Человек довольно уравновешенный, он спокойно пил из неубывающей чаши бытия, исполняя все свои желания, не ведая ни в чем отказа. И естественно, ему не удалось избежать того, что рано или поздно постигает баловней судьбы, — пресыщения. Жалкие мотыльки жизни — римские императоры, французские короли эпохи абсолютизма, английские

аристократы — успевали испытать это чувство за свой короткий век. Вечный жид держался чуть ли не восемнадцать столетий, хотя первые признаки недуга ощутил куда раньше, когда понял, что нельзя доверяться новизне, кажущейся многим надежным гарантом перемен. Конечно, что-то новое появляется порой, но стоит взглядеться внимательней, и чаще всего под блестящей оболочкой обнаружишь старые лохмотья. И он понял, что время надо насыщать пространством. Когда время, такое медленное в часах и днях, такое мимолетное в годах и столетиях, открывает тебе неведомые миры, ты его не замечаешь. Не скучен никакой путь: ни пеший, ни конный, ни на осляти, ни на высоком горбу верблюда в дремотно медлительном ритме каравана, если протекает мимо тебя пространство. С прекращением движения останавливается время. Движение надо понимать шире, чем собственное перемещение: если ты потягиваешь зеленый чай в бухарской чайной напротив Биби-Ханум, время не стоит, как не стоит оно, когда ты куришь трубку с опиумом напротив Императорского дворца в Пекине или посреди шанхайского базара, равно когда ты наблюдаешь молитвенную церемонию тибетских монахов в Лхасе или дремлешь в объятьях стройной черноокой синьорины на берегу океана в Мар-дель Плато...

Но наступает пора, и время замедляет свой бег, а там и вовсе останавливается. Это значит, что мир стал для тебя не просто прочитанной, но зачитанной до дыр книгой. Ты прошел и объездил его вдоль и поперек во все четыре сезона: в весеннее пробуждение, летний зной, осеннее увядание, зимнюю спячку. Тебе уже не хочется никуда, ты исходил все дороги, пересек все пустыни, облазил все горы, спустился во все ущелья, переплыл все океаны, моря, озера, реки. Ты стыл на севере в царстве вечных льдов, ты жарился в адской печи Сахары, на твоих зубах хрустел песок Каракумов, ты купался в кишасей крокодилами Амазонке, измерил шагами всю Великую китайскую стену...

Пространство исчерпано, а время, как ни тужится, уже не в силах дать тебе свежих впечатлений. Костлявая черная птица долбит в висок железным клювом: было, было, было. Меняются лишь декорации и костюмы, суть одна и та же: борьба за власть, ничего больше. Борются могут отдельные личности — честолюбцы, прикидывающиеся народными радетелями (редко такой

радетель выступает без маски), борются нации, сословия, сообщества, партии, церкви. Власть притягательна сама по себе и тем, что всегда приносит богатство, хотя сам властолюбец может быть бескорыстен до аскетизма. Ему достаточно знать, что никто не зачерпнет из его казны, а сам не протянет руки к жирной грязи денег. Еще меняются слова: два-три, не более, но куда чаще совершенно разные по направленности и целям исторические деяния (сходные лишь в одном — аморальности) прикрывают одними и теми же пусто возвышенными словесами.

Какое бы ни творилось бесчинство, оно всегда ради величия и преуспеяния народа, ради святой и праведной веры, ради всеобщего мира и счастья. Иногда это велеречие заменяется одним, столь же беспредметным словом «свобода», тогда начинается самое страшное. Ради святого дела свободы отбрасываются последние приличия и моральные ограничения, кровь льется потоком, головы летят, как березовые листья в сентябре, безмерно множится число несчастных и обездоленных, трещат переполненные тюрьмы, тупятся ножи гильотин. Это страшно надоедает, когда смотришь один и тот же спектакль из века в век. И войны надоели, и бунты надоели, и осатанелые революции, и ложь сильных мира сего, и пыл ораторов, и фальшивые клятвы вожаков, и бесцельные подвиги глупцов, и хитрое самосохранение умных, и мастерство палачей, и вопли женщин всех времен, и гибель невинных младенцев, всегда оказывающихся там, где не надо. Осто-чертела грязь праздной и беспokoйной человеческой души. Мнимые перемены никому не принесли счастья, если говорить о людских массах. Всегда остается верх и низ. И те, что внизу, после всех жертв, страданий и крови пребывают в том же бесправии, нищете и заброшенности.

Как угнетает это однообразное зрелище! Не то чтобы Агасфер чрезмерно убивался над участью несчастных, для этого он был слишком индивидуалистом и считал, что каждый спасается, как может, но он уже слышать не мог торжествующее хрюканье победителей и жалкий скулеж тех, кто всегда проигрывает. Было, было, было — стучал в висок железный клюв.

За столько веков случилось лишь одно, подлинно историческое событие: евреи лишились своей земли, своей родины и растеклись по всему свету. Древнейший

народ (впрямую от первожителеев Адама и Евы), давший столько славных имен, сложивший непревзойденную поэму «Ветхий завет» («Новый» тоже неплох, но нет в нем таких вершин, как «Книга Руфь», «Притчи Соломона», «Плач Иеремии»), избранный Богом народ, перенесший невыразимые страдания и рабство, отстаивавший себя в непосильной борьбе с бесчисленными врагами, совершивший чудеса храбрости от дней Иисуса Навина, повергшего стены Иерихона, до Бар-Кохбы, на котором осеклись победоносные римляне, осиянный древней верой, сохранивший в мучительных испытаниях святость обычаев, волнуящую мощь языка и музыку души, изможденный римлянами и добитый арабами, оказался рассеянным в мировом пространстве, всюду гонимый, преследуемый, презираемый и ненавидимый.

Евреев презирали испанские идалго, которых они ссужали деньгами для борьбы с маврами...

Их презирали голоштаные французские рыцари, которые не могли отправиться ни на войну, ни на турнир без еврейской мошны...

Их презирали тугодумные голландцы, которым они подарили величайшего мыслителя Баруха Спинозу...

Их презирали англичане даже в те дни, когда Бенджамин Дизраэли спасал Британскую империю...

Их презирали немцы, которым они в пору полного опошления нации сделали прививку спасительной иронии Гейне...

Их ненавидели поляки, хотя не Шопен, а евреи научили их играть на скрипке, а ничему большому поляки так и не научились...

Их ненавидели русские, за которых они умирали...

Презирали, ненавидели, завидовали, гнали, убивали... Всюду, всегда, во всех землях, во все времена... За что?.. Вечный жид не находил ответа. Кому это выгодно? Конечно, верхам, а не низам, что им делить с евреями? А вот тем, кто наверху, опасно соперничество евреев в финансах, торговле, науке, предпринимательстве, политике — слишком способная нация. Но главное все же не в этом. Евреи помогают держать в узде быдло, человечью протерь, именуемую в нужный момент народом. Евреи дают любому народу, в толще которого укрываются, ощущение своего хозяйского превосходства. Надо только это народу объяснить. И когда такая беспредметная спесь появляется, правители могут делать с народом что угодно: раком поставить, набить

пасть дерьмом. Все стерпит бедолага и будет хранить гордый вид, потому что есть жида, которых можно топтать, он так вознесен над этими париями, что не замечает собственного ничтожества, нищеты, бесправия, грязи. Что и требуется...

И Вечный жид, когда ему стало невоготу от скуки, — после тщетных попыток самоубийства: веревка лопнула, яд лишь испортил ему желудок, кровь не вытекла из перерезанных склерозированных сосудов, кинжал миновал сердечный мускул, — нашел себе жизненную цель: положить конец унижению своих соплеменников. Возродить бывое величие царства Иудейского — безнадежная затея. Та крупца земли, где еще ютились несчастные, заторжанные, но стойкие в своей вере и обычаях евреи, была так зажата арабами, что смешно было думать создать тут самостоятельное государство. Если даже оно когда-нибудь возникнет, то будет вроде княжества Люксембург — географическая нелепица, не видная на карте. Естественной жизни у него не будет, ибо не собрать ему на своей пустынной, каменистой, а главное, малой земле рассеянное по всему свету население. Да и не позволит этого агрессивное арабское окружение. Это будет псевдожизнь на искусственном дыхании.

И Вечный жид решил в одиночку устроить судьбу своего народа, который был ему так долго безразличен, а с наступлением старости вдруг стал слезно дорог. Может показаться безумием, что он замахнулся на деяние, перед которым все подвиги Геракла — детская игра. Он не имел чудовищных бицепсов сына Зевса, над ним не простиралось покровительство олимпийцев. Он был пожилым евреем чуть выше среднего роста, жилистым и довольно крепким для своих лет, с намечающимися брылями усталости и печали. Но у него было одно важное преимущество перед Гераклом — проклятие Христа: вечная жизнь, ставшая величайшим благом, когда появилась цель. Геракл обрел бессмертие на Олимпе после страшной своей гибели и погребального костра. Лестно, конечно, но не то. Вечный жид был неуязвим и бессмертен здесь, на земле, а не в горних высях. И тюрьма была ему не страшна. Даже самый жестокий режим рано или поздно выдыхается и открывает двери узилищ. Вечный жид убедился в этом на собственном примере. Сорок лет провел он в венецианской тюрьме Пиомби под свинцовой крышей Дворца



дожей. Это случилось в пору, когда он уверился в своем бессмертии и перестал куда-либо торопиться. Он еще не впал в отчаяние, но подутратил несколько вкус к жизни и потому позволил венецианцам держать двери узилища на запоре сколько им заблагорассудится. Для владеющего вечной жизнью сорок лет промелькивают, как один день. Когда он наконец вышел, то не заметил перемен в окружающем. Так же прекрасны и холодны были дворцы, так же вонюча и грязна вода каналов, так же легкомысленны, злы, пусты и алчны люди. Он ни о чем не жалел: натруженные ноги получили хорошую передышку и опять скучали по дорогам. Все же он позаботился о том, чтобы на будущее избавить себя от подобных каникул.

Для осуществления своего грандиозного проекта он располагал помимо времени и здоровья еще одним немаловажным фактором — деньгами — в неограниченном количестве. Последнее, на что он рассчитывал: знание жизни, знание людей, их страстей, пороков, слабостей, страхов. Он знал также, что имеются редкие исключения из правил, странные существа с незримой Божьей отметиной, на которых не распространяются общие законы низости, но их можно не принимать во внимание в больших житейских расчетах. Ибо в пестром и безобразном человеческом хороводе эти святые вырожденцы ничего не стоят, их значение равно нулю, хотя окружающие притворяются, будто чтут их как нравственных кумиров и делают с них свою жизнь.

Он понимал, какую тяжкую ношу готов взвалить на себя, и чувствовал, что она ему по силам. Он ожидает весь мир, все человечество до последней особи. Превратит в евреев жителей пяти континентов, туземцев Океании, обитателей существующей наосось Гренландии, снежного человека Гималаев, даже больших обезьян, собравшихся в люди, если верна теория Дарвина, еще не появившаяся на свет в пору первых размышлений Агасфера о его миссии, но он так долго жил, так много думал и знал о существе сущего, что научился помнить не только «назад», но и «вперед».

Превратить многонациональную планету Земля в Землю Евреев — этим будет заполнена его жизнь в ближайшие столетия.

Чтобы рассказать о том, как достиг Вечный жид своей цели, надобен даже не роман, а эпопея во много раз большая, нежели сериал Эжена Сю «Агасфер». Но

автор, взявшийся поведать о странном чуде, сотворенном одним старым евреем, не только не в силах создавать эпопеи, но даже читать их, в том числе считающуюся безмерно увлекательной эпопею Эжена Сю. В нежном отроческом возрасте, приобрета на деньги от похищенных на винном складе пустых бутылок все шесть пухлых томов «Агасфера» в нарядном издании, он не смог их осилить, сомлев уже на втором томе. И, чтобы не служили они ему вечным укором, позволил школьному товарищу украсть поочередно все шесть аппетитных томиков. Кроме того, что даст такое вот подробное исследование? Опыт Агасфера не имеет никакой ценности для окружающих, ибо больше не может быть применен. Великое деяние исчерпалось в самом себе.

То была неустанная, кропотливая, растянутая в веках работа, отнюдь не романтическая, безжалостно жестокая, костоломно бесчеловечная, ведь история иначе не делается, она каждый свой храм ставит на крови. Самый неблагоуханный из подвигов Геракла — очистка Авгиевых конюшен — куда опрятнее небрежливых трудов Агасфера.

Все собиралось по крупицам, и поначалу неприметно было даже малого успеха, хотя бы продвижения к поставленной цели, напротив, казалось, что Вечный жид совершает движение в обратную сторону. Надо отдать ему справедливость, он не впадал в уныние от крупных провалов, а спокойно начинал все сначала. Он старался тщательно продумать, рассчитать каждый шаг, но и это не гарантировало успеха. Он стойко держал удары, терпеливо вносил коррективы в свои расчеты, но характер у него портился.

Прежде такой подтянутый, сдержанный, всегда соответствующий обычаям, этикету, правилам вежливости той страны и той среды, где ему приходилось действовать, он стал неряшлив, груб, небрежен в словах и жестах. Оказалось, все это совершенно не нужно для того дела, которое он задумал, как и ловкая политичность, тонкая лесть, умение очаровывать. Его оружием стали деньги, деньги и деньги, затем интриги, силовой напор, в основе которого, как правило, лежал шантаж, умелая и грубая игра на социальных и расовых противоречиях. Можно душить с нежной улыбкой, можно ставить человека на колени, шадя при этом какие-то хрупкие ценности в его душе. Вечный жид прежде так и

поступал, но потом сбросил маску. Впрочем, трудно сказать, была ли это маска. Возможно, он стал другим, в нем сменилась кровь. Быть может, он лучше узнал людей, прежде всего, власть и силу имущих и преисполнился великого презрения к ним. И еще он узнал, что заинтересованного в тебе человека невозможно обидеть. А поскольку все люди чего-то хотят друг от друга, человечество необидчиво. Он умел этим пользоваться.

Чтобы понять, как менялась повадка Вечного жида, достаточно сравнить его обхождение с Людовиком XIV в исходе семнадцатого века и с Николаем I в середине девятнадцатого. Исторически хорошо известны тесные отношения Короля-Солнца с банкиром Бернаром, но едва ли кому ведомо (в том числе самому Людовику и его морганатической супруге мадам де Ментенон, часто делившей интимные ужины монарха с банкиром), что мнимый Бернар — французское имя не могло скрыть сильный подмес восточной крови — был Агасфером. Он ссужал короля деньгами для бесконечных, затяжных и несчастливых войн — пора блистательных побед Конде и Тюренна давно миновала — и помогал устройству разрушенных финансов. Агасфер не испытывал пиетета к крошке королю, поднявшему себя на котурны, как древнегреческие актеры, но не обретшему величия. Единственный человек при дворе, на кого Людовик мог смотреть сверху вниз, был его брат, злобный карлик-педераст герцог Орлеанский. Наверное, этим превосходством и объяснялось стойкое расположение короля к этой мерзкой личности. Людовик был очень неглуп, проницателен, легко угадывал в людях талант, ум, работоспособность и не мешал проявляться этим качествам, чему и был обязан блеском своего царствования. Сам же был ленив, тщеславен, сластолюбив и фанатично привязан к строгому и запутанному этикету, им самим разработанному. Кажется, то было единственным его самостоятельным деянием.

Вечный жид не играл на слабостях короля, полагаясь на честную силу денег и полезность своих мудрых финансовых советов. Он не жалел для фанатика этикета глубокого изящного поклона, изысканно подходил к руке мадам де Ментенон, тоже нуждавшейся в деньгах для каких-то своих личных дел, был почтителен без скованности, тонок в выражениях без жеманства, и король испытывал эстетическое наслаждение от его визитов. И конечно, охотно удовлетворял все ходатай-

ства Бернара за разных предприимчивых людей, которых тот собирал в Париж со всего света. Людовик быстро смекнул, что эти люди, несмотря на испанское, немецкое, итальянское, греческое звучание своих имен, были сплошь евреями. Но король был равно чужд и расовых и религиозных предрассудков. Он отменил Нантский эдикт не из ненависти к гугенотам, а под чудовищным давлением католической церкви во главе с папой Иннокентием.

Конечно, Людовику было неведомо, что банкир Бернар закладывал тот слой, из которого позднее вышли банкиры Ротшильды. Сколько бы другой еврей, Марсель Пруст, не иронизировал над сэром Руфусом Израэльсом, едва терпимом в свете (прообразом его был барон Жорж Ротшильд), могучий и разветвленный род проник в высшие круги Франции, Англии, Германии, породнился с Монморанси, Мальборо, Гогенштауфенами, изрядно подпортив им кровь.

Как все ленивые люди, Людовик любил и умел слушать, а банкир Бернар был поразительным рассказчиком. Все его рассказы шли от первого лица, даже если это касалось разрушения Иерусалима, битвы в Товтобургском лесу или Столетней войны. Людовика восхищала дерзкая и, как ему казалось, насмешливая манера рассказчика. Как-то раз мадам де Ментенон сказала с тем далеким, глубоким светом в ореховых глазах, которым изредка напоминала о себе ее уснувшая душа, что банкир Бернар и в самом деле был свидетелем давних событий, о которых повествует.

— Сколько же ему лет?

— Не знаю. Долгожители известны в мире. Вспомните оруженосца Карла Великого.

— Надеюсь, мы производим на него хорошее впечатление? — изволил пошутить король.

Мадам де Ментенон, как всегда, поняла с полуслова:

— Неужели вас волнует мнение потомков?

Людовику было на это наплевать. Человек, воплотивший в себе суть Эпохи («Государство — это я», — сказал совсем юный монарх, едва выйдя из-под опеки кардинала Мазарини), мог быть спокоен за место в истории.

Госпожа де Ментенон тоже была спокойна, но по другой причине: она опасалась не этого долгожителя, а мемуариста герцога Сен-Симона, пронюхавшего, что

Лозен, будущий маршал Бирон, прятался у нее под кроватью...

Совсем иной тон Вечный жид взял через полтора века с русским самодержцем Николаем I. В эту пору Агасфер уже вовсю negliжировал как внешностью, так и манерой поведения, тем более что Николай ему резко не нравился: коломенская верста, хвостун, удачник, дуботол и скрытый трус.

Агасфер приходил к нему в самом nepотребном виде, всегда голодный и недовольный. Впоследствии, когда он прочел «Бесов» Достоевского, его веселило, что он предвосхитил манеру поведения Петра Верховенского с Кармазиновым (кариатура на другого знаменитого русского писателя — Тургенева, которого Вечный жид не мог осилить); тут нет ничего удивительного: Достоевский мастерски изобразил тип парвеню, личину которого надевал и Агасфер.

— Как дела, отец-командир? — похохатывая, спрашивал Николай, маскируя смехом свой страх перед жутким посетителем.

— Я тебе не дурак Паскевич, — хамил Вечный жид.

Николай проходил военную службу под командой будущего князя Эриванского и навсегда сохранил пиетет к нему.

— Жрать хочу, — продолжал Вечный жид, развалиясь в кресле и швырнув на стол свой местечковый картузик. — И вели вина самосского подать, а не вашу кислятину.

Разумеется, Николай не сразу принял этот стиль отношений. Первый раз он попытался в палки прогнать наглеца, но Вечный жид, поднаторевший во всех видах единоборств, в два счета обезоружил призванных государем служителей, отколотил их и замахнулся на Николая, будто желая огреть его по голове. Тот присел, закрыв лысину руками.

В следующий раз Агасфера схватили при выходе из дворца, оглушили (так показалось нападающим) и бросили в Неву. Отличный пловец, он спокойно переплыл на тот берег и полюбовался оттуда прекрасным силуэтом Петербурга, где не бывал с петровских времен. Но тогда города еще не было — сплошные строительные леса, где лишь местами проглядывали контуры грядущего чуда. Он примчался сюда, чтобы предотвратить казнь знаменитого барона Шафирова, осужденного царем за лихоимство и поставку гнилого сукна армии.

Агасфер остановил карающую руку и сохранил для России первого, но далеко не последнего еврейского барона. Его не интересовали ни государственный ум, ни деловая хватка барона, он нужен был ему лишь как опылитель русских красавиц — Шафиров не пропускал ни одной юбки.

Когда солнце потонуло в Финском заливе и белая ночь щемяще высинила окна Зимнего дворца, Вечный жид тем же водным путем вернулся во дворец и в мокром платье прошел в кабинет государя, напугав того чуть не до смерти и безобразно заследив навощенный паркет.

Третья карательная операция была проведена на высшем полицейском уровне. Вечного жида схватили у входа во дворец, чего он никак не ожидал, явившись неожиданно, но группа захвата дежурила круглосуточно вот уже второй месяц. Его связали, заковали в кандалы, отвезли в Петропавловскую крепость и бросили в подвал Алексеевского рavelина.

В начале нашего века в Соединенных Штатах прославился фокусник Гудини. Вершиной его престижаторского искусства было умение освобождаться от всех пут и выходить невредимым из любого узилища. Так вот, ловкий американец был ребенком малым перед Вечным жидом. Человек недолго ходит под солнцем, он не успевает раскрыть своих истинных возможностей. Он куда сильнее, пластичнее, ловче, изобретательнее, чем принято считать. То же относится и к познанию внешнего мира. Он ухватывает кое-как лишь грубую очевидность вещей и явлений. А ведь куда интереснее на той, скрытой стороне; мы живем в одной сфере, а их множество — одна в одной, одна за другой, там таятся от слабого сознания временщика, плененного бытием, самые жгучие тайны. Мы возимся с домовыми, лешими, водяными и прочей бытовой скучной нежитью, когда так близко хрустальные дворцы демонов. Вечная жизнь дает представление о скрытой мощи человека. Но это о другом...

Из рavelина Вечный жид ушел с той же легкостью, с какой обрадованный его пленением Николай облачился в свежие лосины, чтобы проведать юную фрейлину Лопухину. Когда-то Агасфер терпеливо мотал бессрочный срок в венецианской тюрьме Пиомби, что возле Моста вздохов, но с тех пор он совершил несколько побегов из таких крепостей, что не чета обветшалой Пиомби, откуда без труда ушел даже рослый и неуклю-

жий Казанова. Вечный жид бежал из Тауэра при Генрихе VIII, из подземелья Эскуриала при Филиппе II, из Консьержери в разгар террора. А здесь была русская темница с разболтанными запорами, расхлябанной стражей, полупьяными офицерами, он почти стыдился побега. Но все же ушел из рavelина, не пробыв там и четверти часа, и сразу явился во дворец, повергнув расфранченного и надушенного Николая в глубокий шок.

— Я тебе не декабрист, — сказал ему Вечный жид. — Со мной такие номера не проходят!.. — Что-то кольнуло его в пах. Он сунул руку в штаны, извлек вошь и гадливо ее прикончил. — Русские свиньи, так запустить тюрьму!..

И все-таки не это сломало упрямый дух русского императора с одной шестнадцатой русской крови. Будь у него этой материи побольше, он выдержал бы и то последнее страшное унижение, которому подверг его загадочный мучитель, а он сгорел. Многовато было в нем немецкой суши, не хватило спасительной русской сырости, того болотца, где все гаснет.

В один из вечеров Николай добрался-таки до постели фрейлины Лопухиной. Он только покинул нагретые любовью простыни, когда услышал за дверью грубоватый смех императрицы. Он как раз пытался с помощью возлюбленной натянуть лосины на свои могучие ляжки. Охнув, фрейлина скрылась за потайной дверью, а растерявшийся Николай прыгнул в большой кованный сундук и захлопнул крышку. В спальню вломилась императрица, ведомая Вечным жидом, только что заставшим ее в алькове с молодым Трубецким. Александра Федоровна думала, что погибла, слухи о ее близости с Трубецким уже достигли ушей ревнивого и самолюбивого супруга. Но странный человек со сросшимися в одну черту черными бровями схватил ее за руку и куда-то потащил. В спальне фрейлины она мгновенно поняла все и обрадовалась спасению и не стала противиться страстному порыву спутника и собственному мстительному чувству, когда тот завалил ее на сундук. Так, на голове у Николая Вечный жид наслаждался его женой, после чего увел ошалевшую от восточных сладостей даму.

Чудовищное унижение сломало гордость императора. Подхалимничая перед Агасфером, он жалко мстил ему, называя про себя «Вечно жидовской мордой».

И вот сейчас «Вечно жидовская морда» опять расселась в кабинете, вытянув худые ноги в грязных разношенных сапогах, и потребовала еды противным, тягучим голосом.

— Сейчас сделаем,— отозвался император с готовностью расторопного полового.— Ростбиф пойдет?

— Кошерный? — спросил Вечный жид.

— Откуда же кошерной пище взяться, отец-командир? Вы бы предупредили.

— Я иду с фиордов. Как мог я предупредить?

— Может, рыбки? Лабарданчика, семужки или сига онежского?

— Гефилтер фиш.

— За щукой посылать надо на рынок. Вы подождете?

Агасферу есть не хотелось, он вообще мог обходиться без пищи сколько угодно. Но неизвестно почему, войдя в образ Петра Верховенского, он не мог из него выйти. А Верховенский отнял котлетку у Кармазинова и вином заставил поделиться нетароватого писателя. Кроме того, ему приятно было мучить Николая русским языком, которым тот плохо владел. Он говорил: «пущай», «надысь», «лóжить», «арьмия». Удивляться тут нечему: французскому его обучал бежавший от революции обитатель Сен-Жерменского предместья, а русский он постигал преимущественно в девичьей. После долгих ломаний Агасфера сговорились на гурьевской кашке. Николай отдал распоряжение, после чего занялись делами и к великому облегчению царя перешли на французский язык.

Агасфера интересовало, как идет внедрение евреев в дворянские роды. Николаю подготовил список. С удовлетворением отметил Агасфер «Абрамовича» Баратынского, бесконечных «Абрамовичей» по материнской линии у национального русского поэта Пушкина, даже один «Исакович» затесался.

— Хорошенько проверь этих Абрамовичей,— наказал он Николаю.— У вас в России ни на что нельзя положиться, сплошной бардак... О чем я еще хотел спросить?.. Лермонтова убрали?

— Будет сделано, отец-командир. Соломоныч уже заложил пулю.

— Не тяни, Николая. Такие, как Лермонтов,— рыба кость в горле еврейского народа.

— Почему? — удивился царь.

— Он против шинков. Не дает спить богатыря.



Николай внимательно посмотрел на Агасфера, которому как раз подали гурьевскую кашу, благоухающую ванилью, и он начал неопратно, чавкая, есть. Что он несет? Неужели и этого колдуна постигло старческое слабоумие? Но Вечный жид знал, что говорит: следуя на Кавказ, Лермонтов, по свидетельству сопровождавших его офицеров Монго Столыпина и Коко Бурляева агитировал против шинков. Николай успокоил Агасфера: богатырь прекрасно обходится кабаками, трактирами, кружалами, пивными, полпивными, кроме того, гонит домашнее вино вопреки всем запретам и не нуждается в помощи шинкарей. Русская бочка полна до краев. Вечный жид немного отмяк. Где пьянство, там половая распущенность, а тут не до чистоты крови.

После этого Вечный жид собрался на покой. Ему завтра в Китай двигать — путь не близкий и не торный, надо хорошенько выспаться. Николай поинтересовался, как идет жидофикация Небесной империи. Тут нет затруднений. Вечный жид еще в прошлом веке пригнал туда полсотни галер с еврейскими рабами и, дав им вольную, запустил в китайское население. Они расплодились с невиданной силой. Китайские дамы в один голос утверждают, что с обрезанными кавалерами приятнее иметь дело, кроме того, дети от смешанных браков рождаются с узкими глазами и вполне сходят за китайцев. Но ему надо проследить, чтобы еврейская кровь не слишком разжижалась.

Николай предложил положить Агасфера в малом кабинете.

— Нет, в египетском зале Эрмитажа. Хочу завтра вывести себя оттуда, как Моисей евреев из Египта. И люблю я высокие потолки, они напоминают мне небо Израиля.

Николай не знал, как реагировать на слова Агасфера, содержавшие шутку и ностальгическое чувство. Он усмехнулся и тут же утер слезу, что не произвело на Вечного жида никакого впечатления...

...История порой шла навстречу Вечному жиду, так было с Америкой, страной смелых, чистых духом индейцев, захваченной испанскими авантюристами. К испанцам, потеснив их, присоединилась голландская, французская и английская протерь. В конце концов, англичане выставили всех и создали самостоятельное, противостоящее Англии государство, как-то незаметно превратившееся в Ново-Иудею. Во всяком случае, когда Агасфер там

появился, то сразу понял, что здесь ему делать нечего. Все шло своим путем в нужном направлении.

Но чаще всего Агасферу приходилось строить историю, особенно много хлопот доставляла ему Россия. Куда более сложные, порой головоломные проблемы решались с завидной легкостью, а здесь он увязал, как в болоте, в русской простоте. Жидофицировать Африку с громадным арабским населением, исконно враждебным евреям, оказалось вовсе не так сложно. Помогало и то, что местные евреи ничем не отличались от коренного населения: смуглый цвет кожи, темные глубокие глаза, курчавые волосы, длинные жесты, идущие как бы из живота. Иное дело Россия!..

Агасфер не любил поэзию, считал, что она расслабляет, уводит от практики жизни, но стихи читал, ценя в них случающуюся порой взрывчатую афористичность мысли. Он помнил наизусть поразившие его строки. Так он постоянно повторял тютчевское: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить». Что верно, то верно, пытаться понять Россию умом гиблое дело. Скорее поймешь ее тем, что в мошонке, желудком, печенью, прямой кишкой и даже сердцем, хотя это самый ненадежный орган в человеческом организме, но ни в коем случае не надо привлекать к роковой загадке мозг, ибо он может свернуться набекрень или поехать, как сорванная ветром крыша. Поразительно, что ее огромный, смекалистый, широко одаренный, мудреный и лукавый народ органически не способен управлять собой сам и вечно ищет вожей на стороне. Идет это от предельного неуважения друг к другу. Русскому куда легче признать над собой чужую власть, нежели власть своих соплеменников. Поэтому, едва выйдя из дремучих лесов и почувствовав возможность стать народом и страной, они тут же призвали иноземцев — загадочных норманнов «володеть и править» ими. Никто толком не знает, кто такие норманны: шведы, норвежцы, финны, немцы, датчане, бриты или выходцы из Нормандии. Русские вообще ничего о себе не знают, не знают даже, почему они русские. Коренное население этой земли — славянские<sup>1</sup> племена, почему они вдруг стали русскими, смешались с норманнами, что ли? Так чего им так

---

<sup>1</sup> Даже это сейчас подвергнуто сомнению. Здесь поселились пришедшие из Центральной Европы словенские племена. Славянскими они стали в XVII веке.

гордиться чистотой крови, если тут заведомая смесь? Они не знают, что значит слово «Москва», какого оно корня. Они люто ненавидят евреев, но по неведению признают своим покровителем еврея Андрея Первозванного, родного брата апостола Петра, на котором Христос основал свою церковь. Больше всего в своей истории они тщеславятся победой над псами-рыцарями на Чудском озере. Но не было на свете псов-рыцарей, как не было и такой битвы. Двести лет мирились они с татарским игом, и ни разу народ не восстал. Взбрыкивали изредка князя, наиболее удачно это сделал Дмитрий Донской, но и после этого Россия оставалась под татарами. С Ивана III началось агрессивное паломничество иностранцев в Россию. Но если итальянцы захватили лишь искусство, то пришедшие им на смену немцы протерли свои притязания на торговлю, ремесла, науку, государственные и военные посты. Поляки действовали проще, они попытались присоединить Россию к Речи Посполитой. Французы сперва завоевали русских дам, потом все высшее общество, заставив говорить по-французски, но попытка утвердить штыком свои завоевания не удалась — едва унесли ноги. К этому времени Россией прочно правили немцы, взявшие фамилию Романовых, в последнем русском царе Николае II 1/256 частица русской крови. После апокалипсической революции власть взяли евреи, а затем надолго воцарился грузин, неизмеримо превзошедший в кровоядстве самого страшного, а потому и самого любимого, самого воспетого благодарным народом царя Ивана Грозного. Сталина любили еще сильнее, с его именем шли умирать.

Нет, не понять умом эту страну и этот народ, объявивший себя невесть с чего богоносцем, хотя равнодушнее его к религии на свете нет. Только в ересях и сектах проявляют русские непохвальную горячность.

Но у этого раздрызганного народа был силен бессознательный комплекс самозащиты. Чувствуя наступление иудейской стихии (перестарался малость Вечный жид), они создали ряд охраняющих законов (в том числе черту оседлости и процентную норму в учебных заведениях); когда же увидели, что и это не помогает, то объединились последним усилием в «Союз русского народа». Широкие крыла Михаила Архангела протерлись над измученным народом, взблеснул его светлый меч надеждой на избавление. Но Вечный жид не дремал и спровоцировал первую мировую войну. Отлетел Архан-

гел с опаленными крыльями, полегли на галицийских скорбных полях его воины — охотнорядцы. Известно, что на войне гибнут лучшие люди, незаполнимая брешь разверзлась в народном теле.

Ну а когда цвет нации был уничтожен (евреи, естественно, уцелели, ибо, даже попадая на фронт вольноопределяющимися, они тут же устраивались в плену), Вечный жид произвел революцию, даже не одну. Не дав стране оправиться после свержения несчастного царя, он прислал в запломбированном вагоне Ульянова-Бланка, более известного под псевдонимом Ленин, и тот устроил революцию уже по-настоящему — с резней, расстрелами, гражданской войной. И закрутился на одной шестой части земной суши тот ошеломляющий шабаш, который расшатал и оморочил весь мир...

*Здесь идет первый большой пропуск — по причине, изложенной в издательском вступлении.*

*К сожалению, кто-то еще «читал» эту рукопись: текста пропало больше, чем я ожидал. Ушли в зловонную яму обе революции, о чем не стоит особо жалеть. Повествование продолжено с послереволюционных дней.*

...От века чуждые политической жизни евреи устремились в политику. Другие сели на коней и стали размахивать пашкой, это не соответствовало намерениям Вечного жида. Ему вовсе не хотелось, чтобы еврей стал всемирным пугалом, его ампула — страдалец, жертва, а не торжествующий дракон-провизор. Вообще, к всеобщему, единому и вечному еврейскому царству на земле, которое создавал Агасфер, вели иные пути. Евреи вышли из повиновения, надо было срочно обуздать их.

Вечный жид остановил свой выбор на выходе из Грузии, агенте царской охранки, грабителе и убийце Сосо Джугашвили и начал готовить его в диктаторы. Выстрелом Фанни Каплан он несколько примирил общественность с евреями и вывел из игры главного заправилу, расчистив место для Сосо.

Тому достаточно было легкого толчка, и развернулись редкие способности дворцового интригана — хитрого, затаенного, терпеливого и безжалостного, в совершенстве носившего маску тупой посредственности, которой нечего опасаться. Самое любопытное заключалось в том, что он действительно был туп, банален, усреднен во всем, кроме властолюбия и вытекающей из него готовности к любому преступлению. Тут прогляды-

вало что-то психопатическое. Последовательно и беспощадно Сосо прикончил весь ленинский синедррион.

Покончив с коллективным Нахамкисом, Сосо взялся за осуществление главного плана Вечного жида: уничтожить кормильца России — крестьянина и мысль России — интеллигенцию. И в том, и в другом он отменно преуспел. Будучи человеком осторожным, Сталин до поры скрывал свой антисемитизм. Он постоянно держал при себе на самых видных ролях омерзительного еврея Кагановича, который потом жил так долго, что пошел слух, будто он и есть Вечный жид. Оскорбленный Агасфер прихлопнул старого клопа где-то на сотом году его ползучей жизни. Никогда не было столько смешанных браков, как в сталинские времена, люди, по обыкновению доверчивые и неосмотрительные, верили его трепотне о дружбе народов, интернационализме и прочих марксистских благоглупостях. Используя еврейский энтузиазм, слепую преданность революции и зашоренность восторга соучастия в государственной жизни, Сталин многие грязные дела делал их руками, а потом уничтожал. Вечный жид терпимо относился к этой игре, поскольку жидкая струя еврейской лимфы не шла в сравнение с потоком русской крови. Важно было ослабить, обескровить, одряблить, оглупить могучую Россию, а это Сталин делал неукоснительно.

Вечному жиду пришлось с ним несколько раз встречаться, и он был поражен душевной незначительностью величайшего в мире злодея. Для глобальных злодейств вовсе не требуется великая личность. Разрушать, губить, убивать, истреблять — совсем не хитрая наука, гораздо труднее создать даже малый элемент добра, для этого нужна хоть какая-то одухотворенность. Все крупные политики в той или иной степени подонки, ибо задолго до Макиавелли руководствовались правилом: цель оправдывает средства. Стало быть, ни о какой морали не может быть и речи. А человечески значительно лишь то, что лежит в сфере нравственности. Но если забыть об этом, то большие политики и государственные люди чаще всего незаурядны. Вечный жид был знаком со многими из них. Как живописны были Нерон, Домициан, Диоклетиан и другие деспоты-императоры! А Ричард III, Иван Грозный, Петр I, Елизавета английская!.. Всё личности. Как полководец, Наполеон немного стоил: он использовал истерический подъем французской революции, все еще не напившейся крови, маразм

своих противников и счастливый случай (позже, когда ситуация изменилась и отвернулась удача, он терпел поражения от тех же противников), зато какая сила мысли, какое остроумие, пронизательность и редчайший талант законодателя. Фридрих Великий — еще больший профан в военном деле (только нахрап и фортуна) — прекрасно играл на флейте и хорошо писал; обладала литературным даром и неиссякаемым фригидным темпераментом Екатерина Великая; Петр I был великолепен в своей монструозности; Дизраэли — занимательный романист; Черчилль — отличный пейзажист, но преуспевал и в натюрморте; Ленин был гений разрушения; де Голль увлекался рыцарственной любовью к Франции. У каждого что-то имелось за душой. Сосо был пуст, как сгнивший орех. Он пришел на готовое: и метод и рычаги истребления уже были созданы его картавым предшественником, от него ничего не требовалось, кроме готовности убивать, этой готовностью он обладал. Его плоский схематический умишко не родил ни одной мысли, ни одного острого слова, скучный, бездарный, необаятельный, с плохой речью, он был внешне безобразен и плюгав.

Но Сталин был нужен Вечному жида для осуществления самого крупного и подлого замысла: второй мировой войны.

Пора было резко двинуть вперед еврейское дело, которое начало топтаться на месте. Нужен был, как говорится в классическом марксизме, революционный скачок. В невероятной деятельности Вечного жида не было ничего равного по дерзости и масштабу. И что самое замечательное: вплоть до начала девяностых годов, когда безвестный доселе ученый Климков опубликовал на страницах «Нашего сотрапезника» (самого страшного для Вечного жида издания) свое открытие, никто не догадывался об истинных пружинах мировой бойни. Только тогда люди узнали, кто был на самом деле так называемые «истребители евреев», творцы геноцида, создатели лагерей уничтожения и камер смерти...

*Здесь опять обрыв рукописи, но смысл уничтоженного текста сообщен во вступлении.*

...Военные действия мало интересовали Вечного жида. Его главные заботы были связаны с геноцидом,

поэтому он лично следил за организацией лагерей уничтожения. Считалось, что там сжигали главным образом евреев, остальных же лишь за лагерные провинности: бунт, попытку бегства. Ничего подобного. Патриотическая печать разоблачила очередную сионистскую «утку»: сжигали русских парней, а евреев лишь подмешивали для вида. И это естественно, поскольку все лагерное начальство, охрана, надзиратели и палачи были евреями. Ведь в эсэсовские части, как и в гестапо, как и в личную охрану Гитлера, брали только евреев. Без пятого пункта туда и соваться было нечего.

Умело направляемая Вечным жидом пропаганда делала свое дело, о придуманной еврейско-голландской девочке Анне Франк раскричали на весь мир: книги, фильмы, спектакли, оратории, о настоящих жертвах молчали в тряпочку.

Вечный жид выиграл вторую мировую войну. Советские хвастуны, сидя на развалинах своей страны, трубили о победе, союзники были куда скромнее, но тоже славили викторию (кроме Черчилля), и лишь десятилетия спустя стали робко поговаривать, что войну, похоже, выиграла побежденная: Германия и Япония. Это чепуха, настоящий победитель был один: Вечный жид. Он извел невесть сколько прекрасных русских и немецких парней, опасных для его подлого дела, заразил весь мир сочувствием к евреям, а немцев — мукой непреходящей вины и раскаяния, из черных дымов лагерных печей создал государство Израиль, о котором нечего было бы мечтать, если б не мнимый геноцид, открыл шлюзы еврейской эмиграции в Америку, Израиль, Германию, заодно наводнил евреями такую чистую прежде страну, как Италия, через американских евреев военной базы на Окинаве повел половое наступление на японский народ и с подобных же баз — на филиппинцев и киприотов. А еще он сделал евреев модными, чем невероятно увеличил количество смешанных браков. Прежде коренное население многих стран, мирившихся с присутствием евреев на их территории, но державших их на расстоянии, было жидоустойчиво, теперь же под укоризненными взорами девочки Анны Франк и учителя Корчака все как полоумные кинулись в еврейские объятия. Австрия объевреилась окончательно, не отстало и княжество Лихтенштейн. Берлинская стена долгое время охраняла хоть часть Германии от еврейского напора, но Вечный

жид ее опрокинул. Впрочем, еще до этого там хорошо похозяйничали укрытые Вечным жидом от возмездия эсэсовцы и гестаповцы, сплошь, как мы знаем, евреи.

Под видом возвращения на свою историческую родину советские евреи ринулись в Америку, по пути обсеменяв все перевалочные пункты великого переселения избранного народа. На диком берегу Атлантического океана они облюбовали местечко Брайтон-Бич, осели там, укрепились, возвели часовые мастерские, лавочки и аптеки и повели атаку на бело-черно-красное население страны. На западном побережье они создали свой центр в Сан-Франциско, взяв, таким образом, в клещи всю страну.

Америка все-таки попыталась подставить ножку Вечному жидам, хотя и не ведала о его существовании. То, о чем сейчас пойдет речь, не было рассчитанной акцией со стороны американцев. Нет, инстинктивная самозащита народа, почувствовавшего, что ассимиляция чужаков приведет к исчезновению еще не успевшей до конца сформироваться нации. Аборигены страны устремились на Аляску, бежав от своих новоявленных бледнолицых братьев с южным темпераментом. Те за ними не последовали; когда у тебя в руках вся теплая страна от Брайтон-Бич до Сан-Франциско, зачем тебе суровый, холодный, северный край?

Наиболее близко расположенная к Аляске земля — Чукотка, населенная милым и простодушным народом чукчей, героев многочисленных анекдотов. В свое время, предчувствуя опасный поворот событий, Вечный жид придумал для этого народа, лишенного письменности, национального писателя — красивого, представительного ленинградского еврея, скуластого, с темной кожей и узким разрезом ночных глаз. Он стал единственным писателем и единственным читателем маленького окраинного народа. Когда он приехал на Чукотку, ему были оказаны божеские почести. Так, он должен был переночевать в каждом чуме, разделив ложе с хозяйкой. В результате этого «чумового» гостеприимства народонаселение края увеличилось вдвое и стало наполовину еврейским. Когда пал железный занавес, оказалось, что Чукотку от Аляски отделяет лишь тоненькая полоска воды. Доверчивые аляскинцы, не ведая о кознях Вечного жида, поторопились навести мосты дружбы с милыми соседями. Начались встречи, игры: «Дорогие, а мы к вам пришли. Золотые, а мы к вам



пришли», совместные заплывы и переплывы, пиры у костров, распахнулись объятия, разверзлись ложесна и зажужжали жидовские шарики в крови аляскинских красавиц. От чего бежали, к тому и прибежали. Предусмотрительность Вечного жида одержала очередную победу...

И снова Россия, великая, непредсказуемая, загадочная Россия, которую не понять умом, не измерить общим аршином, тяжело озадачила величайшего в мире интригана.

Настали новые времена. Пришли добрые силы, растворили ей темницу, дали ей сиянье дня, изгнали оморочивающий дух чернобрового коня, и восторженный народ глубоко задумался умами своих лучших представителей, как покончить с евреями. А если это споро пройдет, то и с остальными инородцами. Оказалось, что нет важнее, насущнее, благороднее и возвышенной задачи. Так ныл про себя старый иерусалимский лукавец, будто не понимал глубочайшей мудрости и проникновенности народной задумки. Если по-простому сказать: прищемили ему хвост.

Хотел он всех под свой устав подвести, а патриотические силы разгадали черный умысел, пусть и по-прежнему слепо возводили его к мифическим сионским мудрецам, но все остальное высчитали безошибочно. Даже то, что Агасфер считал навеки похороненным в его темной душе, прозрели свежий ум и девственное сердце: национал-социализм — еврейского корня, геноцид — еврейское преступление. В чудовищном цинизме своего плана видел Вечный жид гарантию тайны, но она открылась просветленным. Всполюшным звоном прозвучали голоса патриотических изданий, очнулся, расправил затекшие члены богатырь и захотел, чтобы его скорее вели к свету.

Вечный жид и оглянуться не успел, как осиянный богатырь возжаждал живой воды погрома. И прозвучал весенним грозовым раскатом старый испытанный клич: «Бей жидов, спасай Россию!» Он вызвал радостный подъем в несметных тех, кому дорога русская честь, и панику в стане жидовствующих. Смертельно перепугалась вся заживевшая и разнежившаяся в русской ласке еврейчатина. Началось паническое бегство, в первую очередь, конечно, в Америку. Это противоречило намерениям Вечного жида, и он быстро перекрыл шлюзы, заставив конгресс установить жесткую квоту на эмигра-

цию. В Америке дела и так шли отлично, там практически была завершена полная жидовизация страны, а евреев еще надо было использовать в России, где оставались белые и белесые пятна: в Якутии, Ханты-Мансийском округе, на Памире и Вологодчине. Да и маленький Израиль начал задыхаться под наплывом наглых, скандальных, по-гойски разленившихся и требовательных выходцев из Страны Советов.

А патриотические силы взялись за дело крепко. И гнусная акция Вечного жида, повесившего в тюремной камере великого патриота, златоуста и буревестника, по-детски наивного Осташвили, не только не запугала патриотов, напротив — мобилизовала, зарядила до отказа гневом, болью, жаждой возмездия.

«Память» проводила последние учения, отработывая приемы вспарывания перин, выбрасывания мебели из окон, уничтожения домашней утвари, группового изнасилования хаек (в качестве спарринг-партнерш предложили себя несколько самоотверженных литературных ветеранш, немало натерпевшихся в долгой и трудной половой жизни от евреев). Вообще, замечательно, что в намечающемся первом погроме российского восстановления вдохновителями и предводителями были писатели. Редкий пример духовного ренессанса интеллигенции. Штаб-квартира погрома находилась на Комсомольском проспекте, в помещении СП РСФСР, участковые опорные пункты — в редакции «Нашего соотрапезника», «Молодой лейб-гвардии», «Литературной Руси», «Московского борзописца». Перед самым выступлением о всемерной поддержке очистительной акции заявила влиятельная военная газета «Утро», которой командовал старый «афган» политрук Прохвостов. Митрополит Закрутицкий прислал повстанцам священную хоругвь.

Все шло как по маслу, уже был объявлен день «битья стаканов», а члены «Куняевюгенд», молодежной организации при «Памяти», помечали крестиками двери евреев, метисов и кварталеронов, подлежащих уничтожению в первую очередь, когда все рухнуло.

Феноменальная и коварная предусмотрительность Вечного жида разрушила столь тщательно и вдохновенно разработанные планы спасителей России.

Вечный жид знал, что в чистой России нет места стерильнее, чем ее северная окраина, называемая Поморьем. Здесь не знали ни татарского, ни польского,

ни французского нашествия, ни крепостного ига, не видели ни псов-рыцарей, ни остзейских, голштинских, мекленбургских и прочих немцев, ни евреев, ни чеченов-ингушей, никакой инородной нечисти, сохранив прозрачную кровь, в которой пела соль Ледовитого океана. Недаром же отсюда пришел дивный холмогорский мальчик и создал отечественную науку, реформировал стихосложение, возродил пребывающее в упадке русское художество, основал Академию наук, сформулировал закон сохранения вещества.

И вот туда заслал Агасфер рыжего, голубоглазого провизора, маленького, худенького, розовощекого блондинчика, сластолюбивого, как павиан, и неотвязного, как репей. Не хочется говорить о постыдных подвигах этого любострастника среди простодушных и доверчивых дочерей тихой, как ночной шепот, стороны. Когда же поняли те, что этот вкрадчивый оболститель ко всем своим подлостям еще и женат и никогда не бросит верную Сарру с кучей жиденят, упрятанных в беловежской пуще, то стали бегать от него, как черт от ладана. Но упорен был охальник. Одна девушка бежала от него на неоседланной лошади, потом на оленях, впряженных в легкие нарты, наконец, на собаках-лайках, но так и не могла оторваться от преследователя. Против острова Вайгач она соскочила с саней, перешагнула через павших от усталости псов с высунутыми потными стекленеющими языками и ступила на зыбкий лед. Она почти достигла острова, когда на последней льдине провизор настиг несчастную и на заплеске, вдавив ее тело в ледяную студию, овладел девичеством. И тут же повернул назад. Не утруждая себя сдачей аптеки с остатками тройчатки, касторового масла, детских клистиров и пластыря, он умчался сперва на лошадях, потом на чугунке в свою пущу.

Поморы живучи, бедная девушка добралась до берега и после мучительных странствий нашла приют у добрых ненцев. Вернуться домой она не решилась, не уверенная в том, кого произведет на свет. Ведь мог же младенец унаследовать отцовский шнобель, торчащие уши, картавость. Бог милостив: справным родился сыночек. На круглой мордашке торчал нос пуговкой, аккуратные ушки прижаты к голове, глазки лазурные — славянские, хотя унаследованы от папы-еврея, как и светлые волосы — мать была кареглазой шатенкой. Когда подрост, открылось, что он и не картавит

нисколючко, любо-дорого было слушать его звонкое «р». Куда хуже оказались другие дары папы-провизора своему сыну: крошечный рост и чрезмерная склонность к женскому полу, обнаружившаяся в весьма нежном возрасте. И вторичные признаки пола соответствовали его ранней мужественности: в шестом классе он запустил густую золотистую бороду и лихие усы. Маленький бородатый школьник вызывал любопытство, смешанное с легким ужасом. Школу он не кончил, пришлось срочно бежать от разгневанных оленеводов, чье завидное долготерпение сын провизора сумел взорвать, обрюхатив всю школу.

Таким образом, Вечный жид темным своим наитием походя решил проблему Крайнего Севера — уже не остановить было отравленной струи.

Мать и сын решили проложить между собой и оскорбленным северным народом много длинных русских верст, бежали они до самого Олонца близ Ладоги и лишь там отважились остановиться. В школу юный Савелий Морошкин — он носил фамилию матери — не пошел, ибо пережитое потрясение вывело наружу тот поэтический дар, который в самом непродолжительном времени принес ему всесоюзную, а там и мировую славу.

Опасное женолюбие с годами увяло, вытесненное другой страстью — к вину, унаследованной от материнских предков. Это ничуть не марало репутации Морошкина, напротив, делало его нежно, слезно, по-есенински близким читателям-соотчичам. От матери унаследовал Морошкин и лютому ненависть к евреям. Естественно, что он стал лидером и трубачом патриотического движения. Но никто не предполагал, что он окажется миной замедленного действия, которую Вечный жид почти наугад подложил под будущее России.

Это случилось в те незабвенные дни, которые могли стать началом конца жидомасонского заговора через повальное истребление и самих заговорщиков, и той среды, что питала заговор.

Уже была объявлена дата выступления, наточены ножи, набиты свинчаткой палки, заготовлены велосипедные цепи, напильники, валики с мокрым песком, запасено и горячее оружие с боеприпасами, баллончики с «черемухой», веревки и крючья, и вдруг все рухнуло.

Некоторое время назад допившийся до полной несостоятельности Морошкин стал блюстителем добрых нравов, охранителем священных заветов домостроя.

Корень зла Морощкин видел в растлевающем исконную русскую нравственность влиянии инородцев. Натура страстная и безудержная, а только таким бывает истинный поэт, он стал требовать помимо ликвидации евреев сожжения проституток, в первую очередь валютных, как в средневековье сжигали на кострах ведьм. Этого его призыва всерьез никто не принимал, считая поэтическим перехлестом, даже проститутки не обижались на своего любимого певца. Но однажды во время его публичного выступления, исполненного огнепальных заклинаний, девица с платиновой головой крикнула из публики новоявленному Торквемаде:

— Пить надо меньше!

И это ходячее, пустое, истасканное выражение вдруг оглоушило Морощкина. Он разом уверился, что алкоголь — главная причина порчи нравов и заката России, а инородцы — потóm. И разразился программной статьей на тему пережитого озарения. В своем манифесте он потребовал полного запрещения всех алкогольных напитков, включая пиво, и смертной казни для самогонщиков. Перепуганный народ, увидев, куда ведут его патриоты, сказал решительное «нет!» варфоломеевской ночи. Лучше остаться с жидами и с водкой, чем без того и без другого. Это был нокаут патриотическим силам...

И тогда Вечный жид взялся за осуществление третьей по значительности и размаху акции, которая вошла в историю под американским названием «Война в заливе». Через свое доверенное лицо Арафата, которому он поручил возглавить палестинское освободительное движение, он договорился с честолюбивым авантюристом Саддамом Хусейном о захвате Кувейта. Агасфер полностью финансировал эту операцию и отдельно оплатил Саддаму бомбардировку Израиля баллистическими ракетами. Наглый, но осмотрительный Хусейн опасался, что Израиль ответит атомным ударом, свою бомбу Ирак еще не успел доделать. Вечный жид успокоил диктатора, что ответного удара не будет, и ракеты посыпались на кроткую, незащищенную страну, так жалостно поднявшую кверху лапки, что мировое сердце затрепетало от сострадания и евреи, успевшие всем надоесть, вновь стали любимы.

С Хусейном дело иметь не сложно, имея помощником хитрящего Арафата, куда труднее было убедить жестких израильских военных, застоявшихся с дней

своих победоносных войн, не прикончить балду-агрессора, который во всеоружии допотопной советской техники был столь же неуязвим, как Дон Кихот в картонных латах, с медным тазиком для бритья на голове.

Но убедил вояк Агасфер, даже на человеческие жертвы заставил пойти и в результате одержал очередную победу: потрясенный новыми жертвами многострадального народа мир опять раскинулся перед евреями, как интердевочка перед японским клиентом. Увеличение американской эмиграционной квоты было вовсе не нужно Агасферу, но дрогнула жидоустойчивая Австралия, из-за которой, собственно, загорелся весь сыр-бор. Пятый континент слишком долго был местом добровольной и не добровольной ссылки всякой английской протери: от жалкого обнищеванца мистера Майкобера до каторжников и убийц, и, начав всерьез строить свою государственность, австралийцы стали крайне разборчивы в допуске ищущих пристанища бродяг на родину коалы и кенгуру. Вечного жида это не устраивало, и он кардинально решил проблему. Примеру Австралии последовала Новозеландия, Фиджи и все острова Океании. Евреи хлынули на новые тучные земли...

Мы рассказали о нескольких героических событиях в долгой борьбе Агасфера за создание Планеты жидов, наметили пунктиром его путь вплоть до исхода двадцатого века. Были у него трудности — порой немалые — и после войны в Проливе. Но мы не пишем историю этого невероятного строительства, задача наша куда скромнее: поведать читателям о горестной судьбе самого прораба.

В середине двадцать первого века Агасфер завершил свой труд, завещанный ему отнюдь не от Бога. Хотя кто может наверняка знать? Даже самому Вечному жиду не было доподлинно ведомо, возникла ли его дерзновенная идея спонтанно или была подсказана ему мудренным Ягве. Ему казалось, что он действует от себя, не было никаких видений, явлений, он не слышал тайных голосов, не видел вещих снов. Но разве это так уж важно? Важно другое: теперь землю населяли сплошь евреи, хотя не исчезли и прежние наименования наций — англичане, французы, немцы, русские, китайцы и т.д. Но они значили куда меньше, чем выражения исхода двадцатого века: «американские негры», «американские итальянцы». Там все-таки подчеркивался разный состав

крови, а здесь состав крови у всех был един. И Вечному жиду захотелось обозреть творение рук своих и сказать, как Господь Бог в последний день творения: это хорошо!

Он решил устроить нечто среднее между знаменитым шествием поезжан к Ледяному дому в царствование Анны Иоанновны и Первым всемирным фестивалем молодежи в Москве. Он выбрал русскую столицу, ибо ни с одной страной не было столько осложнений, трудностей, мук, сколько с Россией, особенно когда на сцену выступили патриотические силы. Если бы годá что-то значили для Вечного жида, он мог бы пожаловаться, что борьба с заединщиками отняла у него немало жизни. И конечно, надругаться над московской святыней — Красной площадью входило в его коварные замыслы. Итак, парад народов мира, ставших единым еврейским народом, но сохранившим в этом общежидии свои традиционные имена. Тысячи людей, съехавшихся со всех концов земли, прошагают по старинным торцам мимо Мавзолея, изменившего свое назначение: прежде он был усыпальницей вождя, ныне стал музеем большевистских злодеяний; главный экспонат — мумия в пиджачной паре. Далекой предрыночной порой, спасая свое имущество, партия приватизировала Мавзолей, а затем сдала муниципалитету под музейное помещение.

Пока шла церемония, стоявшие на Мавзолее главы государств с любопытством и бессознательным уважением обращали взгляды к пожилому статному смуглолицему человеку с глубоко запавшими глазами и густыми черными бровями в одну полосу. На нем были белые легкие одежды, белый тюрбан, заколотый драгоценным камнем, на шее золотая цепь, длинные музыкальные пальцы унизаны перстнями. Усталым покоем веяло от его выразительного лица. Порой на уголок глаза набегала слеза, он скидывал ее мизинцем с длинным, чуть загнутым ногтем. Они не могли взять в толк, кто такой этот экзотический человек, какую страну он представляет, никому из стоящих на Мавзолее он не был известен. Какой-нибудь магараджа, шейх, султан, эмир, но почему он так по-хозяйски занял место среди первых людей Америки и Евророссии? Спросить его никто не решался, было в нем что-то величественное, таинственное и неприступное.

Агасфер смотрел своими острыми, как у орла, глазами с небольшой, но охватистой высоты Мавзолея на проходящих стройными рядами евреев и не замечал, что губы его шепчут:

— Так совершенны небо и земля и все воинство их!..

Он имел право на эти слова из книги «Бытия», коими восславлены дела Господа, создавшего этот мир, ибо дал завершенность и единство творению Вседержителя.

И все-таки он не мог не признать, что примесь чужой крови подпортила чистый русский тип. У еврейских красавиц широкий таз, выпуклые глаза, крупноватые носы и складка горечи-терпения в уголках губ. Наверное, нужны тысячелетия, чтобы стерлась древняя скорбь гонимости. Ничего, время все лечит... Хотелось бы чуть большего разнообразия в лицах. Это касалось не только женщин, но и мужчин. У последних одинаковости способствуют пейсы и горбатые носы. Даже плоские, словно раздавленные сопатки африканцев слегка оклювились. Что-то неприятное шевельнулось в душе, и, гоня прочь внезапную смуту, он снова окинул взглядом всю необъятность площади.

Мощный крик: «Шолом!.. Шолом!..» — потряс землю и небо.

И отозвался слезой на крепкой скуле Агасфера.

Язык землян сильно унифицировался в конце двадцатого века в связи с мощным проникновением Америки в поры мировой жизни; в последние десятилетия американизмы отступили под напором иврита, наложившего приметный отпечаток на все языки и наречия. Но ничего похожего на эсперанто не возникло: все нации продолжали говорить на своем, хотя и сильно приправленном еврейскими и певучей интонацией языке. А вот сердечное приветствие «шолом» стало повсеместным.

Сейчас это выкрикивали высоченные сухопарые суданцы звучными глотками. За ними, пущенные по контрасту, — это выглядело удивительно трогательно (слава церемониймейстеру!) — семенили крошечные пигмеи и своими птичьими голосами тоже кричали:

— Шолом!.. Шолом!..

Они были в очень коротких шортиках и в жилетках. Плоские угольно-черные лица обрамлены жесткими кудельками пейсов. Жилетки получили такое же повсеместное распространение, как и традиционное еврейское



приветствие; они были из разного материала: кожаные у североамериканцев, замшевые у европейцев, шелковые у жителей Экваториальной Африки, Австралии, Океании, меховые у эскимосов, ненцев, чукчей, из ситце-заменителя у россиян. Причину этого увлечения Агасфер понял позже, когда началось свободное гулянье поезжан. Лишь два снежных человека обходились без жилетов, они были совершенно голые, в собственном жестком волосе, с забинтованными после недавнего обрезания членами, чем простодушные дети Гималаев очень гордились, стараясь привлечь внимание окружающих к своим забинтованным культам. Пейсы были и у них. Опять Вечного жида что-то кольнуло. Он был слишком индивидуалистом, чтобы спокойно воспринимать унифицированность.

Вся площадь вскипела аплодисментами. Колонны расступились, образовав широкий коридор. И по этому коридору в коляске на дутых шинах провезли ветерана черносотенного движения, крупнейшего теоретика прогресса, последнего из могижан-восьмидесятников, когда так ярко разгорелся в глухой ночи перестройки патриотический факел, прославленного Олега Запасевича. Ему недавно стукнуло сто двадцать лет. Предвечному пришлось удлинить ему срок земной жизни, чтобы провести его сквозь чащу заблуждений к свету истины. Он прошел долгий и трудный путь: некогда крупный ученый, он наступил на горло собственной песне, чтобы другой ногой наступить на горло «малому народу», как он остроумно называл евреев в своих блистательных эссе, манифестах и программных речах.

Пожалуй, не было у Вечного жида более сильного противника, чем этот сутулый, хилый, слабый плотью кабинетный ученый, нашедший в критическую для страны пору огненные слова трибуна. Сейчас Агасфер почти с любовью смотрел на скрюченного в кресле старикашку; под черной ермолкой морщинилось печеным яблоком крошечное личико, торчали седые пейсики двумя мышинными хвостами. Будучи во всем максималистом, Запасевич в пору своих искренних заблуждений при каждом удобном случае принимал святое крещение; вернувшись в лоно своего народа, он сделал вторичное обрезание (первое, свершенное при рождении, он скрывал) и отхватил почти всю оставшуюся плоть. Известно, что раскаявшийся грешник стоит

десяти праведников, оттого и был так велик всеобщий восторг.

Вечером гулянье охватило весь центр столицы. Жгли костры и на Красной площади, и на Театральной, и на площади Звезды Давида — так переименовали площадь Революции, и на Манежной, и на площади Жертв террора (бывш. Дзержинского, еще ранее — Лубянская), и на Пушкинской против синагоги, ставшей на месте кинотеатра «Россия». Жарили шашлыки, купаты, кебабы, цыплят, рыбу, пекли пироги, кнедлики, готовили под открытым небом всевозможные экзотические блюда, но тонкий нюх Агасфера сквозь все богатство запахов и мощной обвони оливкового масла улавливал стойкий дух чеснока. А попробовав разной снеди у дружеских костров, мангалов, печурок, он обнаружил, что кошерное мясо, в каком бы виде его ни готовили: на сковородках, шампурах, в листьях винограда или капусты, нашпигованным, наструганным, вареным, печеным, жареным, было кисло-сладким, как это от века принято у евреев, а за всеми разносолами угадывались гефилтер фиш и цимес — блюда, которые Агасфер органически не переваривал, как и мацу, заменившую нынешним землянам хлеб. По виду хлеб был разным: халы, франзоли, бригет, калачи, лаваш, чурек, ситный, бородинский, пеклеванный, на деле же — тем самым, которым пророк Моисей накормил евреев в пустыне. И это было скучно, как пейсы, смывающие индивидуальное выражение, как жилетки, заменившие прежнее богатство национальных костюмов.

Но еще скучнее ему стало от песен и плясок поезжан. Что бы ни плясали, ни танцевали посланцы мегаполисов, городов, деревень, американских прерий и затерянных в океане островов, обнаженной Африки и закутанного в меха Севера — это был фрейлехс. Он мог называться танго, вальсом, фокстротом, румбой, ламбадой, дробцами, гопаком, лезгинкой, русской, чечеткой, танцем верблюда, кенгуру, страуса, он мог идти в сопровождении джаза, гитары, балалаек, бубна, кастаньет, волынки — это был фрейлехс. Не зря все мужчины носили жилетки: вступая на танцевальный круг, они по-ленински закладывали за борт большие пальцы.

И что бы ни пели поезжане, это была «Идише мама». Все тарантеллы, баркаролы, грузинские застольные, армянские свадебные, русские народные, мадагаскарские ритуальные, «Плач ковбоя», «Типирери» — все

отдавало скорбной «Идише мама». Даже когда одесские евреи грохнули свою любимую с далеких нэповских дней «Ужасно шумно в доме Шнеерсонов», то сквозь лихой мотивчик пробилась «Идише мама». Впервые в жизни у Вечного жида закружилась голова.

Невероятно стойкая в еврействе изначальная библейская тоска отравила их песни и пляски, даже одесскую бесшабашность, поселилась в зрачках. Вечный жид уже не мог любоваться красотой женщин: со всех лиц — белых, черных, желтых — глядели выпуклые унылые близорукие глаза еврейских отличниц.

Казалось, в небе затерялся старенький биплан ПО-2 — рокотало еврейское «р».

И стало скучно. Мир утратил свое многообразие. Казалось, он утратил и свое разноцветие, стал каким-то изжелта-серым. Исчезли тайны, игра, неожиданность, вспышки, все можно было высчитать и предугадать.

На другой день он узнал о происшествии под стенами Новодевичьего монастыря, где поставили свои хижины посланцы страшных Соломоновых островов. Их долго осаждала пожилая проститутка из Кунцева, навязывая свои услуги. В конце концов она так надоела им, что они прикончили ее и сожрали. К стыду своему Вечный жид обнаружил, что эта людоедская выходка не противна ему, но даже радуется как нарушение осточертевшего стереотипа. Но он погрустнел, узнав, что они приготовили ее кошерно.

Вместе с тем до него дошло, что государственные люди, возглавляющие делегации своих стран, решили не терять даром времени и занялись политикой и бизнесом. И тут обнаружились немалые противоречия, амбиции, счеты, неоправданные притязания, как в недоброе старое время. Известно, что принадлежность к одной национальности несколько не смягчала нравов коммуналок в пору цветущего социализма. Всеобщее еврейство не укротило противоборствующих страстей мировой коммуналки. Значит, и войны могут быть, и верховенство одних над другими? А стало быть, и ненависть не исчезнет на планете? Зачем же он старался? Быть может, до войн дело не дойдет, но мира под оливами тоже не будет. Зачем, к примеру, евреям острова Тобаго понадобилось термоядерное оружие? Но они делают все возможное и невозможное, чтобы в обход международных запретов раздобыть урановое сырье.

— Шолом!.. Шолом!.. Шолом!..

А что за этим добрым и невыносимо надоевшим приветствием? Что скрывают все эти люди в пейзах своей души?.. И все же сильнее тревоги угнетало однообразие...

Утро четвертого дня праздников застало Вечного жид на скамейке Яузской набережной, в одном из самых скучных, словно навечно опечаленных мест столицы за Андрониковым монастырем. Он прибред сюда ночью, спасаясь от надоевших праздничных толп. У него были апартаменты в лучшей интуристовской гостинице «Европейская Россия» на месте Малого театра, снесенного в перестройку за нерентабельностью. Но его воротило от праздничной толпы, фрейлехса, «Идише мамы», раскатов гортанного «р», плачущих глаз, тонких ироничных ртов, от унылой безунывости людей, которым он подарил земной шар.

Теперь уже Вечный жид твердо, смиренно и печально знал, что этого ни в коем случае не надо было делать. Мир прекрасен своим разнообразием, противоречиями, непредсказуемостью, вспышками эгоистических стремлений. Подстриженный под одну гребенку, он стал скучен. А если засучить рукава и разъевреить человеческое стадо? Но как это сделать, разве есть сейчас на свете хоть один нееврей? Даже если найдется затерянное в складках мироздания племя, или община, или одна-единственная семья, у него уже не хватит сил для такой чудовищной работы. Он устал. «А был ли иной путь устройства мирового еврейства, рассеянного в чуждом мире?» — задумался Агасфер. Нет, еврей всюду будет инородным телом, особенно в странах с низким интеллектом, а таких подавляющее большинство. Где есть евреи, всегда будет антисемитизм, это тень еврея на мироздании. И тут ничего не поделаешь. Израиль — искусственная выдумка. Еврею не нужна страна, ему нужен мир, он знает, что его миссия в рассеянии. Ибо он, как приправа, сам по себе несъедобен, но придает вкус кушанью: пресной жизни народов, под которыми есть страна.

Что случилось, то случилось. Теперь уже ничего не поделаешь. Он выдохся, но присутствовать на этом еврейском базаре ему невыносимо. Самое лучшее — уйти из жизни. Но он приговорен к бессмертию. Только сейчас ощутил Вечный жид весь ужас проклятия Христа. Что делать? Уйти в пустыню. Но где ты найдешь сейчас настоящую пустыню? Или приплетется бедуинья рвань

с пейсами, или налетят суетливые и картавые по-местечковому туареги, или навоняют бензином и пошлостью участники «песчаного ралли». В нынешнем мире не спрячешься, пора пустынников миновала безвозвратно, особенно при таком активном, всепроникающем населении.

Где-то растворилось окно, в утреннюю тишь и свежесть ликующе хлынул фрейлехс. Закричали испуганные вороны ржавыми, картавыми голосами, снялись с парапета и куда-то бессмысленно понеслись, хлопая черными рваными крыльями.

Звонко цокая копытами, подошла лошадь в соломенной шляпе, запряженная в шутейный фургон, заставивший Вечного жида содрогнуться. Лошадь остановилась и, повернув морду, с иронической ухмылкой выложила на асфальт горку дымящихся темных яблок. Обмахнулась хвостом и зацокала копытами дальше. Налетела стайка воробьев на редкое угощение и зачирикала восторженно. Агасфер вздрогнул: похоже, птичья городская протерь чирикала «Сегодня шумно в доме Шнеерсонов». «Я, кажется, схожу с ума», — подумал Вечный жид.

Он хотел встать, но какая-то тяжесть навалилась на плечи и опустила назад на скамейку.

— Я вам не помешал? — послышался тихий, вежливый голос, принадлежащий то ли женщине, то ли ребенку, отчетливый и словно бы лишенный плоти звука.

Вечный жид поднял голову. Перед ним находилось существо такое же странное, как и его голос. Небольшого роста, с длинной шеей и маленькой головой, накрытой белым платком и черным арабским обручем, просторное белое одеяние скрывало очертания фигуры, но все равно было заметно несоответствие узких плеч и широкого таза, длинного туловища и коротких ног. Нижняя половина лица была прикрыта шелковой косынкой, а верхняя — массивными очками с сильными линзами, карикатурно увеличивающими радужки. Из-под халата выглядывали деревянные туфли вроде клоптов, превратившие ноги в утиные лапы. Да и вообще незнакомец напоминал диснеевского Дональда-дака.

Вопреки очевидности, Вечный жид определил его как взрослого мужчину.

«Откуда этот франт? — подумал Агасфер, так и не сумевший преодолеть в себе недоброжелательность к

бывшим арабам. — Кой черт занес его сюда? Это место за праздником, здесь печально и пустынно и пахнет той Москвой, какой она была век назад. И еврейские голоса птиц, и тонкая ухмылка кобылы не могут окончательно опохабить ее. Зачем он вторгся в мою скорбь со своей житейщиной, этот жалкий потомок гонителей моего народа, обернувшийся Дональдодом-даком?»

— Иди своим путем, прохожий, — сказал Вечный жид. — Оставь меня наедине с моими думами.

— У меня есть к вам предложение, — своим неокрашенным голосом произнес незнакомец. — Вы не участвуете в празднике, вам плохо и хочется умереть. А я предлагаю вам вариант другой жизни. Она будет почти как смерть, ибо лишит вас всего, к чему вы привыкли: этой земли, этого солнца, этого неба, этих людей, этих птиц, зверей и растений. Она даст другой упор вашим стопам, другое светило, другое небо, все, все другое. Не знаю, принесет ли это вам счастье, ведь счастье внутри человека, а не снаружи, но даст покой душе и пищу ненасытному уму.

— Откуда ты знаешь, какой у меня ум?

— О, я много знаю. Я инопланетянин. Представитель высшей формации. — И он протянул Вечному жида из длинного широкого рукава не руку, а щупальце, похожее на слоновый хобот, и коснулся его плеча.

Агасфера трудно было озадачить, но тут он не удержал вздрага. Он был наслышан об инопланетянах, зачавших на Землю в исходе двадцатого столетия, но так и не вошедших в контакт с людьми. Агасфер считал, что все рассказы о знакомстве с инопланетянами, о «каботажных» полетах с ними по околоземной орбите — сплошная брехня или плод расстроенного воображения. Но летающие объекты из иных миров видели не раз и даже фотографировали. Впрочем, нельзя полностью исключить, что кого-то они увезли с собой. Есть списки таинственных исчезновений, которые не объяснишь киднапингом, убийством или самоубийством. И вот оказывается, это правда — инопланетяне ходят по земле. Но тут в нем заговорила природная недоверчивость:

— А где же ваша... ракета?

— На территории подпольного райкома бывшего Дзержинского района, — без запинки ответил инопланетянин.

— Что это значит? — надменно сказал Агасфер, решивший, что стал объектом недостойной шутки.

Инопланетянин говорил серьезно. Представление о том, что партия (ее верхушка, разумеется) целиком ушла в бизнес, воспользовавшись приватизацией и за бесценок скупив заводы, фабрики, рудники, копи, нефтяные скважины, алмазные россыпи, промыслы, дворцы, гостиницы, издательства, магазины, земли, парки, озера, реки, все, обладающее хотя какой-то ценностью, не соответствует действительности. Конечно, бизнес во главе угла, но были и другие заботы. Так, партия пыталась распространить опыт израильских кибуц на весь мир и тем возродить колхозное движение с радостью коллективного труда, звонкой еврейской песней, отсутствием запасных частей для тракторов и комбайнов, горючего для машин и гниющим в поле урожаем. Из этого ничего не вышло, тогда партия сосредоточилась на идеологии. На пустырях, свалках, в заброшенных домах и усадьбах, в подвалах разрушенных церквей идет напряженное изучение «Краткого курса» с упором на четвертую главу, кроме того, партия уделяет большое внимание наркобизнесу, международной проституции, неофициальной медицине, экстрасенсам и космосу. На огромной захлавленной (где надо, хорошо расчищенной) территории правобережного Лэфортова, разрушенного обводной скоростной трассой, которую закрыли, когда московский Петергоф был полностью уничтожен, находился самый надежный из космодромов для межпланетных сообщений. Все службы его, как и самого райкома, располагались под землей. Вообще, подпольные владения партии в Москве превосходили систему метрополитена. А во дворе на площадке ожидала готовая к отправке ракета.

Ликовал фрейлехс над недвижимой, грустной, мертвой рекой, опьяневшие от конского навоза воробьи чирикали «Шнеерсона» уже со словами, переругивались, картавя, вороны, маленькая грязная собачонка подбежала к высохшей липе и вскинула ножку, от ушей у нее спускались пейсы. Здесь нечего делать.

— Я готов! — сказал Агасфер...

Но лишь приняв решение — со сбоем сердца и холодным потом, — он понял, какая ему привалила удача. Ведь не пояись этот инопланетянин из подпольного Дзержинского райкома, он узнал бы всю тяжесть проклятия Иисуса. Самоубийство тоже заказано для

него — «для бессмертного нет смерти», стало быть, он обречен вариться в этом котле до второго пришествия — да будет ли оно? — мучиться в еврейском раю, что для него невыносимей ада. Уж не стал ли он антисемитом? Этого еще не хватало! Вечный жид — черносотенец. Так далеко не зашла изначальная смехотворность мира. Он спас гонимый народ, ничуть не раскаивается в содеянном, но не хочет ни плодов своей победы, ни благодарности, короче, не хочет фрейлехса. Вот и всё, он не хочет настолько, что готов покинуть землю, даже не взглянув на отчий край, что дал ему жизнь две с лишним тысячи лет назад. Ему не с чем простаться и не с кем простаться — у него нет ни одной близкой души. Скорее прочь отсюда, на райкомовскую свалку, где, заваленная картонными ящиками из-под японских телевизоров, ждет нацеленная на чужую галактику ракета...

...В уютной, хоть и тесноватой кабине ракеты Вечному жиду открылась еще одна — решающая — удачность его поступка. Нравственно убитый провалом великой миссии, тем, что торжество обернулось поражением, он мечтал о смерти. Но сейчас, упорядочив свои чувства, он понял, что далеко не исчерпал интереса к жизни, что его крайне занимает новая, весьма обещающая авантюра.

Мысли о смерти не только покинули его, но снова, как в пору возникновения великой и обманчивой цели, ему захотелось жить. И не до Страшного суда, а вечно, не подыхать никогда, и всё тут! Только бесконечная жизнь имеет смысл, а в любой долгий, но ограниченный срок человек ничего не успевает. Агасфер поймал себя на том, что допускает Христа не только как великого пророка, но как Божественное явление и допускает... да нет, верит в Страшный суд. Но вот где собака зарыта: Христос всемогущ лишь в Божьем мире, в мире человека, созданного по образу и подобию Божьему, но не в мире существ, созданных по образу и подобию мультипликационного гуся. Страшный суд — это для людей, у них свой договор с Богом, а у обитателей космического Диснейленда свой Бог, неважно, как они его называют, и свой договор с ним. Правы толкователи речей Иисуса, говорившего лишь притчами и обиняками: «Ты не умрешь, раньше чем я вернусь» — подразумевает второе пришествие и Страшный суд. Но туда, куда они держат



путь, врезываясь в звезды, Христос не придет. Значит, бесконечна твоя жизнь, Агасфер...

Ликующее чувство Вечного жида вдруг поблекло, когда он представил себе, что навсегда обречен видеть вокруг себя таких уродов, как его пилот. Да так ли уж он уродлив? У него длинные стрелчатые ресницы над лягушачьим пучеглазьем, но цвет этих буркалов — изумрудная синь, как небо Тьеполо, у него долгая, по-ящеричьи морщинистая шея и по-гусиному присадистое туловище, почти без ног, но движения плавны, успокаивающе ласковы, прикосновения щупальца было нежным и уж никак не омерзительным. К ним можно привыкнуть. У них немало преимуществ перед землянами: они не носят ни пейсов, ни жилетов, не картавят, не поют «Идише мама» и не танцуют фрейлехс, не едят кошерно и не увлекаются фотографией, а в глазах у них не застыла вековая скорбь. А ящерице-гусиная наружность, ей-же-ей, не лишена шарма!

Внезапно Вечного жида осенило, что там, куда они придут, роли переменятся: он будет инопланетянином, а его хозяева — коренниками. Нет, на это он не согласен. Что же, опять становиться изгоем, уже не планетным, а вселенским? Пусть они как хотят, но он будет называть их про себя по-прежнему инопланетянами. В этом решении было что-то жалкое, но и утешающее.

Полет проходил без приключений. Они миновали красный, будто раскаленный шар, и оказалось, что это Марс; долго полыхал за иллюминатором чудовищный пожар Юпитера, вдруг на ракету обрушился каменный дождь, отчего загудела обшивка. Какой-то шутник швырнул вкось пространства плоскую соломенную шляпу, Вечный жид узнал Сатурн, чьи кольца казались полями канотье. Затем появилось прекрасное хвостатое существо, плавно плывущее в глубь бездны, которое Агасфер принял за гигантскую вуалехвостку, и вдруг сообразил екнувшим сердцем, что это старая его знакомая комета Галлея, которую он наблюдал из века в век в небе Земли; на нее грешили люди: заденет она нашу планету своим роскошным хвостом и спалит дотла. И тут впервые его сердце тронулось печалью об оставленном. Он все-таки привык к своему старому дому за две с лишним тысячи лет. Но то было короткое чувство, исчезнувшее раньше, чем дивная рыба отвалилась в мировую пустоту...

...Они плавно опустились на белый, залитый сиренево-серебристым светом космодром. Очевидно, их ждали: едва ли ради одного космонавта собралась гигантская толпа белых колышущихся фигур, запрудившая огромную площадь.

Отпахнулась низенькая дверца ракеты. Вечный жид нагнулся и вышел наружу. Маленький трап из блестящего голубоватого металла надежно принял его ступню. Не торопясь, с достоинством представителя великой цивилизации Агасфер сошел вниз.

Три инопланетянина, видать, старшие среди своих, выступили ему навстречу. Длинное щупальце протянулось к его руке.

— Шолом! — звучным голосом сказал инопланетянин.

— Зей гезунд! — подхватила толпа.

Вечный жид отшатнулся, схватился за сердце, упал и умер.

В те короткие мгновения, которые отделяли смерть сердца от смерти мозга, он успел понять, что перестарался. Зараза вышла из земных пределов и пронизала все мироздание до последних галактик. Вселенная оказалась замкнутым пространством. Выхода нет...

תל אביב  
מס' 33041 תיפה 20 יוני 1967  
תפריה  
190

# СОДЕРЖАНИЕ

## БОГОЯР

Терпение .....	7
Бунташный остров .....	59
Другая жизнь .....	127

## МОСКОВСКОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Две встречи .....	183
А льва жалко... ..	228
Недоделанный .....	264
Московское зазеркалье .....	299
Паша-лев .....	315
Безлюбый .....	322
Война с черного хода .....	353
Ничто не вечно... ..	414

**Юрий Маркович Нагибин**

### **БУНТАШНЫЙ ОСТРОВ**

*ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ*

Редактор *Т.Кузовлева*

Художественный редактор *И.Лопатина*

Технический редактор *И.Усачева*

Корректоры *З.Кулемина, Е.Коротаева, М.Лобанова*

Лицензия № 010184 от 05.02.92 г.

Сдано в набор 27.11.93. Подписано к печати 04.03.94.

Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офсетная №2. Гарнитура «Школьная».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,57.

Уч.-изд. л. 26,08. Тираж 40000 экз. Заказ 4513

ОСК Давид Гитисвский, июль 2019 г. Хайфа

Издательство «Московский рабочий», 101854, ГСП, Москва, Центр,  
Чистопрудный бульвар, 8.

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в полиграфической фирме «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»  
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

